

НОВЫЙ
МИР

НОВЫЙ МИР

1956

5

1956

НОВОЫИ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXII

№ 5

Май, 1956 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Дорога, стихи	3
ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ — Переулоч, стихи	5
НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ — Утро и мы, стихи	7
СЕРГЕЙ СМИРНОВ — Сибирское, стихи	9
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ, И. ВАЙНБЕРГ — Дорогу техническому прогрессу! (Из серии очерков «Заводские будни»)	10
—	
ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН — Трудная весна, часть вторая	37
ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ — На платформе. Лебеди, стихи	69
БРУНО ЯСЕНСКИЙ — Заговор равнодушных, первая часть неоконченного романа. Предисловие Анны Берзинь	71
ИЗ СТИХОВ АРМЯНСКИХ ПОЭТОВ. Ованес Шираз. К родине. ★ Сильва Капутикян. Впервые в Цимлянском море... ★ Арарат Айвазян. Русскому народу. ★ Г. Эмин. Армянское зодчество. ★ Паруйр Севак. Разговор с сыном. ★ Сагател Арутюнян. Фронтовой письмоносец. Переводы Льва Гинзбурга, Ирины Снеговой, Елены Николаевской, В. Звягинцевой, М. Максимова	97
АЛЕКСАНДР БЕК — Жизнь Бережкова, роман. Окончание	102
ТАТЬЯНА ТЭСС — Главный редактор, рассказ	183
ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА	
ДЖЕРАЛЬД КЕРШ — Люди без костей. Перевод с английского Г. Шишкина	197
—	
ГЕНРИК ИБСЕН — Два стихотворения. Переводы с норвежского В. Адмони и Т. Сильман	206
ПУБЛИЦИСТИКА	
М. ВИЛЕНСКИЙ — Страхи и сомнения. (Западная печать о проблемах автоматизации производства)	209
Трибуна писателя	
МУСТАЙ ҚАРИМ — Глазами души. (Заметки делегата XX съезда)	221
(См. на обороте)	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	227
Н. Разговоров. Только о поэзии.— Р. Орлова. Оды бизнесмену.— Вл. Рубин. Вести из Торонто.	
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. ТУРКОВ — Океан на карте поэзии	238
ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ	
ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО — По поводу двух рассказов	245
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	247
З. Кедрина. Свидетельство дружбы.— З. Паперный. Прошлое — с нами.— М. Щеглов. Рассказы Норы Адамян.— Г. Койранская. Образы минувших лет.— Проф. Н. Степанов. Искусство композиции у Пушкина.— Н. Капиева. Книга о певце Адыгеи.— Ал. Исбах. Трагедия социального одиночества.	
<i>Политика и наука</i>	264
А. Елкин. Поэзия борьбы.— В. Шкловский. «О разнообразии мира».— Академик М. Тихомиров. Первый русский букварь.— Кандидаты исторических наук А. Варшавский и А. Данилов. Новая книга о Грановском.— Кандидат исторических наук Е. Гневушева. Путешествие по Индонезии.— Л. Овалов. Вчерашние «дикари».	
ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО	278
Ив. Розанов. Редчайшая из книг Радищева.	
РЕПЛИКИ	280
Елена Стасова, Г. Кржижановский, Г. Петровский, М. Муранов, Ф. Петров. Ненаписанные страницы истории.— Доктор географических наук Э. Мурзаев. О докторантуре.	
МЕЖДУ ПРОЧИМ...	282
Скверный сквайр.— Судебная ошибка.— Новое в литературоведении.— Без помощи телескопа.— Открыт паноптикум печальный.	
КОРОТКО О КНИГАХ	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

★

ДОРОГА

Я не хочу оправдывать бессилье.
Я тех людей не стану извинять,
кто вещи прозрения России
на мелочь сплетен

хочет разменять.

Пусть будет суета уделом слабых —
так легче жить,

во всё́м других вина.

Не сетований —

дел больших и славных

Россия ожидает от меня.

Ах, как гудят заводы ранним утром!
Я по гудку знакомому встаю
и, к проходной шагая шагом крупным,
«Вставай, вставай, кудрявая...» пою.
Из моря сеть вытягиваю ловко.
Ладони в соли и следах слюды,
и на бортах моей смолёной лодки
пугливо ходят отсветы воды.

Я вижу звёзды

над бессонной шахтой,

я к Ангаре взволнованной бегу

и со скалы,

размахивая шапкой,

«Эге-ге-гей!»

кричу на всю тайгу.

Иду в колосьях, в яблоневых ветках,
дарю стихотворенья и моря...

Так здравствуй же,

шестая пятилетка,

моя любовь

и молодость моя!

Во всём, за что дерусь я зло и храбро,
во всём, за что всей молодостью бьюсь,
горит,

 гудит одна большая правда,
которой никогда не поступлюсь.

И где б ни шёл я —

 степью опалённой
или по волнам ржавого песка,—
над головой —

 шумящие знамёна,
в ладонях —

 ощущение древка.



ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

★

ПЕРЕУЛОК

Ничем особым не знаменит —
в домах косых и сутулых —
с утра, однако, вовсю шумит
окраинный переулок.

Его, как праздничным кумачом
и лозунгами плаката,
забили новеньким кирпичом,
засыпали силикатом.

Не хмурясь сумрачно, а смеясь,
прохожие, как подростки,
с азартом вешнюю топчут грязь,
смешанную с извёсткой.

Лишь изредка чистенький пешеход,
кошачьи зажмуря глазки,
бочком строительство обойдёт
с расчётливою опаской.

Весь день, бездельникам вопреки,
врезаются в грунт лопаты,
гудят свирепо грузовики,
трудится экскаватор.

Конечно, это совсем не тот,
что где-нибудь на каналах
в отверстый зев полгоры берёт
и грузит на самосвалы.

Но этот тоже пытит не зря,
недаром живёт на свете —
младший братишка богатыря,
известного всей планете.

Вздымая над этажом этаж,
подъёмные ставя краны,
торопится переулок наш
за пятилетним планом.

Он так спешит навстречу весне,
как будто в кремлёвском зале
с большими стройками наравне
судьбу его обсуждали.

Он так старается до темна,
с такою стучит охотой,
как будто огромная вся страна
следит за его работой.



НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ

★

УТРО И МЫ

Ночь ушла. Немного набок
Сдвинув кепку небосвода,
Свой имея нрав и навык,
Смотрит утро в цех завода,
От Сибири до Кубани,
В дали самой отдалённой,
Розовое, как из бани,
Будит шумом край зелёный.

Будит, спрашивает: — Слушай,
Кто хотел тут доли лучшей,
Бурных чувств, дороги новой,
Славы, чести ли высокой,
Встреч в тени листвы кленовой
С тою самой, синеокой,
И ещё всего такого,
Что ни речью, ни стихами
Объяснить себе толково
Не умеют люди сами?

Кто? Мы все! Народом целым
Видишь — тащим, видишь — строим,
Заручившись планом смелым,
Сверившись с расчётом строгим.

Я бывал за океаном,
Ты — пойдёшь... Так посмотри там:
Не кричит никто «ура» нам
Из контор над Уолл-стритом,
Но, до каменной утробы
В размышлении резонном,
Слышат шаг наш небоскрёбы
В серых тучах над Гудзоном!..

Понимаешь? Мы и сами,
Так сказать, давно с усами,
По дорогам века длинным
Вон какое движем дело!..

Так что ты давай свети нам
До последнего предела,
А уйдёшь — и там, далече,
В доверительной беседе,
Всем скажи, что стало легче,
Лучше
 стало
 жить на свете!



СЕРГЕЙ СМИРНОВ

★

СИБИРСКОЕ

Грохочет поезд, дышит полной грудью.
Степная даль.
Таёжное безлюдье.

Грустит тайга:
→ Я попусту старею.
О молодость,
приди сюда скорее!

Вздыхает степь былинного простора:
— Я жду прихода плуга и мотора.

Кочевник ветер с посвистом весёлым
Трубит:
— Готовьте встречу новосёлам!

Сюда приедут смелые из смелых,
Сотрут с земли
остатки пятен белых.

Желанная пора не за горою —
Она в единоборстве с Ангарою.
Она гудком завода зазвучала.
А это — лишь великое начало...

Ещё цветут цветы пестрее ситца,
Где будет сад, где хлеб заколосится.
Ещё шумит тайга, где встанут зданья...
Но вся земля —
во власти ожиданья!



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ, И. ВАЙНБЕРГ

★

ДОРОГУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ!

(Из серии очерков „Заводские будни“)

Непрерывный технический прогресс в промышленности!.. Он является решающим условием дальнейшего роста всего промышленного производства Советской страны.

Какие задачи в этой области стоят перед нашим народом, по какому пути должны быть направлены наши усилия?

Исчерпывающий ответ на эти вопросы дают материалы XX съезда нашей партии.

«Социалистическая система хозяйства и современные достижения науки,— говорил в своём докладе на съезде Н. А. Булганин,— открыли перед нами безграничные возможности развития техники. Задача всех советских людей, возглавляемых нашей великой партией, использовать полностью эти возможности и завоевать ведущую роль в деле технического прогресса. Это мы можем и должны сделать».

Для того, чтобы действовать без ошибки, с наименьшими потерями сил и времени, прежде всего надо знать то хорошее, что сделано и придумано твоими товарищами по труду. Надо рассказывать об этом хорошем, чтобы каждый мог сделать его своим оружием в трудовых боях шестой пятилетки.

Владея этим оружием, легче победить...

Надо знать и то плохое, что ещё не преодолено, не побеждено, не выкорчевано. Надо исследовать его истоки и русла, разгадать его уловки, хитрости, увёртки, повадки. Надо говорить о нём всю правду, пускай злую и обидную, ибо самое опасное на свете — это лгать самому себе. Скрывая плохое, нельзя его искоренить.

Двигаться вперёд мы хотим возможно быстрее. Для этого необходимо проложить широкую дорогу техническому прогрессу, устранить все препятствия, которые ему мешают, его тормозят.

На многих заводах нашей страны технический прогресс является реально действующей силой, живой, полнокровной, могущественной. Но иногда рядом с такими передовыми заводами — в прямом смысле рядом — есть предприятия, где техническому прогрессу плохо живётся, трудно дышится.

Встретившись с инженерами двух московских заводов, мы услышали от одного из них множество горьких, а от другого — радостных слов о положении технического прогресса на их предприятиях. Мы решили проверить сказанное ими.

И на несколько месяцев ушли мы в будни производственной и общественной жизни завода внутришлифовальных станков и завода имени Орджоникидзе. Разрешите рассказать о наших встречах с техническим прогрессом на этих заводах, именуя первый из них ЗВШС, а второй — ЗИО.

Чрезвычайное происшествие

25 ноября 1955 года на завод внутришлифовальных станков приехал министр станкостроительной и инструментальной промышленности Анатолий Иванович Костоусов. Этот факт заслуживает всяческого одобрения, хотя и стало известно, что он явился результатом настоятельных требований В. А. Колосовой — первого секретаря Кировского райкома партии.

Положение на ЗВШС давно волнует бюро райкома. В районе этот завод — хронически и тяжело больное предприятие. Дела его идут плохо. Государственный план 1956 года поставлен под прямую угрозу срыва. Технический прогресс на ЗВШС является существом, фигуры не имеющим, ибо портфель новых конструкций на 1956 год пуст.

Вот это всё, вместе взятое, и послужило причиной экстренного приезда министра на ЗВШС.

Начался обход завода.

Воспользуемся случаем и обойдём территорию ЗВШС и его цехи, как свидетели встречи министра с заводом. Эпическое повествование обо всём, что мы увидим, покажет вам, читатели, условия и особенности производственной жизни предприятия, выпускающего уникальные, сложные, высокой точности станки, именуемые в технике прецизионными. Внутришлифовальных станков ЗВШС давно не производит. От них сохранилось только название завода.

Извилистая дорога, идущая от заводоуправления, огибает лепящиеся друг к другу двухэтажные, жилого типа, старые, закопчённые корпуса с множеством пристроек и тамбуров. Обращает на себя внимание единственный новый заводской корпус небольших размеров.

«Жителей» в нём много, а условия их существования одинаковы: они мёрзнут. В помещении нового клуба (вернее, красного уголка), стены которого заиндевели, а штукатурка готова отвалиться, мёрзнут работники завода на собраниях и редких-редких «культурмероприятиях». Зябнут в своих комнатках техническая и партийная библиотеки. Зябнет в корпусе измерительная лаборатория. По техническим требованиям здесь должна быть определённая, одного и того же уровня температура. Что ж, руководители ЗВШС, пожалуй, удовлетворили эти требования, установив для обогрева помещения примитивные электроспирали, у которых по ночам дежурят... лаборанты. Словом, техника на грани фантастики!

Не так далеко от измерительной лаборатории только что начинает свою жизнь станочная лаборатория. Без неё невозможна подлинно научная постановка производства станков, тем более прецизионных. Без неё немыслим быстрый темп технического прогресса... Неужели только в 1955 году задумались до необходимости создать её на ЗВШС? Нет, товарищи читатели, вы не должны так плохо думать о министерстве и заводе. Приказ об организации этой лаборатории на ЗВШС был. Но для осуществления задуманного нужно время. Стоит ли жаловаться на министерство, если его приказ о создании станочной лаборатории на заводе уникальных станков был подписан «своевременно» — в 1948 году...

Но вернёмся к гостям, осматривающим завод. Вот они остановились в центре заводской территории, возле монументальных колонн будущего большого корпуса. Не удивительно, что в глазах товарищей обозначилась некая доля мечтательности. Здесь заложена надежда завода и министерства на лучшее завтра ЗВШС, на расширение производственных площа-

дей. Надежда заложена прочно и достаточно давно: приказ о строительстве этого корпуса подписан Анатолием Ивановичем Костоусовым в 1949 году. За какие-нибудь семь лет поднялись ввысь одинокие, хотя и горделивые, бетонные колонны, намечающие, как точки пунктира, место, которое будет занято новыми цехами.

После жаркой беседы о сложности этого строительства все перешли в конец площадки, туда, где находится низкорослое здание цеха ширпотреба. Цех ширпотреба на заводе уникальных станков! Из каких отходов производства вырабатывает он свою продукцию? Из стружки, что ли? Нет, стружка ни при чём. Цех ширпотреба ЗВШС вырабатывает ложки! Металлические ложки! Металл для них покупается у соответствующих организаций, отнюдь не находящихся в ведении министерства станкостроения...

Встретившись лицом к лицу со зданием цеха ширпотреба, именуемым на заводе «нашим каменным аппендиксом», министр, не сходя с места, решил: новый промышленный корпус расширить, цех ширпотреба ликвидировать. Так оперативно, без малейшей волокиты, была окончательно отработана конструкция нового корпуса, всего через несколько лет после того, как министерство утвердило чертежи на него. Одновременно был решён вопрос о цехе ширпотреба, в течение стольких же лет безрезультатно поднимавшийся коллективом ЗВШС.

А теперь, товарищи читатели, перейдём вместе со всеми на пустующий двор завода, отгороженный от основной его территории. Мы просим вас с уважением глядеть на это широкое пространство, ибо оно призвано играть в производственной жизни завода первостепенную роль: здесь должно начинаться прецизионное станкостроение.

Из литейного цеха станины и другие крупные и ответственные части станков нельзя сразу пускать на механическую обработку и сборку. Нельзя! Преступно! Чугунные отливки под влиянием внутренних процессов, происходящих в металле, а также от воздействия внешних температурных условий долгие месяцы подвержены изменениям. «Чугун бродит», — говорят литейщики. «Металл деформируется», — гласит наука. Только тогда чугунные отливки можно включать в процесс создания прецизионных станков, когда металл устоится, состарится.

Вот почему узаконена обязательная технология старения чугунных отливок. Сначала это производится искусственным путём в специальных печах. Затем отливки, предварительно ободранные в механическом цехе, складываются на заводском дворе. Жару и дождь, ветры и морозы переносят они и в течение нескольких месяцев (чем дольше, тем лучше) окончательно «дозревают».

На ЗВШС двор для отливок давно пустует. При гипертонической форме штурмовщины, безумствующей на ЗВШС (об этом речь пойдёт ниже), даже искусственное старение металла проводится зачастую только для проформы. Рабочие называют этот процесс «копчением». Негодование коллектива ЗВШС не раз прорывалось на партийных собраниях и совещаниях партийно-хозяйственного актива: литьё поступает в механический цех горячим, а ведь завод не смеет рисковать потерей точности у наших станков!

Но эти пылкие слова оставили свой след только в холодных и сухих записях протоколов. Завод добивается микронной точности, а литьё идёт в механический цех горячим. Двор для старения металла пуст.

...Гости перешли в заводские цехи. Нелегко было министру станкостроения двигаться в них — и морально и физически.

В литейном цехе пришлось взбираться на Гималаи горелой земли. Смерд и гарь. Должной вентиляции в цехе нет.

В кузнице всех охватила не только невыносимая жара, но и... чувство стыда. Кузнец брал раскалённую болванку из горна — из дедовского

горна петровских времён. Кузница построена недавно, но в ней нет современной печи. Ихтиозавр кузнечной техники — горн — перешёл сюда «автоматически» из старой кузницы... А ведь это завод уникальных станков!

Прецизионное станкостроение — дело такое сложное и тонкое, что даже воздух в сборочном цехе должен быть технологически отработан, и это не преувеличение. Для отладки сверхточных станков требуется постоянство определённой температуры. В сборочных цехах ЗВШС такого постоянства нет. Зимой температура регулируется открытием и закрытием форточек. Летом — что солнце даст.

В одном из цехов представителям министерства стало тяжело дышать — и не в переносном смысле, а в прямом. Облака распылённой краски висели в воздухе, едкая пыль забивала ноздри: маляры занимались положенным им делом — красили из пульверизаторов станки. Министр покосился на маляров и сказал:

— Что ж, они не могут десять минут обождать?

Пожилой маляр на это ответил:

— Мы не виноваты в том, что здесь нет вентиляции, даже оконной. Простите меня за правду, но если мы дышим этим воздухом целый день, нам кажется, что вы можете потерпеть десять минут...

В других цехах министр наблюдал технологические тонкости, выполняемые теми механизмами, которые называются человеческими руками. Пятый сборочный цех. Бригада слесарей вручную строгают (строгает, а не шабрит!) стол прецизионного координатно-расточного станка. Огромными крюками слесари протаскивают... стол под резцом. Раз-два, взяли!.. Стружка за стружкой... А где же механизация? Механизация «валяется» невдалеке в образе специального приспособления для строжки. О нём не забыли. О нём десятки раз упоминали резолюции, а в дело пустить никто не удосужился. В цехе специальных станков четыре могучих парня огромным притиром вручную притирают отверстия в деталях за № 40001 и других. Для механизации притирки существует специальный станок, но он «не внедряется».

Да, технический прогресс на этом заводе имеет лишь туманное лицо, нескладную фигуру, контуры которой трудно уловить.

Весь завод, завод прецизионных станков, сам по себе должен быть воплощением технического прогресса — и по техническому уровню его продукции и по условиям, в которых протекает его производственная деятельность. А здесь...

Однако послушаем, что скажет министр. В семнадцать часов сорок минут началась его беседа с работниками ЗВШС.

В кабинете директора (отсутствовавшего по болезни) собрались руководители отделов и цехов ЗВШС, вызванные секретарём партбюро товарищем Вартаняном. Бросилось в глаза то обстоятельство, что секретари партийных организаций вызваны не были.

Министр повёл беседу о насущной проблеме сегодняшнего дня, как вы помните, дня 25 ноября 1955 года. Он добродушно и даже довольно весело спросил:

— Как с программой ноября, товарищ Шашков? Сколько станков сдали?

Начальник производства бодро встал и отчеканил:

— Один.

— А сколько надо?

— Двадцать девять...

Затем министр предложил собравшимся высказаться о работе завода.

Начальник литейного цеха В. Чечулин пожаловался на то, что завод прецизионных станков выпрашивает металл, как нищий. Главный конструктор Ю. Михеев и начальник оптического цеха К. Янин требовали

помощи заводу машинами, приборами и другими средствами для освоения экранной оптики, ставшей для прецизионного станкостроения делом не только перспективным, но и насущным. Начальник отдела технического контроля Н. Ознобишин сказал, что без многих измерительных машин и приборов завод не только не сможет развиваться дальше, но и сейчас испытывает серьёзные затруднения с выпуском своей точной продукции.

Министр слушал всех с предельным вниманием и доброжелательностью. Лишь изредка он бросал на начальника Главстанкопрома товарища Карпова то сердитый, то даже гневный взгляд. Смысл этих безмолвных выражений чувства станет вам ясен, дорогие читатели, в следующей главе.

Беседа завершилась речью министра. Он обещал удовлетворить все претензии, предъявленные сегодня работниками ЗВШС. Он обещал достроить новый корпус в 1956 году. Посулил давать заводу столько металла, сколько ему требуется и для производства и для создания запаса литья — чтобы отливки старились. Много резких слов было сказано министром о несусветной грязи в цехах, об их загромождённости.

Речь товарища Костоусова определяла направление работы, давала советы, содержала решения, фиксировала обещания и обязательства министерства. Нельзя было сомневаться в том, что, услышав доселе, очевидно, неизвестные ему и начальнику главка претензии работников ЗВШС, министр уделит заводу уникальных станков то внимание, которого он заслуживает, окажет ему ту помощь, какая необходима.

В заключение министр призвал присутствующих:

— Больше пишите в газеты и журналы! Настойчиво добивайтесь через печать выполнения ваших требований.

Так как мы присутствовали при этом, мы решили немедленно откликнуться на призыв министра.

Заводобязнь

ЗВШС является заводом уникальных станков уже десять лет. Вот и выходит на авансцену Память, оглядывающая эти десять лет, чтобы определить и оценить всю сумму помощи и внимания, оказанную за это немалое время заводу со стороны министерства и главка.

Основные виды памяти — слуховая и зрительная. Мы не будем приводить показания слуховой памяти, хотя они даны людьми, заслуживающими предельного доверия. Некоторые товарищи утверждают, например, что многие обещания, которые дал А. Костоусов 25 ноября 1955 года, были в их присутствии произнесены (оставшись невыполненными) при посещении ЗВШС министром станкостроения, то есть тем же А. Костоусовым, ещё в одна тысяча девятьсот пятьдесят втором году. Возможно, это и так.

Но обратимся лучше к свидетельствам зрительной памяти, которая запечатлевает то, что люди увидели своими глазами. Разве не видели в течение многих лет подряд руководящие лица всего того, что предстало перед ними на ЗВШС в первобытной сохранности в ноябрьский день 1955 года? Видели. Можно ли было многое кардинально изменить, улучшить хорошее, ликвидировать плохое? Безусловно, можно было...

У работников главка очень плохая зрительная память. У них своя формула: пришёл — увидел — позабыл. Забывают они мгновенно, видят плохо, приходят очень редко. Недаром эта глава нашего очерка носит имя бытующей среди них болезни: заводобязнь...

Есть и другие показатели зрительной памяти. Прежде всего это выступления советской печати, к помощи которой призывал обращаться министр. Приведём доказательства глубокой заботы, проявленной ею по адресу ЗВШС и министерства станкостроения. Начнём с последних дат

и будем двигаться вглубь прошедших десяти лет до дня перехода ЗВШС на прецизионное станкостроение.

19 октября 1955 года газета «Московский комсомолец» поместила статью о ЗВШС. Называется статья выразительно: «Здесь всё по-старому». Она говорит вот о чём: «Литейка времён Петра I... Здесь всё делается руками... На заводе плохо используются внутренние резервы, слабо внедряется опыт новаторов... Не пользуются поддержкой рационализаторы и изобретатели... Безответственно относится к обучению молодёжи отдел подготовки кадров...»

23 июля 1955 года «Вечерняя Москва» в статье «Латинское слово» писала о рекламациях, поступающих на станки ЗВШС от потребителей. 12 и 14 марта 1955 года та же газета поместила «Письма с ЗВШС», в которых констатирует отсталость технологии на заводе, плохую организацию производства, плохое использование внутренних резервов. Письма эти, к сожалению, не потеряли своей свежести и сейчас. На заводе ничего не изменилось: «здесь всё по-старому»

В 1953 году появилась в «Московской правде» статья А. Вартаняна «Завод и главк». В ней перечислялись все виды помощи, которую в течение длительного времени не о к а з ы в а л главк. Потеряла ли эта статья свою актуальность? Нет. «Всё по-старому».

В 1952, 1951 и других годах наша печать также не оставляла своим вниманием ЗВШС, о многом напоминая заводу, а тем самым главку и министерству.

Здесь, товарищи читатели, разрешите сделать такое элегическое отступление. Один наш приятель, занимавшийся, подобно нам, журналистикой, а потом обратившийся к писанию исторических романов, сказал как-то:

— Если бы составить список тех критических статей и заметок, на которые лица и учреждения, подвергнутые критике, не обратили никакого внимания, получился бы внушительный том. Надо стократно усилить общественную кару, положенную тем, кто не откликнулся на сигналы советской печати. Особенно жестоко я бы обрушился на тех, кто, изустно хваля критику печати, считает выполнение её указаний делом для себя необязательным...

Вернёмся к нашему заводу. От газетных сообщений о нём обратимся к другим источникам. Есть вид печатного слова, которое распространяется в меньших количествах экземпляров, чем номера газет. Тем не менее это тоже печать, её можно видеть и тем самым освежать впечатления зрительной памяти. Мы говорим о приказах министерства по делам ЗВШС.

26 мая 1949 года был обнародован приказ № 376 министерства. В этом приказе почётное место было уделено развитию прецизионного станкостроения на ЗВШС; завод должен был получить в 1950 году приборы и аппараты, необходимые при производстве прецизионных станков.

Увы! Это те самые приборы и аппараты, о которых через шесть с половиной лет говорил при встрече с министром начальник ОТК завода Ознобишин 25 ноября 1955 года. Немудрено, что министр награждал товарища Карпова гневными взглядами: начальник главка оставил лишь в приказе то, что должно было появиться на ЗВШС к началу пятой пятилетки, а не шестой.

В том же 1949 году опубликован приказ министра № 1002 от 28 декабря «о коренном улучшении работы литейного цеха Московского завода внутришлифовальных станков». Следует особо отметить, что приказ этот содержал зримые доказательства того, что зрительная память не всегда изменяла министерству. Упоминаются в нём приказы министра № 105 от 27 февраля 1949 года и № 264 от 23 апреля 1949 года, по которым ничего не было сделано: перестройка литейного цеха ЗВШС не проведена. Литейный цех по всем показателям работает плохо и не выпол-

няет государственного плана. Брак — 15,8 процента. Технология нарушается...

Товарищ Костоусов может переиздать этот приказ и в 1956 году, не отвлекая от работы аппарат министерства. Достаточно будет ему собственноручно зачеркнуть дату и поставить новую. Всё остальное можно не менять: в литейном цехе ЗВШС всё по-старому, ручная работа не уменьшилась, брак — одна пятая всей продукции. Нет никакого улучшения, не только «коренного»! Подпись министра остаётся прежней: А. Костоусов.

В пункте о контроле над выполнением нового приказа, повторяющего старый приказ, ничего не понадобится изменять. Просто следует перепечатать буква в букву то, что было напечатано в 1949 году: «Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на начальника Главстанкопрома т. Карпова А. А.».

Менять надо другое: отношение министерства и главка к своим приказам, обещаниям, обязанностям. Полезно также учредить контроль над тем, как будет контролироваться товарищ Карпов новый приказ о коренном улучшении работы литейного цеха ЗВШС. Ведь он до сих пор ничего, абсолютно ничего не сделал, чтобы выполнить приказ министра, данный в 1949 году.

Весьма примечателен общий стиль его руководства заводом. Приезжая на ЗВШС, начальник главка обычно указывает пальцем на первый попавшийся на глаза недостаток (а их сколько угодно!) и учиняет разнос. («С обеих рук бьёт завод», — говорит Вартанян.) А степень понимания Карповым своей личной ответственности за дела ЗВШС довольно выразительно вырисовывается из таких его слов:

— Вопросы, которые здесь ставились в части оказания помощи заводу, будут нами рассмотрены и по возможности удовлетворены. (Смотри протокол совещания партийно-хозяйственного актива ЗВШС от 9 мая 1955 года.)

Скромный ответ. Ничего не говорящий ответ. «Будут нами рассмотрены». «По возможности удовлетворены». В какой срок рассмотрены? В какой степени удовлетворены?

Что касается сроков, то мы уже видели, как это делается. Даются обещания — три года ждут обещанного; затем снова даются те же обещания — снова три года ждут.

Что же касается того, как реализует главка свои возможности для помощи заводу, приведём показательный пример, взятый нами из десятков примеров, достойных того, чтобы их привести.

Многие станки на ЗВШС износились до крайней степени. Так, уникальный строгальный станок в первом механическом цехе капитально не ремонтировался уж двенадцать лет. В столь же плачевном состоянии находится и ряд других станков. ЗВШС ежегодно подаёт заявки на необходимые ему станки. Но... в 1952 году ЗВШС вместо восьми требуемых станков получил ноль. В 1953-м вместо девятнадцати — два. В 1954-м из тридцати — семь. В 1955-м из тридцати шести — девять. Комментарии излишни.

Нельзя не отметить, что в одной области своего руководства заводом министерство проявило большую активность. За последние восемь лет на ЗВШС сменено пять директоров, пять главных инженеров, восемь начальников производства. Сущий пасьянс!

Да, тонкая штука — руководство заводом...

Руководство заводом. Какая это благодарная и вдохновенная творческая работа!

Много радости и благородного удовлетворения может принести она тому, кто умеет её четко организовать, каждодневно обогащать, с огонь-

ком вести, кто строго и ответственно относится к своим словам и обязательствам и тем самым имеет право строго спрашивать с других.

Много чести может принести она тому, кто ведёт её не по-казённому, вкладывает в неё все силы разума и души, судит людей не по их должности, а по делам и способностям, умеет разгадать эти способности, дать им широко проявиться, умеет по-хозяйски потребовать, по-справедливому наказать, по-умному раскритиковать, по-учённому разъяснить, по-дружески научить, разумно поощрить, вдохновить.

Но совсем иначе может обернуться эта работа для того, кто ведёт её, как чиновник.

Если даже только по отношению к одному своему заводу существует в Главстанкопроме такая система руководства, какая предстала перед нами, всё равно молчать нельзя.

Мы безусловно верим в искренность обещаний товарища Костоусова, данных им этому заводу как в 1952, так и в 1955 году. Мы верим в то, что все свои приказы министр станкостроительной и инструментальной промышленности подписывает с твёрдым намерением их осуществить. Но что же тогда такое проверка исполнения?

Как можно допустить, чтобы А. Карпов, ответственный за выполнение приказов министра, в течение многих-многих лет после их опубликования не ответил ни разу за всё, что им не было сделано? В этой безрукости есть «система», которую надо немедленно ликвидировать.

Министерство и главк неправильно относятся к прецизионному станкостроению. На них лежит немалая доля вины за недопустимое положение, создавшееся на заводе уникальных станков. Но необходимо категорически отместить попытки некоторых деятелей ЗВШС обелить себя, обвиняя во всех бедах министерство и главк. Внутризаводские «порядки», внутризаводской стиль работы и взаимоотношений между людьми являются источником подавляющего большинства бед и неполадок на ЗВШС. Начнём рассказ об этом.

Опыт партийной работы в дни и ночи штурма

Начинать, как говорится, надо с начала. Но трудно найти начало в таком запутанном клубке, в котором не найдёшь концов.

Этот горестный афоризм, к сожалению, точен и справедлив по отношению к ЗВШС. Поэтому приходится выбирать произвольное начало, хвататься хоть за какой-нибудь конец.

Как вы уже знаете, в беседе министра с работниками завода выяснилось, что двадцать пятого ноября сдан был только один станок из месячной программы в двадцать девять станков. Затем министр уехал, началась будничная жизнь ЗВШС. Вот с этого мы и начнём, развёртывая картину событий, происходивших на наших глазах в течение одной недели.

Двадцать шестого ноября не сдали ни одного станка.

Двадцать седьмого (в воскресенье). сборщики работали в две смены, ни одного станка не сдали.

Двадцать восьмого товарищ Вартамян срочно вызвал в партбюро главного конструктора, главного технолога, ведущего технолога, начальника производства и многих других ведущих товарищей. К каждому из них секретарь партбюро обращался с вопросом:

— Ну, как у тебя дела?

Начальник производства говорил о многих деталях, о проводимой им переброске рабочих из смены в смену, с участка на участок. Главный технолог тоже называл детали разных станков. Главный конструктор не менее горячо говорил о других деталях и горевал о нехватке одного слесаря и шлифовщика.

Мы подумали, что главный конструктор (вот молодчина!) занимается опытной экспериментальной работой, исследует какой-то узел, для чего ему нужен слесарь, обязательен шлифовщик. Но это было не так. Оказалось, что все «главные» раскреплены по цехам для погони за деталями в период очередного аврала, мобилизованы в порядке партийного поручения.

Когда все разошлись, мы выслушали речь товарища Вартаняна. Мы записали её тщательно, скрупулёзно, чтобы ни одного слова не пропало для тех, кто хочет поинтересоваться опытом партийной работы на ЗВШС в дни и ночи штурма. Речь была произнесена с чувством гордости собой.

Вот она:

— Что поделаешь, если вся программа решается сборкой в последние дни месяца? Приходится всё внимание сосредоточивать на сборке. Тут я с народом. Люди в две смены — и я в две смены. Люди до утра — и я до утра. И директор тут. В партбюро зайти некогда, ведёшь партийную работу на сборке. Коммунистов соберёшь. Рабочих соберёшь, мастеров. Осветишь им задачи. Поднимешь настроение. И оперативно командуешь, где кому встать, — как в бою! Ну, а если возникают технические вопросы, тут же их решаешь. Нужно главинжа — вытаскиваешь главинжа; главного конструктора — главного конструктора; главного технолога — его татишь. Все в цех! Надевайте халаты! Ну, и... вытягиваем гужом.

Как человек скромный, Арутюн Согомонович закончил свою речь такими словами:

— Коллектив всё решает!..

Двадцать восьмого ноября сдали один станок.

Первое декабря. На сборке в числе штурмующих — директор ЗВШС, секретарь партбюро, главный инженер, главный конструктор, главный технолог, начальник производства. Беда. Часть станков не отлажена.

Двенадцать часов дня того же числа. Истёк последний, «льготный» час сдачи станков за ноябрь. Не все станки готовы. Катастрофа? Нет! Удача, изумительная удача: не явился из министерства инспектор для приёмки станков. Можно штурмовать дальше.

Половина первого. Из колонны штурмующих выбывают ведущие силы: секретарь партбюро и директор уехали на районную партийную конференцию. Но они продолжают оставаться мыслью на сборке, непрерывно телефонирова:

— Как дела?

— Всё нормально. Штурмуем.

В семь часов вечера первого декабря ответ со сборки был таков: «Полный порядок. Последние станки собраны». После этой информации главный инженер Смуров и начальник производства Шашков, дико измученные несколькими сутками штурмового бдения, ушли домой. Приступили к своей работе контролёры... Тут-то и рухнула Помпея! Три станка не были приняты. План оказался невыполненным. Контролёры обнаружили, что станки не дают требуемой точности и к выпуску негодны.

Второе декабря. После краткого совещания с директором товарищ Вартанян молниеносно собрал партбюро, продолжая «партийную работу в дни и ночи штурма». Директор предъявил главному инженеру и начальнику производства десятки обвинений, но никаких выводов не сделал. Секретарь партбюро, переглянувшись с директором, предложил: ввиду срыва программы ноября руководство стделом главного технолога укрепить, начальнику производства вынести партийный выговор, главному инженеру — строгий выговор. Основное обвинение: Смуров и Шашков ушли в семь часов вечера первого декабря, не сдав станков. Главный технолог, хотя он и не уходил из цеха, попал под колесницу за компанию.

Оглушённые тяжёлыми обвинениями против трёх руководителей технических служб завода, члены партбюро долго безмолвствовали. Потом разгорелся спор по поводу формулировки. Неудобно карать за срыв ноябрьской программы, когда дело происходило вечером первого декабря. И была принята прецизионно отработанная формулировка: «За нерешение технических вопросов» (!).

Таковы события, происшедшие на ЗВШС в течение недели. В них отразились многие явления, о которых надо рассказать полнее. Но нельзя не описать эпилога изложенных событий.

Первого декабря не были приняты контролёрами три станка. Естественно предположить, что они были сданы второго декабря, третьего, четвёртого, наконец! Ведь аврал прекратился, сборка свободна. За два дня сдали двадцать пять станков, а тут на сдачу трёх станков отведён гораздо больший срок. Значит, справились с этим четвёртого декабря? Ну, в крайнем случае, пятого?

Ничего подобного! Посмотрите на официальную справку завода о выпуске станков за декабрь. За первую декаду не сдано ни одного станка. За вторую декаду — один. За третью — двадцать девять. Вполне возможно, что станок, сданный во вторую декаду, был одним из тех трёх, о которых идёт речь. Но неужели за двадцать дней нельзя было сдать все три? Наверняка можно было — на ЗВШС сборщики опытные, умелые. Однако рассудили так: зачем, мол, торопиться, тем более, что столь непривычно сдавать станки в первые две декады. Пусть уж пойдут, как всегда: в третью...

Такова страшная сила привычки.

Кардиограмма ЗВШС

Завод болен. Его сердце и мозг работают неправильно.

О правильной или неправильной работе человеческого сердца сигнализирует пульс. Очень опасные явления отмечает неритмичный пульс.

Деятельность человеческого сердца можно записать. Эту графическую запись можно видеть. Она называется кардиограммой.

Кардиограмма деятельности заводского сердца записывается цифрами. Посмотрим на кардиограмму ЗВШС.

Сборочный цех. Ночь с тридцатого ноября на первое декабря. Резьбошлифовщик, испытатель станков, устал. Он находится в цехе с утра, пропустил занятия в институте, не имеет секунды для отдыха. Но ещё больше, чем усталость, его гнетёт сознание бесплодности своих усилий. Два станка не дают требуемой точности. Резьбошлифовщик требует пере проверки станков. Через некоторое время выясняется, что самые ответственные детали станков — бракованные.

Как проникает брак на сборку? Об этом рассказывает нам статья начальника ОТК, помещённая в заводской газете «Кировец».

«Основная масса деталей, — пишет Н. Ознобишин, — обычно скапливается на контрольных пунктах к концу месяца, и контролёры не успевают как следует проверить их годность... Тридцатого ноября в первом цехе было подано утром на контрольный пункт двадцать шпинделей с микронной точностью. На проверку каждого шпинделя требуется не менее полу часа. Таким образом, их можно было пропустить только к концу смены. Но в двенадцать часов дня ко мне поступила жалоба на то, что контролёр задерживает приёмку...»

Автор статьи деликатно пишет: «жалоба». А в действительности это был обычный нажим на контролёра: пропустить детали, хотя бы и бракованные! Соберём станок, потом посмотрим, что выйдет.

Вот и вышло!..

Брака на заводе много, особенно в литейном цехе. Только за десять месяцев 1955 года потери ЗВШС от официально зарегистрированного брака составили более миллиона рублей. А потери от незарегистрированного — не меньшие.

Колоритную картину нарисовал партийному собранию заместитель директора В. Чиркин:

— Лишь за семь месяцев перерасходовано проката чёрных металлов столько, что из него можно было бы выпустить семнадцать станков модели «2450» и пятнадцать станков модели «582». Кроме того, мы потеряли в цехах четырнадцать тысяч деталей. Да ещё неизвестно, что раскроет инвентаризация...

Но теряется на ЗВШС не только металл. По официальной фотографии рабочего дня, проведённой отделом труда и зарплаты, потери рабочего времени в литейном цехе доходят до 24,7 процента, в первом механическом — до 15,9 процента, в инструментальном — до 16,1 процента, в пятом сборочном — до 25,4 процента. В цехе, начинающем производство, и в цехе, завершающем его, ежедневно теряется четверть рабочего дня. Значение этого факта объяснять не надо, всё ясно.

Есть, однако, потери не только времени, но и труда. Официальная справка заводоуправления гласит, что лишь переделки и исправления деталей и узлов, выявленные при сборке и сдаче станков, обошлись заводу в 1955 году по 540 рублей на каждый серийный станок. С чьего счёта «списаны» эти деньги? Со счёта народных средств.

Откуда же возникают на ЗВШС многочисленные переделки и исправления деталей и узлов? Для того чтобы это выяснить, необходимо заглянуть в область технологии производства.

Всем известен афоризм: технология — закон. Этот закон выполняется на ЗВШС весьма своеобразно: узаконенными нарушениями закона.

Конструкторы завода утверждают, что более половины деталей поступает на сборку с отступлениями от чертежей. Мастер «нажимает» на конструктора, стремясь «пропихнуть» детали. А если тот проявит стойкость, тогда сам директор обрушивается на главного конструктора. Начальник ОТК товарищ Ознобишин, наиболее сведущий во всём, что касается качества продукции, возмущается (в статье) тем, что из заводоуправления в цехи идёт «поток всяких разрешений, заключений, которые пишут главный технолог, главный конструктор, главный инженер на различные отклонения от чертёжных размеров». И делает прискорбный вывод: «Технологическая дисциплина нарушается на всех стадиях производства».

Поздно вечером главный технолог ЗВШС А. Рыбаков, перед которым лежали на столе груды бумаг и бумажек, рассказывал нам о распорядке своего дня:

— Главное моё занятие — переливание из пустого в порожнее. Что это за раздел работы? Сейчас объясню. Это разбор дел о браке, оформление доплатных нарядов на доделки одних деталей и переделки других, оформление доплат ввиду замены материала отделом технического снабжения, исполнительские снабженческие функции по добыванию инструмента, оплата счетов и так далее — без конца.

— А что делается для внедрения передовых технологических процессов?

— Этот раздел работы в запущенном состоянии...

О том, как это получается, говорил на партийном собрании ведущий технолог Дёмин:

— После любого диспетчерского совещания у директора в отдел является взбудораженный главный технолог и... начинается ломка наших плановых заданий. Мы начинаем делать то, на что сегодня обратил внимание директор. Работа идёт у нас не за совесть, а за страх, нервно...

Завод болен. Меры излечения были рекомендованы его партийной организацией. Они были выражены в тщательно продуманном плане организационно-технических мероприятий. Но за весь 1955 год выполнено только семьдесят одно мероприятие из ста девяноста трёх...

Рассмотрим главные цифры кардиограммы производственной жизни ЗВШС, цифры результативные. Перед нами итоговые показатели работы завода в 1955 году.

Первое полугодие. За первые декады шести месяцев выпущен тридцать один станок, за вторые — двадцать семь, за третьи — девяносто семь. План не выполнен.

Второе полугодие. За первые декады выпущено четыре станка, за вторые — девятнадцать, за третьи — сто сорок восемь! План не выполнен.

Кардиограмма показывает тяжёлую болезнь. Цифры бьют тревогу. Тридцать один — и четыре. Какое резкое усиление болезни!.. Четыре — и сто сорок восемь. Это соотношение не может не внушить страха. Огромные резервы разбазарены, огромные резервы не использованы для повышения производительности труда и увеличения выпуска прецизионных станков, которые так нужны нашей стране.

И вместе с тем в цифрах «4» и «148» нельзя не увидеть силы заводского коллектива, который может творить чудеса и творил бы их непрерывно, если бы сердце ЗВШС билось ритмично. Посмотрите: из плана второго полугодия в сто семьдесят восемь станков завод дал за третьи декады сто сорок восемь. О, если бы все декады года были... третьими!

С такой кардиограммой плохо живётся техническому прогрессу на ЗВШС. Нет ему места. Никто не отвечает за его отсутствие. Но, может быть, он нашёл себе надёжное пристанище в чертежах новых замечательных конструкций?

Перейдём в конструкторское бюро.

На холостом ходу

В шестой пятилетний план ЗВШС смог включить серийные станки только с т а р ы х конструкций.

Постараемся понять, как это случилось.

Резьбошлифовальный станок модели «582» шлифует калибры, метчики, резьбовые фрезы, высокоточные винты для измерительных машин, для приборов, станков. Точность его работы — четыре микрона. «582» — станок оригинальной советской конструкции, созданной на ЗВШС. Но за десять лет жизни он не подвергался улучшениям и сейчас безнадёжно отстал от своих соперников.

Координатно-расточный станок «2450» (точность работы — шесть микрон) был создан на ЗВШС около десяти лет назад по образцу тридцатых годов. С тех пор и этот станок не усовершенствовался и в сравнении с современными координатно-расточными станками морально устарел.

За две пятилетки ЗВШС этим двум станкам смену не подготовил.

Станок «2460» приобрёл поистине символическую славу. Он уже изготовлен, притом давно, несколько лет назад. Он огромен. Он величествен. Недвижной громадой стоит он в тесном цехе специальных станков. ЗВШС не смог выпустить его, ибо станок не давал требуемой точности. Выручил заботливый главк: он разрешил включить станок в программу, как годный. «Слав», таким образом, станок главку, ЗВШС в виде ответной услуги... купил «2460» у того же главка «для себя». После этого завод потерял всякий интерес к исследованию и отладке станка, и работа над ним прекратилась. За последние два года, кроме руки уборщицы, смахивающей с него пыль, никакая другая рука к станку «2460» не прикасалась. Рабочие ЗВШС дали ему название «Памятник».

Они правы. Это памятник омертвлённому труду.

На ЗВШС он является также намогильным монументом техническому прогрессу. Станок «2460» — опытный образец будущей серии. То, что он не был доведён и ни в какой степени не исследован, — немыслимо, недопустимо. Однако такой подход к делу является на заводе не исключением, а правилом.

Станок «5810» — специальный резьбошлифовальный полуавтомат, предназначенный для инструментальных заводов; — был сконструирован в 1953 году. В плане 1955 года значился выпуск девятнадцати станков «5810». Не изготовив и не проверив опытного образца новой модели, в производство запустили все девятнадцать станков. Риск был огромным, так как себестоимость одного станка «5810» — четверть миллиона рублей. Технически риск был необоснованным, авантюристическим. Конструкторы протестовали против него, но их протест ни к чему не привёл.

Авантюрный приём, применённый к модели «5810», да и не только к ней, конструкторы ЗВШС именуют точно и правильно: **з а п у с к с л и с т а**. Многими техническими сюрпризами одарил станок «5810» конструкторов и сборщиков при его отладке. Но самый большой сюрприз был им преподнесён позднее.

Когда с великим трудом и большими затратами времени выпустили в 1955 году пять станков и собрали шестой... министерство запретило выпуск модели: станок не отвечал современному уровню техники.

Ведущий конструктор модели И. Битиев на открытом партийном собрании сказал:

— Почему нам пришлось проделать огромную работу при отладке этого станка? Потому, что у нас на заводе не вели никакой экспериментальной работы над резьбошлифовальными станками. Если бы эта работа проводилась, то станок был бы иначе спроектирован.

Выводы из этой истории напрашиваются сами собой. Суть её тоже ясна. Прибавим только, что, кроме всего прочего, это обошлось государству по 96 тысяч рублей **н а к а ж д ы й** выпущенный станок «5810» сверх плановой цены.

Технический прогресс местожительства на ЗВШС не имеет. Портфель новых конструкций пуст. В 1955 году начала свою жизнедеятельность станочная экспериментальная лаборатория конструкторского бюро, но нет на ЗВШС ничего **н о в о г о**, над чем она могла бы проводить испытания, исследования, эксперименты.

Станки, выпускаемые ЗВШС, — технически отсталые. Да и трудно ни в чём не повинным станкам не отстать, когда их готовят так долго, что они стареют, не успев побыть молодыми.

Специальный резьбошлифовальный станок «МВ1» очень нужен стране и, в первую очередь, самой станкостроительной промышленности. Его конструкция родилась от станка, который десять лет назад впервые прибыл на ЗВШС. Значит, с появлением на свет «МВ1» явно опоздал. Выпуск первого экземпляра станка до сих пор не состоялся. Почему? Ответ на это нам дали конструкторы ЗВШС. Много лет детали «МВ1» самодёлом плавали в производстве, и теперь можно подвести итог. Оказалось, что из 1 800 деталей не хватает около 150. Ни одного узла ни собрать, ни опробовать нельзя: в каждом узле недостаёт одной или нескольких деталей.

Может быть, в этом виноваты конструкторы? Возможно. Однако дадим слово самим конструкторам. Все они единодушны в оценке той роли, которую играют на ЗВШС шестьдесят опытных инженеров и техников, работающих в его конструкторском бюро.

— Нас ориентируют только на текущие дела. Конструировать грядущие станки нам некогда, и никто нас к этому не побуждает.

— Наука точного машиностроения до нас не добирается. Экспериментальной работы на заводе нет. Наши опытные узлы не изготавливаются годами. Нет критериев для проверки мыслей и идей.

— Слово «инженер» не звучит у нас на ЗВШС гордо.

— Наши конструкции — вчерашний и позавчерашний день техники. Они отстают от современного уровня техники. Но мы, по чести, не знаем, а что же такое современный уровень техники в области прецизионных станков. Техническая информация поставлена на ЗВШС из рук вон плохо.

— Мы не используем даже доступного для нас опыта. Неоднократно выдвигали требование организовать обмен конструкторскими делегациями с другими заводами. Но никто этого обмена не организует.

— Наше КБ работает на холостом ходу...

Творческой атмосферы на ЗВШС нет и в помине. Ту атмосферу, которая на заводе существует, надо называть иначе. Сведя воедино всё, что нами было узнано и нам было рассказано об этой атмосфере, мы приступаем к выяснению роли личности в истории ЗВШС.

«Я в квадрате»

Директором ЗВШС Яков Петрович Яковлев назначен 17 августа 1954 года. До этого он шесть лет был заместителем директора завода малолитражных автомобилей (по снабжению) и четыре года — директором на том же заводе.

Первое, что бросилось в глаза новому директору, была дикая штурмовщина, процветавшая на ЗВШС. Обдумав положение, он решил одним ударом разделаться со штурмовщиной. Поскольку он вступил в должность в середине месяца и полагал, что отвечать за этот месяц должен его предшественник, товарищ Яковлев не сдал в августе ни одного станка, чтобы создать задел в сентябре. При строгом нейтралитете секретаря партбюро Вартаняна этот манёвр был проведён «успешно».

Кончился манёвр печально. Новый директор ЗВШС ничего не добился, кроме строжайшего предупреждения от заместителя министра станкостроения П. Тараничева. Задел был быстро «съеден», и ни один из устоев штурмовщины не оказался поколебленным.

Новый, 1955 год руководители ЗВШС встречали в сборочном цехе до утра, на штурме, организованном секретарём партбюро по всем правилам искусства, которым он овладел в совершенстве. Началась горячка, до сих пор не оставляющая в покое ЗВШС. Все силы людей, всё внимание коллектива директор нацелил на выполнение работы сегодняшнего дня, сегодняшней минуты.

Втянувшись в работу, директор стал устанавливать свою систему взаимоотношений с людьми. Сам себе давая характеристику, товарищ Яковлев сообщил нам, что умеет разговаривать «и вежливо и по-мужски». Его поведение доказало, что это сказано верно. Когда мы попросили дать сведения о том, как помогают заводу главк и министерство, директор ЗВШС ответил витиевато и уклончиво. Голос звучал робко, лицо потеряло обычное выражение решительности. Он весь был воплощением вежливости. А со своими подчинёнными он разговаривает... Впрочем, судите сами и сами определите, как это называется.

Директор ЗВШС не оставляет людей без поощрения, без своего громкого, вдохновляющего слова. Никто не помнит, кому и когда он сказал впервые: «выгоню!», «подавай заявление!», «уволю!», но из лексикона Яковлева эти слова не исчезают. Ежедневные оперативные совещания у директора превратились в полуторачасовые «избиения» людей с применением слов высшего накала. Немудрено, что многие работники завода выражают желание, чтобы на директорских «оперативках» присутствовал врач скорой медицинской помощи.

Месяца через четыре после своего назначения Яковлев вызвал главного инженера и потребовал отчёта в выполнении плана оргтехмероприятий.

— Плохо с мероприятиями, — ответил Смуров, — некогда ими заниматься. Да вы сами даёте мне столько заданий на сегодняшний день, что некуда податься.

Главному технологу директор уже успел объявить выговор. Главному инженеру директор объявить выговор не может: это входит в юрисдикцию министерства. Поэтому Яковлев использует здесь особую систему, о которой он сам высказался в одной из бесед:

— Я стремился нанести главному инженеру деловые обиды, чтобы задеть его самолюбие.

Через два месяца главному технологу был вынесен строгий выговор, а главному инженеру нанесены новые «деловые» обиды. Скоро выяснилось, что, по мнению директора ЗВШС, все «главные» являются сущими и неисправимыми бездельниками. Это мнение он неоднократно высказывал во всеулышание в цехах.

— Вы силы тратите, потём обливааетесь, а вот они ни черта не делают! — говорил Яковлев рабочим, указывая пальцем на главного технолога, главного механика или других «главных».

Так директор ЗВШС создаёт у инженерных и административных работников энтузиазм и вдохновение. Люди ходят по заводу, увешанные выговорами, истыканные «деловыми» обидами.

Главному инженеру некогда следить за выполнением оргтехмероприятий и решать перспективные задачи завода. Его превратили в помощника начальника производства, заставляя заниматься всеми оперативными вопросами без конца, без передышки. Поскольку любой вопрос производства связан с техникой, главного инженера можно «привязать» к любому вопросу. От «деловых» обид на нём нет живого места.

Ю. Михеева как главного конструктора директор просто не замечает, а поручений, связанных с текучкой, даёт великое множество. По всем данным, Михеев в общем доволен тем, что директор не побуждает его заниматься проблемами новых конструкций. На заводе каждому ясно, что перспективное конструирование станков директора ЗВШС не касается. Вы думаете, что мы иронизируем? Ничего подобного! В таких вопросах не шутят — речь идёт о техническом прогрессе.

Мы приведём факт, которому трудно, просто невозможно поверить, но это факт. 22 декабря 1955 года на общезаводском партийном собрании конструкторы заявили, что директор за полтора года ни разу не был у них в конструкторском бюро.

Что ж, директор смутился? Ни в малейшей степени. Он хладнокровно задал вопрос:

— А вы меня приглашали?..

Но и в оперативных конструкторских делах товарищ Яковлев проявляет себя весьма своеобразно. Частенько он предлагает такой способ решения технических проблем, который граничит с техническим авантюризмом.

Вышли в брак особо ответственные детали координатно-расточного станка — зеркальные валики, изготавливаемые из нержавеющей стали. Директор даёт команду: хромировать валики! Главный конструктор в панике. Этого нельзя делать, товарищ директор! У хрома и нержавеющей стали различные коэффициенты удлинения.

— Ты слышал, что я сказал? Хромируй!

Началась подготовка хромирования. Однако операция эта не состоялась. Начальник ОТК Ознобишин, памятуя о своей ответственности за качество продукции, взял кусок валика, отхромировал его и проверил в различных температурных условиях, в какие станок мог попасть при

транспортировке и эксплуатации. Вопреки желанию директора ЗВШС, хром и нержавеющая сталь повели себя согласно законам физики: удлинились и сжились в разной степени. На поверхности валика появились крупные трещины, что и предсказывали конструкторы.

Хромирование валиков отменили. Но представьте себе, что она была бы произведена. При транспортировке станков мороз сделал бы своё дело, и они прибыли бы к потребителям с потрескавшимися валиками. Отражение работы ЗВШС на зеркальном валике получилось бы ужасным.

Кого тогда следовало бы винить?

...И всё-таки с людьми Я. Яковлев ведёт себя гораздо бесцеремоннее, чем с техникой. Из сотен возможных примеров приведём два.

Как-то главный механик завода товарищ Нижегородцев пришёл к директору подписать разрешение на отпуск. Поскольку Яков Петрович во всём советуется с секретарём партбюро, он при Нижегородцеве и многих других товарищах, присутствовавших в это время в кабинете, позвонил Арутюну Согомоновичу Вартапяну:

— Тут пришёл Нижегородцев, просится в отпуск. Как ты думаешь, подписывать ему заявление? Я думаю, то ли есть он на заводе, то ли нет его — один толк. Пусть едет.

Вартапян одобрил решение директора: надо же о людях заботиться...

Второй пример даёт ясное представление о методах руководства инженерно-техническими работниками. Когда начальник цеха ширпотреба, старый работник завода И. Рупасов, был назначен руководить цехом № 1, он оказался двадцать седьмым начальником этого цеха. (Двадцать восьмой начальник был назначен через несколько месяцев.) Вместо Рупасова в цех ширпотреба директор назначил начальника заготовительного цеха. Начальником заготовительного цеха стал мастер. Во всех трёх цехах дела пошли плохо. Одной перестановкой определили не на свои места трёх руководителей и ослабили работу трёх цехов. В течение года начальники отделов и цехов меняются по нескольку раз. В цехе № 16 начальниками были (за год): Воронцов, Ступаков, Дедюшин и опять Ступаков. В отделе технического снабжения совсем недавно сняли Грязнова, поставили Авдеева. Затем сняли Авдеева, поставили Грязнова... И тут пасьянс!

Директор стремится всячески унижить человеческое достоинство руководящего персонала ЗВШС, кричит на инженеров и у себя в кабинете и в цехах, при рабочих.

Случайно ли это? Нет, не случайно. Грубое поведение тонко рассчитано.

Во-первых, директор показывает себя перед рабочими этаким «отцом-командиром», которому нечего скрывать. Ругая в открытую инженерно-технических и административных работников, он хочет продемонстрировать свою требовательность. Во-вторых, в поисках дешёвой популярности среди рабочих директор противопоставляет тружеников цехов инженерно-техническим «бездельникам». Если бы не «они», он бы, Яковлев, творил чудеса. А раз это так, должно стать ясным, что виновниками всех неполадок, отсталых конструкций и всего прочего являются «помощнички», а отнюдь не он, директор.

Чёткое представление о том, к чему это, в частности, приводит, даёт высказывание о товарище Яковлеве заместителя главного технолога Н. Ходова:

— Жмёт сильно и всё нацеливает на оперативные задачи. Приучает смотреть ему в рот. На что взгляд он бросит, тем и должны все заниматься. Давит людей. Раньше я чувствовал свою роль в производстве, а теперь появилось чувство неуверенности в работе и в себе. Да и кругом себя смотришь — все вдруг почему-то стали никудышными, безнадеж-

ными. Наше нормальное состояние — нерешительность, боязнь. Раньше все технические вопросы решали с главным инженером, а теперь боишься: начнёшь делать, а директор отменит решение...

Являются ли сплошь такими плохими те «главные», на которых обрушиваются удары и оскорбления? Только по анкетным данным судить о людях нельзя. Но нельзя судить о них и без ознакомления с их жизненным путём. Случайными ли для ЗВШС людьми являются руководители его технических служб?

Главный инженер С. Смуров. Коммунист. Со времени пуска завода имени Орджоникидзе работал там девятнадцать лет: мастером, технологом, начальником цеха, пять лет заместителем и главным технологом. На ЗВШС с 1952 года. Главный механик В. Нижегородцев. Коммунист с 32-летним стажем. Инженер. На ЗВШС главным механиком семь лет. Главный технолог А. Рыбаков, проживший полвека, двадцать лет работает на технологической работе. С 1950 года на ЗВШС.

Наверно, у каждого из них есть недостатки. Но известно, что даже достоинства людей могут исчезнуть, если создаются для этих людей невыносимые условия работы...

Единственная форма контакта Я. Яковлева с технической интеллигенцией завода — её подавление. Он отучает инженеров работать над перспективными задачами. В этом корень плачевного состояния технического прогресса на ЗВШС.

Да! Плохие получаются результаты, когда людей не поднимают, а подминают.

Теперь влетает в повествование ещё одна черта характера Я. Яковлева.

Припомним, как в своё время директор ЗВШС налаживал стройку трёхэтажного корпуса, в котором размещены клуб, библиотека, лаборатории и т. д. Построила корпус строительная организация министерства. Ещё до назначения Яковлева директором во двор ЗВШС привезли башенный кран. Работники отдела главного механика по личной инициативе с большим трудом добыли камнедробилку и бетономешалку.

Послушаем, как это выглядит в освещении Яковлева, рассказывавшего одному из авторов этих строк историю создания корпуса:

— На территории завода пустовал барак. Я его утеплил, я туда и воду дал, а потом я поселил в нём строителей. Кран на пузе валялся — я его поднял. Бетономешалку добыл, камнедробилку — и дело пошло. Так я построил корпус...

На комсомольском собрании директор сказал так:

— Когда я пришёл на завод, я обещал вам построить корпус и клуб в нём. А вы мне обещали дисциплину поднять. Я своё слово сдержал, я клуб построил, а у вас с дисциплиной плохо, вы меня подвели...

Даже многотерпеливый Вартамян жаловался нам: «Нехорошо перед молодёжью так строить речь — я, мне, меня...»

Но директор так строит речь не только перед молодёжью. Если что-либо идёт плохо, виновны «они»: главный инженер, главный технолог, начальник цеха. Когда что-либо сделано хорошо, говорится: «я построил», «я сделал», «я», «Я»...

Поэтому и зовут на ЗВШС товарища Якова Яковлева «Я в квадрате». Секретарь партийного бюро ЗВШС знает об этом, всячески опекает директора, принимает свои меры по укрощению его характера. Он же, Вартамян, руководит директором и контролирует его административно-хозяйственную деятельность. Посмотрим, как он это делает.

Портрет Арутюна Вартамяна эскизно дан во всём, что доселе рассказано. Нарисуем его теперь в полный рост.

Карманный секретарь

Товарищ Вартамян в восторге от своего директора. Директор доволен секретарём партбюро.

— Медведь! — влюблённо говорит Вартамян о Яковлеве, когда директора нет рядом.

— Под руководством партийной организации! — говорит директор, когда Вартамян стоит рядом.

Поскольку оба они работают на заводе за всех, история их взаимоотношений представляет особый интерес. Но надо всё рассказывать по порядку.

Секретарь партбюро является человеком чрезвычайно экспансивным и подвижным. О нём можно сказать словами Марка Твена, рисовавшего образ одного из своих героев: «Ртуть постоянно выходит из верхушки его термометра». В дни и ночи штурма это его свойство проявляется особенно наглядно.

Товарищ Вартамян пришёл на ЗВШС в 1952 году и плотно занял своё место в руководстве заводом и его людьми.

Объектом его нападения были в то время министерство и главк. Написав совершенно правильную статью «Завод и главк», в которой перечислялось всё то, чем главк не помогал ЗВШС, секретарь партбюро стал повторять тезисы своей статьи везде, где только мог. И постепенно получилось у него так, что во всех бедах и болезнях завода виновны главк и министерство. Вполне возможно, что Вартамян сам уговорил себя в этом, без особого сопротивления со своей стороны. С тех пор Арутюн Согомонич стал разговаривать с миром, облокотясь на объективные причины.

И вот пришёл на ЗВШС новый директор — товарищ Яковлев. Впереди него шла слава энергичного руководителя, решительного и смелого человека. Позади него шествовал партийный выговор за грубое нарушение технологии и выпуск недоброкачественной продукции.

Секретарь партбюро, уже немного уставший воевать с штурмовщиной и министерством, встретил нового директора восторженно. Он возлагал на него большие надежды, и этому никак не следовало удивляться. Но нельзя было не удивиться, когда товарищ Вартамян публично высказал своё сочувственное недоумение по тому поводу, что такого крупного работника перевели с гигантского предприятия на такой крохотный завод, как ЗВШС, дали большому человеку работу не по его масштабу. Это высказывание с неопровержимой ясностью доказывало, что секретарь партбюро ЗВШС, несмотря на то, что работал на заводе уже два года, попрежнему не понимал сложности и важности прецизионного станкостроения. Впрочем, следует сказать, что и в последующие годы Вартамян не проявлял поползновения обогатить свои знания в этой области...

С новым директором необходимо сработаться. На нашем, советском, языке это не означает, что надо во всём потворствовать директору, соглашаться со всем, что он скажет, не иметь своей принципиальной позиции.

Когда в августе 1954 года по замыслу и под руководством нового директора ЗВШС выпустил ноль станков, коллектив был взбудоражен и разгневан этим. А секретарь партбюро не оказал ни малейшего сопротивления директору, хотя мог и обязан был это сделать. Предположим, что в те дни Вартамян был ослеплён своей верой в нового директора. Но и всё последующее с великой ясностью говорит, что Арутюну Согомоничу понравилось быть ослеплённым.

Манёвр директора не искоренил штурмовщину. С сентября по декабрь она как-то ещё больше раздобрела, вошла в силу, стала действовать со вкусом. Восхищённый своей оперативностью, Вартамян с присущей ему

экспансивностью разъяснял, подбодрял, накачивал энтузиазм, гонял по деталям всех «главных» и «неглавных», указывал места, кому где встать.

Когда сперва в кабинете директора, а потом и в цехах началось «избиение» главного инженера, главного технолога, главного конструктора, главного механика, начальников цехов и прочая, и прочая, и прочая, как реагировал на это секретарь партийного бюро ЗВШС? Говорят, что с глазу на глаз Вартанян корил директора. Но люди этого не слышали.

О человеческая чуткость! Полагаешься ли ты по штату секретарю партбюро? А если полагаешься, то заключаешься ли ты только в том, чтобы подарить несправедливо оскорблённому несколько незначащих слов утешения?

Оказывается, что для того, чтобы иной секретарь партбюро выполнял свои обязанности партийного руководителя, коммуниста и человека, ему необходимо получить заявление.

Товарищи Смуров и Рыбаков на первых порах приходили к А. Вартаняну поведать о своих горестях, но им были выданы успокоительные речи. А заявлений они не подали. С товарищем Нижегородцевым случилось несколько хуже: он напугал секретаря намерением подать после приезда из отпуска заявление.

Расскажем о последнем случае подробнее. Он заслуживает этого, ибо является очень показательным — и не в силу своей исключительности, а, наоборот, стандартности.

Главный механик ЗВШС В. Нижегородцев, член партии с 1924 года, потрясённый обращёнными к нему словами директора, сказанными при всех, пришёл в партбюро с трясущимися руками. На глазах были слёзы. Как же так? Неужели всё равно, есть ли он на заводе или нет его? Арутюн Согомонович, не отвечая на вопрос по существу, утешал главного механика. Нижегородцев, вернувшись из отпуска, рассказывал, что «напутственные» слова Яковлева отравили ему все дни отдыха. Но заявление главный механик не подал.

Спрашивается: какое значение имеет, подал человек заявление или нет? А вот какое.

Поведаем, что сказал в нашем присутствии А. Вартанян первому секретарю Кировского райкома партии В. Колосовой. Не забудьте, что он не объяснял своего поведения, а доказывал, почему не следует так уж наседавать на директора за его метод обращения с людьми:

— Сколько он людей ни оскорблял, никто не пишет заявлений. Только Рафальсон написал в райком, но уж после того, как его уволили с завода. А вот Нижегородцев грозился написать, но приехал из отпуска и не написал. Что ж, я его за ухо буду тянуть?

Всё ясно в этой философии: есть заявление — можно «ставить вопрос»; нет заявления — нельзя. А не мог ли Вартанян сам себя потянуть за ухо и без заявления немедленно (как и полагалось) разобрать на партийном бюро поведение директора по отношению к главному механику, да и ко всем остальным?..

Настало время рассказать об истории «любезных» отношений директора ЗВШС с начальником одного из отделов. В этой истории наиболее ярко проявился стиль работы товарища Вартаняна.

Директор поручил начальнику отдела получить в министерстве письмо, которое должен был подписать заместитель министра. Начальник отдела звонил по телефону несколько раз — всё нет и нет заместителя министра. Ехать недалеко, а незачем.

Через некоторое время в отделе послышался телефонный звонок. Знакомый голос директора ЗВШС спросил:

— Приехал ваш начальник из министерства?

— Да он и не уезжал, — ответили ему, не зная, в чём дело.

Директор велел позвать к телефону «виновного».

— Где письмо, болван?

Начальник отдела, оглушённый этим приветствием, хотел что-то вымолвить, но директорский бас продолжал грохотать:

— Не нужны мне твои объяснения, дважды ты болван, не нужен ты мне вообще, не ходи больше ко мне!

Такова сия история...

При чём же здесь товарищ Вартамян? А вот при чём. Ни за что ни про что обруганный работник пришёл к нему с жалобой на оскорбление. Мы можем точно передать их беседу, которая происходила в присутствии одного из авторов этих строк. Начальник отдела, не таясь, рассказал обо всём, что произошло, о незаслуженном наглom окрике, и с особой горечью и болью передал три слова директора, поранившие сердце. Вот, мол, как он смеет разговаривать: «Болван! Дважды болван!»

Секретарь партбюро, сокрушённо качая головой, произнёс в странство:

— Видите, как тяжело работать. Опять обидел он человека. Сколько раз я с ним уже говорил, опять придётся поговорить...

Самое главное произошло, когда пострадавший уходил. Стоя в дверях, он умоляюще вымолвил:

— Только учтите, Арутюн Согомонович. Я не жаловаться приходил. Я не жалуюсь...

В ответ Вартамян отчеканил:

— Не волнуйся. В партбюро не приходят жаловаться. В партбюро приходят делиться...

Вот она, «философия» карманного секретаря партбюро. К нему приходят не жаловаться, а делиться. Он должен выслушивать, но не действовать. Соболезновать, но с директором не ссориться. Со всеми беседовать, но ни за кого не беспокоиться. Разговаривать, но не искоренять безобразия. Как двусмысленно звучат эти слова: «Не волнуйся!» Ты ко мне пришёл с разговором о человеческой боли, о людских поступках и проступках? Не волнуйся, всё равно я не буду волноваться. Не волнуйся, я всё равно ничего не сделаю.

Вот при чём здесь товарищ Вартамян.

Продолжим обрисовку психологии нашего героя.

Вот как рассказывал Вартамян о своём директоре, блистая красой непосредственности, раскрывающей все стороны людских взаимоотношений на ЗВШС:

— Кроме Яковлева, никто ничего не может решить. Чиркин пишет — бухгалтер не делает. Яковлев только взглянет на бухгалтера — тот сразу делает. Смуров даёт указание начальнику отдела снабжения Авдееву выдать материал. Авдеев не выдаёт. Яковлев звонит — Авдеев выдаёт. Все начальники теперь идут прямо к директору. Яковлев даёт задание главному инженеру, а сам идёт за ним по пятам. Директор действует, как ураган, сметает все препятствия на пути...

Всё это говорилось для того, чтобы убедить собеседников в том, что директор на ЗВШС сильный, а все остальные руководители — слабые. О святая простота! Старался доказать одно, а слова показывали совсем другое...

— А не подавляет ли Яковлев подчинённых? — спросили у Вартамяна.

— А если инициативы у них нет? Если подавлять нечего? — вопросами на вопрос парировал Вартамян.

— И всё-таки? Подавляет или нет?

— Было, было! — подхватил Вартамян. — А теперь он уже жалуется, что я его по рукам и ногам связал, в телёнка превратил. Прихожу к нему недавно, смотрю — он крестится, на меня глядя. Что такое? Молюсь,

говорит, чтобы громкого слова не сказать... Здорово я с ним поработал! — удовлетворённо закончил разговор секретарь партбюро ЗВШС.

Лучше не скажешь. Не так ли?..

К сему присоединяем исключительно колоритную подробность. В середине 1955 года после очередного технического «номера» Якова Петровича Яковлева министр станкостроительной промышленности Анатолий Иванович Костоусов на коллегии министерства сказал ему:

— Это вам не автомобили делать, это прецизионные станки. Если вы этого не поймёте, в станкостроении держать не будем.

Вот тут-то Вартанян проявил неисчерпаемую чуткость. Он звонил всюду: в министерство, в райком, в Московский Комитет партии, в ЦК КПСС.

— Директора «убили», пришёл на завод парализованный, две недели не в себе, работать не может, бежать хочет. Разве так можно обращаться с людьми?!

Вот он каков, товарищ Вартанян!

Неиспользованные права

На стиль работы партийной организации исключительное влияние оказывает стиль деятельности её руководящих органов и работников. Если этот стиль правилен — парторганизация работает прекрасно и заводский коллектив делает чудеса. Если этот стиль порочен — парторганизация живёт и работает вяло, и, к великому сожалению, бывает и так, что здоровые силы парторганизации не очень уж быстро этот стиль выкорчевывают.

«Масса,— учил В. И. Ленин,— должна иметь право выбирать себе ответственных руководителей. Масса должна иметь право сменять их, масса должна иметь право знать и проверять каждый самый малый шаг их деятельности. Масса должна иметь право выдвигать всех без изъятия рабочих членов массы на распорядительные функции. Но это несколько не означает, чтобы процесс коллективного труда мог оставаться без определенного руководства, без точного установления ответственности руководителя, без строжайшего порядка, создаваемого единством воли руководителя».

Войдём в будничную жизнь партийного бюро ЗВШС.

Здесь всё делается во-время и в определённом точном порядке. Во-время собираются заседания, во-время обсуждается общий план работы, во-время устанавливаются повестки дня очередных заседаний, во-время раздаются они всем девяти членам партбюро, пышные планы работы и будничные повестки дня одинаково любовно вложены в аккуратные папки, разложенные по столу перед девятью стульями. В каждом пункте повестки дня указано, сколько времени предполагается отпустить на обсуждение вопроса: на такой-то вопрос — двадцать минут, на такой-то — полчаса, на такой-то — час десять минут.

Вопросы сформулированы грамотно, количество их трудно перечислить. Решения даются «развёрнутые». Пестрят они такими директивами: «указать», «обязать», «поручить», «предложить», «потребовать», «предупредить», «отметить», «обратить внимание», «укрепить». Когда, в противоположность обычаю, попадаетея в повестке непронизводительный вопрос, неизменно идёт в ход всеобъемлющее слово «усилить»: усилить работу агитационную и пропагандистскую, работу с комсомольцами, с профсоюзной организацией. Колонна формулировок шеголяет бравой выправкой, храбрым видом, словесной вооружённостью. Во всё вникли, всё предусмотрели, везде нажали. На бумаге решения партбюро выглядят солидно.

А в жизнь эти решения претворены в столь малом количестве, что их и заметить невозможно. Проголосовали — приняли — забыли.

Машина вертится вхолостую, о чём непрерываемо свидетельствует положение дел на ЗВШС и всё, что сообщили нам некоторые члены партбюро. Посмотрим, как складывались взаимоотношения людей внутри партийного бюро завода.

Сначала — в первые месяцы после выборов — члены партбюро говорили с жаром, спорили на заседаниях, требовали активности секретаря партбюро в выполнении выносимых решений. Они негодовали по поводу того, что решения «уходят, как вода в песок». Заседания были длинными-длинными. Постепенно на этих заседаниях наибольшее количество времени стали отнимать речи Арутюна Вартапяна. Его экспансивность и многоречивость были вне конкуренции. А решения оставались невыполненными.

У членов партбюро постепенно отпадала охота разговаривать и спорить. Заседания всё укорачивались и укорачивались. Это вполне устраивало Вартапяна и в конце концов стало устраивать и членов партбюро. Раньше они жаловались на необычайную продолжительность заседаний, потом начали выражать радость по поводу их краткости. За последнее время Вартапян научился проводить их столь быстро, что получил от членов партбюро прозвище «Торопых».

Прозвище прозвищем, а поле битвы осталось за секретарём. Организуя шумовые эффекты на штурмах, проводя во-время заседания и совещания, ставя «галочки», отмечающие, что собрания проведены, призывая и накачивая, заявляя и констатируя, секретарь с немалым успехом создавал... видимость работы.

Советоваться с членами партбюро — не в его привычках. Коллегиальность он признавал только в том случае, когда оставался наедине с директором. Роль первой скрипки в этой коллегиальности играл директор. А в цехах и отделах Вартапян бросал на ходу несколько слов членам партбюро, сообщал наспех что-либо, говорил «после поговорим» и убежал. Обещанное им «после» не наступало, но ругать секретаря партбюро было уже нельзя: посоветовался! Так организовывалась... видимость коллегиальности.

В точно намеченные сроки секретарь партбюро собирал секретарей партийных организаций цехов и отделов, нацеливая их на сегодняшние дела. А этих «вопросов» ставил он столько, что нельзя было понять, где главное, где основное.

Что же получилось? Какова общая картина партийной жизни на ЗВШС? Предоставим слово работникам завода.

— В пятом цехе четыре месяца не проводилось партийного собрания. Такая же картина в первом цехе (Вадеев, начальник отдела кадров).

— Я устал ставить вопросы производства на партсобраниях. Сколько ни решаем, всё на месте (Михайлов, секретарь партбюро цеха № 3).

— Культурно-массовая работа в цехах очень плоха (токарь Сорокин, цех № 13).

— По форме есть всё. Против пунктов — галочки-птички: собрание проведено. А результаты обсуждений не проверяются. Коэффициент полезного действия «птичек» очень низкий. Массовая работа слаба. И особенно плохо вот что: с людьми о конкретных их делах бесед не ведётся. Нет, например, того, чтобы обсудить показательную работу мастера и рассказать о ней людям (Похоровский, секретарь партбюро отдела главного технолога).

Таких выступлений уйма.

О чём говорят факты партийной жизни завода?

Они говорят о том, что нет почти ни одного заводского промаха или ошибки, безобразия, беды, по поводу которых коммунисты ЗВШС не под-

нимали бы своего голоса на партийных собраниях и производственных совещаниях. Они говорили резко, горячо, на всё откликаясь не по службе, а по душе. Они вносили предложения, указывали пути. А ведь членов партии на заводе триста человек — это большая сила!

И вместе с тем они не доводили дела до конца. Выступили — и успокоились... Выслушали — забыли.

Мало пользы от того, что горячие слова и правильные предложения замирают в протоколах собраний. Что же такое протокол? Регистратор слов? Музей предложений? Нет, это собиратель драгоценного производственного и партийного опыта, фиксатор и рупор общественного мнения, памятная книжка, со страниц которой всё правильное и верное должно немедленно внедряться в жизнь.

Так что же препятствовало коммунистам ЗВШС выполнить до конца свой партийный долг? Неужели боязнь критиковать? Нет, они выступали остро. Быть может, причиной послужили порочные методы руководства партийной жизнью, внедрённые и культивируемые отдельными членами заводского партбюро? Безусловно, да. Но коммунисты завода не имели права забыть о том, что они сами избрали все партийные бюро и его членов, являясь высшей властью партийного коллектива ЗВШС в лице общезаводского партийного собрания.

Неправильно вели себя, в частности, коммунисты Смуров, Нижегородцев, Рыбаков. Молчать им было нельзя.

Положение на заводе очень серьёзное. При таком положении не отделаешься перестановкой одного человека, осуществив, скажем, давнишнюю мечту Вартаняна стать заместителем директора ЗВШС по снабжению. Разве дело в одном человеке, даже если он секретарь партийного бюро? Всю партийную работу надо перестроить, весь партийный коллектив привести в движение.

На XII Московской городской партийной конференции товарищ Е. А. Фурцева в своём докладе сказала:

— Как могут партийные организации заводов 2-го часового, внутришлифовальных станков, «Компрессор» терпимо относиться к тому, что около половины и даже до 70 процентов продукции выпускается в третьей декаде.

Коммунисты ЗВШС не могут не знать, что их завод поставил такой «рекорд», который намного перекрыл цифры, названные Е. Фурцевой. В октябре 1955 года ЗВШС выпустил в третьей декаде 75 процентов продукции, в сентябре — 96 процентов, в декабре — 97 процентов. А в ноябре на третью декаду пали все сто процентов продукции. Партийная организация завода относилась к этому терпимо, и не только к этому. Сильный коллектив коммунистов проявил недопустимую слабость.

Партийная организация ЗВШС обязана дать партии ответ делом. Коммунисты ЗВШС должны научиться доводить любое дело до конца, выполняя свой партийный долг.

Неисчерпаемые силы

Взгляните на работу прецизионщиков, и вы увидите красоту человеческого деяния, совершаемого с предельным умением и поистине огромной любовью. Работа идёт в пределах микрон — одной тысячной миллиметра! Люди создают филигранно обработанные детали. Люди из тысяч деталей собирают станки, умеющие работать с изумительной точностью.

Пойдёмте из цеха в цех. Мы будем окружены людьми, о которых хочется рассказать. У всех этих людей есть одна общая черта: они любят свой завод, вот тот, который есть, и трижды тот, который будет. Их любовь к заводу — конкретное проявление их любви к Родине.

О ком рассказать в первую очередь? Это очень трудно решить. Пожалуй, начнём с Ивана Ивановича Куркина, слесаря-сборщика резьбошлифовальных станков. Он «всего лишь» двадцать девять лет работает на ЗВШС. Он один из тех рабочих, которые теплом сердца и рук вынырнули в своё время станок «582» — первый советский прецизионный станок.

Иван Куркин — профессор своего дела. Когда глядишь, как он трудится, испытываешь великое удовольствие: работает он красиво. Особенно красиво в нём то, что он сам получает удовольствие от своей работы. На заводе говорят так: «Куркин не умеет делать плохо, попросту не умеет».

Иван Иванович привык к микронной точности. Его товарищи, шутя, изрекли нешуточную истину: если Куркину поручить сделать деревянный стол, он и его сделает в микронах.

Сто процентов продукции отличного качества. Двести пятьдесят — триста процентов нормы — средняя производительность. К этому нельзя не прибавить, что в первой половине любого месяца он не выполняет и нормы. Очень обидно, а факт. Иван Куркин не виновен в этом, но от этого ему не легче, да и всем другим рабочим. Если бы не штурмовщина, он мог бы выполнять вдвое больше того, что он выполняет, и без всяких сверхурочных.

Иван Иванович любит трудные задания: увеличивается удовольствие, испытываемое им от работы. Более того, он сам «ужесточает», как выражаются прецизионщики, задания, когда это нужно для пользы дела. Он предложил ведущему конструктору М. Баркагану ужесточить точность изготовления важного узла с трёх микрон до одного микрона. Делать это будет Куркину труднее, но зато узел наверняка станет хорошо работать, предельно хорошо, прецизионно.

Любопытные вещи происходят на заводе. Их не мешало бы заметить тем, кто согласно мнению, оставшемуся от старины, представляет, что рабочий всегда ищет работу полегче, борется против любого увеличения нормы выработки, — словом, ловчит, как может. Такие люди не понимают, что такое советский рабочий. Органическое чувство справедливости присуще ему, чувство, соединённое с любовью к выполняемому им делу, значение которого для Родины он знает, понимает, ценит. Он работает на советское общество, трудится во имя торжества коммунизма. Для него это не слова, а сама жизнь.

Вникнем в суть спора, происшедшего между заместителем начальника цеха № 3 Поповым и нормировщиком. Попов утверждал, что нормировщик устанавливает слишком большую норму выработки шлифовщику Сухарникову. Спор затянулся. Нормировщик предложил вызвать Сухарникова, чтобы послушать, что он сам думает. Шлифовщик ответил сразу: нормы правильные, справедливые. Но тут же добавил, обращаясь к товарищу Попову:

— Давайте только работы досыта, а за нами дело не станет...

С большой похвалой отзываются конструкторы о слесарях-наладчиках, помогающих им в решении технических вопросов. Значение этого сотрудничества прекрасно определил Лихачёв, расточник-испытатель цеха № 5:

— С инженерами живём дружно, иначе нельзя.

Рядом с рабочими, достигшими высокого умения в результате многолетней практики, растёт заводская молодёжь — юноши и девушки, для которых с молодых лет соединение учёбы и работы на производстве стало закономерным явлением.

О том, сколько замечательных рабочих на ЗВШС, может рассказать наша встреча с председателем цехкома А. Александровым. Он с увлечением, уважением, прямо с энтузиазмом начал указывать то на одного, то на другого рабочего цеха № 3, награждая их эпитетами: «замечательный», «хороший», «прекрасный работник». О нём самом, шлифовщике-доводчике зеркальных валиков, это же самое сказали другие. Учителем

и сменщиком Александрова является А. Першин, член партийного бюро завода.

С великой радостью отметим непреложный факт: коммунисты ЗВШС являются в любом цехе воистину ведущими производственниками, художниками прецизионного станкостроения. Попросите назвать фамилии коммунистов-рабочих и коммунистов-мастеров, работа которых достойна восхищения, — и со всех сторон послышатся возгласы: «Володин! Крутиков! Трейеров! Формальнов! Дребков! Леонов! Галкин!» Это названы сверловщик, строгальщик, расточник, токарь, слесарь, сборщик, каильщик.

Рабочий класс на ЗВШС золотой...

Среди конструкторов завода множество прекрасных работников. Правильно организовать и направить работу конструкторов ЗВШС — и технический прогресс пойдёт на заводе вперёд семимильными шагами. Производственные дела каждого сегодняшнего дня от этого не пострадают...

Труд сорока семи технологов завода, большинство которых составляют товарищи со средним техническим и инженерным образованием, может обеспечить все стороны отработки технологических проблем, возникающих на заводе, касаются ли они текущей производственной работы или перспективного создания прецизионных станков. Правильно организовать и направить работу технологов — и будет сломлен технический регресс, пока что имеющийся в производственной и творческой жизни ЗВШС.

Рабочие завода многократно повысили свою квалификацию, что имеет огромное значение для роста выпуска продукции. Выросли опытные, квалифицированные кадры строителей прецизионных станков. Приходит новый рабочий на ЗВШС — и может сразу получить в полное распоряжение опыт Куркина, Першина, Сухарникова. Быстро воспринимай — тебя с удовольствием научат.

Вывод из всего этого один. Силы коллектива завода неисчерпаемы. Его возможности исключительно велики. Надо так организовать производственную и общественную жизнь ЗВШС, чтобы дать возможность могучим силам его коллектива проявиться во весь размах.

Нимало не исчерпав того материала, который собран нами, мы сильно рассказали о наших встречах с техническим прогрессом на заводе прецизионных станков. На ЗВШС фигуры он не имеет, стать реальным существом ему препятствует множество причин. Надеемся, что о главных из них вы представление получили, товарищи читатели.

Но нельзя не сказать и ещё об одной из этих причин, пока что не обрисованной в нашем очерке. Она представляет собой болезнь, таящуюся не только в организме ЗВШС. Эта болезнь распространена и на других заводах страны, её симптомы ярко обнаруживаются в речах многих товарищей. К сожалению, эти речи не столь безвредны, как кажется, когда они произносятся часто — и не только на праздничных собраниях, а в буднях, рядовых заводских буднях. Символ, лозунг, знамя этой болезни мы выносим в заголовок следующей главы.

Незабываемая консервная банка

Все свои рассказы о ЗВШС А. Вартамян начинает с торжественного сообщения о том, что когда-то в тех помещениях, в которых сегодня размещаются цехи завода, производились консервные банки.

Сим обстоятельством он настолько умилён, что распространяется на эту тему невероятно долго. Ну, добро бы это было только в частных беседах. Нет! Пафосный рассказ о консервной банке начинал или кончал выступления Аругюна Согомоновича Вартамяна на конференциях, и на

совещаниях, и в цехах. Смотрите на нас! Вот мы какие! Там, где раньше... и всё прочее такое.

Казалось бы, нет ничего плохого в том, что демонстрируются на наглядном примере великие достижения Советской власти. Но в устах товарища Бартаняна разговор о консервной банке имеет совсем не тот смысл. Этот разговор обращён целиком к внутренним делам ЗВШС. Он повторяется настолько часто, что в нём выявляется тенденция, тенденция вырастает в систему, система — в философию!

У проповедников этой философии есть две цели.

Одна из них заключается в том, чтобы провозгласить: оцените наши заслуги, мы делаем прецизионные станки, которые в сравнении с консервной банкой — что электронная машина в сравнении с телегой.

Другая цель заключается в том, чтобы сказать: да стоит ли такое внимание обращать на наши недостатки, если мы делаем не пустяковые консервные банки, а сложнейшие станки!

Вот так ни в чём не повинная консервная банка превращается то в гранитный фундамент самовозвеличения, то в щит от критики. Вот так превосходное сопоставление, иной раз законно звучащее на юбилее, превращается в опасную «философию», жалкую, вредную.

Главный вред её (особенно для технического прогресса) заключается в том, что она вся обращена в прошлое. Глашатай такой «философии» охотно сравнивает прецизионные станки с консервной банкой. Он не сравнивает станки, производимые ЗВШС, с теми прецизионными станками, которые находятся на самом высоком уровне современной техники, превзошли станки, создаваемые ЗВШС. Он не сравнивает свои, теперь уже отсталые станки с теми образцами, мысль о которых рождает острое творческое беспокойство и гигантскую энергию, чтобы найти пути к созданию ещё более совершенных станков, стремление победить и непрерывно побеждать в соревновании с зарубежными прецизионщиками.

Философ консервной банки стоит перед техническим прогрессом с головой, повернутой назад.

Ручаемся за то, что вы, читатели, если работаете на заводе, тоже слышали выступления, в которых участвовал какой-нибудь синоним консервной банки. Сия философия принесла огромный вред заводу прецизионных станков, принесла вред многим другим заводам.

Разум и сердце рабочего коллектива нацеливаются на непрерывное движение по пути технического прогресса тогда, когда то, что производят сегодня рабочие руки, сравнивается с лучшим, совершенным, более производительным, передовым, а не с каким-нибудь видом консервной банки.

Мы шагнули вперёд. Мы совершили чудеса. Но перед нами ещё более величественные задачи, ещё более прекрасные, трудные свершения.

Прошлое знай, а назад не гляди:

Главное дело — всегда впереди!

★ ★
★

Без технического прогресса невозможно достигнуть целей, выдвинутых планом шестой пятилетки. А корни технического прогресса ветвятся в станкостроительную индустрию.

Не все станкостроительные заводы вступили в шестую пятилетку одинаково хорошо подготовленными. Не все они сумели организовать свою производственную жизнь так, чтобы технический прогресс был в ней ведущим началом, как этого требует партия.

Технический прогресс в нашей стране имеет немалые успехи. Если бы внутри самой станкостроительной промышленности был по-настоящему организован обмен драгоценным опытом её передовых заводов, темпы технического прогресса в ней возросли бы многократно.

Немало в стране станкозаводов, где идёт непрерывное улучшение всего, что ими сделано, и непрерывное создание конструкций таких станков, которые стоят на самом высоком уровне современной техники. На этих заводах творческой инициативе масс открыт широкий путь, новаторы и изобретатели работают в полную меру своих сил. Таким заводам есть что показать, у таких заводов есть чему научиться.

И очень обидно, что иные предприятия станкостроения, на которых техническому прогрессу плохо живётся и трудно дышится, не хотят и не умеют учиться. Не хотят — потому что они свыклись с плохим. Не умеют — потому что они только скорбят об отсутствии у них технического прогресса, а до него рукой подать!

Дорога к техническому прогрессу иногда бывает очень... короткой. Для того чтобы убедиться в этом, выйдем из ворот ЗВШС и покинем Павелецкую набережную. Воспользуемся транспортными средствами, которые предоставил в наше распоряжение Моссовет: автобус, метрополитен, трамвай. Минут через двадцать пять мы у цели.

Пятый Донской проезд. Перед нами Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе...

О творческих буднях этого завода — ЗИО — мы расскажем в следующем очерке.

Ноябрь 1955 г.—февраль 1956 г.



ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН

★

ТРУДНАЯ ВЕСНА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ *

6

Три представителя из области, что сидели в райкоме, когда Бывалых пытался созвониться с Медведевым и предотвратить созыв чрезвычайного открытого собрания в колхозе, были один из секретарей обкома партии Масленников и заместитель председателя облисполкома Рыбкин.

Они задержались в районе на несколько дней, ездили с Медведевым в колхозы, приехали и в Надеждинскую МТС. И здесь, в кабинете Долгушина, при закрытых дверях, в присутствии лишь Холодова (Марья Сергеевна была на поле в тракторных бригадах), и завязался, слово по слову, разговор о партийном собрании в колхозе «Рассвет», вылившийся в нагоняй Долгушину.

— Что-то вы, товарищ директор, очень чистенько выглядите, — заметил Рыбкин после нескольких обычных при таких приездах вопросов: о количестве работающих в борозде тракторов, о ходе сева, о подкормке озимых.

— Чистенько выгляжу? — удивился Долгушин замечанию Рыбкина и даже провёл ладонью по гладко выбритой щеке. — Это, вероятно, потому, что каждый день умываюсь.

— По вашему костюмчику не похоже, чтобы вы близко соприкасались с тракторами.

Долгушин был одет в недорогой, расхожий, купленный в местном сельпо костюм из полушерстяной ткани «под коверкот», сшитый не очень ловко, но хорошо выутюженный. Как всегда, был в довольно свежей сорочке, при галстукке, повязанном с каким-то особенным «столичным» шиком. За его спиной на вешалке висела новая ещё, не потёртая и не замызанная стёганка защитного цвета, в которой он недавно приехал с поля. На ногах — жёлтые модельные туфли: забегал на квартиру пообедать и успел переобуться. Шапку Долгушин носил лишь зимой, в морозы, остальное время года ходил с непокрытой головой, красуясь пышными, чёрными с проседью кудрями. Некоторое щегольство чистой, нарядной одеждой было, видимо, у него в крови, на четверть цыганской.

— Разрешите, товарищ Рыбкин, понимать ваши слова буквально, — ответил Долгушин. — Близко соприкасаться с тракторами — это значит разбирать, собирать моторы, залезать под картер. Но зачем же мне это делать? У нас есть главный инженер, заведующий мастерской, разъездные механики, бригадиры. Не обязательно мне обтирать полый этого пиджака магнето и свечи. Стараюсь обходиться без подмены наших специалистов.

— Колючий вы человек, — переглянувшись с Медведевым, сказал,

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 3 с. г.

улыбаясь, Маслеников, добродушный на вид толстяк в широком сером макинтоше и зелёной плюшевой шляпе.

— Не всегда колючий, — не согласился Долгушин. — Только при виде опасности.

— Какая же опасность вам угрожает сейчас?

— Да вот разговор начинается с замечаний, почти выговора. Настраиваюсь на оборону. Мне ставят на вид то, что у меня нос не в мазуте. Директор-белоручка — это я уже слышал от некоторых товарищей. Однако менять свой стиль работы не собираюсь. Под трактором вы меня никогда не увидите, даю слово! Заставлю это сделать кого нужно, но сам не полезу.

— Всё-таки большой оригинал у нас директор МТС в Надеждинке! — залился тихим смехом Рыбкин, маленького роста человек, с большой лобастой головой и плечистой, сутулой, квадратной фигурой. — Вы первый раз его видите, Дмитрий Николаевич? — обратился он к Масленикову. — А в управлении сельского хозяйства он уже стал притчей во языцех. Никто, говорят, не хочет брать командировку в Надеждинскую МТС. Ему — слово, а он в ответ — двадцать. Ужас навёл на людей!

— Не знаю, кто на кого наводит ужас, — пожал плечами Долгушин. — Прав моих не хватает, чтобы навести ужас на вышестоящий орган. А вот я уже получил пять взысканий по приказам начальника областного управления.

Долгушин положил руки на стол перед собой и стал загибать пальцы.

— За перерасход ремонтного фонда выговор — раз. Хотя виноват не я, а бывший директор очковтиратель Зарубин. За непринятие на должности заведующего ремонтной мастерской рекомендованного из области инженера — два. Хотя этот человек здесь, в кабинете, упал на колени и умолял, чтобы я под каким угодно предлогом не принял его, вернул назад, домой, к семье. У него, говорят, жена красавица, и он боится, что она не переедет сюда с ним. И оставлять её одну в городе надолго не решается. Зачем нам такие нежные домоседы? Это уже два выговора?.. За вывоз удобрений из Каменского района, где колхозы не брали...

— Не трудитесь считать, товарищ Долгушин, — перебил его Маслеников. — У нас не вечер воспоминаний. Нас интересует не прошедшее, а то, что делается у вас сегодня.

— Это прошедшее, Дмитрий Николаевич, — сказал Долгушин, — не вековой давности. К сожалению, это и прошедшее и наше настоящее. Это и есть та обстановка, в которой приходится работать нам, новым директорам. Директора новые, а методы руководства машинно-тракторными станциями старые... Я начал здесь с укрепления трудовой дисциплины и повышения ответственности каждого работника станции за его участок работы. Мне пришлось уволить из МТС двух закоренелых бездельников, агронома и механика. Беспробудное пьянство, враньё в донесениях, всякие пакости в коллективе. Выгнали их. На место механика выдвинули одного тракториста, должность агронома-энтомолога пока не занята. Двум бригадирам на ремонте я за частые опаздывания на работу объявил выговор. И мне поставлено на вид, что я разгоняю кадры и администрирую. Двух человек уволил, — по законной причине, и профсоюз согласился с моим приказом, — и дал по выговору двум человекам — это сочли администрированием. А мне одному за пять месяцев пять выговоров из области закатили! Да на бюро райкома дважды записывали: «поставить на вид», «строжайше предупредить». Если я администрирую, то это лишь десятая часть того администрирования, которое я испытываю сам на своей собственной шкуре! За что же меня наказывать?.. По-моему, я заслуживаю даже благодарности — за стойкость характера и выдержку. За то, что не переносу на своих подчинённых полностью тех методов руководства, что обрушиваются на меня самого.

Долгушин усмехнулся пришедшему в голову сравнению и добавил: — Нахожусь в положении буфера между руководящими организациями и трактористами. Принимаю на себя все удары, но не передаю их дальше с той же силой, стараюсь по возможности смягчить.

Маслеников хмурился, а по лицу Медведева скользила лёгкая сдержанная улыбка. Он, видимо, был доволен тем, что Долгушин произвёл неприятное впечатление своей «колючестью» на секретаря обкома.

— Хотите, Дмитрий Николаевич, скажу вам всё, что думаю о стиле руководства нами, низовыми работниками, со стороны вышестоящих организаций? — разошёлся Долгушин. — Я ведь новый человек в вашей области, мне кое-что, может быть, даже виднее на свежий глаз, чем старожилам.

— Ну-ну, говорите, послушаем, — кивнул головой Маслеников.

— Поражает меня, с одной стороны, простите за выражение, гнилой либерализм по отношению к тем, кого нужно гнать из партии, к прохвостам, примазавшимся, — я уже видел таких в нашем районе немало, — а с другой стороны — бурное администрирование над людьми, честно работающими, но в чём-то, может быть, иногда и ошибающимися. Негибкие, дубовые методы руководства. И тому, чьё место в тюрьме, — выговор, и тому, кто не по злому умыслу ошибся, — тоже выговор. Какой-то общий стандарт. Партийные и административные взыскания как единственная форма воспитания низовых работников. Очень упрощённая и облегчённая система руководства. По такой системе можно руководить и не напрягая особенно мозги. Но ведь в том и отличие работников умственного труда...

Из бухгалтерии постучали в стену. Долгушин снял телефонную трубку. Звонил Руденко из колхоза «Вехи коммунизма», просил направить к нему главного агронома МТС для обследования полей клевера и определения участков, подлежащих распахке. Долгушин ответил, что завтра утром сам приедет к нему с главным агрономом Кудрявцевым, так как, убедившись в робости Кудрявцева, он не надеется, чтобы тот один решил это дело правильно: без паники, с наибольшей хозяйственной выгодой для колхоза.

Холодов, встретившись взглядом с Маслениковым, повёл искоса глазами на Долгушина, чуть заметно кивнул головой в его сторону, как бы говоря: «Какой бюрократ, полюбуйте! Не берёт трубку, пока из той комнаты не постучат ему».

— Вот так, Дмитрий Николаевич. Я недавно работаю в деревне, для меня здесь многое ещё непонятно, — положив трубку, продолжал Долгушин. — Я не знаю, каково положение было здесь до колхозов, в первые годы коллективизации. Может быть, это увлечение администрированием идёт ещё с тех времён? Когда в деревне была жестокая классовая борьба, когда к руководству колхозами пробирались кулаки, председатели прятали хлеб в «чёрных амбарах», саботировали решения партии? Когда без большого нажима не проходила ни одна кампания? В то время многие строгости, конечно, оправдывались чрезвычайной обстановкой. Так вот, может быть, с тех пор по инерции и повелось у нас эти излишества в администрировании? Всё ещё с некоторым недоверием относимся к местным кадрам? Нужно и не нужно — грозим, страшаем, нажимаем...

Помолчав немного в раздумье, Долгушин добавил:

— Нет, это, конечно, полностью не объясняет вопроса. Всё же, помнится, в те времена не было такой примиренческой середины: и тем и другим по выговору. С чужаками и шкурниками, пробравшимися в партию, не нянчились. Были периодические чистки партии...

— Вы кончили, товарищ Долгушин?

Маслеников снял шляпу, положил её на стол, потёр ладонями пухлые круглые колени.

— Надо отдать вам должное — человек вы последовательный. Всё, что рассказывали о вас товарищи, и то, что я сейчас услышал сам, всё это — продолжение одной линии. Вы против какого бы то ни было вмешательства сверху в дела вашей МТС.

Долгушин, широко раскрыв глаза, попытался было возразить.

— Погодите. Мы вас слушали терпеливо.

Масленников тяжело повернулся на заскрипевшем под ним стуле, выпрямил спину. Добродушно-сонливое выражение сошло с его красного округлого лица. В уголках большого рта появились жёсткие линии. Подбородок стал каменным, чуть выдался вперёд. Долгушин же как-то сразу сник, отвернулся, стал глядеть в окно. Этот новый человек из верхушки областного руководства, с которым он до сих пор ни разу ещё близко не встречался, потерял для него интерес.

— Да, да, вы восстаёте против нашей социалистической системы руководства и управления хозяйством. Вы хотите, чтобы райком и областные организации не давали вам никаких директив, чтобы вам здесь была полная свобода действий. Не выйдет, дорогой товарищ Долгушин!

— Не выйдет! — подтвердил, протирая очки носовым платком, сурово нахмурившись, Медведев. — Руководили и будем руководить! Ослабить организующую и направляющую роль партии никому не удастся!

Масленников поднялся, откинул ногой стул к стене и тяжёлыми шагами, от которых задребезжали стёкла в окне, стал ходить из угла в угол по тесному кабинету.

— Выговоров, видите ли, много ему записали! Областные организации администрируют! Обижают, унижают человека! Лучше надо работать — вот и меньше будет выговоров!.. Да откуда вы, собственно, взялись у нас, такой самостийник? Кто вас выдвигал, рекомендовал на ответственный пост в деревню? Надо всё-таки, — Масленников остановился перед Медведевым, — проверить, запросить Московский Комитет. Как он там работал в главке?

Кровь бросилась в лицо Долгушину.

— В райкоме партии лежит моя учётная карточка. Там вся моя жизнь записана — где и как я работал, — сказал он, подняв голову.

— Да знаем мы, как у нас иногда учётные карточки заполняют! Хотя избавиться от ненужного человека и отпускают его с чистым личным делом, лишь бы уехал поскорее. Скатертью дорожка! Выдвижение называется! А у этого «выдвиженца» хвостов, как у маршала Жукова орденов!

— Помнит свекруха свою молодость — и невестке не верит, — вырвалось у Долгушина.

— Что?..

— Сами, что ли, выдвигали так коммунистов из своей парторганизации, по развёрсткам Цека?..

— Вы с кем разговариваете, товарищ Долгушин? Не забывайте! — почти прикрикнул на него Медведев.

— Разговариваю с секретарём обкома, которого высокое положение обязывает тем более вести себя достойно и не оскорблять незаслуженно коммуниста.

Изумлённый Масленников не нашёлся, что ответить, постоял немного у стола, глядя в упор на Долгушина, громко крикнул, как после хорошей стопки водки, и принялся опять ходить по кабинету. Неловкая пауза тянулась несколько минут.

— Интересно получается, что вот он, — заговорил Масленников, указывая через плечо большим пальцем на Долгушина, — протестует против повседневного оперативного руководства сверху машинно-тракторной станцией, и в то же время он — за очень широкие права директора. Права директивных организаций ему хотелось бы поубавить, а свои — раздуть до бесконечности! Ко мне не лезь никто, не признаю над собой никаких

начальников! А я буду лезть всюду, буду командовать колхозами, как мне вздумается!

— Именно этого он и добивается — полной бесконтрольности и диктаторства в зоне своей МТС, — сказал Медведев. — Вы очень правильно подметили, Дмитрий Николаевич!

— Вообще товарищ Долгушин любит заниматься не своим делом, — подал голос Холодов. — Вызывает, например, рабочего, члена партии, и начинает беседовать с ним: «Я говорю с тобой, как с коммунистом». Кто вас обязывает, Христофор Данилыч, говорить с ним, как с коммунистом? Говорите с ним просто как с рабочим, а как с коммунистом мы сами с ним поговорим!

Сказано это было так неудачно, что Долгушин, как ни грустно было ему в эти минуты, даже улыбнулся. Рыбкин откровенно засмеялся, покачал головой. Маслеников досадливо махнул рукой на зонального секретаря.

— Это пустяки, товарищ Холодов, не об этом речь! Вы нетипичный пример привели. В вашей МТС директор взял на себя вообще все функции зональной группы!

— Что вы имеете в виду, товарищ Маслеников? — спросил Долгушин.

— Да вот хотя бы это знаменитое партийное собрание, что вы провели здесь на днях без ведома райкома в одном колхозе.

— А, вот что. Ну, по этому вопросу я готов держать ответ где угодно. С этого бы и начинали — ближе к делу, — а не с моего чистого костюма.

Долгушин открыл ящик стола, достал оттуда три исписанных тетрадных листка бумаги.

— Вот посмотрите, передали мне вчера из этого колхоза «Рассвет». Заявления о вступлении в партию. Простите, Григорий Петрович, — он взглянул на Холодова, — не успел вручить их вам — не видел вас ещё со вчерашнего дня. Секретаря парторганизации там сейчас пока нет, а товарищ Зеленский, видимо, где-то в другом колхозе своего куста, и заявления передали прямо в МТС. Одно — от Прасковьи Зайцевой, лучшей, как я успел заметить, работницы у них на животноводстве. Другое — от кузнеца Тихона Сухорукова. Третье — от колхозницы Надежды Ивановны Прониной, матери погибшего на фронте Героя Советского Союза Николая Пронина. Три заявления о вступлении в партию от рядовых колхозников. Вот что происходит там сейчас, после этого собрания... А вообще в районе, насколько мне известно, за последние годы очень мало было принято в партию рядовых колхозников. Единицы. Так, товарищ Медведев?

Заявления пошли по рукам. Особенно долго и внимательно, одобрительно покачивая головой, читал их Рыбкин. Маслеников, прочитав, передал заявления Холодову.

— Это всё хорошо, товарищ Долгушин, но вы не отвечаете прямо на вопрос: кто вам, директору МТС, хозяйственнику, дал право подменять партийные органы? Вы там сняли секретаря колхозной парторганизации, исключили из партии председателя колхоза, учинили новые выборы правления, чёрт знает чего натворили, и всё это самовольно, не испрашивая ни у кого разрешения на эту операцию!

— Во-первых, не я снимал и исключал, — напрягая все душевные силы, чтобы сохранить спокойствие, ответил Долгушин. — Я вносил предложения, а решало собрание. Во-вторых, и товарищу Медведеву и товарищу Холодову давно было известно о положении в этом колхозе. Я несколько раз просил их заняться «Рассветом». Время шло, упустили зиму, приступили наконец уже к севу. А вы лучше меня знаете: что посеешь, то и пожнёшь. Если колхоз провалит сев, весь хозяйственный год загублен. Ещё, стало быть, на год оставим там людей без урожая, без хлеба, без денег. Пришлось ехать туда самому. И то, что я увидел там на месте, что услышал от колхозников, в чём убедился сам собственными глаза-

ми, — это уже было последней каплей. Тут я, простите, забыл о своих правах, хватает или не хватает моих директорских прав для созыва такого собрания, тут я действовал просто, как коммунист.

— Просто как коммунист! Ха! — Маслеников продолжал сотрясать стены кабинета тяжёлыми шагами. — Да вы понимаете, что вы там чуть ли не чистку партии учинили? Где, в каких инструкциях записано, чтобы на открытом партийном собрании ставился вопрос об исключении из рядов партии коммунистов?..

— У них там беспартийные даже голосовали на собрании, — добавил Холодов. — В протоколе записано.

— Даже голосовали? Ещё лучше! Старый член партии, не знаете устава партии, в которой состоите!

Долгушин поднялся, подошёл к окну, распахнул его — в кабинете было душно и сильно накурено, атмосфера сгушалась во всех смыслах, — присел на подоконник.

— Если я ошибся по форме, то неужели же вас, Дмитрий Николаевич, совершенно не интересует существо дела? Почему вы начинаете с формы, а не с главного, что было в колхозе и что вынудило меня к таким действиям? Разве вы не согласны, что тех мерзавцев действительно нужно было гнать с позором из партии? Воров, спекулянтов, пропойц? Сейчас там, за эти дни после собрания, ещё много нового раскрылось. Развязались языки. Стали люди говорить обо всём, не боясь. Уже известно и кто телятник спалил. Дело кончится судом над целой шайкой грабителей!.. Но я думаю, что и по форме всё было сделано правильно. То, что мы вынесли на открытое партийное собрание такие вопросы, — именно это и помогло там начать оздоровление обстановки. Вы что, боитесь подрыва авторитета партии? Так в этом же и сила и авторитет партии — в связи её с народом! Когда мы открыто говорим о своих промахах и болезнях, на глазах у людей очищаемся от всякой дряни — это лишь поднимает доверие народа к партии.

— Может быть, для связи с народом и пленумы и партийные конференции наши предложите проводить открыто?

— Да, да! — подхватил Медведев. — Вообще, растворить партию в массах! Отсюда один шаг и до ликвидаторства!

Долгушин чувствовал, что его слова падают, как в вату, но всё же продолжал говорить.

— Буду доказывать где угодно, что и с Бывалых поступили правильно! Нельзя в таких случаях формально подходить к делу. Человек, мол, недавно только послан председателем, как же его снимать, а тем более исключать из партии? Ну, а если с посылкой его в колхоз действительно ошиблись? Что ж теперь, людям там вечно терпеть последствия этой ошибки? Недавно послан, да, но уже успел показать себя во всей красе. Нет надобности ещё три года к нему присматриваться. Человек может и в один день вдруг раскрыть свои душевные тайники — в трудной обстановке. Как трус или перебежчик на фронте. Бросил винтовку, поднял руки — вот и всё уже ясно.

— Я думаю, товарищ Долгушин, — перебил его Маслеников, — придётся всё же вытащить вас с этим делом на бюро обкома.

— Зачем же меня «вытаскивать»? Позвоните — сам приеду.

— Райкома вы, как видно, совершенно не боитесь. Вероятно, здесь сказываются ваши прошлые московские масштабы работы. Но вам и на обком наплевать! Вы даже забыли, что председатели колхозов — в областной номенклатуре!

— Эх, Дмитрий Николаевич! Если бы вы тогда со мной в «Рассвете» походили по фермам, бригадам, поговорили с колхозниками, посидели на том собрании, и вы бы забыли, в чьей номенклатуре Бывалых!..

Долгушину вдруг стало невыносимо обидно за себя, за те хорошие, светлые чувства, с которыми он ехал из Москвы на постоянную работу в деревню, за то небольшое ещё пока, что он успел сделать в МТС и колхозах.

— Выражения у вас, товарищ Маслеников!.. — сказал он с горькой усмешкой. — «Вытащим на бюро». В какое-то пугало превращаете бюро обкома!.. А мне бы хотелось приезжать в обком, как в дом родной, за советом, помощью, тёплым, ободряющим словом...

Долгушин соскочил с подоконника, заметив, что Маслеников, переглянувшись с Медведевым, взялся было за шляпу.

— Нет, погодите! Я ещё имею кое-что вам высказать. Вы здесь предъявили мне тяжкое обвинение, что я вообще против какого бы то ни было руководства со стороны директивных органов. Такие вещи нельзя оставлять без ответа. Ведь это же всё равно, что обвинить меня в эсеровщине, скажем, или махаевщине. О ликвидаторстве уже говорилось... Присядьте, Дмитрий Николаевич, ещё на минутку. Я не вижу вашей машины во дворе. Вы же отпустили шофёра пообедать?

Долгушин сел за стол, вытащил из ящика несколько толстых тетрадей в клеёнчатом переплёте, полистал их.

— Не часто мы видим у себя в МТС секретарей обкома. Много рассказал бы я вам. Это мои дневники. С первого дня начал записывать всё, что видел, узнавал, думал. Но это надолго разговор. Я вижу, вы торопитесь...

Долгушин, вздохнув, спрятал тетрадки обратно в стол, задумался.

Хотя он среди собравшихся в его кабинете людей находился в положении лица подначального, тем более провинившегося, которому делают выговор, обязанного больше слушать, чем говорить, невольно всё же как-то получалось, что разговор вёл он. И даже когда он умолкал на минуту, ждали, что он ещё скажет. Самая тема разговора и упорство Долгушина заставляли его слушать. И неприятно было то, что он говорил, и всё же слушали.

— Сколько встаёт перед нами каждый день таких вопросов, с которыми нам самим трудно справиться или где нам нужен дельный совет! Не знаю, есть ли ещё человек на свете, который бы так горячо желал, чтобы им руководили, как желаю в эту весну я! Но руководили по-настоящему!.. Вот трактористов мы зачислили в штат МТС. Но разве этим и кончается превращение колхозника-механизатора в настоящего советского рабочего?.. А хозрасчёт? Вероятно, машинно-тракторные станции будут скоро переводить на хозрасчёт, надо же наконец взять на карандаш себестоимость продукции. Но хозрасчёт в условиях нынешнего сельского хозяйства, такой вот двойной ответственности за урожай и работников МТС и колхозников, это совершенно не похоже на промышленность... А севообороты? А вопрос о переднем крае в колхозах?..

— Это ещё что за передний край? — спросил Маслеников.

— Как на фронте передовая проходит извилисто, а не всюду ровно по линейке, так и в колхозах сейчас передний край нового не на одной черте. В нашей зоне двенадцать колхозов — и все разные по своему уровню организованности, дисциплины, культуры. Этот колхоз вряд ли ещё справится с такой-то задачей, а другому она как раз по плечу. Для одного колхоза это увлекательная мечта, рывок вперёд, для другого — скучный пройденный этап. Давать сейчас одинаковые задачи всем колхозам — всё равно что собрать в лекторий людей с разным образованием: и за три класса, и за десятилетку, и за два курса университета — и начать читать им всем лекции о методе меченых атомов в химии. Опёнкин во «Власти Советов» дошёл уже до расщепления атомного ядра, этому можно уже и за антипротоны браться. А кой-кому следует таблицу умножения хорошенько повторить. «Власть Советов» может сегодня приступать уже к

строительству соцгорода на месте старого села. На текущем счету у них свободных средств три миллиона. Круглосуточные детские ясли, детсады, Дворец культуры, радиоузел, водопровод, колхозный санаторий — на всё хватит у них сил. Этот колхоз может уже в полной красе показать всем новую жизнь нашей деревни. Пора ему уже блистать не только высокими урожаями и образцовыми коровниками, а именно — счастливой жизнью людей! На могучие плечи Опёнкина и ношу богатырскую! А где-то в другом колхозе надо добиваться пока ещё хорошего выхода на работу и хозяйского отношения всех колхозников к общественному добру... Даже болезни у отстающих и у передовиков не одинаковые. Сегодня мы распутываем этот клубок преступлений в «Рассвете», а завтра надо что-то делать с колхозом «Спартак».

— А что случилось в «Спартаке»? — осведомился Медведев.

— Ничего особенного, Василий Михайлович, кроме того, что колхоз свернул с социалистического пути куда-то на купеческий путь.

— Что-о?..

— Да так. Колхоз этот у вас считали много лет благополучным. Постановки выполняют, на трудодень выдают прилично, миллионеры — чего ещё надо? И товарищ Мартынов, естественно, редко туда заглядывал, и вы, очевидно, полагаете, что в «Спартаке» районным руководителям не над чем ломать голову. Побольше бы, мол, таких хозяйственных председателей, как Золотухин. Мне тоже, когда я приехал сюда, расхвалили этот колхоз. По десяти рублей на трудодень дали, семь автомашин имеют, у председателя — «Победа». А недавно я там был, посмотрел хозяйство, посидел вечер в бухгалтерии и разобрался в источниках колхозных доходов. Животноводство у них средненькое, урожаями не блещут. Выезжают на некоторых прибыльных вещах — на чесноке, конопле, клубнике. И — умеют продать свой товар. Куда что повезти, чтобы выгоднее продать, — этому их учить не надо. Как в бюро погоды сходятся из разных областей Советского Союза метеосводки, так у Золотухина на столе в кабинете каждый день свежие телеграммы — где что почём на колхозных рынках. Но этого мало, что свои продукты продают. Оказывается, колхоз содержит в разных городах целый штат агентов по купле-продаже всего, что под руку попадётся. Накупили лошадей в Ставропольщине, перегнали в Татарию, продали втридорога, заработали на этой операции двести тысяч рублей. В Казахстане покупали баранов, в Харькове торговали молдавским вином, в Ленинграде — кубанским рисом. Это уже похуже, чем просто коммерческие загибы в колхозной торговле. Самое настоящее барышничество... Вы, товарищ Медведев, ломитесь в открытую дверь: «Руководили и будем руководить, не отдадим колхозы никому на откуп!» Никто не посягает на ваши права. Руководите, пожалуйста. Очень просим! Не упускайте из поля зрения и такие колхозы, как «Спартак». Ведь в конце концов все наши хозяйственные планы — для социализма, для воспитания социалистического человека. Нам не всё равно, каким способом наживают председатели эти миллионы. Что там за парторганизация в «Спартаке»? Как позволяют коммунисты Золотухину заниматься такими вещами? Декларируете своё право на руководство, а сами не руководите по-настоящему. Избегаете трудных, щекотливых вопросов, выбираете, что полегче. Если интересоваться только сводками по текущим кампаниям, не много узнаешь о жизни колхозов. Очень отстаёт у нас работа партийных организаций от уровня хозяйственных дел!..

— Значит, вас не удовлетворяет работа наших партийных органов? — с самокритичным смиренным выражением на лице сказал, покачивая головой, Маслеников. — Линия райкома, обкома?..

— Насчёт линии, Дмитрий Николаевич, ничего не могу вам сказать, — ответил Долгушин. — Я её пока не видел. Первый раз разговариваю с

членом бюро обкома. Но думаю, что ваш лично стиль руководства директорами МТС — это ещё не линия обкома.

Во дворе просигналила машина.

— Ну, довольно, поговорили! — Маслеников энергичным, резким взмахом руки оборвал разговор, встал, застегнул макинтош, надел шляпу. — В общем, так, товарищ Долгушин. С севом у вас неважно. Многие МТС, позже вас приступившие к массовому севу, догоняют уже вас по выработке на трактор. Есть факты недоброкачественной пахоты, перерасхода горючего, нарушения трудовой дисциплины. Сделаем так, Василий Михайлович. Подождём до конца сева, подытожим всё и поставим его отчёт. Или на бюро райкома, или, может быть, у нас в обкоме. Вот так. Там поговорим обо всём. До свидания! Советую всё же вам, товарищ Долгушин, меньше философствовать, а больше заниматься практическим делом. И именно вашим кровным делом — тракторным парком, ремонтом комбайнов, механизацией ферм. С колхозом «Рассвет», товарищ Медведев, я думаю, надо всё же довести дело до конца. Бывалых и секретаря парторганизации, которого сняли, вряд ли нужно восстанавливать там, поскольку за ними действительно имеются грехи. Присмотритесь, как будет там работать новый председатель, помогите ему. Если этот зональный инструктор очень настаивает на переводе в колхоз, рассмотрите его заявление. И займитесь колхозом «Спартак». Как же это получается, что вам неизвестны такие факты? Колхоз покупает и перепродаёт скот! Укажите председателю на недопустимость! До свидания, товарищи! Желая успехов!

Долгушин, как гостеприимный хозяин, вышел проводить гостей на крыльцо. Стоял, пока машина отъехала, глядел ей вслед. «ЗИМ» быстро скрылся за поворотом дороги, спускавшейся под гору к реке, но долго ещё курилась в той стороне над улицей пыль и истошно визжала чья-то собака — видимо, попала под колесо.

«Подытожим всё» прозвучало откровенной угрозой. Мало ли можно подытожить промахов и ошибок в огромном хозяйстве МТС, в её восемнадцати тракторных бригадах за всё время весеннего сева? Особенно когда этих промахов ждут и не очень стараются предостеречь от них человека.

7

Тёплым майским днём Марья Сергеевна шла полевой дорогой из Арсеньевки в Березняки. Она так рассчитала своё время, чтобы успеть сегодня побывать ещё в тракторной бригаде Семёна Чалого, а к вечеру добраться домой, в Надеждинку. Завтра рано утром шла машина в райцентр — она хотела съездить на полдня в Троицк, свезти дочку на рентген в районную поликлинику.

На полях цвела весна. Молодая озимь, ещё не тронутая сущью и жарой, жила, играла под солнцем изумрудными переливами чистой, яркой зелени и, когда налетал ветер, уже «пробовала голос», чуть начинала шуметь своей стрелчатой густой гривкой; но солидно покачиваться невысоким ершистым стеблям ещё не удавалось, ветер гнал по ним пока не волны, а мелкую зыбь. Чернели квадраты свежей дымящейся пахоты. Над полевыми болотцами кувыркались, сшибались в воздухе, падали чуть не наземь и вновь взмывали вверх с стнящим криком. чибисы. И в небе и на земле беспрерывно, не умолкая ни на минуту, пели жаворонки. Солнце сияло нестерпимо ярко, весь купол неба над головой как бы излучал потоки света, пушинки, поднятые ветром вверх с какой-то отцветшей ещё прошлым летом старой травы, вспыхивали в небе искорками. Глазам было больно от этого сплошного сияния вокруг.

У поворота дороги к стану тракторной бригады Чалого Марья Сергеевна увидела эмтэсовский «газик». Задок был приподнят на домкрате,

снятое колесо валялось на земле. Вокруг машины похаживал Холодов. Володя, подстелив стёганку, лежал на боку под дифером, силился привёрнуть какую-то гайку.

— Две беды, Григорий Петрович, — сказал Володя, кивком головы здороваясь с подошедшей Марьей Сергеевной. — Баллон-то мы починим, а вот это видите? — Он постучал ключом по железу. — Так нельзя ехать. Не привёртывается гайка до конца, резьба на болту забита.

— Нельзя ехать? А что же ты дома думал?

— Я и дома думал, Григорий Петрович, что этому «газику» давно пора в доменную печь на переплавку. Одно отрегулируешь — другое не годится.

Холодов с сердцем плюнул. Володя вылез из-под машины, задумчиво повертел в руке болт с гайкой, оглянулся вокруг. Вдали, километрах в четырёх, у небольшого леска, виднелся полевой вагон тракторной бригады Чалого. Возле вагона маячило что-то вроде автомашины с высокой будкой.

— Придётся сходить к трактористам, — сказал Володя. — Ничего другого не придумаешь. А вы здесь отдохните. Может, у них есть такой болт. Или нарежем резьбу на этот. Вон к ним и походка, кажется, приехала.

— Ну, иди, чего ж раздумываешь! Да скорее справляйся, некогда нам тут загорать!

Володя зашагал прямо через пахоту к вагону. Холодов отошёл с дороги к старой прошлогодней развороченной скирде, откинул с кучи носком сапога заплесневевшие, гнилые комья, докопался до чистой соломы, бросил на неё плащ, сел, позвал Марью Сергеевну.

— Садись, отдыхай... Вот так и работаем! Транспорт называется! Гроб с музыкой, а не транспорт! Да и тот делим пополам с директором. Как милости, просишь машину в колхоз выехать. И ты тоже — секретарь парторганизации МТС, а ездишь по бригадам одиннадцатым номером. Хожение в народ!

— Ох, Григорий Петрович, — сказала Марья Сергеевна, садясь рядом с Холодовым на плащ, — столько нас здесь начальников, да если ещё каждому машину, что ж это получится? Целой автоколонной будем ездить. Зачем мне машина? Я ушла из дому на несколько дней, вчера ночевала в пятой бригаде, позавчера в восьмой, наговорилась там с ребятами вволю. Делаю своё дело не торопясь, шофёр меня не ждёт, горячее не трачу. Гораздо лучше так, спокойнее. А пройти пешком из колхоза в колхоз — вместо прогулки. Я вот за это время, что работаю секретарём в Семидубке и здесь, похудела на восемь килограммов — это мне только на пользу. Не нужно и на курорты ездить. Будто молодые годы вернулись. Опять хожу по полям, степным воздухом дышу, трактористы вокруг меня, свои люди. Жить стало интереснее!..

Марья Сергеевна, загорелая, с выбившимися из-под косынки растрёпанными ветром каштановыми кудряшками, по-здоровому похудевшая, вся какая-то окрепшая, выглядела действительно намного моложе своих тридцати семи лет. Одета она была в лёгкий летний ситцевый сарафан, пальто держала на руке. Холодов покосился на округлое голое плечо Марьи Сергеевны, почти касавшееся его, скользнул взглядом по её ногам в парусиновых тапочках, полным сильным икрам, снял фуражку, вытащил из нагрудного кармана кителя расчёску и зачесал назад, на небольшую лысину, светлорусые, длинные, шелковистые волосы.

— Что делала в пятой бригаде? — спросил он.

— Решения Пленума читала ребятам, кто в подмене был. Хорошего агитатора подобрала я там, Григорий Петрович! Василий Лукашёв, тракторист, комсомолец. На каждый пункт решения у него факт из жизни. «А у нас в колхозе вот так-то делается», «А я вот говорил с нашим агро-

номом — и у нас можно это сделать». Вообще, я думаю, надо нам поломать этот порядок — назначение агитаторами людей по должности. Всюду у нас в бригадах агитаторами учётки. Они, мол, самые грамотные и не работают на тракторе, им удобнее всего проводить читки и выпускать боевые листки. А может, у этого учётки совсем нет пропагандистских способностей? Надо назначать тех, кто сможет поднять людей на живое дело!

— Это правильно, — согласился Холодов.

— Оформила у них партийно-комсомольскую группу, — продолжала рассказывать Марья Сергеевна. — Для начала обсудили вопрос о себестоимости центнера натуроплаты. Приезжал наш плановик, по моей просьбе, и рассказал ребятам подробно, из чего складывается эта самая себестоимость. С большим интересом слушали его! Все как-то по-хорошему призадумались: вот что мы теряем на горячем, на лишнях перепашках, на пустых переездах. Много было вопросов. Я думаю ещё раз поговорить с ними, и можно будет с этой бригады начать соревнование в МТС за снижение себестоимости урожая.

Холодов раскинулся на соломе в вольной позе, расстегнув китель. Закинув руки за голову, запел, фальшивя, звучным, но негибким баритоном: «Дывлюсь я на небо...» Оборвав песню, повернулся на бок, опершись на локоть, пристально посмотрел в лицо Борзовой, на её милостивый профиль с небольшим, чуть вздёрнутым носом, полными губами и мягким, округлым подбородком.

— В четырёх бригадах у нас есть девчата и женщины, — говорила Марья Сергеевна, нагнув голову и натянув на лоб косынку от бьющего прямо в глаза солнца, вертя в пальцах длинные соломинки, сплетая из них кнутик. — И в колхозах есть бывшие трактористки на других работах. В Семидубовке мы организовали женскую тракторную бригаду. Хорошо работают! У них и бригадир женщина, Полина Егоровна Черноусова. Старая трактористка. Как мать родная этим девчатам. И поругает их, и пожалеет, и поучит. Надо бы и здесь нам сколотить женскую бригаду. Сейчас-то не время, сев идёт, нельзя ломать планы, а вот туда дальше, как закончим весенние работы, в междупарье. Получим как раз новые машины, что запланировали нам... Трактористки есть, согласны, я уже говорила с ними. Бригадир только надо подобрать хорошего, лучше бы из них, из женщин. Вот присмотрюсь ещё к одной трактористке, Кате Быковой. Машину знает отлично, пятый год работает. Немножко какая-то застенчивая, тихая. Сумеет ли руководить бригадой?..

Солнце припекало по-летнему. Жаворонки заливались. В затишке за скирдой жужжали пчёлы. Пахло какими-то ранними полевыми цветами.

— Как живёшь, Марья Сергеевна? — спросил вдруг Холодов.

— Что? — не поняла Борзова. — Я же вам рассказываю, чем занимаюсь эти дни.

— Я тебя про личную жизнь спрашиваю. Не собираешься в Борисовку переезжать?

— Если б собиралась переезжать, не пошла бы сюда на работу... Не люблю я, Григорий Петрович, когда меня об этом спрашивают. Я уж начинаю забывать о своей прошлой жизни.

— Всё же трудно тебе жить одной, без мужа. Женщина ты, как говорится, в самом соку.

Холодов приподнялся, сел, оглянулся по сторонам — километров на пять вокруг в степи ни души, Володя скрылся в лоштинке за перевалом, — придвинулся плотнее к Марье Сергеевне, положил ей руку на тугое, налитое плечо.

— Чего вы, Григорий Петрович? — удивлённо спросила Борзова, отстранившись от Холодова и сбросив его руку. Посмотрела на него внима-

тельно, в глазах её заиграли весёлые, лукавые искорки. — А-а. Я думала, вы какого-то жучка сняли у меня с плеча. Это вы хотели меня обнять?..

— Да. Чего отодвигаешься? Нас никто не видит. Дай руку. Сними косынку, тебе так лучше. А знаешь, ты женщина в основном довольно красивая. И видно, с огоньком. Таких мужчины любят.

Даже в эти лирические минуты в голосе внезапно почувствовавшего расположение к Борзовой зонального секретаря звучали привычные начальнические интонации.

Косынку Марья Сергеевна сняла, положила её на колени (какая женщина устоит и не сделает чего-то, когда ей говорят, что ей так лучше?), но руку Холодову не дала.

— Чего это вы так сразу, Григорий Петрович? Никогда таких слов от вас не слыхала. Давно в Троицке не были? Посевная? Некогда съездить? Надо перевозить семью в Надеждинку.

— А, брось ты о семье! Не к месту разговор завела! — отмахнулся Холодов. — У меня, может, с семьёй положение не лучше твоего. Не холост, не женат. Еле уговорил жену приехать в Троицк на время, а о селе и слушать не хочет. Такая мешанка!.. Так ты мне не ответила на вопрос: трудно жить одной, без мужчины?

— А вы можете мне помочь?..

— Могу, конечно!..

Красивое, каменно-строгое обычно лицо Холодова как-то обмякло, тонкие губы повело в улыбке. Оказалось, и он умеет при соответствующих обстоятельствах улыбаться.

— Слышишь, как птички поют? Всё живое жизни радуется. Весна! А ты у нас как солдатка-бобылка.

Положив руку на колено Борзовой, добавил:

— Как говорил Пушкин: «И тайный цвет, которому судьбою назначена была иная честь...» Забыл дальше.

С колхозниками и рабочими МТС Холодов разговаривал заученными фразами из газетных передовиц. Насчёт объяснения же в любви руководящих инструкций ему читать не приходилось. Сказать больше было нечего. Полагая, что на этом можно и закончить поэтическое вступление, Холодов крепко обнял Борзову и притянул к себе. Но поцеловать её ему не удалось. Губы его встретили не лицо Марьи Сергеевны, а кулак, небольшой, но достаточно твёрдый, чтобы умерить его пыл.

Вырвавшись из объятий Холодова, Марья Сергеевна, рассерженная, покрасневшая, вскочила, отошла от него на два шага, повязала косынку, стряхнула с сарафана приставшие соломинки.

— Получили?.. Вон у вас на губе кровь, вытрите. Если подойдёте ко мне, ещё съезжу. Лучше сидите там, успокойтесь.

Холодов благоразумно остался сидеть на соломе.

— Чего это вам взбрело в голову? Вот уж никак не подумала бы!.. «Одна ты у нас, как солдатка-бобылка». Где это у нас? В МТС? Заботу проявляете о своих сотрудниках? Похвально!.. Не утирайтесь рукавом, запачкаете китель. Платок потеряли? — Вынула из карманчика сарафана и кинула ему платок. — Натё мой.

— Чтoб это осталось между нами. Слышишь? — хмуро сказал Холодов.

— Да уж в стенгазету не напишу.

— Чтo бы ни произошло между женщиной и женщиной, это не должно отражаться на их служебных отношениях. Всякие бывают случайности. Понятно?

— Да не огорчится, говорю, не бойтесь! — Марья Сергеевна уже отсердилась, и в голосе её слышался смех. — Не буду же я всякую минуту, глянув на вас, вспоминать об этом происшествии. Надоест вспоминать. Только и вы не обижайтесь, Григорий Петрович. Не в моём вы вкусе.

Многого вам, на мой взгляд, не хватает. И вообще... Рассказала бы я вам, как наша сестра смотрит на вашего брата, да надо в бригаду итти.— Подхватила брошенное на соломе пальто. — Думаете, если видный мужчина, то женщины, особенно одинокие, прямо так и тают перед ним?.. Не всякий тот мужчина, что штаны носит. До свидания!

И, что досаднее всего было Холодову, отойдя шагов на двадцать от скирды, Марья Сергеевна вдруг стала хохотать. Хохотала до слёз, утирая глаза уголком косынки, споткнулась о кочку, оглянувшись, поглядела на него, расхохоталась ещё громче... Холодов поднялся, ушёл за скирду, но и там долго ещё слышал её звонкий удалявшийся смех.

В палате, где лежал Мартынов, было тихо, прохладно, довольно уютно от развешанных по стенам вышитых ковриков и картинок в красивых рамочках и не слышно было даже запаха лекарств: открытое окно выходило в сад, старый, тенистый, деревья густо цвели, и аромат яблоневого цвета перешибал запахи всяких больничных дезинфекций. Палата была на две койки. Больной со второй койки ушёл погулять в сад, задёрнув постель одеялом.

Ключица и рука у Мартынова уже заживали, но перелом ноги оказался тяжёлым, и ему ещё не разрешали никаких движений, раза два в день только осторожно переворачивали его на бок, чтобы не належал на спине пролежней. Он сильно похудел в больнице, смуглое, обычно со здоровым загаром лицо его как-то посерело, под глазами легли тени, кадык на тонкой мальчишеской шее выпирал острьяком. Но парикмахер при больнице, видимо, был, и брили, стригли его здесь регулярнее, чем делал он это сам дома.

Марья Сергеевна сидела в плетёном кресле у койки и осматривала палату. Шестилетняя дочка её Верочка, взобравшись на подоконник, перелистывала журналы, сосала леденцы, которыми угостил её Мартынов.

— Нигде в больницах не видела такой обстановки, — сказала Марья Сергеевна, указывая на кружевную скатерть на тумбочке и вышитые коврики на стене над койкой.

— Это жена натаскала из дому, — ответил Мартынов. — Разрешили ей оставить палату по-своему. «Если не позволяете, говорит, забрать его домой, так я сделаю, чтоб здесь ему хоть немного было похоже на дом».

— Часто бывает у тебя Надежда Кирилловна?

— Каждый день заглядывает, когда идёт на работу в «Прогресс» или домой. Как раз по пути ей.

— Не шали, Верочка, сиди тихо. Ты ножками стену оббиваешь... Привозила дочку на рентген. Зимой в Семидубовке переболела воспалением лёгких, а тут начала чего-то кашлять. Наш участковый врач посоветовал проверить на рентгене. Нет, ничего, всё благополучно. Вообще она слабая здоровьем. Если дадут мне отпуск хотя бы в конце лета, съезжу с ребятами на Чёрное море, там она поправится. Сестра у меня там, в Севастополе, замужем за моряком...

С домашнего разговор перекинулся к делам в МТС, к Долгушину.

— Попал в район большой человек, надо бы радоваться, что хорошего директора прислали нам, а у нас такое с ним получается, что, боюсь, выживут его из МТС,— говорила с грустью Марья Сергеевна.— За каждым шагом следят, так и ловят, чтоб на чём-нибудь его подсесть. Говорит мне как-то Холодов: «Ты проверь, у него, кажется, третий месяц уже членские взносы не плачены». Я проверила по ведомости — да, третий месяц пошёл. Сказала Долгушину, тот за голову схватился. «Первый раз, говорит, за тридцать лет, что состою в партии, такой случай со мною! Вот что значит заматался!» Тут же уплатил. А Холодов стал мне пенять: «Зачем сказала ему? Секретарь не для того существует, чтоб напоминать членам партии об уплате членских взносов, сами должны знать. Пусть бы

истёк третий месяц, мы бы тогда проучили его на партсобрании! Напомнили бы ему о партийной дисциплине!» Вот в какой обстановке работает человек. Боюсь я за него. И в области уже нажил себе недругов. Говорит всем в глаза прямо, что думает, не оглядываясь, нравятся его слова или не нравятся...

— Да, характер у него, видно, такой, что жить ему с ним целегко, — сказал Мартынов.

— А у тебя лучше характер? — усмехнулась Борзова. — Не знаю, как бы у вас с ним было, если б ты работал сейчас в райкоме. Он бы и тебе наговорил всяких неприятностей.

— За что?

— Мало ли за что. За твои упущения... Да нет, я шучу. Ты бы не стал обижаться на него за критику. И не дрожал бы так за свой авторитет, как Медведев у нас сейчас дрожит. Если Медведев станет председателю колхоза говорить, что вот надо бы сделать то-то или то-то, а председатель ему в ответ: «Да вот посоветуюсь с товарищем Долгушиным, что он скажет», — это Василию Михайловичу прямо нож в сердце! К директору МТС охотнее идут люди за советом, чем к нему, секретарю райкома! Как это пережить?.. Не понимаю я, Пётр Илларионыч, взрослые люди, коммунисты, на ответственный пост поставлены, — как можно из-за какого-то мелочного самолюбия забывать о деле? Ну вот взять меня. Молодой партийный работник, да и по возрасту Долгушин почти на двадцать лет старше меня. Он в партию вступал, когда я ещё вот такой была, — кивнула на дочку. — Был на крупной работе, заводы строил, людьми руководил. Почему бы мне не поучиться у него? Именно у таких людей нам и учиться! Он из тех коммунистов, что живут для народа, все силы отдают работе. И как его полюбили у нас, Пётр Илларионыч, трактористы! А поначалу встретили с недоверием. Шрам этот у него, перекошенный рот, вечно гримаса такая презрительная, как у бюрократа, будто ему с людьми разговаривать противно. И цыган к тому же. Не верили, что цыган всерьёз возьмётся за сельское хозяйство. Ему бы чем-нибудь торговать или руководить ансамблем песни и пляски. Но теперь уже все убедились, что если б таких директоров побольше, то, может, и не хромало бы у нас сельское хозяйство. И любят его, и уважают, и боятся. Председателей колхозов так прибрал к рукам, что некоторые было взбунтовались. Потребовал, чтоб из всех колхозов представляли ему ежемесячные сведения: какие суммы числятся у председателя и членов правления под отчётом. Даже Опёнкин обиделся. «Это же вам, товарищ Долгушин, не совхоз, и я вам не управляющий отделением, чтоб отчитываться в деньгах перед директором! Наши деньги, не ваши!» И я было подумала, что тут Христофор Данилыч немножко перегнул, но он показал приказ министра сельского хозяйства — оказывается, право такого финансового контроля над колхозами директору МТС дано, только никто из бывших директоров им не пользовался. Спокойно переждал, пока председатели перебушевали, и всё-таки настоял, чтоб колхозная касса была у него на виду. И выявил уже таким способом двух растратчиков, экспедитора в «Заре» и завхоза в «Активисте», один за восемь тысяч не мог отчитаться, другой — за двенадцать. Судили их и деньги взыскали в пользу колхоза. А то бы тянулось до конца отчётного года... Не все, конечно, люди у нас подряд полюбили Долгушина. Вот этим растратчикам, ясно, любить его не за что. В самой МТС он тоже не всем угодил, есть очень недовольные им.

Марья Сергеевна стала рассказывать о партийном собрании в колхозе «Рассвет», что знала от других, — сама она на том собрании не была.

Мартынов выслушал её и сказал:

— Об этом собрании я уже знаю. Один колхозник рассказывал мне.

— Кто?

Мартынов повёл глазами в сторону пустой койки.

— Большой из «Рассвета» лежит здесь со мной. Сухоруков Тихон Кондратьич. На прошлой неделе привезли его, с переломом руки.

— Сухоруков?.. Погоди-ка, это, кажется, их кузнец? Так он в партию подал заявление. Говорил он тебе?

— Да, подал. Говорил. Всё рассказал, что там было. Как Долгушин налетел коршуном на их коммунистов.

— Ну как думаешь, Пётр Илларионыч, — забеспокоилась Марья Сергеевна, — верно ли, что он там чего-то неладно сделал? Ведь это ему сейчас ставят в вину. Из обкома приезжали товарищи. Но как ему там было удержаться? Разложились, потеряли стыд и совесть! До чего довели колхоз!..

Мартынов долго молчал.

— Дело вообще-то рискованное. Созвать весь колхоз на открытое партийное собрание! Коммунисты потонули в этом море беспартийных. Получилось действительно что-то вроде чистки партии... Но, может быть, эту парторганизацию и стоило почистить таким способом? Положение чрезвычайное — и меры чрезвычайные?.. Я осенью в «Борьбе» почти с подобным положением столкнулся, но всё же не решился на такой шаг. А подумывал!..

— Вот я и говорю, Пётр Илларионыч, у него больше опыта работы в партии, он лучше нас с тобой понимает, что и как нужно сделать, — сказала простодушно Борзова, не задумываясь, радуется ли Мартынова, что в районе появился человек с более смелой, чем у него, хваткой в работе и глубже его вникающий в колхозную жизнь.

— Очень уж ты восторженно рассказываешь о нём, — заметил Мартынов. — Какой-то идеал коммуниста. Ты секретарь парторганизации, тебе нельзя такими влюблёнными глазами смотреть на директора, а то ещё проглядишь какие-нибудь ошибки.

— Ему шестой десяток, в него-то я не влюблюсь, слишком велика разница в годах, — не смущаясь, ответила Марья Сергеевна. — Думаю, что он не идеальный человек, Пётр Илларионыч, но и я не виновата, что ничего плохого за ним пока не замечаю.

Борзова рассказала о предвесеннем собрании трактористов.

— Конечно, мы с Холодовым, как бюрократы, отнеслись к этому делу, к сообразительностям. А Долгушин нам наглядно показал: вот как надо проводить массовую работу! И Холодову, по-хорошему, надо бы только спасибо ему сказать за науку, а не злиться за то, что тот умеет душевнее и проще к людям подойти. То же самое и с Медведевым происходит... Нехорошо говорить это тебе, больному, волновать тебя, но что ж, ты, вероятно, и сам уже знаешь, слышал от других. Оставил ты нам за себя работничка, Пётр Илларионыч! Осчастливил район!

— Не я его вытребовал сюда. Не знаешь, что ли? Его обком рекомендовал.

— Ты с ним полтора года работал бок о бок, должен был изучить человека.

— Работал, ну что ж. Никаких грехов за ним не замечал. Так себе, ни рыба ни мясо.

— Вот и стал этот «ни рыба ни мясо» первым секретарём! Конечно, ему трудно, ответственность, первый год в такой большой роли, хозяйственных знаний маловато, руководящего опыта нет. Так надо же советовать с коммунистами, привлекать к себе на помощь актив. А он орёт на тех, у кого должен бы учиться! Так орёт, будто всех мудрее, один он понимает всё, а вокруг него — несмышлёные мальчишки... Хоть и разные они люди с моим супругом бывшим, но методы их что-то очень схожие.

— Значит, меня ругаете за Медведева?..

— Видишь ли, Пётр Илларионыч, можно много лет поработать в районе, много хорошего сделать, но надо же, чтоб это хорошее и закрепилось. Тебе самому разве не жалко будет, если кто-то после тебя загубит твой начинания?.. Всех председателей колхозов уже против себя восстановил. Не очень и мне приятно, когда хожу по колхозам и слышу от председателей, что у нас в районе опять борзовщиной запахло. Фамилию мою треплют. Надо, к чёрту, хоть паспорт переменить! На девичью фамилию, на Громову. А Долгушина он прямо поедом ест. Но и тот не даёт спуску Медведеву. Требует, и правильно, конечно, требует: «Отвыкайте от старых методов, руководите колхозами через МТС. Ведь в промышленности такого не бывает, чтобы кто-то пришёл на завод и без ведома директора и главного инженера стал переставлять по-своему станки в цехах. В промышленности этого нельзя делать, почему же можно это делать в сельском хозяйстве? Вы едете в колхоз и даёте там какие-то распоряжения по хозяйству, о которых я, директор МТС, ничего не знаю. Да и с кем вы там, в райцентре, консультируетесь? У вас же там и специалистов не осталось, все специалисты теперь у нас, в МТС».

— Это очень плохо, — сказал Мартынов, — что Медведев осаживает наши МТС назад, к роли равнодушных подрядчиков. «Мы вам трактора, вы нам натуроплату». Как я с этим боролся!..

— Вот. И Долгушин это доказывает. «Читайте, говорит, внимательно решения Пленумов ЦК. МТС — опорные пункты партии в деревне. Но не прокатные пункты сельхозинвентаря. Если б они были только прокатными пунктами, то зачем содержать у нас такой штат специалистов? Зачем нужен я, директор? Зональная группа? Лишний расход! Хватило бы одного диспетчера да ремонтников». В общем, Долгушин настаивает, чтоб все хозяйственные указания, всякие там разнарядки, всякие требования, чтоб всё это шло в колхозы через МТС. А Василия Михайловича заедает самолюбие. «Как? Я, секретарь райкома, должен ещё увязывать свои распоряжения с каким-то там директором МТС? Не могу самостоятельно давать указания председателям колхозов? Партия превыше всего!» Вот и идёт дурацкая борьба за власть. Как будто первый человек в районе тот, кто громче всех кричит.

Мартынов, закинув руку за голову, потянул подушку за угол, неловко повернувшись, поморщился от боли.

— Чего тебе? — нагнулась к койке Борзова.

— Подбей, пожалуйста, подушку чуть повыше. Вот так, спасибо... Ох, как мне надоело здесь лежать!

— Что ж поделаешь, надо лежать. Хорошо, хоть жив остался и на поправку дело идёт... Если бы ты умер, Пётр Илларионыч, для меня это было бы большое горе... А сколько времени тебя ещё продержат здесь?

— Месяц, говорят, надо ещё вот так вылежать, а потом начну учиться ходить на костылях.

— Христофор Данилыч забрал семью вашего погибшего шофёра в Надеждинку, — сказала Борзова. — Жену устроил на работу в мастерскую, к шлифовальному станку, а старшего сына отправил на курсы комбайнеров.

— Да?.. Сколько у него детей осталось?

— Два сына и четыре дочки. Большая семья... А ты и не знал, сколько детей у вашего шофёра?

— Да как-то не приходилось спросить...

Борзовой показалось, что смуглосерое лицо Мартынова чуть покраснело.

— Сердечный он, Долгушин, широкой души человек, — сказала она, глянув на Мартынова с лёгкой укоризной. — Хватает его и на большое государственное дело и не пройдёт мимо чьей-то нужды... А Виктор Семёныч мой, когда, бывало, стану упрекать его в чёрствости, так мне отве-

чал: «Я делаю такое дело, что сразу тысячам людей добро принесёт. Мне некогда думать о единицах». И мне иногда казалось, что он прав. Масштабы! Я, маленький человек, колхозница, недавняя трактористка, смотрела тогда на секретаря райкома, как на бога.

— Ну, а как наши посланцы работают? — перевёл Мартынов разговор на другое. — Как Руденко? Прокурор?

— Прокурор по-прокурорски и начал. Да ему и колхоз достался не лучше «Рассвета». Довёл до конца ту ревизию, что ты ещё назначил, наши ревизоры там целый месяц копались. Был суд, показательный процесс. Человек пять пришлось и там исключить из партии. Ничего, работает Андрей Семёныч, не хнычет! Как перемучился, переволновался на том партактиве, так с тех пор, может, хоть и тоскует по своей прежней канцелярии, но виду не показывает. Со злостью взялся за дело. Но заявил у них на колхозном собрании так: «Работаю у вас три года. Обязуюсь поднять колхоз, догнать колхоз до пяти миллионов и вырастить за этот срок из местных кадров хорошего председателя себе на смену, такого, что будет работать не хуже меня. А сам дослужу несколько лет в органах юстиции и — на пенсию, рыбу удить. Причём могу даже такое условие поставить: если не понравится вам мой заместитель, плохо будет работать, покатится колхоз вниз — отзывайте меня назад, тогда уж, значит, останусь у вас пожизненно». А Руденко срока не устанавливал, тот прямо сказал: «Буду работать у вас председателем до смерти, если сами не прогоните». Варвара Фёдоровна взяла свекловичное звено. Молодец у него жена, Пётр Илларионыч! Если бы у всех начальников были такие жёны! Весёлая, простая. Никакого форсу, и не жалеет и не вспоминает, что была районной городничихой. Да и здоровье позволяет ей работать в поле. Не всякий мужчина поднимет такой мешок с зерном, какие она ворохает возле сеялок. Иван Фомич там начал с бытовых вопросов. Продал председательскую «Победу» — это не «Победа» у них была, а позорище, колхозникам на трудодни ничего не давали, а председатель ездил на «Победу», весь годовой доход от животноводства ушёл на неё, — продал её и оборудовал за те деньги детские ясли в бригадах. Очень это понравилось колхозникам! Вагон хороший сделал для трактористов, выделил строительную бригаду для ремонта хат, таких, что совсем уж плохи, а стоимость ремонта с колхозников — в рассрочку на три года. Правильно начал. И у него и у Нечипуренко люди работают уже не хуже, чем и в передовых колхозах. Очень немного надо, Пётр Илларионыч, чтоб все колхозники вышли на работу. Надо, чтоб они поверили в своё руководство, увидели, что есть им смысл работать, что не впустую пойдёт их труд, не на растащилку.

— Про других тоже говорят, что хорошо пошли у них дела, — сказал Мартынов. — Письма были от колхозников в райком, хвалят новых председателей, приносил мне Трубицын. В общем, можно считать, что двоих только послали неудачно — Бывалых и Корягина. Ну что ж, и этих теперь проверили до конца. Правильно, конечно, исключили из партии Бывалых. Ведь о нём не скажешь, что он не сумел вытянуть колхоз. Он же и не попробовал тянуть! Пальцем не пошевелил! Не думаю, чтоб бюро райкома не утвердило решения парторганизации. А?

— Да Медведев, когда хочет какой-то вопрос провести, не полностью созывает бюро, только тех, кто не будет ему возражать.

— Работать не умеет, а ловчить уже научился? Неужели он будет защищать Бывалых? Какие же мотивы? Просто так, из упрямства? «Не по-вашему, а по-моему!»... А Митин как работает? Как у него с Медведевым?

— Ездит всё по району, в кабинете сидеть не любит, степной человек. Ругается за лесопосадки — почему забросили это дело. Депутатов сельских Советов собирал у нас, про которых много лет уже не вспоминали.

Взялся за дело как будто крепко. А как у них с Медведевым — не поймёшь. На бюро не ругаются, а что бывает, когда они вдвоём остаются, — это нам неизвестно.

— Чем дольше лежу я здесь, тем реже Медведев заходит ко мне, — сказал Мартынов. — Да и Митин что-то стал забывать. Отвыкают от меня... Вот так уехать из района, где столько сил положил, и года через два никто уже тебя и не вспомнит. Спроси колхозников: «А кто такой у вас был Мартынов?» — скажут: «Да приезжал к нам какой-ся начальник на «Победе», может, то и Мартынов был».

— Нет, — покачала головой Борзова, — тебя, Пётр Илларионыч, здесь не скоро забудут. — Засмеялась. — Председатели эти новые, во всяком случае, долго тебя будут помнить!..

Девочка давно уже слезла с подоконника, перелистала и те журналы, что лежали на табуретках, походила по палате, подошла к матери, потёрлась о её колени, заглянула в глаза, захныкала потихоньку.

— Заскучала, Верочка? — Марья Сергеевна взяла дочку на колени. — Час посидела и уже заскучала, а дядя Петя сколько времени здесь лежит и не скучает.

— Скучаю, положим, — возразил Мартынов, — но не реву. Спусти её, Марья Сергеевна, через окно в сад, пусть побегает. Видишь там больного, высокий такой, халат на нём по пояс, рука на перевязи? Вот это мой товарищ, Тихон Кондратьич. Он ей покажет соловьиные яички. Рассказывал мне вчера, что нашёл в кустах соловьиное гнездо.

Верочка запросилась в сад. Борзова, перегнувшись через подоконник, спустила её, взяв подмышки, на землю.

— Больше всего злится Медведев, когда Долгушин станет говорить, что в районе запущена партийная работа, — продолжала рассказывать, вернувшись на место, Марья Сергеевна. — Но ведь это же правда. И ты, Пётр Илларионыч, партийными организациями не занимался. Что за состав парторганизации, лицо колхозных коммунистов, как они работают в колхозе, какой у них авторитет в народе — до этого ты не добрался. В секретарях ходили случайные люди. Председателей колхозов ты всех знал, конечно, и по имени-отчеству и знал, какой у кого характер и кто как работает, а секретарей парторганизаций, признайся, ты даже не всех знал в лицо и по фамилии. Верно?

Мартынов молчал.

— Это же действительно показательная цифра — за три года в нашем районе вступило в партию рядовых колхозников всего четыре человека. Принимали служащих, учителей, агрономов, а от рядовых колхозников не было заявлений.

— А как же ты работала в Семидубовской МТС? — сердито возразил Мартынов. — Около года там работала, и не принимали в партию трактористов.

— Да и я как-то не придавала значения этому делу... Долгушин правильно говорит: коммунисты в колхозах ближе всех к народу, без них мы колхозные массы не поднимем. Колхозники ждут от них примера. А пример может быть всякий — и хороший и плохой. И в том и в другом случае пример коммунистов сильно влияет на колхозников. Плохая парторганизация в колхозе — это не просто пустое место, это большой вред для колхоза. Коммунисты не работают в поле — чего ж с нас спрашиваете хорошей работы? Коммунисты пьянствуют, тащат общественное добро — нам, значит, и подавно можно. А Медведев так и взовётся, как услышит от Долгушина о партийной работе. Долгушин ему: «Займитесь, Василий Михайлович, наведем порядок в колхозных парторганизациях, очень вас прошу!» А Медведев: «Не указывайте нам! Сами знаем, чем нам заниматься!» Ему представляется, будто Долгушин в каких-то личных интересах добивается помощи себе как директору МТС. Пустой человек! Да

ведь МТС существует и работает для колхозов! Долгушин просто хочет, чтобы мы все с разных сторон били в одну точку, к одной цели шли — к подъёму колхозов. Он из тех коммунистов, которых на какую работу ни поставь — будут делать своё дело только по-партийному. Он не может думать о хозяйстве, не думая о партии, о воспитании людей. У него это вьелось в кровь и в плоть. Он, когда бывает в колхозе, и работой комсомольцев интересуется и в клуб зайдёт и в детские ясли. На партийном собрании у нас поднял вопрос о создании кружка художественной самодеятельности из сотрудников МТС. Так Медведев потом сострил, назвал его на заседании бюро «директором Надеждинской МТС по культпросветработе»... Удивляет меня, Пётр Илларионыч, как у нас вот такие истуканы попадают на партийную работу? За какие доблести выдвинулся Медведев в партийный аппарат? Ведь партийная работа — это самое главное, выше всего! А теперь вот побыл он секретарём райкома — что бы дальше ни случилось, эту должность ему уже запишут в послужной список, теперь уж он в номенклатуру попал, так в ней и останется. Не у нас, так в другом районе будет сушить мозги людям.

— Любимое выражение Ивана Фомича Руденко: «сушители мозгов», — заметил Мартынов.

— И старика Глотова. Это я у Глотова научилась, когда в Семидубовке работала.

Марья Сергеевна встала, подошла к окну, посмотрела — белое платьице Верочки мелькало в кустах в глубине сада, недалеко от неё ходил больной в коротком халате, с рукой на перевязи, — вернулась к койке, села опять в кресло.

— Я вот, Пётр Илларионыч, по своей бабьей простоте думаю иногда: почему у нас на выборных собраниях, на конференциях так уж строго придерживаются списка? Нужно выбрать в бюро или в комитет пять человек или там тридцать — столько и в списке стоит; не успеют зачитать его, уже кто-то вскакивает: «Подвести черту!» А что страшного в том, если б ещё было записано лишних человек пять? Было бы из кого выбрать коммунистам самых достойных. Это тот спешит «подвести черту», кто боится другой кандидатуры рядом с собой, кто не уверен, что хорошо работал и заслужил доверие людей. Если б при нашем тайном голосовании да ещё как-то свободнее составлялись эти списки, меньше бы таких Медведевых попадало в партийные органы... И вообще, если бы как-то заставить наших руководящих работников больше дорожить доверием масс. А как заставить?.. Секретарь райкома, конечно, не станет отчитываться в своей работе на колхозных собраниях, на то есть партконференции. Но он же и депутат райсовета, член исполкома. Вот пусть как депутат объедет пяток колхозов и отчитается перед избирателями. И пусть люди свободно говорят, пусть запишут даже в протокол, как они его работу оценивают. А то ведь у нас привыкли только перед верхами отвечать. Таких случаев не было, чтобы народ разжаловал, скажем, председателя облисполкома. Вот они и не очень-то оглядываются на низы, на колхозников. Всё равно, мол, не от вас зависит наше благополучие. Ругайте нас про себя сколько влезет, нам от вашей критики по-за углами ни холодно ни жарко, над нами только Цека имеет власть!..

Мартынов закрыл глаза, но не спал; видно было по нахмуренным, сведённым к переносице бровям и наморщенному лбу, что думал о чём-то.

— Ну, я тебя совсем заговорила, — спохватилась Марья Сергеевна. — Пришла к больному человеку и тараторю, тараторю! Чего ты ммуришься? Может, чем огорчила тебя?..

— Крылов не был за это время у нас? — открыл глаза Мартынов.

— В нашей МТС не был, а в Троицке — не знаю. Маслеников приезжал к нам. Метал громы-молнии на Долгушина.

— А, Масленников! — махнул здоровой рукой Мартынов. — С Голубковым два сапога пара. Это такой же грех на душе Алексея Петровича, как на моей — Медведев. Ведь тоже кандидат на высокий пост, в случае если Крылова заберут от нас. Сделают передвижку в бюро — станет вторым секретарём, а там недалеко и до первого. Что всего удивительнее, Крылов даже отличного мнения о Масленникове. Исполнительный и энергичный работник. Хорош для командировок в районы. Большой, как говорят у нас, пробивной силы. Как будто у нас, районщиков, дубовые головы и нам надо пробивать черепа, чтоб внушить какие-то новые мысли... Ну ладно, довольно об этом. Расскажи о себе. Как живёшь? Квартиру тебе в Надеждинке дали?

— А мне там, Пётр Илларионыч, и не нужна отдельная квартира. Я нигде лучше не устроюсь, как у этой учительницы устроилась, на частной квартире. Занимаю у неё две комнаты, одинокая старушка, подружилась с моими ребятами, присматривает, когда меня дома нет.

— Что слышно о Викторе Семёныче? В Борисовке не была? По последним сведениям, доходившим до меня, он там уже председатель райисполкома?

— Был. А по самым последним сведениям — послали его председателем колхоза.

— Да?..

— Да, писала мне одна борисовская знакомая. Провели у них перед весенним севом такой же партактив, как у нас, и послали человек десять председателями колхозов. В том числе и его.

— Борзова — в колхоз?..

— А что, думаешь — не справится?

— Не знаю... Может, это и на пользу ему пойдёт. Он ведь никогда не был на такой работе, где уже некому посылать телефонограммы, надо самому итти к народу и делать... А вообще, интересное время настало, Марья Сергеевна, а? Посылаем человека с большим стажем ответственной работы в колхоз и сомневаемся: справится ли? Ведь это же колхоз! А раньше доверяли ему руководить целым районом. Или заведовал в области каким-то отделом — тысяча колхозов была под его опекой. Поняли наконец, какая это серьёзная штука — о д и н колхоз! Может быть, он там, на низу, испытает на самом себе методы руководства, похожие на его собственные бывшие методы? Борзов — в борьбе с борзовщиной. Любопытно!..

Помолчали.

— Почему ты не оформишь развод? — спросил Мартынов.

Марья Сергеевна тяжело вздохнула.

— О детях никак не решим. Всё просит, чтоб отдала ему мальчика. Детей он любит. И они скучают по нём. Невозможно им ещё объяснить, что у нас произошло, почему не живём вместе. Верочка всё канючит: «Ну поедим к папке, поедим!» Душу рвёт!..

— Но надо же всё-таки вам как-то кончать это. Не собираешься же ты вековать соломенной вдовой? Вышла бы ещё замуж.

— За кого?.. В Долгушина я не влюблюсь, уже говорила. И ты на мне не женишься, у тебя Надежда Кирилловна есть, — смело сказала Борзова, глядя прямо в глаза Мартынову.

Мартынов принял это как шутку, засмеялся, не отводя глаз.

— Встретились бы мы с тобой, когда не знал я ещё Нади, — отбил бы тебя у Борзова сразу, без лишних разговоров!

Марья Сергеевна не улыбнулась в ответ, посмотрела на него долгим серьёзным взглядом, встала, отошла к окну.

— Не знаешь ты ничего, Пётр Илларионыч, не рассказывала я тебе, — заговорила она тихо, изменившимся голосом, стоя боком к нему, глядя куда-то вглубь сада. — Ведь это ты мою жизнь так повернул. Не узнай

я тебя, может, и до сих пор жила бы с Виктором Семёнычем. Я бы много плохого не замечала в нём, если б не знала тебя. Или терпела бы... И он, может, не ушёл бы к той женщине. Он ревновал, но и было-таки за что. Я ему только и говорила — о тебе. Какой ты, как ты работаешь, какая у тебя душа, и почему у него нет этого горения. Он раньше догадался, о чём ты и сейчас не догадываешься...

Под окном послышался детский голос:

— Мама, я уже нагулялась. Возьми меня, мама! Ма-ма-а-а!..

Борзова втащила дочку в комнату.

— Ладно! Хотя бы уж ты не спрашивал меня про мою личную жизнь. Живу! Хорошо живу. Спасибо, что послал меня на интересную работу. Вот и всё! Пойдём, Верочка. Скоро автобус отправится в Надеждинку, поедем домой. А твой Димка тебя проведывает?

— Был утром. И вечером ещё забежит, после школы.

— Вон я оставила там на табуретке корзиночку. То тебе.

Марья Сергеевна взяла правую, больную руку Мартынова, несильно пожалала её.

— Поправлялся бы ты скорее!..

Нагнувшись, поцеловала его в щёку.

— Больного можно...

Вымощенная камнем дорожка к выходу со двора больницы огибала корпус как раз под окном палаты. Мартынову вдруг захотелось почему-то, чтоб Марья Сергеевна задержалась у окна, сказала ему ещё что-нибудь на прощание. Но он услышал только быстрые её шаги, шлёпанье по каменным плитам маленьких ножек девочки.

— Мама, ты быстро идёшь, я не поспею за тобой! — захныкала девочка.

Марья Сергеевна подхватила дочку на руки и почти побежала к калитке.

Кузнец Сухоруков, высоченный, худой, усатый мужчина лет сорока пяти, в коротких, чуть ниже колен, больничных кальсонах и халате, по длине походившем на нём скорее на куртку, пришёл из сада к вечернему чаю. Сиделка Люба только что разнесла по палатам кружки с чаем и булочки.

— Нагулял аппетит, а пицци маловато, — сказал Сухоруков, опустившись на койку. — Что тут этой закуски? — Повертел булочку. — Что слону дробина.

Мартынов молча раскрыл тумбочку и жестом пригласил товарища по палате подойти и взять из его запасов, что ему желательно.

— Да и у меня тут ещё осталась передача, — ответил кузнец. Достал из своей тумбочки кусок сала, стал резать его тупым больничным ножом, помогая здоровой руке локтем другой, забинтованной.

— Неудобно с одной рукой жить. Кабы мою ногу тебе, а твою здоровую руку мне, вот бы мы с тобой были люди, Ларионыч. А чего ж это Любка убежала? Ты ж на спине не поужинаешь. Помочь тебе повернуться?

— Не надо, потом. Она ещё придёт.

— Сделаем, значит, бутерброт. — Кузнец вложил в разрезанную булочку толстый ломоть сала, толще самой булочки, откусил сразу чуть не половину этого питательного сооружения, отхлебнул из кружки. — Хорошо в саду. Соловьи, слышишь, как поют?

Соловьи гремели во всех кустах и посадках вокруг больницы.

— До чего же, Ларионыч, у этих соловьёв получается похоже на нашего брата. Вот сейчас они поют и ещё будут петь какое-то время. Пока, значит, ухаживает за своей любезной, поёт, заливается, потом, когда она сидит на яичках, а он рядом с нею, развлекает её, тоже поёт. А как вылу-

пята птенцы, пятеро, шестеро, да все жрать хотят, пищат, рты разевают, кормить их надо, мотается бедняга соловей, добывает им пропитание, козявок, букашек ловит, весь в мыле и сам не жравши, — тут уж ему не до песен, бросает петь до будущей весны. В аккурат, как и нашему брату, отцам.

Сухоруков сходил в кубовую за добавкой чая, взял предложенное Мартыновым печенье.

— Вот и у меня шестеро их, птенцов. Сейчас-то немножко легче стало. Дочку выдал замуж, старший сын поступил на работу. А как были все маленькие — ох, не до песен!.. А парнем я был — любитель! Без меня и улица не улица. Куда там тебе баян! Голос у меня был, — кузнец откашлялся, — не хуже, как у Козловского. Кабы записали тогда мои песни на патефон, можно бы теперь сравнить. Тенор. Не одна девка от моего голоса горько плакала. И сейчас могу, но уже не то. На фронте горло застудил, хрипеть стал... Чего молчишь, Ларионыч? Задумался? Это к тебе Борзова приходила, та, что у нас в мэтэесе работает?

— Она.

— Должно быть, чего-то нехорошее рассказала? Работа неладно идёт? То не твоя вина, если без тебя чего-то там в районе хуже сделают.

— Да нет, выходит, Тихон Кондратьич, моя вина, — возразил Мартынов.

— Это ж почему так?

— Почему?.. Ты рассказывал, что и машинистом на молотилке работал?

— Работал по началу коллективизации на старых кулацких молотилках. Теперь-то их и не осталось в нашем мэтэесе.

— Как у хорошего машиниста должна быть настроена молотилка? Чтоб не лазить ему там всякую минуту с молотком и ключом, чтоб крутилось, вертелось само, чтоб нигде ничто не заедало, не задирало, не скрипело. А ему сидеть в холодке и цыгарку покуривать. Так?

— Вон ты к чему. Это-то верно... Где ж это Любка? Должно быть, в пятой палате, у того больного, что с операции принесли. Дай-ка, я добуду тебе свежего чайку, да поешь всё же, подкрепись. Пища, она, знаешь, помогает человеку всякую болезнь перебарывать.

Косой лучик солнца упал в окно, медленно пополз по стене, всё выше и выше к потолку. По этому лучу, не глядя на часы, Мартынов узнавал время. Было около семи вечера. Скоро солнце скроется за высокими деревьями сада, начнёт постепенно темнеть. Соловьи защёлкают ещё громче и дружнее, в их хор вступят «ночники», которые молчат днём. Придёт с обходом дежурная сестра, посидит немного, расскажет больничные новости. Похолодает, придётся закрыть окно. Может быть, забегут на минутку жена, сын. Если будет хороший накал лампочки, удастся дочитать «Землю золотых плодов». Так день за днём, вечер за вечером. А где-то там в это время, в сёлах и на полях района, идёт своим чередом, шумит, бурлит жизнь. Без него... чёрт бы побрал ту февральскую ночь, Долгий Яр и того лихача на грузовике, что сбил их в обрыв!..

Поужинав и улёгшись опять на спину, Мартынов подозвал кузнеца и выкурил с ним по папиросе.

— Почему ты, Тихон Кондратьич, не подавал раньше заявления в партию? — спросил Мартынов.

Кузнец вынул из пальцев Мартынова окурочек, отнёс его и свой окурочек в коридор, выбросил их там куда-то, вернулся, сел на свою койку.

— Что тебе ответить?.. Как в таких случаях говорится: не созрел политически.

— Это ты брось. Политически ты, вероятно, и три года назад был такой, как сейчас. Давай рассказывай откровенно.

— Откровенно?..

У кузнеца было характерное лицо: длинное, горбоносое, с острыми скулами и впалыми щеками. Чёрные усы он подстригал щёткой. Глаза шурил, словно всё время смотрел на огонь.

— Главная причина, Ларионыч, почему не подавал долго в партию,— малограмотный я. Три зимы ходил в школу — вот и вся моя наука. Прочитать книжку могу и пойму всё, что написано, ежели русскими словами, без этих всяких ситоуций, а пишу, как курица лапой. Дюже некрасивый у меня почерк.

— Значит, первая причина — плохой почерк?

— Да. Глянь на руку.— Тихон Кондратьевич показал растопыренную огромную пятерню. — Руки у меня возле горна задубели, мне карандаш в пальцах удержат всё одно, что тебе блоху кузнечными клещами поймать. Думаю: вступлю в партию, поставят меня на должность, как же я с таким почерком бумажки буду подписывать? Людям на смех.

— Разве обязательно, как в партию, так и на должность?

— Да так оно выходило, что вроде бы обязательно. Глядишь: кто ни вступит из наших сельчан в партию, всех на должность определяют. Того в сельпо, того в заготовители, того в сельсовет, того в дорожные начальники. А я на должность не стремлюсь, мне моё ремесло нравится, ничего в жизни другого не надо, был бы порядок в колхозе да платили бы хорошо по трудодням. В партию мне желательно, а на должность не хочу. Но, думаю, значит, у них так заведено. Вступлю, и могут мне приказать в порядке партийной дисциплины: бросай своё горно, бери-ка портфель. А мне он ни к чему, портфель. Я не лезу в начальники. И опять же, говорю, с грамотой у меня плохо, не справлюсь я на должности. Потом уже один член партии, Филипп Касьяныч, которого у нас сейчас председателем колхоза выбрали, объяснил мне: нету такой установки, чтоб обязательно всех коммунистов распахивать по канцеляриям; это, мол, тут наши писарчуки сами такое развели. Гнушаются простой крестьянской работой, хоть яйца собирать с кошёлкой по селу, лишь бы не в бригаде работать. Вот, значит, по нежеланию выдвижения в начальство не подавал я долгое время в партию.

— Одна причина. А ещё?

— А ещё, по-честному сказать тебе, Ларионыч, как завелась у нас в колхозе эта шайка-лейка, да смотришь, и половина коммунистов замешана там, вот тут-то и отшибло нас, многих, которые, может, давно бы уже были в партии. Думаешь: напишу я заявление, а кому его подавать? Чайкину в руки, этому губошлёпу с гитарой, что все полы в хатах каблуками попробивал? А кто будет принимать? Голубчик, Трапезников? Нет, повременю...

Тихон Кондратьевич пересел поближе к Мартынову, в плетёное кресло, взял у него ещё папиросу.

— Говорят, Ларионыч, чужая душа — потёмки. Ещё говорят: человека узнать — пуд соли надо с ним съесть. В больших городах, конечно, где людей много, там бывает и так, что работают двое в одном цеху, на работе каждый день встречаются — и за всю жизнь друг у дружки дома не побывают, не знают даже, где кто живёт. А у нас в деревне всё на виду; и как работает человек, и что у него дома делается, и какое к людям отношение — всё нам известно. Вот расскажу тебе про Егора Трапезникова, этого самого, что исключили из партии у нас, а теперь судить будут...

Кузнец прикурил, пустил густую струю дыма в открытое окно, помолчал.

— Разве товарищ Ленин для того затевал революцию, чтобы стать самому правителем в России и длинные рубли за это получать? Он же был не из бедного класса. Отец его директором по училищам был, в дворянство их произвели. Ленину с его головой, с его наукой и в старое время министром быть! А захотел бы — капиталами ворочал бы, заводами

управлял, а там, гляди, и себе завод построил, не хуже того Форда, что в Америке, и на это хватило бы у него ума. И жил бы припеваючи, в шампанском бы купался, на золоте ел. Нет, отказался от всего! Пошёл посылкам, по тюрьмам. За народ! Не для себя лично добивался он улучшения жизни, а для народа! И когда уже при Советской власти стал он главой правительства, и тут для себя копейки лишней не брал от государства. Читал мне Филипп Касьяныч, как Ленин кому-то там в Совнарком выговор строгий объявил за то, что жалованья ему прибавили на триста рублей, не спросив его самого. Вот какой был Ленин! Вот для чего он партию создал и сам в неё вступил — для народа!.. Теперь расскажу про Трапезникова. Егор Фомич старше меня на десять лет, но довелось нам у одного кулака, Луки Мороза, вместе внаймах жить. Я свиней, телят пас, Егор — по взрослой работе. Происхождения он самого что ни есть беднейшего. Земли у них было до революции полдесятины, а семья — человек девять. Все жили в батраках. В гражданскую войну он и в Красной Армии был. Я, конечно, не участвовал, мне в революцию было восемь лет. Но рассказывали мне про него наши мужики, которые с ним в одном полку служили. Зайдёт у них там на фронте, бывало, разговор об этой самой революции, из-за чего идёт война белых с красными и какая жизнь будет после войны, — Егор и говорит: «А вот так и будем жить — поменяемся местами. Мы будем жить, как помещики, а они — как мы жили. Сказано ведь, что революция это есть переворот!» Вот о чём ему, значит, мечталось — местами поменяться! Ему кабы сесть на землю Мороза, а Мороз чтоб со своим семейством пришёл к нему в батраки наниматься. Товарищи ему станут доказывать: «Это ты политически неверно говоришь. На заводе капиталист один, а рабочих тыщи. Помещиков в губернии, может, сотня, а бедняков миллионы. Местов ихних для нас не хватит, ежели поменяться». Молчит Егор, а про себя, должно быть, думает: «На всех не хватит, ну, а я себе одно местечко как-нибудь захвачу».

Пришли мужики с гражданской домой, поделили землю. Получил Егор свой пай, кредит взял в банке на лошадь — вцепился в ту землю зубами и когтями! Работал, как чумовой, день и ночь, ни воскресенья, ни праздников не признавал, аж когда лошадь уже ног не тянет, тогда и себе даст немного отдыху, поспит. Кабы от людей не совестно было, и жену молодую в пару с лошадью запрягал бы. Ещё тогда звали его в селе коммунистом, но, может, только и было у него советского, что на пасху пахал. Года два, три подвезло ему с урожаем — купил вторую лошадь. Потом стал приарендовывать землю у тех бедняков, что сами не могли её обработать без тягла. Пошёл наш Егор Фомич в гору! Дом построил новый, скота завёл порядком. Третью лошадь купил, ещё больше стал сеять, подёнщиков брал на косовицу. Но постоянных батраков не держал, осте-регался, чтоб сельсовет его не подвёл под классовый элемент. Всё же в лишениях ходить — радости мало.

Вот так и жил он до самой коллективизации. Конечно, в те времена он о партии и не думал. Вступать в партию? Зачем, для чего? От работы только будут отрывать на собрания, да членские взносы ещё платить. Вся душа его ушла в хозяйство, больше не было ни к чему никакого интереса. Потом стал у нас в селе колхоз. Ну, некуда деваться — и Трапезников вступил. Первые годы работал рядовым. Но уже не было у него того рвения, что раньше, когда единолично землю пахал. Смотришь на него, как он в полсилы мешок с семенами берёт, — раньше, бывало, сам поднимал, присядет, крикнет только — и мешок на плече, а теперь обязательно зовёт кого-нибудь, чтоб поддали, — не тот стал Егор Фомич! Нету той хватки, того жару! И вот тут он, должно быть, и стал размышлять насчёт дальнейшей жизни. Раз уж повернуло, мол, на колхозы, единоличному хозяйству крест, то нет теперь никакого расчёту в навозе копать. Надо как-то приспособливаться и себе какой ни есть портфель добывать.

Слышим, подал наш Егор Фомич в партию. В тридцать пятом году вступил. И как вступил в партию, тут уж он больше за плугом не ходил. То весовщиком, то кладовщиком, то объездчиком. По началству, в общем, пошёл. Вот каким путём привело Трапезникова в партию. Кто бы там чего хорошего про него ни говорил, а мы-то знаем его натуру. Хоть и из батраков, но душа у него жадная, кулацкая. Доверять таким людям нельзя. У них бог — собственное брюхо, на него только и молятся.

До войны председателем его не выбирали — получше, повиднее его были у нас коммунисты. А как погиб на фронте старый наш председатель, погибли хорошие бригадиры, да в партизанах тут кое-кто сложил голову, а он вернулся из эвакуации — его по белому билету в армию не брали, глаз у него один порченный, — тут и он стал на виду. На беспитчие и кулик соловей. Бригадиром его выбрали, потом был заведующим мельницей, потом год в завхозах походил, потом и председателем стал. Три года был председателем до укрупнения. Ну и что ж он хорошего сделал для людей? Ничего! Для себя только старался. Тут уж он как дорвался до власти, охулки на руку не положил! Поначалу понемногу тянул, а потом расставил родичей, приятелей по амбарам, фермам, и сколько они там наворовали колхозного добра — вот, может, теперь только на суде выяснится!.. И уж так привык к доходному месту и чистой должности, что как не выбрали его при укрупнении председателем — на рядовую работу уже не пошёл. Бригадиром его намечали — тоже отказался. Теперь уж, дескать, после председательства бригадиром мне быть унижительно.

Кузнец покрутил головой, засмеялся.

— Гарантированный минимум!.. Придумали же, сукины сыны!

— Что? — спросил Мартынов.

— Да вспомнил ихнее выражение... Ничего не делает Егор в колхозе с тех пор, как не председатель. За прошлый год двадцать трудодней отломил, в уборку на жнейке немного поездил, углы для комбайнов обкосил, только и всего. А живёт припеваючи. Картошку возит в Донбасс продавать на паях с одним колхозником, Кашкиным. У того свояк в автоколонне; колхозу жом привезти с завода нету машины, а им никогда не откажет. Всю осень спекулировали картошкой. На том партийном собрании, когда директор мэтэса к нам приезжал, спрашивают колхозники у Трапезникова: «Можно ли члену партии заниматься спекуляцией?» А он: «Мы не спекулировали, мы с Кашкиным свою картошку возили. Если соседка попросит и её мешок прихватить, какая ж это спекуляция?» — «Да что, у вас с Кашкиным десять гектаров её было? Раза два возили свою, а потом чужую. Скупали здесь у колхозниц и возили туда продавать». Припёрли его. Одна кричит: «У меня купили пять мешков!» Другая, третья подтверждают: «И мы продали им свою картошку!» Тогда он давай оправдываться: «Мы не покупали её, у нас был договор с людьми». — «Какой договор?» — «Установили гарантированный минимум. Берём у женщины картошку и выплачиваем ей по рублю пятьдесят копеек. Гарантия. Может, мы там и дешевле продадим, себе в убыток, но чтоб её, значит, не обидеть, устанавливаем такую твёрдую оплату». — «А если по пять рублей продадите, ей всё равно — по рублю пятьдесят?» Вот обормоты! Сообразили: «гарантированный минимум»! Мы хоть и беспартийные, политически малограмотные, но понимаем, что это и есть самая настоящая спекуляция!..

Вот, Ларионыч, почему я тебе так подробно рассказал про Трапезникова, — видишь, как оно бывает, с какой душой люди пролезают в партию. И ведь не граф, не дворянин, из самого бедного сословия. И в гражданскую войну за Советскую власть воевал. А душа — железная. «Помеяться местами». Не за народ воевал. О людях он не печалился. Лишь бы самому сладко жилось.

Тихон Кондратьевич, видя, что Мартынов слушает его очень внимательно, продолжал говорить:

— А есть у нас люди, Ларионыч! Какие люди! В партию бы их — было бы кому направлять колхозную жизнь!.. Есть у нас звеньевая Ксения Панкратова. В самое тяжёлое время, когда ничего на трудодни не получали и все бросали работать, она, бывало, уговорит двух-трёх женщин из своего звена и идёт в поле. Смеются над ними, проходу не дают: «Ударницы! За идею коллективизации — на своих харчах!» Так они, чтоб не слышать этих насмешек, стали по ночам ходить на свой участок. Ночи были светлые, лунные, хорошо видеть рядки на свёкле, они и работают себе до вторых петухов. И как ни плохо было с урожаем, всё же в звене Панкратовой свёкла лучше всех. Это ли не коммунистки? Политику они не изучали, может, и не знают, в каком году какой съезд партии проходил, зато знают, как надо практически партии помогать. Есть парень, Гриша Зубенко, ездовый при лошадях. Все его сверстники поразбегались — кто на железную дорогу, кто на сахарный завод, а он как пришёл из армии в сорок шестом году, как взял пару лошадей молодых, трёхлеток, так и до сих пор на них работает. И не то чтоб какой-нибудь недотёпа или с придурью, которого на производство не возьмут. Парень как парень, грамотный, при здоровье. Жена у него красивая молодница, детей двое. Ему по его ухватке и на заводе цены не было бы. Лошади у него всегда сытые, справные, сбруя починена, повозка в порядке. Позапрошлой зимой возил корма на фермы. Морозы стояли лютые, метели, и не было такого дня, чтоб отказался, не поехал за сеном. Ногу приморозил, и то не признавался, пока аж улеглись метели и навозили запас кормов дней на несколько. Аж тогда пошёл к врачу в Ореховку. А с ногой уже худо, чернота пошла. Два пальца отрезали. Говорил мне Гриша: «И я бы в город подался, ничего плохого нету в том, чтоб колхознику стать рабочим: всегда из деревень шли люди на заводы, и на новостройки вербуют рабочую силу по деревням. Но в это время не могу. Буду вроде как дезертиром. Перед батею совестно». Может, заметил, когда едешь в Степановку большаком, стоит там при дороге каменный столб, острьяком, и звезда на нём высечена? На том месте кулаки в двадцать девятом году убили отца Гриши Зубенко. Был он председателем первого товарищества у нас. Подстерегли его ночью в поле и не то убитого, не то живьем сожгли. Стояла там молотилка артельная и скирда хлеба. Подпалили скирду и его бросили в огонь. Кабы не сторож, что спрятался в некошеной пшенице и подсмотрел, как они его казнили, так бы и не знали, куда делался человек... Комсомольцы есть у нас хорошие. Вот эта девушка, Клава Кострикина, что отказалась воровать на птичнике яйца для ихних банкетов. В правление колхоза её сейчас выбрали. Правильно выбрали! Что с того, что молодая, девятнадцать лет всего? Когда зачиналась коллективизация, из такой молодёжи-то и был самый актив! И эта Зайцева, доярка, которая подала заявление в партию, — тоже женщина заботливая, справедливая, за правду в огонь пойдёт. И Надежда Ивановна Пронина, мать нашего погибшего героя. Эта уже старуха и здоровьем слаба, в поле работать не будет, но разве в партию принимают по здоровью? На собрании голос подаст против не порядков, образумит какого-нибудь ветрогона — и то большое дело.

— А почему ты сам, Тихон Кондратьич, не ушёл из колхоза в МТС или в город? — спросил Мартынов. — Тебе-то уж и давно работать бы где-нибудь на производстве — специальность в руках.

— Так я же один кузнец в колхозе, Ларионыч! — ответил просто Сухоруков. — На мне там всё хозяйство держится. Как мой сынишка читал книгу про индейцев: «Последний могикан». Вот и я остался один на весь укрупнённый колхоз. В Ореховке кузнец помер, в Степановке бросил ковать по старости. И молодёжь не обучили. Ну, уйду и я из колхоза,

что ж оно получится? Всё дело встанет, нечем будет людям работать в поле. Кто бороны в порядок приведёт, прицепы к тракторам поделает, жнейки отремонтирует? Кто Грише Зубенко колесо ошинует, лошадей перекуёт? Ручка на веялке у баб отломится — и то некому починить. Уйду я — весь колхоз из-за меня пострадает. Нет уж, видно, мне в колхозной кузне и век свековать.

— А рука?

— Рука заживёт. Доктор обещается, что через месяц будет как новая. Это я не в кузне покалечился, плотники угостили меня. Помогал им стропила на крышу поднять, а они не удержали бревно и — по руке. Да я уж тебе рассказывал... Раньше не ушёл из колхоза, а теперь и вовсе не к чему уходить, — продолжал Сухоруков. — Мы было сойдёмся — я, Зубенко, Ксения Панкратова, ещё такие колхозники, которые работали, не бросали, — и разговариваем промеж собою, утешаемся: нет, всё же в дураках останемся не мы, а те, что над нами надсмехаются! Не может быть, чтоб допустили наш колхоз до развала!.. Я тебе скажу, Ларионыч, как ни худо было, а колхоз мы не ругали. Такого сомнения не было в народе, что, мол, колхоз — это неправильно, ничего не выйдет, надо к единоличной жизни повернуть. Помним мы эту единоличную жизнь, как один другому кольями головы проламывали на межах! Что сошлись в колхоз, об этом не жалели. Но за непорядки ругались последними словами! И своих правленцев ругали, и вам, районным руководителям, доставалось, и выше кой-кому.

— Ругали поделом, но почему же молчали столько времени, не обращались в райком? Директору МТС рассказали всё, а ко мне не обращались. Ну вот ты хотя бы. Почему не закрыл на день свою кузницу и не приехал в Троицк? Не рассказал вот это всё, что здесь я от тебя узнал?..

Кузнец смущённо почесал затылок.

— Разве там у вас, в райкоме, как придёшь в кабинет на полчаса, перескажешь всё? То заседания у вас, то телефоны, такая суета. Тут мы уж сколько времени вместе лежим, никто нам не мешает, целую неделю рассказываю тебе про наш колхоз, и то ещё не всё рассказал... Знаешь, Ларионыч, — махнул он рукой, — мы столько повидали у себя уполномоченных, таких, что дальше правления носа не казали и ни с кем, кроме председателя, не разговаривали, что уже не всем начальникам верили. Про тебя поначалу хороший было слух прошёл в народе. А вот за этого нового председателя, за Бывалых, очень мы были недовольны на райком! Тут ты, можно сказать, сам себе этим делом подорвал авторитет. В такой пострадавший колхоз дали такого никчёмного человека! Бюрократ бюрократом, и уши холодные! Думаем: не иначе товарищ Мартынов с этим Бывалых приятели. Хорошего, стало быть, в райкоме мнения о нём, раз доверили такой колхоз. Ну, и куда ж жаловаться?..

Мартынов даже задвигал плечами и головой на подушке от нетерпения — так ему захотелось встать. Он начал объяснять кузнецу «стратегию» райкома (сколько раз уже объяснял он её многим людям!), почему среди других посланцев из партактива оказались и такие типы, как Бывалых.

— Разве только в колхозных парторганизациях есть примазавшиеся к партии? И у нас, в районном активе, найдёшь обывателей и пустозвонов. Надо было проверить таких на деле! А за Руденко колхозники нас не ругают. За Грибова не ругают. За Щукина, Нечипуренко, Сазонова, Плотникова не ругают! Какой он мне приятель, этот Бывалых? Если не доведут с ним теперь в райкоме дело до конца, как нужно, то я вот поднимусь...

— А не слишком ли горячо жестикулируете, товарищ секретарь? — послышался женский голос. — Может, попробовали бы ещё пошагать по палате?

За окном стояла Надежда Кирилловна, положив подбородок на нижний переплёт рамы. Она, вероятно, поднялась на цыпочки — подбородок смешно выдался вперёд, нос задрался кверху.

— А, Надя! Заходи.

— Я на минутку. Димка не забегал?

— Утром был.

— Он после школы пошёл с ребятами ловить рыбу на Сейм. Был у меня в саду, сказал, что на обратном пути зайдёт за мной, и не зашёл. Уже темно, а нет его. Беспокоюсь.

— Значит, хорошо клюёт. Задержался.

И лишь только Надежда Кирилловна успела отойти от окна, чтоб пройти к мужу в палату через приёмную, как на подоконник, подброшенная снизу на верёвочке, шлёпнулась порядочная низка окуней, по стенке заскреблось, показалась взлохмаченная, без кепки, голова мальчика, а через секунду и сам он уже сидел на подоконнике. Его путь в палату оказался значительно короче, и, когда вошла мать в накинутом на плечи халате, Димка с кузнецом, сидя на корточках посреди комнаты, уже пересчитывали окуней на кукане.

— О! Земля треснула — и чёртик выскочил! Он уже здесь! А вот за то, что ты ходишь сюда без халата, тебе, Димка, когда-нибудь крепко влетит от врача.

— ...пятьдесят семь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять. И вот этого бубырика можно присчитать. Шестьдесят штук! Здорово клевало! Никогда в жизни ещё так не клевало!.. Мама! А для чего надевать халат? Если я принёс на себе каких-нибудь микробов, то разве они не вылезут из-под халата? Я же весь не закроюсь, всё равно щёлки останутся. Это не от заразы, а так. Им лишь бы что-нибудь белое было на плечах. Ну, накинь на меня папино полотенце.

— Рассуждение вполне реалистическое, — удовлетворённо кивнул Мартынов. — Не будет формалистом, когда вырастет.

— Тоже мне борцы с формализмом! Да ещё рыбой напачкал на полу.

— Ничего улов, — сказал Тихон Кондратьевич. — Килограмма полтора будет. Были бы у меня обе руки справные, мы бы сейчас с тобой, парень, выпросили на кухне чугунок, развели в саду костёр и такой полевой ушицы сварили бы из свежачка!..

— Вот больные! Начнут ещё тут кухарить. Хотите ухи — я вам дома сварю и принесу.

— Не откажемся, — сказал Мартынов. — Нас здесь ухой не кормят. Только лаврового листику побольше.

— Да уж знаю, как уху варят. Ну, Димка пришёл, тогда я посижу здесь немного. — Надежда Кирилловна уселась в кресло. — А ты беги домой. Нечего до полуночи шататься. Экзамены на носу, сидел бы больше за учебниками. Ужинайте с бабушкой и ложитесь спать, я сама открою дверь ключом.

— Боюсь, Димка, — сказал, улыбаясь, Мартынов, — что наша весёлая и деятельная мать станет под старость ворчливой.

— Я тоже боюсь, — вздохнул Димка.

Надежда Кирилловна рассмеялась.

— Так и мучаюсь с ними, — обернулась к Тихону Кондратьевичу. — Мужики! Вдвоём против одной женщины.

— Дочку надо ещё, — сказал кузнец. — Вот и вам будет подпора.

Димка взял рыбу и тем же путём, через окно, выбрался из палаты. Попрощался уже со двора.

— Спокойной ночи, папа! Скажи маме, каких тебе книжек нужно, я завтра принесу.

Сухоруков пошёл в соседнюю палату посидеть там до отбоя, чтобы дать мужу с женой поговорить наедине о чём-то, может быть, своём.

Надежда Кирилловна одёрнула простыню под Мартыновым, поправила одеяло, вынула из своих волос гребёнку и причесала его. Находившие руки её пахли какой-то душистой травой или древесным соком, корой. Одета она была, как колхозница-шеголиха на работе, — в короткой, сшитой аккуратно, по фигуре, перехваченной в поясе стёганке, в небольших, по ноге, запыхлённых сапогах, в яркой, цветастой косынке, повязанной назад.

— Весна, — вздохнула она, — а ты лежишь. Какие ночи! Воздух такой густой и сладкий, хоть на хлеб его намазывай! Про соловьёв уж не говорю, ты их и отсюда слышишь. Как у нас в старом саду хорошо! Никогда ещё не видела такого сильного цвета на деревьях. Яблони стоят, как невесты в фате.

— Или как медсёстры в операционном зале в белых халатах, — сказал Мартынов.

— Ну, сравнил! Больничные образы. Запомнилась бедному операционная!.. Боюсь только заморозков. Обидно, если такой цвет погибнет. Сегодня целый день развозили перегной и солому по саду в кучки. Всё наготове. Прогноз опасный. Завтра не приду домой, останусь ночевать в саду в сторожке. Если потянет на мороз, будем окуривать. И саженцы мои уже оживают. Но не все принялись, на некоторых сухие почки.

— Ещё рано. Отойдут.

— Скоро клубникой тебя угощу, есть уже завязь.

Надежда Кирилловна рассказала мужу, что знала от людей о весеннем севе в колхозе «Прогресс», о последних колхозных новостях. Рассказала о своих селекционных работах в саду. Взгляд её упал на плетённую соломенную корзиночку, стоявшую за книгами на табуретке.

— У тебя сегодня кто-то был? Кто это принёс? Какая хорошенькая корзиночка! И ручки связаны ленточкой. Это женщина принесла. Погоди-ка, у кого я видела такие корзиночки, кто их умеет плести? Сейчас вспомню... Марья Сергеевна?

— Она.

— Чего она там принесла?

— Не знаю. Посмотри.

Надежда Кирилловна развязала шёлковую голубую ленточку, стала вынимать из корзиночки свёртки.

— Пирожные. Лимоны. Лещ в томате. «Мишки». Масло. Коробка «Казбека». Пастила. Сыр. Копчёная колбаса... Зачем это? Как будто ты здесь голоден, некому позаботиться о тебе.

— Не обижайся, Надя. Это уж так принято — приносить что-нибудь в больницу. Найдётся здесь кому съесть это всё. И ты, если бы шла к хорошему знакомому, пусть у него и жена, а всё же чего-нибудь захватила бы.

— Конечно. А, ладно! Вот ещё букетик фиалок... Знаешь, эта ленточка и фиалки говорят мне больше, чем вся эта передача.

Мартынов удивился нахмуренному, обиженному виду жены. Много раз Надежда Кирилловна со смехом говорила ему, что она совершенно лишена эмбриона ревности. «Говорят, если не ревнует, значит не любит. А вот я тебя люблю, но не ревную. Что поделаешь? Может быть, это мой физический или психический недостаток, но вот такая я и есть. Не ревную — и всё». И иногда добавляла: «Какой-нибудь пустышкой за одни хорошенькие глазки ты не увлечёшься, таких я не боюсь, пусть хоть передают через меня любовные записки тебе. Мне даже лестно, когда вижу, что мой муж нравится женщинам. Но если встретится женщина, которая сможет стать тебе близким другом, большим другом, чем я, и ты потянешься к ней сердцем, — не знаю, может быть, и я испытаю ревность. Да, конечно, тогда я узнаю, что такое ревность».

Повинуясь внезапному душевному побуждению, полагая, что его умная и тактичная жена при встрече с Борзовой никогда и виду не подаст, что знает всё, Мартынов рассказал ей, чем закончилась сегодня их долгая беседа здесь в палате.

Надежда Кирилловна слушала вначале как-то насторожившись, сурово сдвинув брови, но по мере того, как Мартынов говорил, лицо её прояснилось, и под конец на нём появилось выражение обыкновенного женского любопытства, будто он рассказывал о других людях, а не о себе самом и Борзовой.

— Так и сказала, что Виктору Семёнычу было за что ревновать?

— Так и сказала...

— Я её понимаю, бедняжку,— вздохнула и горько, через силу, улыбнулась Надежда Кирилловна.— Знать тебя близко много лет и не полюбить — это, конечно, невозможно... Ещё одна жертва!

— Почему «ещё одна»?

— Ну, первая это я.

Она уже шутила, как обычно, но ей было очень грустно оттого, что вот наконец первый раз за всю их совместную жизнь к ней пришло это неизведанное раньше чувство тревоги за мужа, за его любовь к ней. Значит, это та женщина, которой нужно опасаться?..

Мартынову вдруг стало стыдно перед отсутствовавшей Борзовой за то, что он, рассказав только о её признании и кое о чём умолчав, как бы посмеялся над нею.

— Я ей тоже сказал, Надя, что если бы не любил тебя, если бы так жизнь сложилась, что совсем не знал бы, не встретил тебя, возможно, мы бы с нею были вместе,— договорил он.

— Да?..

Глубоким чутьём любящей умной женщины Надежда Кирилловна поняла, что если дойдёт у них до борьбы за этого человека, то победит та, которая окажется выше, благороднее душой.

— Если бы не встретил меня, если бы да кабы,— покачала она головой.— Это для неё слабое утешение.

— Мне, Надя, просто как-то не по себе, чувствую себя виноватым перед нею за то, что невольно причинил ей горе.

— Горе?.. Нет, это не горе... Она не сказала ведь, что её жизнь повернулась к худшему. Ты ей душу разбудил. Пусть боль, пусть тоска, но это жизнь. Вероятно, и она никогда не пожалеет, что узнала и полюбила тебя. Самое страшное — это пустота. Ни радости, ни горя...

Мартынов благодарно, с восхищением посмотрел на жену, взял её руку, положил себе на грудь.

В коридоре послышались шаги, стоны. Несли что-то тяжёлое, вероятно, больного на носилках. Прошлёпала босыми ногами санитарка. Где-то раскрыли дверь другой палаты, и оттуда доносились громкие стоны. За стеной надсадно закашлялся больной, которому обычно становилось хуже к ночи,— теперь будет кашлять всю ночь. Больница есть больница, не только соловьиное пение услышишь, лёжа в палате. Да и окно в сад уже закрыла снаружи проходившая по двору дежурная сестра.

— Скорее бы уж разрешили забрать тебя домой,— сказала Надежда Кирилловна.— Там тебе спокойнее будет.

Она взяла прочитанные книжки, салфетки и платки для стирки, пустую баночку из-под варенья, спросила, чего ему принести завтра, вспомнила: «Ах да, ухи сварить вам из димкиных окуней!», поцеловала мужа и пошла. На пороге оглянулась, грустно улыбнувшись, помахала рукой...

Вошёл кузнец, посидел немного на своей койке, скинул халат, лёг под одеяло.

— Два дамских поставил мне этот, что с забинтованной головой, обгорелый, — сообщил он. — Ну и сильны эти пожарники в шашки играть!

Пришла дежурная сестра Тамара Васильевна, пожилая, лет за пятьдесят, мощного телосложения женщина, которую все больные звали не сестрицей, а мамашей, повернула Мартынова на бок, помассировала ему бедро, рассказала, кого привезли сегодня к ним, кого выписали, какое меню на завтра утвердил главврач.

— Хорошо стало у нас, Пётр Илларионович, с тех пор, как вас к нам привезли, — зашептала она доверительно, склонившись к Мартынову. — Сегодня главврач собрал весь персонал и говорит нам: «Вы же понимаете, кто у нас лежит в больнице! Не простой больной — секретарь райкома! Вот он скоро начнёт ходить на костылях — неизвестно, куда ему захочется заглянуть. Может, и на кухню заглянет, и на склад, и ко мне в кабинет. Я ему не могу запретить — не простой больной. Надо, чтоб везде был порядок, чтоб всё блестело, сияло!» Ремонт у нас сейчас идёт полным ходом, бельё стали лучше стирать, повар лучше готовит, санитарки тише ругаются. Почаще бы такие большие начальники попадали к нам в больницу!

И сама спохватилась, что сказала неладное, рассмеялась, всплеснула руками.

— Ой, что ж это я говорю, дурёха? Не подумавши, ляпнула! Нет, если б порядки остались такие, как при вас, а вам бы уже поправиться и дома быть!..

Спросив у Мартынова, не нужно ли ему чего на ночь, Тамара Васильевна уложила его опять на спину, укрыла одеялом, погасила свет.

Отбой. Темнота. Колеблющийся на стене луч от далёкого уличного фонаря. Кашель и стоны за стеной. Глубокое, с присвистом, дыхание спящего кузнеца. Мысли...

Долго лежал с закрытыми глазами Мартынов, пока из всего услышанного, передуманного за день стало выступать главное, как в густом тумане выступают очертания деревни или леса, когда подходишь ближе к ним.

«Много заделано, да мало сделано — вот как получилось у тебя, Пётр Илларионыч, с районом, — пришёл Мартынов к горькому выводу. — Разбросанно работал, не подыскал ключа к самому главному. Старое, негодное ломал, а новое, хорошее в систему не привёл. Увлекался одним — забывал другое. Тот подъём, что виден в колхозах, — это результат работы пока небольшой группы людей. Для настоящего же, резкого и крутого подъёма надо привести в движение всю массу колхозников. Это не было сделано. В районе тридцать тысяч колхозников. Армия. Может быть, авангард оказался невелик для такой армии? Да, конечно. Он сам, даже с этими новыми хорошими председателями, не мог поднять всю эту массу народа... Если бы всё было приведено в движение, не оставалось бы на карте района до последнего дня таких позорных белых пятен, вернее, чёрных пятен, как «Рассвет». До последнего дня! Без него уже «дошли руки» других людей до этого колхоза...

Какая всё же огромная махина — район! Сколько людей, и хороших, и так себе, и плохих. И просто пока незнакомых, неизвестных, неузнанных. Как вот эта звеньевая, что выходила ночами полоть свёклу, как Гриша Зубенко, о которых рассказывал сегодня кузнец... Немало и он сам открыл, нашёл таких людей в колхозах, но как-то не закрепил с ними связи, не познакомился ближе, не сошёлся проще, роднее. Как живут и работают сейчас те трактористы в Семидубовской МТС, с которыми он однажды зимой всю ночь проговорил в общезитии? Бригадир Бережной, Юрчик Маслов, Василий Шатохин? А тётя Поля, Полина Егоровна Черноусова, бригадир первой женской тракторной бригады в районе? Замечательные

люди, государственного ума, беспокойной души. Многим из таких людей быть бы в партии! Из вожаков, из передовиков производства должны состоять партийные организации! Из таких людей, чья вся жизнь, все их дела — могучий пример для масс!.. А где сейчас тот мудрый дед Ступаков, «солдат революции с вещевым мешком за плечами»? Как живёт старуха Суконцева, которая приезжала к нему в райком насчёт престольных праздников? Как дела у Дорохова? Колхоз-то пошёл в гору с тех пор, как выбрали его председателем, а как сам Дорохов живёт? Всё так же тоскует по первой жене? Такой же угрюмый и замкнутый дома со своей некрасивой, доброй и любящей Настей? Считая и то время, что лежит он в больнице, с полгода не встречался он с Дороховым близко, запросто, чтобы можно было поговорить обо всём, не только о центнерах и гектарах...

Да, самое главное упустил он из виду — колхозные партийные организации. Вот кто может повести за собой всю массу колхозников — рядовые колхозные коммунисты! Если они действительно коммунисты... И в этом, в здоровых партийных организациях, опять же залог прочности дела. Больше будет в партии рядовых колхозников, производственников, по-настоящему болеющих о хозяйстве и своей колхозной жизни, — сотни зорких глаз будут следить за тем, чтобы эта жизнь шла по верному пути! Никакой райком, никакой обком сам за всем в колхозной жизни не уследит без рядовых коммунистов!.. Если бы все партийные организации в районе были связаны по-настоящему с народом, а он и все работники райкома крепко связаны с колхозными коммунистами, — куда лучше бы шли дела! Район бы стал за эти годы уже действительно передовым!..

Второй его грех, конечно, — Медведев. Какая-то дурацкая щепетильность, нежелание, что ли, вступать в споры с обкомовским аппаратом, боязнь, что за ним окончательно закрепится дурная слава «разгонщика кадров», помешали ему своевременно поставить вопрос перед секретарями обкома о Медведеве. Видел же он, что Медведев по своей натуре совершенно неподходящий для партийной работы человек. Равнодушный наблюдатель жизни, заучившийся цитатчик, бумажный человек, «служащий» в райкоме, не массовик. Видел, знал всё это — и молчал. Примирился с тем, что в райкоме по существу нет второго секретаря, пустое место. Нет и заместителя ему, первому секретарю, на всякий случай. Вот теперь за его молчание расплачивается своими боками целый район!..»

Порывом ветра донесло с центральной площади городка из уличного динамика арию князя Игоря: «О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить!..»

— Тыфу, чёрт! — выругался вслух Мартынов. — И музыка как по заказу!..

«Много заделано — мало сделано. Партия, партия и ещё раз партия — вот ключ ко всему!.. И вот появился в районе человек, который взялся доделывать его недоделки. Что ж, спасибо ему. Да, по всему видно, этот Долгушин — большой человек. И председатели колхозов из Надеждинской МТС реже стали ездить к нему в больницу с тех пор, как Долгушин вошёл там в курс дела. С ним, с директором МТС, решают все трудные вопросы... Так, значит, теперь он, Мартынов, уже не «первая голова» в районе? Что же делать, если он вернётся из больницы на старое место в райком? Как будут они работать с Долгушиным? «Два медведя в одной берлоге»? Уживутся ли? Кому у кого занимать ума и умения руководить людьми? Ведь и он не потерпит «самостийности» Долгушина. Не придётся ли одному медведю вылезать из берлоги?..»

Конец второй части



ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

★

НА ПЛАТФОРМЕ

Я мчался сквозь поля,
накрывшись плащ-палаткой,
на чёрной от угля
пустой платформе шаткой.

В кармане был моём
потрёпанный бумажник,
и было много в нём
различных справок важных:

что я, мол, отпускник,
что еду на поправку...
В Ельце санпропускник
и тот мне выдал справку.

Я к доскам примерзал
и, скорчившись от стужи,
на станциях слезал,
тёр рукавами уши,

где — шумно толковал
с безруким инвалидом,
где — паренькам давал
махру с суровым видом,

где — с девками шутил,
пилотку сдвинув набок,
где — простоквашу пил
у жалостливых бабок.

Врывался в города,
предместья прорывая,
неслась домов гряда,
сады и лязг трамвая.

Я мчал во тьме ночной,
отсчитывая вёрсты,
победно надо мной
ночь зажигала звёзды.

Я пел. Бил ветер в грудь.
Дорогой снеговою
великий Млечный путь
белел над головою.

На фронте, за спиной,
орудия басили.
Вдали передо мной
лежал простор России —

БРУНО ЯСЕНСКИЙ

★

ЗАГОВОР РАВНОДУШНЫХ

Первая часть неоконченного романа

На страницах «Нового мира» публикуется первая часть незавершённого романа «Заговор равнодушных». Эти главы мне посчастливилось обнаружить в бумагах моего покойного мужа Бруно Ясенского. Рукопись весьма пострадала от времени, но всё же мне удалось восстановить её, отредактировать и подготовить к печати в том виде, в каком она и предлагается теперь читателю. Над романом «Заговор равнодушных» Бруно Ясенский работал в 1937 году. Арест по навету провокаторов прервал его труд. Однако, несмотря на то, что сюжетные линии, начатые в публикуемых главах, остались незавершёнными, всё же широкие картины жизни середины тридцатых годов в Советском Союзе, в Германии и во Франции делают эти главы, на мой взгляд, интересными для читателя.

Что подразумевал Бруно Ясенский, дав роману, над которым он работал, заглавие «Заговор равнодушных»?

На это отвечают слова, произнесённые одним из героев книги, Эрнстом Гейлем, на парижском митинге, описанном в заключительной главе первой части. Призывая трудящихся объединиться в единый фронт против фашистской угрозы, Эрнст говорит: «Фашистская язва исчезнет с лица земли в тот день, когда будет разбит заговор равнодушных, когда тысячи людей перестанут оказывать поддержку палачам одним фактом своего нейтралитета».

Эти слова перекликаются и с эпиграфом, предпосланным роману.

Как должна была заканчиваться книга?

Никаких набросков и планов, относящихся к последующим главам, к сожалению, не сохранилось. Летом тридцать седьмого года Ясенский заканчивал завершающие главы первой части — главы о Париже. Он писал запоем, ежедневно проводил по многу часов за столом или вышагивал из угла в угол по своему кабинету. Из рассказанных им намёток по второй части память сохранила лишь отдельные куски.

Помню, что статик Бернхардт Эберхардт должен был повстречаться с Семёном Порхачёвым. Эта встреча была задумана так.

Семён Порхачёв, узнав о приезде в Советский Союз профессора Эберхардта, сам приходит однажды вечером к старому учёному, собирающемуся продолжать свой труд в советском научно-исследовательском институте. Плохо зная немецкий язык, да ещё и пугаясь от волнения, Семён заговаривает о проблемах, которые издавна его волнуют, — о Галактике, космосе, о новых звёздах. Эта взволнованная беседа рождает у учёного счастливого ощущение не зря прожитой жизни. Горячие слова Семёна приглушают даже боль, причинённую старому Эберхардту потерей сына.

...Маргрет возвращается в Германию. Чужим и совершенно невыносимым стало для неё общество отца, Фришофа и окружающих их фашистских чиновников. От всех них и от безвольной матери Маргрет пытается вновь уехать за границу, но Фришоф силится удержать её. Он сообщает Маргрет, что арестован Эрнст, и даёт понять, что сможет содействовать его освобождению, если Маргрет согласится стать его, Фришофа, женой. Добившись этого вынужденного согласия, Фришоф «нечаянно забывает» подложную бумажку, из которой Маргрет узнаёт, что Эрнст повешен.

Маргрет кончает жизнь самоубийством.

Эрнст, который на самом деле сумел благополучно избежать фашистской ловушки, приезжает в Москву как делегат конгресса Коминтерна. Случайно повстречав на улице преподавателя, наёмника фашистов Релиха, Эрнст помогает его разоблачению.

У старика Эберхардта Эрнст знакомится с Семёном Порхачёвым и с коммунистом учёным Ивановым. Между Эрнстом и Ивановым завязывается близкая дружба, почти такая же, как дружба, связывавшая некогда Эрнста с Робертом Эберхардтом. Провожая Эрнста на родину, в Германию, находящуюся под властью фашистского произвола, Иванов выражает уверенность, что он и его новый друг ещё встретятся в общей борьбе против ненавистного фашизма.

Анна Берзинь.

Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить.

Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать.

Бойся равнодушных — они не убивают и не предадут, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство.

(Роберт Эберхардт.
«Царь Питекантроп Последний»).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

31 декабря 1934 года на четверти земного шара лежал снег. В городах с улиц его сметали механическими щётками, ледяную корку скалывали вручную скребком. Снега от этого не убавлялось, он порошил, не переставая. В столицах обильно солили мостовые и тротуары, посыпали песком. Семь с половиной миллионов людей с утра до вечера только и занимались этой непроизводительной работой. Прохожие скользили, падали, отряхивались и, приплясывая, бежали дальше.

К вечеру в городах, на фасадах зданий, зажглись синие и красные — аргонные и неоновые — трубки. Оба газа найдены были недавно английским химиком Рамзаем и быстро нашли применение как дешёвая световая реклама, вытесняя электрические лампочки.

В большинстве стран в этот вечер, по очень старому обычаю, люди собирались в ресторанах и на частных квартирах, много ели и выпивали, поминутно поглядывая на часы. Ровно в двенадцать под общий звон и гомон они поднимали тост за наступивший новый год. Большинство из них полагало, что истекший год был на редкость плох и тяжёл, но новый будет непременно лучше. Впрочем, так они думали и год тому назад.

На следующее утро десятки миллионов людей вставали с головной болью, с отрыжкой, глотали чай с лимоном, минеральную воду, соду, всякие пилюли и с туманом в голове отправлялись на работу. Начинался новый, лучший год.

Итак, когда большая стрелка приближалась к двенадцати, где её уже поджидала малая, она была, как любили выражаться журналисты, «в центре внимания всего мира».

В одном только городе большие часы на городской башне показывали неизменно 8.26. Город назывался Санта-Рита и лежал в Центральной Америке, в республике Гондурас. Часы на его башне показывали 8.26 не потому, что таково было местное время, а потому, что две недели назад в маленьком городе Санта-Рита случилось большое землетрясение, разрушившее до единого все дома. По непонятным причинам уцелела лишь городская башня с часами, которые остановились навсегда, отметив час и минуту постигшего город бедствия. Лишённые крова сантаритяне вместе с населением других разрушенных районов бежали в горы Гватемалы и встречали новогоднюю ночь под открытым небом при свете костров. Новый год не сулил им ничего хорошего.

Впрочем, и в других странах много людей не смотрело в эту ночь на часы.

В Польше, в Домбровском бассейне, шёл снег. У ворот шахты «Баська» всю ночь до утра толпились женщины, много женщин в платках. На шахте происходили странные вещи. В посёлках об этом передавали шёпотом. Когда управление решило закрыть шахту, горняки заявили, что добровольно не уйдут, — уйти им было некуда. Последняя смена в восемьдесят человек осталась под землёй. Забастовщики сняли с тросов подъёмную машину и объявили голодовку.

На следующий день из шахты «Дорота» на «Баську» прорвалась вода. Вода затопила лаву «А». Восемьдесят человек, отступая по пояс в воде, укрепились в штреке 12. В штреке сильно пахло газом.

На пятый день у забастовщиков под землёй осталась всего одна лампа и совсем немного карбида. Наверху, у спуска в шахту, молчаливо караулили полицейские. Управление на запрос профсоюза ответило, что шахту спасти нельзя.

31 декабря, в одиннадцать часов вечера, лампа в штреке 12 потухла. Люди остались впотьмах.

В городе Саарбрюккене царило в эту ночь необычайное оживление. Все «истинные германцы» приветствовали новый год как год освобождения Саара от французской оккупации и приобщения его к единому телу пра-матери Германии. В пивных и винных погребах настоящие патриоты, изъявившие готовность поднять тост за рейхсканцлера Гитлера, получали бесплатно бокал рейнского вина и пиво в неограниченном количестве.

Рабочий Карл Люксембургер не раз в беседах заявлял своим друзьям, что ему не нравится рабочее законодательство в Германии. В конце концов он эльзасец, и из двух зол он предпочитает французскую оккупацию национал-социалистской.

В этот день рабочий Карл Люксембургер был особенно доволен. После длительных хлопот он заполучил наконец французский паспорт. Теперь ему на этих свиней наплевать! Он французский подданный, и ему нет до них никакого дела.

Новый год он решил для вящей безопасности встретить в семейном кругу, с женой и двухлетней дочкой. Поздно вечером, нагружённый покупками, он возвращался домой. Над улицами сплошным потолком нависли гирлянды электрических лампочек. Город, как в мировую войну, кишел офицерами всех союзных армий, с той только разницей, что к англичанам и итальянцам прибавились ещё голландцы и шведы. Итальянцы в эту ночь оккупировали отель «Месмер», англичане укрепились в баре «Эксцельсиор». На пороге бара долговязый капитан индийской армии, в красном смокинге и зелёных брюках в жёлтую клетку, воинственно потрясал в воздухе шестидюймовым снарядом для сбивания коктейлей. Рабочий Люксембургер плюнул и прошёл мимо.

Дома, когда он сел с семьёй за стол и стал раскупоривать бутылку недорогого, но честного вина, стёкла окна звякнули, раздалось несколько выстрелов. Карл Люксембургер был убит на месте, его жена и дочь в тяжёлом состоянии были доставлены в ближайшую больницу.

«Отчизна-мать, цветы века! На Рейне мощь твоя крепка!»

В Союзе Советских Социалистических Республик, в городе Москве, происходила в это время радиопередача для зимовщиков Арктики.

«Алло! Алло! Говорит Москва! Говорит Москва! Радиостанция имени Коминтерна.. У микрофона председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР Михаил Иванович Калинин».

«Товарищи работники Арктики! Вы разбросаны в отдалённых, безлюдных местах, в местах суровой природы, где появление человека, в особенности в зимнее время, считалось исключительным героизмом отдельной личности, исключительным героизмом мучеников науки, либо где люди появлялись в результате бедствия полярной экспедиции...»

На полярной станции Маре-Сале, у западного побережья полуострова Ямал, в тёплом помещении станции люди, затаив дыхание, гурьбой стояли у радиоприёмника.

Вчера с вечера продовольственные склады станции подверглись атаке полярных мышей — лемингов. Голодные рыжие леминги, похожие на бесхвостых крыс, ринулись пожирать съестные припасы, заготовленные на зиму, до будущей навигации. С севера надвигались новые необозримые стаи.

Весь день на станции кипела работа. Продукты поднимали на навес, водружённый высоко над землёй на деревянных столбах. На дворе ревели метель. Ночью леминги приступом взяли столбы.

Не дослушав передачи, люди кинулись к навесам защищать драгоценный провиант.

2

В городе Н., большом центре большого края, затерянного среди снежных просторов СССР, ещё в полдень зажглись фонари.

В городе Н. был большой завод за номером таким-то. Завод был расположен на отлёте, километрах в пятнадцати от центра.

В заводском клубе, на сцене, где среди красных склонённых знамён — огромный Ленин в два человеческих роста, длинный стол накрыт огненно-красным сукном. Там, меж графинов с водой и набитых окурками пепельниц, в сизом табачном дыму и в нервном сиянии ламп восседают сегодня занятые люди завода.

Торжественная часть близится к концу. После перерыва — большой художественный концерт, а после концерта — танцы, западноевропейские и национальные. «Обильно снабжённый буфет». «По случаю Нового года имеются всевозможные сладкие вина».

Завтра День ударника, неплохо бы козырнуть перед страной одним-другим рекордом. О богатой выпивке не может быть и речи: какая уж работа с перепоя!

Но, во-первых, не все работают в утренней смене, а во-вторых, пропустить несколько рюмок не значит ещё напиться.

Одна беда — помещение клуба не рассчитано на такое количество народа. Где тут танцевать! И повернуться-то особенно негде.

И вот, немного покрутившись, молодёжь разбредается по квартирам к тем, у кого попросторнее: в щитковые и каменные дома, где уже ждут накрытые столы, наскоро оборудованные в складчину.

У Юрия Гаранина целых две комнаты в новом каменном доме, как подobaет редактору заводской газеты «За боевые темпы». У Шуры Мингалевой премиальный патефон «Тизприбор». По несколько пластинок принесёт каждый: у Кости Цебенко весь Утёсов, Гуга Жмакина собирает Ирму Яунзем, у Васи Корнишина «Чёрные глаза».

Всего двенадцать человек: комсомольцы, активные рабкоры, сотрудники газеты, а в основном — по принципу «кто с кем дружит». После бюро обещал зайти Филиферов, второй секретарь райкома. Жалко только, что первый секретарь Карабут в Сочи, а то пришёл бы обязательно. Ничего, пусть поправляется, выпьем за его здоровье!

Уже человек восемь колдуют вокруг ступенчатого стола, искусно смонтированного из трёх разнокалиберных столиков, рассматривают на свет графины, полные белой, желтоватой и вишнёво-красной истомы, вертят по очереди, с размаху безотказную ручку патефона, словно заводят на морозе грузовик, и патефон, давась механической слезой, ревет о том, как много девушек хороших, как много ласковых имён, и о сердце, которому не хочется покоя.

Тут раздаётся очередной стук в дверь ногой. Это пароль сегодняшнего вечера. Приглашая Борю Фишкинда, Цебенко сказал ему на прощание:

— Приходи часов в десять и стучи в дверь ногой.

— Почему ногой? — удивился Боря.

— Потому что, надеюсь, руки будут у тебя заняты.

Все бросаются к двери открывать — Костя Цебенко собственной персоной! Руки у него действительно заняты. Подмышками по бутылке «Баяна». В руках стопка пластинок и консервы — налимья печёнка. Из левого кармана вытягивает жирафью шею колбаса. Из правого сыплются на пол конфеты «Джаз».

Он подходит к патефону («...спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!..»), берёт за шейку, как гуся, и ловко, без хруста, выворачивает её назад. Патефон мгновенно умолкает. Цебенко снимает пластинку и кладёт только что принесённую, новую.

— Внимание! Вот пластиночка! Чин чинарём! Последний выпуск. И для сердца и для ног!

«Каховка, Каховка, родная винтовка, горячею пулей лети!..»

— А где же, собственно говоря, Гаранин?

— Ах, они все на бюро райкома. Созвали их срочно по какому-то экстренному вопросу. Скоро, наверное, кончат. Обещали не позже одиннадцати. Придут вместе с Филиферовым.

А вот и Петька Пружанец, он же поэт Сергей Фартовый, заводской Маяковский.

— Здравствуйте, товарищ поэт! Читал сегодня в уборной твоё последнее произведение... Да нет, вовсе не думаю его обидеть! Это он сам развесил свой плакат по уборным.

— Правильно! Правильно! Читали! Подожди, как это? «В рабочее время ты куришь, а вот попробуй подсчитай-ка — дело простое: каждая папироса, помноженная на завод, это десятки тысяч минут простоя!»

— Что же вы от него хотите? Это совсем неплохо. По крайней мере, со смыслом.

— Да надо же хоть в уборной отдохнуть от его стихов!

— Чудак! Наоборот! Заметь, что именно в уборной людей особенно тянет на рифму. Раньше все стены исписывали стишками.

— Уж не ты ли сочинял эти стишки?

— Ого, Гуга кусается! Не троньте лучше Петьку! — И Сёма Порхачёв примирительно заводит патефон.

«Под солнцем горячим, под ночью степною немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути...»

Вроде буржуазный фокстрот, а всё-таки с нашей начинкой.

Петька Пружанец не обижается. Есть ещё на заводе лодыри, которые четверть рабочего дня прокуривают в уборной. Почему по ним не ударить рифмованным лозунгом, который стегал бы их на месте преступления? Да и можно ли сердиться на Костю Цебенко? Они с ним закадычные друзья. Костя в глубине души немало гордится петькиными стихотворными успехами.

Если Петька на кого-нибудь и сердится, так это на себя: кто бы и когда бы ни заговорил о его стихах, Петька неизменно краснеет, как барышня. Это — идиотство, но это так. И ничего с этим не поделаешь. Дурацкая ошибка природы, наделившей его хрупкой, почти женственной внешностью, совершенно не соответствующей его поэтическому жанру. Стихи его лозунговые, рубленые, такие читать надо басом. А голос у Петьки высокий, девичий. Поэтому Петька и стесняется выступать, а если заставят, краснеет вдвойне. Слушатели думают, что парень конфузится, и хлопают — наверное, из жалости.

Сейчас Петька, постояв минуту с шахматистами, обсуждающими результаты четвёртого тура Гастинского турнира (впереди идут Эйве и Томас, на третьем месте — Капабланка, Ботвинник выиграл у Веры Менчик), незаметно протискивается к окну, будто хочет открыть форточку (духота, дым!), на самом же деле, чтобы пробраться поближе к Гуге. С Гугой они сегодня опять в ссоре. Началось это, собственно, ещё вчера. Гуга вернулась из города злая-презлая. Собиралась сшить себе юбку, обегала весь город — нигде ни булавки, ни кнопки, ни крючка. Вот и шей! Безобразия! Скоро юбки делать придётся из гофрированной жести, на заклёпках!

Петька взъелся: что за обывательские разговоры! А ещё комсомолка! Ясно, металл нужен для машиностроения. Обходились без вещей поважнее, проживём и без застёжек.

Целый вечер после этого не разговаривали.

Сегодня утром Гуга подошла и без слова положила к нему на станок свежую «Правду» с отмеченной статьёй «Булавки и кнопки». В статье говорилось, что в нехватке элементарных предметов галантереи повинно прежде всего разгильдяйство некоторых хозяйственников, которые не потрудились использовать для этой цели отходы металлообрабатывающей промышленности.

В обеденный перерыв Петька встретился с Гугой в столовой. Разговорились мирно, будто и не ссорились.

— Ты меня за вчерашнее извини,— беря Гугу за руку, промычал под конец Петька.— Я в главке не сижу, не знаю, сколько у них отходов. «Правде» виднее.

— А разве у тебя по какому-нибудь вопросу есть своё мнение, пока не прочитаешь в «Правде»? — раздражённо пожимая плечами, сказала Гуга.

— То есть как это?

— А так. Запоздай «Правда» на три дня, ты и стихов писать не сможешь. Обязательно подождёшь, что сказано в последней передовице.

Она засмеялась коротким, недобрым смехом, встала и ушла.

Вечером Петька, не выдержав, забежал к ней в общежитие объясниться, но не застал. Встретились только здесь, у Гараниных.

Присев рядом на подоконник, Петька осторожно погладил её по спине. Гуга ёжится, но не протестует. Он наклоняется к её уху.

— Злючка! Ты же знаешь, как я тебя люблю.

Но тут запредела дверь, вваливается Боря Фишкинд и, разгружаясь от пакетов, кричит с порога:

— Знаете, кто оказался матёрым троцкистом? Не отгадаете!

— Ну? Ну?

— Да говори, без дураков!

— Грамберг!

— Замдиректора по снабжению?

— Не может быть!

— Скрыл это на чистке!

— А кто же его разоблачил?

— Релих. Сегодня по этому вопросу — экстренное заседание бюро.

— Ребята, знаете, сколько сейчас времени? Без трёх минут двенадцать!

— Наливай бокалы!

— Ну, а как же Гаранин, Филиферов? Надо их подождать!

— Отставить Новый год! Переведём стрелки!

— Товарищи!

— Тише! Слово имеет Цебенко!

— Товарищи! Гаранин и Филиферов освободятся неизвестно когда.

А кончат заседать — присоединятся к нам и нагонят упущенное, как подбает честным морякам.

— Правильно!

— Молодец, Костя!

— Жизнь идёт чин чинарём! Республика растёт и шагает! И никому не остановить её ни на одну минуту...

— Правильно!

— Потому Новый год у нас начинается в двенадцать часов, а не в пять минут первого! Прошу без пререканий наполнить бокалы.

— Есть, наполнить бокалы!

— Товарищи! В каждый Новый год получается так, что встречаем мы его уже не в том составе, что предыдущий. Кто отбыл учиться поближе к центру, кто ушёл в армию, а кто ещё куда. Один древний фило-

соф говорил, что жидкость в реке через пять минут уже не та, что была раньше, а в фюмке и подавно. Так что будущий Новый год вряд ли многим из нас придётся встречать вместе. Вот, для примера, Женя Гаранина кончит лётную школу и уйдёт петлять в Военно-Воздушные Силы Республики, да и забудет про нас с вами и про всё это хозяйство. Петька Пружанец кончит комвуз и рванётся в Москву. Там, говорят, такие, как он, в очередь за славой стоят,— кому повезёт, того премируют отрезом на памятник. Гуга, вероятнее всего, смотается за ним, поскольку, как известно, оба эти товарища маленечко друг друга уважают. И встретимся ли мы ещё когда-нибудь, чин чинарём, за одним столиком — неизвестно и даже сомнительно. А если и встретимся, то через много лет. Кое-кто из нас сложит, может быть, к тому времени свои косточки на японской или германской территории, в зависимости от того, где нам придётся обороняться. А те, кто останется в живых, может, и не сразу узнают друг друга. Женя будет уже тогда героиней Советского Союза. Юрку Гаранина переименуют к тому времени в Туполева. Петька Пружанец, виноват, Сергей Фартовый, народный поэт Республики, будет похлопывать по плечу и угощать водкой молодые дарования из провинции. А я, как подобает честным моряком, буду строить гидростанции где-нибудь на Севсрном или Южном полюсе, в зависимости от сезона. И если встретимся вместе, то всем нам покажется чудно, что вышли мы из одного инкубатора... Почему из инкубатора? Не мешай, я тебе сейчас скажу почему... Кладут в инкубатор тупое, несознательное яйцо, подпускают температуру, и выходит, чин чинарём, вполне оформленная курица... Правильно, не обязательно курица, иногда и петух... Так вот, разве не таким же инкубатором был для нас всех наш завод? Пришли мы на него неграмотные, как чурки, кто в лаптях, кто без лаптей, а кто, как я, с фонарём под глазом и тремя приводами. А разбредёмся мы, и каждый из нас будет представлять собой вполне оформленную личность. В общем, говорить я не спец, мне бы речи держать на пару с Петькой: я бы насчёт смысла, а он по части образов и всякого этого хозяйства... Словом, размахнулся я не в меру, а хотел только сказать: выпьем, ребята, за наш завод!

Тут зазвенели стопки, фигурально именуемые бокалами, поднялся невероятный шум и гам. «Так вспомним же юность свою боевую, так выпьем за наши дела!..»

Потом пили за год «19-35», как за номер телефона любимой, за дружбу, за секретаря райкома Карабута, поправляющегося после болезни в Сочи, за Женю Гаранину и за неудачно отсутствующих.

Под звон и гомон никто не заметил, как в комнату вошёл Володя Ичкуткин и вызвал в коридор Петю, как Петя вернулся и знаком вызвал Цебенко, как Цебенко вызвал в коридор Фишкинда, а Фишкинд — Васю Корнишина. Спихнулись только тогда, когда за столом стало вдруг пусто и тихо. А Боря Фишкинд стоит уже в коридоре в кепке. А Вася Корнишин надевает пальто.

— Что вы, ребята? Случилось что-нибудь?

И тогда из передней появляется Костя Цебенко и подходит к Жене Гараниной. Лицо у него необычное, строгое, а глаза беспокойные, жалостливые.

«Чего он на меня так смотрит?»

— Что такое? Случилось что-нибудь?

И уже сердце стучит: да, да, случилось, непременно случилось!

— Женя, — говорит Цебенко. — Мы все тебя любим, как товарища, и доверяем тебе безусловно...

Какие смешные слова!

— К чему ты это, Костя?

— И ты, как комсомолка, должна нас понять...

— Что же я должна понять? Зачем такое витиеватое предисловие?

— Сегодня на бюро Гаранина исключили из партии...

— Что-о-о? Этого не может быть! За что?

— Говорят, за троцкизм.

— Какая нелепость! Подожди, ты всерьёз? Ведь он никогда не был ни в какой оппозиции. Какой он троцкист? Ему двадцать пять лет...

— Женя, ты же комсомолка. Раз бюро исключило с такой мотивировкой, очевидно, были какие-то данные.

— Но я тебе говорю, это нелепо. Ведь я же знаю Юрку!

— Если мотивы окажутся недостаточными, партгруппа может их отвергнуть. Да и после партгруппы остаётся комиссия партийного контроля. Но пока что никто из нас, ни я, ни ты, не вправе ставить под сомнение выводы нашего партийного бюро. А бюро исключило Гаранина как врага партии.

— Зачем же, Костя... зачем же сразу такие страшные слова?

— Женя, тебе тяжело. Поверь, и нам не легче. Но ты понимаешь сама: после того, что случилось, выпивать у него на квартире... Ты же сама понимаешь...

— Я думала, это в равной степени и моя квартира?

— Мы все знаем тебя, Женя, как преданного товарища... И никто из нас не сомневается: какой бы оборот ни приняло дело Гаранина, ты поступишь так, как должна поступить комсомолка.

— Конечно, я никого из вас не задерживаю,— тихо говорит Женя.— Вы совершенно правы. Только... всё это свалилось на меня до того неожиданно...

— Погодите, так нельзя! — вступается Костя. Он несколько растерян.— Я думаю... чтобы тебе не остаться одной... с тобой побудут Гуга и Шура.

— Нет, ребята, спасибо, вы хорошие. Но я именно хочу побыть сейчас одна. Мне надо подумать... Я же должна понять. Идите, товарищи!

— Нет, Женечка, мы с Шурой останемся.

— Поймите, девушки, мне хочется побыть одной. Идите.

— Ты не сердись на нас, Женя?

— Ну, что ты, Петя? Разве я не понимаю? Я всё понимаю. Просто мне сейчас немного трудно. В большом несчастье человек всегда до того одинок...

— У тебя, Женя, много товарищей, которые тебя по-настоящему любят и в тяжёлую минуту всегда с тобой. Если бы у меня не было надежды, что всё ещё как-то выяснится и обернётся по-другому, я бы первый предложил тебе: иди, Женя, с нами! В коллективе всегда легче.

— Спасибо, Костя, за хорошее слово. Я тоже думаю, что всё это ещё выяснится.

— До свидания, Женечка.

Они уже в коридоре. Как они тихо идут! Ни смеха, ни голосов, ни привычного грохота по лестнице. Как с похорон... Вот их уже нет. Хлопнула дверь вниз. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути...»

3

Теперь она совсем одна. На столе наполовину опорожненные графины, серебристая пробка от шампанского «Баян», кусок селёдки на вилке, неоткрытая банка налимьей печёнки, окурки, окурки, дым.

«Что ж это такое? Как же быть?»

Она бродит по комнате, натываясь на стулья. Беспомощно хрустят пальцы, и прямая складка на лбу обозначается всё глубже и глубже. Уже час ночи. Заседание, наверное, давно кончилось. Почему всё ещё нет Юрки?

Лихорадочно долго стучит она по рычагу телефона. Толцые и отверзется вам.

— Алло! Пожалуйста, квартиру Филиферова! Арсений, это ты? Говорит Женя! Арсений, мне необходимо тебя видеть. Сейчас же! Если можешь, зайди ко мне. Или я к тебе сейчас зайду... Да, знаю уже обо всём. Вернее, ничего не знаю, ничего. Скажи, у вас давно кончилось заседание? Уже больше часа? Нет, не приходил. Ты не знаешь, где он?.. Значит, придёшь? Хорошо, я тебя жду. Только, пожалуйста, сейчас же.

Трубка, покачиваясь, повисла на крючке рычага.

Минут через десять в комнату стучит Филиферов. Дверь отпирает Женя. Она спокойна и сдержанна. Так по крайней мере кажется ей самой. Но Филиферов видит: на Жене лица нет. «Как человек может измениться за каких-нибудь полчаса! Уф! Нелёгкое дело! Здорово, видно, любит своего Юрку».

— Гаранин не приходил?

— Нет. Не знаю сама, где его искать. Арсений, я так боюсь.

— Ну вот ещё, какие пустяки! — успокоительным басом ворчит Филиферов. Он долго возится в поисках стула, который тут, под рукой. — Гаранин не ребёнок, чтобы делать глупости. Бродит, наверно, где-нибудь по улице. Трудно после такой вещи сразу вернуться домой...

Филиферов вытирает платком больные красные веки. У него давнишний конъюнктивит. Стоит ему понервничать — и веки начинает щипать. После сегодняшней бани на бюро щиплет, нет сил.

Он достаёт пачку папирос «Бокс» и долго раскуривает папиросу. Спички гаснут, как на дожде.

Наконец Женя не выдерживает:

— Объясни мне, Арсений! Скажи! В чём тут дело? Неужели ты считаешь Юрку троцкистом? Ведь это нелепо!

— Во-первых, к твоему сведению, я за исключение Гаранина не голосовал...

— А кто выдвинул против него такое обвинение? Нельзя же такими вещами бросаться без всякого основания!

— Кто выдвинул, безразлично. Докладывать о том, что происходит у нас на бюро, я тебе не обязан, да и не имею права. А основания были. Если подходить со стороны, пожалуй, и достаточные основания.

— Но какие же, какие? Это, я думаю, не секрет?

— Во-первых, Грамберг. Кто знал, что Грамберг — троцкист? Никто. Скрыл, подлец, перед партией. Твердокаменным большевиком прикидывался. Никто из нас его не раскусил. А оказывается, два раза исключался из партии. Релих разоблачил его в лоск. Прижал к стенке, деваться некуда. Ну, а Гаранин, сама знаешь, поддерживал с Грамбергом весьма близкие отношения.

— Но ведь все вы поддерживали с Грамбергом близкие отношения. Сам говоришь, никто не знал о его троцкистском прошлом. И Релих, наверное, не знал, раз не разоблачил его раньше. Откуда же Юрка мог знать?

— Поддерживать-то поддерживали, но не все печатали его троцкистские статейки. А Гаранин напечатал.

— Какие статейки? Когда?

— Ты, Женя, успокойся. Нельзя так волноваться. Говорю тебе: я лично не думаю, чтобы Гаранин делал это сознательно. Но против факта не попрёшь. Напечатал на прошлой шестидневке. По поводу отмены хлебных карточек. Грамберг утверждает в этой статейке, что введение у нас карточной системы было следствием бессилия партии в борьбе с кулаком. Конечно, говорит он об этом в завуалированной форме, но смысл, несомненно, такой. Все мы это проглядели. А теперь перечитываешь и хлопаешь себя по лбу.

— Но ведь ты сам говоришь: все это проглядели, не один Гаранин!

— А ты думаешь, мне выговора не вlepили? Сам голосовал.

— Но почему же Юрку...

— За газету непосредственно отвечает Гаранин. Будь только этот случай, наверняка отделался бы строгим выговором. Ну, сняли бы с газеты...

— А разве ещё что-нибудь?

Филиферов кивает головой. Ах, как шиплет глаза. Может, это от дыма? Ну, и накурено же здесь!

— В передовой самого Гаранина очень скользкое место. Доказывает он там, что заводская молодёжь значительно резче реагирует на неполадки производства, чем старики, даже старики из руководящих. Дескать, те успели свыкнуться с неполадками. Поэтому к сигналам молодёжи всем нам очень и очень надо прислушиваться...

— Ну, а разве это неправильно? Что ж тут такого?

— Раз «всем нам», значит и партийной организации, и всей нашей партии, и «старикам из руководящих», как там сказано. И что же это иное, если не старая троцкистская теория барометра?

— Но ведь Юрка вовсе этого не хотел сказать! Просто неудачно выразился.

— В политическом словаре нет такого термина: «неудачно выразился». Гаранин — парень достаточно грамотный, чтобы выражаться удачно.

— Но ведь ты тоже этого не заметил?

— Вот и бьют за то, что не заметил. Скорее всего снимут и пошлют на низовую работу.

— И это все обвинения?

— Нет, не все. Когда Гаранин в прошлом году учился в КИЖ, был там у них один преподаватель, некто Щуко. Сейчас арестован. Гаранин работал у него в семинаре. Сам в этом признался на прямой вопрос Релиха. Говорит, на дом к нему заходил раза два за книжками. А потом ни с того ни с сего бросил КИЖ и вернулся обратно на завод... Ну вот, одним словом, эта связь со Щуко, внезапное возвращение на завод... Завод наш оборонный... К тому же, говорят, Гаранин когда-то — я, между прочим, об этом не знал — не то выходил, не то заявлял о своём выходе из комсомола. Словом, одно к одному...

— Но ведь Юрка-то тут ни при чём! Как вы можете смешивать его?

— Да ты успокойся, успокойся, — мягко повторяет Филиферов. — Глаза шиплет нестерпимо. Вот накурили! — Арсений подходит к окну и открывает форточку. — Ты ничего, не простудишься? А то накинь на себя что-нибудь.

Но она не слышит его слов.

— Скажи мне, Арсений! Вот ты лично, ты веришь в виновность Юрки? Ты ведь понимаешь, что исключили его зря? Что же ты намерен предпринять, чтобы исправить эту ошибку? — И, не дожидаясь его ответа: — Надо немедленно, немедленно телеграфировать Карабуту! Пусть приезжает сейчас же, сейчас же!

Она замолкает, сообразив, что допустила оплошность. Филиферов может обидеться: как будто в отсутствие Карабута он сам ничего предпринять не в состоянии. И Женя тут же добавляет, чтобы загладить неловкость:

— Ведь тебе самому легче будет.

— Карабуту я телеграмму уже послал, сразу после заседания. Всё равно отпуск его пропал. Придётся ему расхлёбывать эту кашу.

— Когда он сможет быть здесь?

— Дней через пять-шесть, не раньше.

— А можно до его приезда как-нибудь оттянуть, не ставить этот вопрос на партийном собрании?

— Что ты, шутишь? За такие вещи распускают всё бюро.

— Что же тогда делать?

— Завтра съезжу в крайком. Попрошу Адрианова, чтобы меня принял. Изложу ему всё как есть. Он может выделить дело Гаранина для исследования или вообще отменить решение бюро... Ну вот, так и скажи Гаранину. Пусть повременит психовать.— Филиферов устало поднимается. — Знаешь что, надень-ка на себя пальтецо и выгляни на улицу. Гаранин наверняка бродит где-нибудь тут, поблизости. Забери его домой. Я пойду прилягу. Голова болит. Завтра — День ударника, дел не обещься...

Они расходятся на углу. Под калошами Филиферова хрустит снег. Из окна поблизости долетает истерический вопль патефона: «Сердце, тебе не хочется покоя!..» Ой, и как ещё хочется... Порошит снег. Завтра разговор с Адриановым. Нечего сказать, весёлое начало нового года.

4

...А снег кружится, лёгкий, весёлый, — столько снега и в ночь не приносится. И снежинки садятся, как пчёлы, на её золотые ресницы...

Она идёт быстро, озираясь по сторонам и взволнованно заглядывая в лица прохожих. Уже раз и другой ей ответили грубой шуткой. Вот впереди человек. Идёт ссутулившись, Юркина походка. Чёрное пальто с меховым воротником. Она нагоняет его у фонаря и порывисто прижимается к его плечу. Незнакомое усатое лицо смотрит на неё осуждающе-укоризненно.

— Простите, я ошиблась, — лепечет она в испуге и продирается дальше сквозь хлопья, как сквозь берёзовую чашу.

Слёзы медленно наплывают к горлу. «Где же искать? Может, пойти в больницу? Он такой сумасшедший!.. О-о! Только бы не это!»

А снег идёт. Большие башенные часы в городе Санта-Рита попрежнему показывают 8.26. На шахте «Баська», у ворот, попрежнему толпятся женщины. На шахте темно и тихо. Только в одном здании ярко горит свет. Это добровольцы кочегары поддерживают работу котельного отделения, чтобы товарищи под землёй могли погреться у паровых труб... В городе Саарбрюккене, в морге, лежит рабочий Люксембургер. «Хе-хе! Мы ему поставили визу на его французский паспорт!» С вечера принесли сюда ещё четверых. «Здесь им никто не помешает, могут устроить небольшое заседание своего революционного комитета. Хейль Гитлер! Немецкий Саар навсегда останется германским!»

А Женя сворачивает в утлый лесок, он же парк культуры и отдыха. «Советский рабочий на зависть всем работает не десять часов, а семь...» Петькины плакаты забрели даже сюда и размокшими буквами веют над аллеей.

У фонаря на скамейке сидит мужчина. На кепке большой снеговой блин, на плечах снеговые эполеты. Скамейка мягко обита снегом. Мужчина закуривает папиросу от папиросы.

— Юрка! Я тебя всюду ищу! Как ты можешь! Пойдём скорее домой. Даже не подумать обо мне!..

Он неохотно встаёт. Она отряхивает с него снег. Берёт под руку и уводит. Он здесь, живой, какое счастье!

Он идёт послушно, как слепой. Она прижимается к нему крепко, как можно крепче. Он ведь, наверно, озяб. И ей хочется сказать что-нибудь такое, отчего бы ему сразу стало тепло и спокойно. Но слов таких нет. И только на ухо, как признание, чтобы никто не расслышал:

— Я так волновалась!..

Наконец-то они дома. С порога взгляд её падает на стол, на недопITYе стопки, на разбросанные конфеты «Джаз». И ей почему-то неловко. Она кидается убирать со стола. Или нет!

— Ты ведь озяб! Я тебе сейчас подогрею чай. Или, знаешь что, выпей немножко водки. Ну, выпей, я тебя прошу! Сразу согреешься.

Он сидит, как истукан. Опять тынется за папироской. А ей уже стыдно за свои слова. Всё это не то! И вдруг — из глаз слёзы. Уткнулась мокрым лицом в его колени. Плечи вздрагивают.

— Юрка!..

Но уже через минуту: «Что я делаю! Разве так надо?»

И нет больше слёз. Глаза сухи, лицо напряжённо-спокойно.

— Слушай, Юрка! Я только что говорила с Филиферовым. Он послал молнию Карабуту. Через два-три дня Карабут будет здесь. Завтра Арсений идёт на приём к Адрианову. Собирается говорить по твоему вопросу. Адрианов наверняка отменит решение бюро. Ничего страшного ещё нет. Нельзя же сразу так поддаваться! Ну, запишут тебе выговор. Большое дело!

Час спустя они сидят за столом. Гаранин маленькими глотками пьёт горячий чай, закусывая его папиросой:

— Филиферов — шляпа. Релих ясно куда гнёт. Хочет добиться снятия Карабута.

— Да, но ведь Карабут действительно проглядел Грамберга?..

— Все мы его проморгали. Один Релих докопался, факт. Кто-то из его товарищей работал в двадцать пятом году с Грамбергом в Узбекистане и присутствовал, когда того исключали из партии. Релих случайно узнал. Это у него против Карабута козырь бесспорный. Да тут ещё подвернулся я: прошляпил грамберговскую статейку... Теперь у него все козыри на руках: Карабут окружил себя подозрительными людьми, доверил им газету, опирался на них в своей борьбе с дирекцией. Тут даже Адрианов не станет брать Карабута под защиту — дело предрешённое...

— Но ведь Арсений завтра будет у Адрианова и расскажет ему обо всём. Он же был против твоего исключения.

— Э, тоже нашла защитника — Филиферов! Во-первых, Филиферов не голосовал против моего исключения. Он только воздержался. Дескать, надо ещё это дело доследовать. А во-вторых, Филиферов испокон веков — релиховский человек. Релих всегда вытаскивал его за уши. Карабут провёл его во вторые секретари, чтобы прекратить сплетни на заводе, будто райком на ножах с дирекцией. Взял нарочно любимца Релиха и посадил к себе в заместители.

— Нет, ты не прав! Арсений очень привязан к Карабуту и всегда проводил его линию.

— Конечно, за полгода работы в райкоме обтесался и стал подражать Карабуту. Но всегда сидел на двух стульях. А теперь Релих и его прищучил: «Смотри, на кого опирался!» А главное, Филиферов — шляпа. Сам не знает, как ему быть. Будь здесь Карабут, может, и Арсений держался бы кое-как. А остался один — сдрейфил. Релих на него жмёт. Для бюро Филиферов не авторитет...

— Я всё-таки уверена, что Арсений будет говорить с Адриановым в твою пользу.

— У Релиха на руках решение бюро. Что теперь может сделать Филиферов? После драки кулаками не машут.

— А почему бы тебе самому не записаться на приём к Адрианову? Если ты считаешь, что Арсений не представит дела как следует... Я уверена, что Адрианов тебя примет. Расскажешь ему всё, как коммунист коммунисту. Адрианов всегда поддерживал Карабута. Так уж он сразу и поверит первому слову Релиха! Ну, попробуй, что тебе стоит?

— Глупости! Адрианов меня не примет. Станет он принимать каждого исключённого! А потом, что я ему скажу? Что прошляпил? Что не так выразился?

— Слушай, Юрка! А что у тебя за дело со Щуко? Ты действительно был с ним в близких отношениях?

— Ерунда! Знал, как знает всякий студент своего преподавателя. Историк и историк. Не я один учился у него в семинаре.

И вот она опять мечется из угла в угол. Звонко тикают часы. Уже четвёртый. Юрка сидит, подперев голову руками, и тупо глядит в чашку. За окнами задувает метель, и на стёклах отчётливым негативом проявляются папоротники — допотопная фауна. (Говорят, на Венере сейчас буйный растительный хаос, ещё не примятый ногой первого зверя.)

— Послушай, Юрка, только выслушай меня и не сердись. Я пойду завтра к Релиху. Он всегда хорошо ко мне относился. Я с ним поговорю. Скажу ему, как товарищу и партийцу: нельзя убивать человека за то, что он допустил ошибку. Пусть запишут тебе выговор.

— Ты с ума сошла! Я тебе запрещаю вмешиваться в мои дела! Только этого не хватало: иди и поплачь перед Релихом!

Он отодвигает стул и уходит в соседнюю комнату. Выносит оттуда комплект газет.

— Иди, Женя, ложись спать. Уже поздно. Оставь меня одного.

Он перелистывает номера газеты «За боевые темпы», останавливается, перечитывает, отмечает карандашом.

— Ложись, Женя, очень тебя прошу. Уже пятый час!

Она послушно уходит, говорить с ним сейчас бесполезно. Первое дело — к столу. В боковом ящике — револьвер. Спрятать, спрятать подальше! Кто знает, что может взбрести в эту голову? Потом она тушит свет и садится на стул, лицом к двери. Отсюда в щель видна голова Юрки над ворохом старых газет.

5

...Часы показывают семь. Юрка спит, положив голову на толстую кипу газет. За окном рассвет и снег. Воздух в комнате сиз от густого табачного дыма.

Она бродит в дыму, как в тумане, тихо, чтобы не разбудить Юрку. Она сейчас пойдёт к Релиху. Релих — не зверь. Юрка немного ослеплён. По существу, Релих — хороший коммунист и неплохой директор. К ней он всегда относился заботливо и внимательно, выдвигал, помогал расти...

Сейчас уже семь. Надо пойти к нему на дом. В восемь Релих уезжает на завод. Там с ним не поговоришь — всё время толкутся люди.

Она тихо прикасается губами к голове спящего Юрки и, накинув шубу, бесшумно затворяет за собой дверь. В коридоре прислушивается. Нет, не проснулся. Она поправляет шапочку, поднимает воротник и на цыпочках спускается вниз. Надо спасти Юрку. Спасти любой ценой!

Она шагает по снегу. Снег хватает её за туфли. Она вытаскивает ногу в одном чулке, нагибается, вытаскивает туфлю вместе с калошей, надевает, шагает дальше. Скорее, скорее! Вот ещё только направо, за угол.

У подъезда большого дома ИТР ждут две машины. Только бы не опоздать! Поймать хотя бы на лестнице! Она стремительно вбегает по ступенькам. Третий этаж. Дощечка: К. Н. Релих. Задыхаясь от бега, она нажимает звонок.

Сперва тишина, потом чьи-то шаги. (Ох, как колотится сердце!)

Дверь открывает домашняя работница:

— Вам кого?

— Мне Константина Николаевича. По очень важному делу. Моя фамилия Астафьева.

Это её фамилия, хотя товарищи чаще зовут её Гаранина.

— Константин Николаевич по утрам дома не принимает. Зайдите через полчаса в заводууправление.

— Я очень вас прошу, очень прошу, — умоляюще лепечет Женя, — объясните Константину Николаевичу: в восемь мне нужно на работу. И у меня чрезвычайно срочное дело, чрезвычайно срочное!

Женя врёт. Она работает сегодня в вечерней смене. Но повидать Релиха ей надо немедленно. И глаза её смотрят так искренне и полны такой неподдельной тоски, что работница уступает.

— Зайдите, подождите здесь.

Она уходит вглубь молчаливой, неведомой квартиры, плотно затворив за собой дверь.

В коридоре темно, на вешалке бурое пальто и ушанка Релиха. Ещё что-то. «Нужно ли снимать пальто?» Она успевает снять только калоши.

— Проходите. Вторая дверь налево.

В комнате горит электричество. Из-за большого низкого стола, такого большого, что занимает почти половину комнаты, встаёт навстречу высокий человек с угловатой военной выправкой, в сером, хорошо пригнанном и в то же время просторном костюме. У человека — седеющие виски, большой коричневый лоб и серые пристальные глаза. Но в глазах теплится что-то неуловимое, какой-то добродушный огонёк, и цвет глаз кажется от этого мягким, как бархат. Человек поднимается из-за стола, отодвигая кресло.

— Здравствуй, Женя, — говорит он, протягивая большую, чуть холодную руку, и в глазах его столько неподдельной дружбы, что у Жени на сердце сразу хорошо и легко. — Небось, по делу, а так ведь никогда не зайдёшь.

И она смущена. Скопфуженно бормочет, что всё как-то некогда, занята, в цехе много работы, по вечерам учёба...

— Да и вам, наверно, не до гостей...

Она садится в мягкое глубокое кресло, точно и в самом деле зашла к нему запросто, в гости. А он уже спрашивает про цех: как справляется Моргавинов? Вытянут ли со сваркой? Как Пётр Балашов? А то сварка казалась Петру сначала кляузной, и он всё рвался на монтаж... А как там орлы Кости Цебенко? Рванули или только раскачиваются? А её ученик Артюхов? Выйдет из него толк? Не списать ли на клёпку? А Шура Мингалева? Всё ещё презирает парней после неудачного опыта с Вольнцом? Не пора ли уже послать к ней сватов? А то вот Сапегин в сборочном записывал, хочет сниматься с завода. Женить бы его на Шуре! Знаменитая вышла бы пара: ударная чета на весь завод — хватают вдвоём за целую бригаду!

И Женя отвечает. Сначала робко улыбаясь, потом нет-нет и засмеётся. Такие смешные и меткие характеристики находит для каждого из ребят Релих.

— Да ведь вы, Константин Николаевич, знаете наш цех и всех ребят не хуже меня. Что я могу нового рассказать?

А потом сразу серьёзно, почти строго, без улыбки и вся как-то съёжилась:

— А я ведь к вам, правда, по делу...

— Что ж, выкладывай. Ты ведь, можно сказать, моя воспитанница. Будет чем гордиться на старости лет. Если что случилось, в минуту жизни трудную, как говорят поэты, хорошо сделала, что ко мне зашла.

Вот она и запнулась. Как это ему сказать попроще, чтобы прозвучало в таком же дружеском тоне. Да, она к нему за помощью. Никогда не обращалась, но сейчас вся её жизнь на карту. Нет, так нельзя! Надо просто, без блата, как со старшим товарищем.

На столе книги, много книг, чертежи, уйма немецких технических журналов. Горит электричество. В пепельнице грудка свежих окурков. Наверное, встал не позже пяти. Занимается. А она боялась зайти к нему слиш-

ком рано, разбудить! Да, надо говорить в открытую, как со старшим товарищем партийцем.

— Константин Николаевич, я к вам по делу Гаранина.

И сразу глаза узкие, пристальные.

— Понимаю. Ты ведь жена Гаранина. Прости, Женя, это выскочило у меня как-то из головы. Да, я понимаю, это — тяжёлое, очень тяжёлое испытание...— Пальцы его барабнят по столу.— И ты правильно сделала, что пришла посоветоваться со старшим товарищем.

— Я именно так думала, Константин Николаевич.

— Видишь, Женя, ты не только жена, ты ещё и комсомолка. И, пожалуй, прежде всего комсомолка, а потом уже жена. Не правда ли?

— Да, Константин Николаевич.

— Комсомолец, Женя,— это аспирант партии. Для того, чтобы перейти в нашу партию, ему не надо делать никаких дипломных работ... Вернее, его дипломная работа состоит лишь в том, чтобы доказать свою беззаветную преданность делу большевизма. Доказать свою готовность в любую минуту, если партия этого потребует, пожертвовать своей личной жизнью во имя интересов партии, интересов своего класса...

— Да, если партия этого потребует...— холодеет, повторяет Женя.

— Ты знаешь хорошо, Женя, что партия — не монастырь и она не требует ни от кого отказа от личного счастья. Наоборот, чем внутренне богаче человек в своей личной жизни, тем он полноценнее и как член общества и как член партии. Но наша партия есть воинствующая партия, окружённая врагами. Наша страна есть воинствующая страна, отступающая в кольце блокады интересы всего человечества. И если в нашей стране и если в нашей партии обнаружится враг, который притаился только затем, чтобы воткнуть нам нож в спину,— кто б он ни был, будь он мой отец, мой сын, мой друг, моя жена,— чем глубже он сумел меня обмануть, чем хитрее он вкрался в моё доверие, тем беспощаднее должен быть мой приговор! Я говорю о том внутреннем приговоре, о котором никого не надо ставить в известность. Но для нас самих, если б это происходило даже в безлюдной пустыне, он является как бы нашим моральным партбилетом. С кем я? С партией или с врагом партии?

— Константин Николаевич, Гаранин — не враг партии! Он человек, преданный партии беззаветно. Он мог ошибаться, но ведь партия учит нас исправлять ошибки. Партия не отбрасывает преданных людей, Я-то его знаю!

— Видите, Женя, разговор на эту тему у нас может быть двойкий.— Глаза Релиха, ещё минуту тому назад такие понимающие и приветливые, полузакрыты теперь тяжёлыми серыми веками. Так иногда, не разглядев нас хорошо в темноте лестничной клетки, перед нами услужливо распахивают дверь, чтобы через мгновение, почував в нас просителя, затворить её перед нашим носом с неизменным ворчливым «нет дома».

О, Женя уже чувствует это «вы». Что ж, она готова принять бой на любых условиях.

— Я не совсем вас понимаю, Константин Николаевич...

— Я могу говорить с вами, как с женой Гаранина...

— Я не говорю, как жена Гаранина. Я говорю, как его товарищ.

— Я не сомневался,— глаза Релиха ещё раз распахиваются гостеприимно,— что Женя Астафьева ответит именно так. Знаю я тебя слишком давно, и в таких людях, как ты, нельзя ошибиться.

— Я утверждаю, как комсомолка и как товарищ, что Гаранин никогда не был и не может быть врагом партии.

— Ты давно знаешь Гаранина?

— С тридцать первого года.

— Ты знаешь, что в конце двадцать девятого года он выходил из комсомола?

— Я не знала его в это время, но я знаю, по каким мотивам он ставил вопрос о выходе. На него навалили двенадцать нагрузок. Чем он только одновременно не был: и комсомольским пропагандистом, и группоргом, и руководителем кружка марксизма-ленинизма, и кандидатом в члены бюро, и членом райсовета,— всего и не запомнишь! Да в то же время он учился в индустриальном институте. Вы сами знаете, тогда в комсомоле это была повальная болезнь. Об этом писала даже «Комсомольская правда». Гаранин поставил перед бюро вопрос, что расти он в таких условиях не может, беспартийные ребята давно его обогнали. Он только и делает, что призывает других читать, повышать свою техническую грамотность, а сам делать этого не в состоянии. Ребята это видят и считают его, вероятно, ханжой и болтуном. Он спрашивал: нужны ли комсомолу такие работники? Ставил вопрос, сигнализировал об опасности, которая грозила вовсе не ему одному, а не выходил. Вне комсомола он не был ни одной минуты.

— Ты изучала историю партии и помнишь, в какой момент ставил Гаранин вопрос о своём выходе из ВЛКСМ,— мягко говорит Релих.— Если не помнишь, я тебе напомним. Это было накануне года великого перелома, накануне развёрнутого наступления на кулачество. Ты должна помнить, хотя бы из нашей беллетристики, что партия бросила тогда в деревню, на ответственнейшие участки, тысячи и десятки тысяч лучших комсомольцев. Тысячи комсомольцев пали на своём посту, подло убитые из-за угла кулацкой пулей. На героических могилах этих людей выросла наша социалистическая деревня. Один из труднейших боёв, где решалась судьба построения социализма в нашей стране, мы выиграли, быть может, в значительной степени благодаря беззаветному героизму этих безымянных рядовых партии и комсомола. Что бы ты сказала о комсомольце, который в эту решительную минуту бросил свой комсомольский билет и заявил: «Я пока поучусь, закончу высшее образование, а когда вы уже выясните окончательно, кто кого, тогда я приду к вам опять». Как это, по-вашему, называется? Предательство или рвение к учёбе?

— Я... я думаю, что Гаранин, как рядовой комсомолец, не отдавал себе отчёта... И потом, он ведь не вышел из комсомола!

— Не вышел, потому что его пристыдили, обещали всякие побрякушки. Другие просто уходили, солидаризируясь с кулаком. Это было по крайней мере откровенно и в известной степени честнее. Гаранин на это не решился. Он предпочёл шантажировать свою молодую, бедную кадрами комсомольскую организацию угрозой ухода. Да, именно шантажировать. Видишь, это он не счёл нужным тебе рассказать. А ты уверяешь, что знаешь Гаранина, как никто! Поверь мне, партия знает его гораздо лучше.

— Он не скрывал от меня этого эпизода. Я же вам сказала, просто я давала этому другую оценку. Я уверена, Гаранин не сознавал, что совершает серьёзный проступок. Ведь ему тогда было всего девятнадцать лет! Мало ли вещей делают в этом возрасте, не обдумав, по глупости!

— Не надо кривить душой, Женя. Ты познакомилась с Гараниным всего двумя годами позже. Ты знаешь хорошо, что в двадцать девятом Гаранин не был уже неграмотным рядовым комсомольцем. Наоборот, в это время он был одним из самых грамотных комсомольцев в своей организации. Ты сама говоришь: ему доверяли руководство кружками марксизма-ленинизма, он был кандидатом в члены бюро комсомола, вполне сложившимся работником, способным всесторонне политически осмыслить каждый свой поступок. Да разве дело только в этом эпизоде? В прошлом году, поехав на учёбу в КИЖ, Гаранин завязал там близкие отношения с неким Щуко...

— Это неправда! Ни в каких близких отношениях с этим человеком он не состоял!

Она говорит быстро, как слёзы глотая слог. Глаза Релиха бесстрастно внимательны. Она отбивается от этих глаз градом взволнованных слов, как отбиваются побеждённые, без надежды на успех, в величественном порыве отчаяния. Щёки её горят. Серая барашковая шапочка сбилась на затылок.

— Откуда ты знаешь?

— Он сам мне сказал.

— Сам сказал? Когда же это?

— Сегодня ночью.

— Ах, сегодня ночью! А вот вернувшись из Москвы, рассказывал ли он тебе что-нибудь о гражданине Щуко?

— Н-нет. А может быть, и рассказывал. Не помню.

— Помнишь, Женя, помнишь! Ничего не рассказывал. Даже не заикнулся.

— Константин Николаевич, я думаю, в КИЖ у него были десятки преподавателей. Ничего удивительного, если Гаранин не рассказывал мне о каждом из них в отдельности. Тем более о тех, которые ничем особенно не выделялись.

— Наивный ты человек, Женя! Гаранин, по его собственному признанию, работал у Щуко в семинаре. Профессора по семинару студент выбирает себе сам, никто ему никого не навязывает. Гаранин говорит, что выбрал Щуко потому, что тот сумел его заинтересовать своими лекциями. Значит, из десятка преподавателей, лекции которых слушал Гаранин, именно Щуко для него выделялся. Он встречался с ним чаще, чем с другими...

— Но ведь Гаранин об этом сам рассказал! Значит, ему нечего скрывать.

— Милая Женя, Гаранин до сих пор не знает, что именно известно нам о его связях со Щуко. Попробуй он отрицать всё, с начала до конца, он рискует каждую минуту, что его уличат во лжи. Поэтому он вынужден признаваться по крайней мере в том, что мы можем без большого труда узнать другими путями.

За окнами встаёт заспанное январское утро всё в гусином пуху снежинок. В жидком, как чай с лимоном, электрическом свете лицо Жени отликает неприятной мертвенной желтизной. Релих подходит к стене и выключает электричество.

— Вы создали себе о Гаранине представление, как о закоренелом злодее, — выпрямляясь, говорит Женя. — Всё, что бы он ни сказал и ни сделал, вы толкуете с этой предвзятой точки зрения. Её можно применить ко всякому.

— Нет, Женя, это ты создала себе образ своего Гаранина, ничем не похожий на того, кто носит эту фамилию. И ты пытаешься слепо отстаивать плод твоего воображения и любви назло очевидности... Не надо плакать, Женя. Я понимаю тебя больше, чем ты понимаешь самоё себя... Ты пришла сюда защищать свою любовь, свою веру в близкого человека. Тебе кажется, что, если отнять у тебя это доверие, простое человеческое доверие к мужу, у тебя не останется больше ничего, пустота. Это неверно, Женя. Ты не просто женщина, ты женщина нашего класса. И для того, чтобы спасти именно то, что в тебе есть самого ценного, эта операция необходима.

— Константин Николаевич, если б я убедилась, что он меня обманывал, это было бы так ужасно... так ужасно... Как же тогда жить? Нельзя жить без веры в людей!

— Вот видишь, я так и знал. Это самое опасное. Нельзя из трагического случая личной судьбы делать слишком далеко идущие обобщения. Из того, что ты имела несчастье полюбить человека гадкого и чужого, который обманул тебя маской благообразного партийца, вовсе ещё не

следует, что все люди носят маску. Разгадать притаившегося лицемера или двурушника, как мы их сейчас называем, не так уж трудно. Нужно лишь немножко больше опыта. Из тех же фактов, которые тебе известны о Гаранине, очень легко сконструировать его подлинный образ. Не надо только завязывать глаза и называть это «взаимным доверием», без которого будто бы немыслима жизнь вообще, а семейная жизнь и подавно. Большевик, дорогая Женя, и в семейной жизни обязан сохранить известную долю насторожённости и критицизма. Это шестое чувство на нашем партийном языке мы и называем бдительностью. И ещё одно: нельзя страдать забывчивостью. Каждый факт в отдельности, в отрыве от других, всегда может показаться случайным. Но если на протяжении лет в биографии одного и того же человека ты подметишь три, четыре, пять таких случайных фактов и попробуешь сопоставить их вместе, ты почти всегда убедишься, что эти «случайные» факты прилегают друг к другу, как костяшки домино...

На столе задрезбезжал телефон. Релих снимает трубку и кладёт её на стол.

— Я пойду, — поднимается Женя. Глаза у неё матовые. — Я всё равно не в состоянии переубедить вас насчёт Гаранина.

Релих грустно качает головой.

— Ты не уходишь, ты бежишь. Ты боишься, чтобы сомнение, которое пускает в тебе сейчас ростки, не превратилось в очевидность. Пойми, Женя, я хочу только помочь тебе. Что ты знаешь о Гаранине? О связях со Щуко он перед тобой умолчал. Да разве только об этом? Обо всём, Женя, обо всём! Умалчивал, врал, скрывал. Возьми сопоставь факты и вообрази на одну минуту, что речь идёт не о твоём муже и друге, а о неизвестном тебе разоблачённом двурушнике. Просмотри его политическую биографию. В один из ответственных моментов жизни страны он бросает комсомол, чтобы отсидеться на школьной скамье. Пусть другие вывозят социализм на своём горбу, мы за это время подучимся, в грамотных кадрах нехватка — живо пойдём в гору! Его стыдят, уговаривают взять заявление обратно. Он жалуется всем и всякому: трудно! Не успеваю! Вот если бы послали в Москву!.. Наконец мечта осуществляется, его посылают в Москву, в КИЖ. И что же? Не прошло и года, он опять тут: «Здрасте! Не могу жить без родного завода! Буду учиться на инженера без отрыва от производства!» Жене, вероятно, говорит: «Не могу жить без тебя! Подумай, оставаться в Москве целых три года!»

— Константин Николаевич!

— погоди, Женя! Давай попробуем разгадать: что же случилось в Москве с нашим энтузиастом учёбы? Явно какая-то неувязка. А случилась вещь довольно простая. Среди преподавателей нашёлся «историк» из тех, которые «историю» хотят делать револьвером из-за угла — так быстрее. «Историку» и его хозяевам дозарезу нужны кадры, предпочтительно из молодёжи, затем он и стал педагогом. Нашупывание возможных кадров — дело щепетильное. Но есть порода людей, с которыми легче всего столкнуться, — это карьеристы...

— Вы не имеете права так говорить!

— Я говорю о неизвестном тебе двурушнике. И вот опытный психолог от истории уже заметил нашего юношу. Через месяц тот у него в семинаре. Для углублённой работы нужны книжки. «Заходите как-нибудь вечером ко мне на дом». Ну, а там, естественно, и беседа. От исторических тем до современных — один шаг, на то и существуют исторические параллели. Для профессора наш юнец — клад: в оппозиции не был, из партии не исключался да ещё, оказывается, работал на оборонном заводе.

— Константин Николаевич!..

— погоди, Женя. Попробуем проследить до конца. Перед нашим юношей выбор: корпеть три года в КИЖ с тем, что потом пошлют куда-

нибудь, в районную газету, а тут — только бы работа пошла — служебная карьера обеспечена. И вот наш юнец опять на заводе — жить без производства не может! Посадили на газету. Первое дело — принохаться. Секретарь райкома — крепкий большевик, умный, растущий работник. Но молод, а стало быть, и не совсем опытен. Горяч. У секретаря с директором нелады. Пахнет склокой. Наш юнец тут как тут! Вся беда — не знает он ни того, ни другого и не уверен ещё, на чью сторону встать. Карьеру собирается делать не по партийной линии, а по линии ИТР, следовательно, поддержка дирекции как будто важнее. Недолго думая, он бежит к директору, предлагает ему свои услуги и столбцы газеты...

— Это неправда!

— Спроси у него, он тебе скажет сам. Он тебя заверит, что всегда был принципиален. Ему показалось, что в данном вопросе прав директор. Потом он убедился в ошибке, и, попрежнему дорожа принципиальностью, он перешёл на сторону райкома. В действительности, если тебе интересно, директор, разгадавший сову по полёту, заявил, что ни в какой поддержке не нуждается. Тогда наш юнец решает действовать поосторожнее. Сначала несмело, потом всё развязнее он начинает громить дирекцию.

— Да, этого-то вы и не можете ему простить!..

Релих грустно улыбается.

— Чем же, по-твоему, вызвана стремительная перемена фронта?

— Не знаю. Я вообще ничего не знаю.— Голос её даёт трещину, вот вот расколется на мелкие брызги слёз.

— Видишь ли, странным стечением обстоятельств как раз большинство из тех мероприятий дирекции, которые подвергались самому яростному обстрелу газеты, впоследствии неизменно получало полное одобрение наркомата и крайкома. Наконец дирекция и райком, при активном содействии вышестоящих органов, находят общий язык и в интересах производства решают изжить до конца все ненужные дразги. Подвергается некоторым изменениям состав бюро. Умный секретарь искренне желает положить конец ненужной драке и выдвигает своим заместителем честного рабочего-производственника, слывшего любимчиком директора. Работа завода начинает налаживаться. Нашему юнцу все эти перемены не по нутру. Он старается всячески затеять склоку между секретарём и его заместителем, трубит на всех перекрёстках, что новый заместитель — шляпа и подхалим, бегаёт-де к директору и доносит ему обо всём. Разве не так?

Она молчит, низко опустив голову.

— Но разжечь склоку всё же не удаётся. На время наш юноша вынужден прекратить свою активность. Ему поручают поплотнее связаться с Грамбергом. Тот когда-то исключался из партии, но сумел замазать следы... К твоему сведению, Женя, сегодня ночью Грамберг арестован. В какой мере помогал ему в его махинациях Гаранин, выяснят, очевидно, соответствующие органы. Факт, что с Грамбергом он состоял в последнее время в самых близких отношениях. Печатал в своей газете грамберговские статьи и сам, под его диктовку, протаскивал в передовицах кое-какие недвусмысленные теориейки. Пока не был пойман на этом с поличным... Вот тебе и весь Гаранин.

Женя встаёт, в лице её ни кровинки:

— Я не верю, я не хочу верить, чтобы это могло быть так, как вы говорите!

— Что ж, не хочешь верить — не верь. Римляне говорили когда-то: «Надеюсь вопреки отсутствию всякой надежды». Бедная жена Гаранина может сказать: «Не верю вопреки всякой очевидности». Но ведь жену Гаранина я и не брался убеждать. Я хотел спасти Женю Астафьеву. А для Жени Астафьевой одного того, что человек, которому она доверяла, ока-

зался врагом партии, было бы, я уверен, вполне достаточно, чтобы отшатнуться от него с ненавистью и отвращением.

Она поворачивается и уходит. Комната, ещё комната, передняя, лестница.

— Товарищ, вы забыли калоши!

Это кричит женщина, открывавшая ей дверь.

— Ах да, я забыла калоши...

Ступеньки лестницы бегут, как растянутая гармоника. Стоит сжать гармошку — и люди посыплутся вниз. Разве если держаться за перила...

На дворе — снег. Столько хлопьев, что можно в них заблудиться. Кто-то гудит. Протяжно запели тормоза. И рядом, совсем близко, стоит протянуть руку — никелированная морда автомобиля с посаженными по-рачьи глазами фар.

— Эй, мамзель! Уши отсидела?

6

А на столе шёпотом, застенчиво лебезит обезоруженный телефон. Релих поднимает трубку:

— Слушаю. Что? Да, да, сейчас буду!

Оказывается, уже девять.

Он берёт со стола портфель, объёмистый, как чемодан, и начинает в него закидывать всякую бумажную начинку. И отчего это портфелей не делают сантиметра на два пошире!

Опять звонит телефон.

— Иду! — ревёт в трубку Релих и, не слушая, кладёт её на вилки.

Внизу, у подъезда, ждёт автомобиль, похожий на сугроб на колёсах.

* *
*

«Сегодня начинается продажа хлеба без карточек!»

«В Москве открыто 368 новых булочных, хлебных отделений в продовольственных магазинах и палаток. План развёртывания сети выполнен на 128%. Двадцать шесть ответственных работников НКВноторга, во главе с заместителем наркома, прикреплены к ряду булочных на первые дни широкой торговли хлебом...»

В кабинете, на письменном столе, двенадцать телефонных трубок. Каждая из них снабжена лампочкой особого цвета. Кабинет директора соединён прямым проводом со всеми основными цехами завода. Лампочки на столе загораются и тухнут, как сигнальные огни. На бюваре расписание совещаний, список вызванных лиц и большая стопка телеграмм. Направо, надо лишь повернуть голову, — огромное венецианское окно. За окном — снег, площадь, люди в папахах и ушанках, плакаты, зима.

«Советский рабочий на зависть всем работает не десять часов, а семь. Помни, что каждый час, минута даже, зря проканителенные, равносильны краже!»

Вспыхивают и тухнут лампочки. Проворно скользит по блокноту оточенный карандаш стенографистки. Нос у стенографистки остренький, как карандаш. Телефонистка в диспетчерской исполняет на стенной клавиатуре свои замысловатые упражнения.

«Пленум Колтушинского сельсовета, Пригородного района, Ленинградской области, на территории которого расположена биологическая станция академика Павлова, единодушно избрал великого учёного первым делегатом на районный съезд Советов... Академик Павлов, принимая мандат, сердечно поблагодарил делегацию за оказанное ему внимание. По словам председателя Пригородного районного комитета, академик Павлов в беседе с делегатами коснулся своих научных работ:

«О чём я мечтаю? Я мечтаю о том, чтобы добиться возможности оздоровления человечества, чтобы люди, вступающие в брак, давали физически здоровое, умное, мыслящее поколение. Этого я доби-ваюсь».

Четвёртое совещание приближается к концу. Любое совещание не должно и не может продолжаться дольше тридцати минут. В двенадцать часов заседание в крайкоме. Первая кнопка налево: «Вызовите машину!» Третья кнопка сверху: «Личный секретарь-информатор». В обязанности его входит два раза в день — в двенадцать и в двадцать — докладывать директору обо всём, что случилось на заводе и в посёлке.

— Вы должны, как братья Патэ, всё видеть и всё слышать,— поучал Релих, переводя на эту работу Катю Якубович.— Директор завода должен знать о том, что произошло на заводе, раньше, лучше и подробнее всех.

Кате Якубович лет за тридцать. Английская блузка с галстуком. Лицо красивое, в веснушках, волосы стрижены по-мальчишески. Сослуживцы говорят, что с её памятью можно выступать в цирке: она знает лично всех рабочих завода и всех «итээров» с жёнами и домочадцами. На заводе её любят и называют запросто — Катя. За Релиха она готова пойти в огонь без каких-либо для этого эротических предпосылок. Релиха она обожает за чёткость в работе, за американскую сжатость, за полное отсутствие неделовых элементов в отношениях с женским персоналом заводоуправления. Беседы её с Релихом лаконичны до предела и продолжают не больше пяти минут.

У Кати в руках блокнот для пушей деловитости, хотя всё, что в нём записано, она знает наизусть.

— Слушаю.

— Сегодня ночью арестован Грамберг. Был обыск на квартире.

— Знаю. Дальше.

— В третьем цеху мастер Шавлов после новогодней попойки явился на работу пьяным. Отправлен обратно.

— Который это Шавлов? С усами, рябой?

— Да. Шавлов Никифор. В том же цеху четверо рабочих, два из бригады Лагутко и два из бригады Азаренкова, с перепоя не вышли на работу. Треугольник цеха предполагает завтра устроить над ними товарищеский суд.

— Правильно.

— В седьмом цеху по собственной неосторожности автогенной лампой обжёг себе колено ударник Карелов. Отвезён в больницу. Опасности нет. В том же цеху по нераспорядительности мастера Ильина вышла из строя пескоструйка.

— Кстати,— перебивает Релих,— утром в посёлок приезжала машина НКВД. Что там случилось, не знаете?

— Знаю. Это у меня в разделе бытовых: Женя Астафьева застрелила Юрия Гаранина.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

С крыши бумажной фабрики видна река, круто поворачивающая на восток, и холмистые поля в снегу, косогорами взлетающие к горизонту.

— Видите? — спрашивает Костоглод, рукой указывая на север.

Адрианов видит: с севера сплошным зелёным массивом движется лес. Вот он, перевалив через холм, быстро спускается к реке. И Адрианов не совсем уверен: нужно ли удивляться тому, что лес сам идёт на фабрику, или это так и должно быть?

— Кто это организовал? — спрашивает он на всякий случай.

— Кобылянский, — говорит Костоглод. — Поехал и сагитировал. Двести гектаров!

«Молодец Кобылянский!» — думает Адрианов, и от сознания того, что фабрика, уже пять дней стоящая без баланса, заработает опять полным ходом, ему хочется петь.

Лес спустился уже к реке и вступил на лёд. Лёд трещит и, не выдержав тяжести, проваливается. Адрианов не успевает даже вскрикнуть. И вот сосны переходят реку вброд. Прямые, медноствольные, они шагают по пояс в воде, подняв высоко над головой зелёный ворох ветвей, словно боясь замочить одежду. Первые, взбежав по обрыву, вваливаются на фабричный двор и с грохотом ложатся наземь. Им наскоро обрубают кроны и, голые, оттаскивают вглубь. Но в ворота гурьбой ломаются новые. Вот ими уже завален весь двор, вся набережная, все подъездные пути, а их всё больше и больше, и под длинными красными штабелями один за другим начинают исчезать хрупкие корпуса комбината.

— Скорее! Людей! — надрываясь, кричит Адрианов. — Надо вызвать из города пожарную команду! Алло! Станция! Дайте мне город!..

И Адрианов крутит, крутит что есть сил дребезжащую ручку телефона, а телефон звенит, звенит, захлёбываясь своим картовым «ррр»...

Адрианов вскакивает и сонной рукой машинально хватается за глотку раскричавшийся не в меру будильник. Половина седьмого. Пора!

Он накидывает мохнатый халат и бежит в ванную. Там для него уже приготовлен таз со снегом. Адрианов натирает докрасна снегом своё большое тридцативосьмилетнее тело, тут и там туго стянутое узлами мышц. Вытянув вперёд левую руку, он смотрит не без удовольствия, как под коричневой кожей юркой мышью бегают мускул. «Нет, пока что я ещё не зажирел!»

Запах снега и ощущение напряжения в мышцах вызывают смутную мечту о лыжах.

«В ближайший выходной выгоню за город всё бюро. Пусть походят на лыжах. Засиделись!»

Десять минут гимнастики. Теперь можно одеваться. Застёгивая рубашку, Адрианов смотрит в окно.

По противоположному тротуару продвигается человек в шубе. Именно не идёт, а продвигается. Поскользнулся. Упал. Сердито отряхивается. Исчез за поворотом. Поверх соседних крыш (дом стоит на горе) виден широкий ледяной тракт — река, а за рекой — поля в холмах и белом сиянии снега.

Мысль о лыжах возвращается навязчиво и почти сердито:

«Треть года весь край под снегом — скатерть. А дураки скулят. Связь разлаживается. Не хватает людей расчищать дороги. Из колхоза в район, за каких-нибудь двадцать километров, по любому пустяку гоняют лошадей, когда лес лежит невывезенным. А секретари? А инструктора? Без машины в деревню ни ногой. Каждый день сажают машины в сугробы. Автомобилисты! А на лыжах не угодно? Быстрее — раз; вернее — два; здоровее — три. Никакого зряшного разбазаривания транспорта плюс экономия горячего».

Адрианов перед зеркалом намыливает лицо. Мысль, навеянная запахом снега в тазу, растёт, наливается румянцем:

«Начать с пробегов. Втравить в это дело комсомол. Потом — великое дело сила примера! — инструктора крайкома в ближайшие районы только на лыжах! Про автомобили забудьте! Секретарям райкомов запретить зимой пользоваться машиной в радиусе меньше тридцати километров. Другой темп жизни края! До сих пор, чего греха таить, в деревне живуча старая традиция, освящённая веками: зимой отсиживайся у печки, русская кость тепло любит! Работников из районов метлой не выгонишь, одна

отговорка — дороги. Поставить край на лыжи, и тонус жизни мигом поднимется на пятьдесят процентов. По-иному зациркулирует кровь в районах. Мороз не велик, да стоять не велит! Довести лыжи до каждого колхозного двора. Межколхозные лыжные эстафеты по обмену сельхозопытом и проверке подготовки к посевной. Да что эстафеты! Краевой слёт колхозников-ударников на лыжах!»

От чересчур воодушевлённого взмаха руки бритва задевает за подбородок. Проступает капелька крови. Вместе с капелькой крови проступают сомнения. Откуда раздобыть сразу такое количество лыж? Физкультурники и те жалуются: куда ни ткнись — всего нехватка.

Бритва разочарованно смахивает со щеки мыльную пену.

Но мечта не сдаётся:

«А почему бы нам не затеять собственное производство лыж? Леса, что ли, у нас мало? Год-другой понадобится, пока насытим лыжами один только наш край. А там другие края оторвут их у нас с ногами!»

С полунамыленным лицом Адрианов бежит к гимнастёрке, достаёт из кармана записную книжку. На белом листке крупным почерком пишет: «Сварзин. Лыжи!!!» — и дважды подчёркивает карандашом.

Одетый, он выходит в столовую и, развернув свежую газету, принимается за бифштекс. В доме знают: если Адрианов встал в шесть, значит в крае всё благополучно. Тогда подают ему к завтраку пару яиц всмятку. Если встал в половине седьмого, значит дела в крае обстоят неважно (надо поспать лишних полчаса — это окупится), тогда к завтраку дают ему честный кусок жареного мяса.

Передовица: «Звуковое кино в деревню!»

«Решение правительства срочно озвучить киноустановки в 900 районных пунктах послужит новым толчком... Сверх того создаётся сеть звуковых кинопередвижек, установленных на автомобилях... В течение 1935 года отправятся в разъезд по стране, по самым глубинным, отдалённым от железных дорог сельским местностям, 400 таких передвижек...»

Записная книжка Адрианова опять появляется из кармана.

«Четыреста, конечно, мало. Чего доброго, могут нас и обделить. Больше двух-трёх передвижек на край не придётся».

В записной книжке появляется новая строчка: «Вызвать Дичева!» — и рядом, в скобках: «(кинопередвижки)».

«Пусть культпроп предпримет шаги, снишется. Может быть, даже стоило бы двинуть в Москву Дичева или Сентюрина. Пусть поклянчат в ГУКФ. Без десятка передвижек не возвращаться! Пошлём передвижки в Лисецкий, в Борхатинский, в самые отдалённые районы. Вот будет праздник!»

Записная книжка исчезает в недрах адриановского кармана.

«Первый пленум Московского Совета». «Об итогах пятого пленума ВЦСПС». — Вот они, внутренние резервы! — «Французский министр иностранных дел Лаваль выезжает сегодня вечером в 8 ч. 30 м. в Рим...» — Вот точная информация, до одной минуты! — «Стачка под землёй... Бастующие захватили шахту и не поднимаются наверх, требуя гарантий, что их не оставят без работы... Несколько человек заболели вследствие отравления газами...» «Международный шахматный турнир в Гастингсе. В партии против Митчелла Ботвинник имеет шансы на выигрыш...» — Эх, неплохо было бы после возвращения заполучить Ботвинника на недельку к нам — рассказал бы о турнире и сыграл с нашими краевыми чемпионами. В последнее время народ крепко следил за турниром. Поедет Дичев в центр, надо ему поручить, чтобы сагитировал Ботвинника...»

Шахматы — один из коньков Адрианова. Так говорят в крайкоме. На самом деле Адрианов вовсе не такой уж любитель шахмат. Но воспитать в активе железную традицию — не пьянствовать, не жениться по два раза в год, не резаться по ночам в карты — дело не такое уж лёгкое, если не

дать людям ничего взамен. Надо дать по возможности больше. Самообразование, работа над собой — раз. Но нельзя ехать на одной работе. Беллетристика — это уже кое-что. Правда, трудно её достать. Всё же в последнее время кое-как это дело наладили. Основные новинки секретари районов получают на местах, через аппарат крайкома. Очень важное дело — спорт. Здесь сдвиг налицо. Большинство секретарей районов — ворошиловские стрелки. До весны подтянутся остальные, теперь это — дело чести. Не позже июля все обязались сдать на значок ГТО. Многие прыгали с парашютом. Ну, а когда у секретаря два-три значка, тут уж и активу показаться без значка неповадно. Очередная задача — вытеснить карты шахматами. В деле внедрения шахмат тоже кое-чего удалось Адрианову добиться. В известной степени, как всегда, личным примером. Сабулевских кустарей переключили целиком на производство шахмат. Нет ни одного района, где бы не было шахматного кружка. Соревнования и межрайонные турниры постепенно входят в быт. Конечно, приезд Ботвинника или Ласкера здорово двинул бы это дело вперёд!

Завтрак окончен. Бросив газеты на столик, Адрианов переходит в кабинет. В кабинете ждёт уже инженер Величко. По утрам, с восьми до девяти, Величко читает Адрианову курс по станкостроению.

Хочется до зуда в пальцах снять телефонную трубку и спросить, как обстоит дело с подвозом баланса для остановившейся бумажной фабрики. Но Адрианов знает по опыту: забить голову текущими делами до утренней лекции — значит зря потерять час, всё равно в голове ничего от лекции не останется. В крайкоме привыкли: до девяти часов звонить Адрианову нельзя, разве в самых что ни на есть аварийных случаях. Сначала никак не могли с этим примириться, звонили с семи, а то и раньше. Каждому его случай представлялся неотложным и исключительной важности. Но постепенно приноровились.

Чтобы телефон не мозолил глаза, Адрианов садится к нему спиной.

— Давайте, на чём мы остановились?

— «...Процесс Феллоу заключается в вертикальной прострожке промежутков между зубьями, пользуясь в качестве резца зубчатым колесом с 24 зубьями... Для шестерён с числом зубьев меньше 24 образующая эвольвенты, характеризующая профили зубьев, составляет с касательной к окружностям зацепления угол не в 25° , как в обыкновенных случаях, а угол в 20° ...»

Девять часов. Хрипло звонит телефон. Крайком вступает в свои права. Величко прощается и уходит. Адрианов снимает трубку, словно открывает шлюз. Сейчас на него низвергнется край — водопадом дел и заданий.

— Слушаю!

Говорит Товарнов, помощник:

— Сегодня, в пять утра, Бумкомбинат возобновил работу. Для подвоза баланса мобилизовано четыреста тридцать грузовиков и девяносто процентов лошадей четырёх близлежащих сельсоветов.

— Почему девяносто, а не все сто?

— По данным сельсоветов, три процента лошадей больны, а семь процентов необходимы для самых неотложных нужд колхозов.

«Известно, для каких нужд: катать в район! Эх, лыжи бы, лыжи!»

— Как дело с подвозом?

— Бесперебойно. Лес идёт, как по конвейеру.

Адрианову отчётливо припоминается сегодняшний сон: как сосны шли вброд, подняв высоко над головой зелёный ворох ветвей.

— А лёд выдержит? — спрашивает он, бессознательно повторяя сказанные уже сегодня кому-то слова.

— Что? Я не совсем вас понял, Андрей Лукич, — озадаченно сопит в трубку Товарнов. — Какой лёд? На реке? Ведь сейчас январь.

— Ну и что ж, что январь? Всё-таки четыреста машин с грузом... — оправдываясь, ворчит Адрианов.

Ему совестно перед помощником за нелепый вопрос, и он круто меняет тему:

— Радиосоветание с секретарями райкомов подготовлено?

— Точно к шести часам.

— Почему нет ещё сегодняшнего «Рабочего»?

— Только что получили. Вышел с небольшим опозданием.

— Решение бюро напечатано?

— Есть. Потому-то номер и запоздал. Бюро ведь кончилось вчера в час ночи...

В решении бюро записан выговор редактору. Такие вещи всегда печатаются туго.

— Через двадцать минут буду в крайкоме. Подготовьте все дела. В двенадцать уеду на Бумкомбинат.

— Андрей Лукич! — умоляюще вскрикивает трубка. — Погодите минуточку! У меня ещё уйма вопросов.

— Вот и хорошо. Доложите мне обо всём в крайкоме.

Адрианов вешает трубку. Он просматривает папку с письмами секретарей районов. Это ответы на вопрос, поставленный Адриановым в связи с его последней беседой о типе партийного работника: «Пусть каждый из вас попытается сам определить отрицательные черты своего характера, прощупать собственные недостатки, мешающие ему в работе. Не торопитесь, не приукрашивайте. Понаблюдайте за собой со стороны и изложите мне в личном письме, в чём же, по-вашему, состоят ваши основные недочёты и что вы предпринимаете для того, чтобы от них избавиться».

Уже третью неделю поступают ответные письма. Выдвигая вопрос, Адрианов не переоценивал объективного интереса такого рода самокритических сочинений. Привычно отсчитывая по пунктам положительные стороны каждого, даже самого незначительного мероприятия, он подытожил в уме: известная затравка к пересмотру каждым своих методов работы — раз; материал для будущей беседы о методике работы над собой — два; для меня лично — материал для более углублённого знакомства с командным составом нашей краевой организации.

В этом разрезе письма представляли и вправду незаурядный интерес. Характер автора сказывался отчётливо уже в самой манере изложения. Были письма, сжатые до предела, состоящие всего из нескольких слов, вроде: «обидчив», «вспыльчив», «запущенное мальчишество», — деловые, почти стенографические характеристики, выдержанные в тоне беспристрастного заключения, в редких случаях с учётом смягчающих вину обстоятельств. Были письма почти библейские в бесхитростной своей простоте.

Секретарь Шеболдаевского района Барабих писал:

«По вечерам дома выпиваю. Вреда от этого никому никакого нет. На людях и в рот не беру, значит дурного примера не показываю. О том, что пью, дома никто не знает. На работе моей это не отражается — встаю каждый день в пять, без опоздания. Если причиняю кому вред, то разве только собственному организму. Да и то свидетельства медицины в этом вопросе весьма сбивчивы. Умом себя оправдываю, но сердцем всё же смущаюсь. Получается вроде как бы ушёл я в подполье: пью один при закрытых дверях. Борьтсья пробовал — не выходит. Придѣшь домой усталый, как лошадь, голова не варит. А пропустишь стаканчик-другой — как часы завёл: могу ещё читать и работать до двенадцати».

Секретарь Дубняковского района Глухарѣв каялся в том, что человека, не выполнившего его задания, «способен возненавидеть и обругать самими нехорошими словами». Черту эту в своём характере знает и борется с ней по возможности. «Говорят, американцы, чтобы не ругаться, резину жуют, но у нас, к сожалению, таковой не производят. В последнее

время испытываю такой метод: всплыв, стискиваю зубы и, молчу, кто бы меня о чём ни спрашивал. Обратное, не знаю, как лучше. Иной раз сами колхозники просят: «Кондрат Трофимыч, покрыл бы ты нас лучше матом, по-божески, а то молчишь, смотреть на тебя страшно».

Нижнереченский секретарь Руденко сокрушённо признавался, что «сильно недолюбливает единоличников», и просил не рассматривать этого, как отрыжку его ошибок двадцать девятого года. Перегибы свои тогдашние он полностью осознал и исправил на практике. Всю партийную литературу о работе в деревне читал и усвоил. Единоличников своих не трогает — от греха подальше, — да и осталось их у него в районе всего тридцать штук, но зато всё народ на редкость упрямый. Никакая сила разума их не берёт. Как с ними быть — неизвестно. Поддерживать их искусственно — смысла нет, да и политически неправильно: район — не богадельня. Выселить их из района не выселишь, сидят, как грибы. Выходит, по всему СССР скоро всё население будет в колхозах, а ему одному в Нижнереченском придётся открывать заповедник для последних единоличников.

Были письма пространные, ночные раздумья со ссылками на Фейербаха, Плеханова, Гёте, однажды даже на Лабрюйера, с литературными параллелями из классиков и современных беллетристов. Видно было, что авторы писали ночью, долго расхаживая по комнате, от времени до времени доставая с полки то ту, то другую книгу. А когда кончили своё необычное послание руководителю краевой организации, не похожее на официальные рапорты и письма о достижениях и нуждах района, на дворе, наверное, кричали уже петухи, и вставало седое декабрьское утро в серьгах из ледяных сосуллек...

Из посланий этих Адрианов видел наглядно, что прочли и продумали за последние месяцы его воспитанники, чем обогатились их книжные полки. Из самого стиля писем он дополнительно узнавал казалось бы так хорошо (и всё же не до конца) знакомых ему людей. Люди говорили, как на чистке, чистейшую, неприкрытую правду, честно делясь с Адриановым своими сомнениями и слабостями.

(Продолжение следует)



ИЗ СТИХОВ АРМЯНСКИХ ПОЭТОВ

★

ОВАНЕС ШИРАЗ

К РОДИНЕ

Ручейки в ручьи впадают —
И реки бегут по взгорьям.
А реки впадают в реки
И вот — становятся морем.
Со всех берегов чужестранных,
Где голод, нужда и горе,
Стремятся к тебе караваны,
Чтоб слиться в едином море.
Все вьюги над ними кружили,
Все ветры их лица хлестали.
О, сколько они пережили,
Как много они испытали!
Оставив ночи проклятий,
Где тлели изгнанников свечи,
Сегодня стекаются братья
На эту великую встречу.
Глядят на поля, на горы,
Любовью к тебе горя.
В твоих необъятных просторах
Бросают они якоря.
Вернулись те, кто сложили
Песни о мраке чужбины.
На реках чужих служили
Мостами их голые спины.

Встречай же сынов своих,
Родина,
Пришедших из мглы
Непогодины!
Встречай их, из тьмы бредущих,
Сильней становясь и прекраснее.
Чем лес деревьями гуще,
Тем бурям он неподвластнее.

О родина наша, Армения,
Ты песню любви им спой —
О том, как Октябрьским сражением
Был начат твой век золотой,

Связал я с детства со своей судьбой
 И Пушкина и Лермонтова строки.
 Я знал: любил Россию Абовян,
 Будивший гордый разум в человеке,
 Он завещал: пусть будет для армян
 России имя дорогим навеки.
 И вот сынов России славлю я,
 Что нас собрали под единой крышей,
 Где всех народов дружная семья
 Творит, живёт, легко и вольно дышит.
 Я шум московский в сердце берегу,
 Мне Ленин улыбается с портрета, —
 Как не иссякнуть Волге и Зангу,
 Так и конца великой дружбе нету!

Перевод Елены Николаевской и Ирины Снеговой.

Г. ЭМИН

АРМЯНСКОЕ ЗОДЧЕСТВО

Армяне строят крепко. Не воздушен,
 Не пышен облик зданий всех времён,—
 Давно б Гегард был войнами разрушен,
 Когда б не в скалах высечен был он.
 Армяне строят так, чтоб не сверкала,
 Не привлекала красота врагов,—
 Скрыт наш Гегард в суровых, грубых скалах
 И лишь внутри пленяет знатоков.
 Привык народ армянский к зданиям скромным —
 Всё войны... Мал был времени запас,—
 Когда б Гегард задуман был огромным —
 Стоял бы недостроенным сейчас.
 У разных зданий разные приметы,
 Что и армянам свойственно самим —
 Разбросанным одной бедой по свету,
 Нашедшим кров под знаменем одним.

Перевод В. Звягинцевой.

ПАРУЙР СЕВАК

РАЗГОВОР С СЫНОМ

Что ж, со мной, без меня ли, сын мой, вырастешь ты,
 Мной, не мною ли будут двери в жизнь отперты —
 Всё равно ты поймёшь, как на свете жить,
 Как работать, любить, как мечтать, как дружить.

Назиданий и сам я не выношу
 И если теперь эти строки пишу,
 То лишь потому, что знаю, сынок,
 Что судеб немало и много дорог.
 Хоть время для всех намечает пути,
 Зависит от каждого — как итти.

Порою, сынок, бывает со мной —
 Иду, оглянусь и вижу: иной
 Проходит по жизни с беспечною ленью —
 Ну, не дорога — линейка в делениях!
 Школа, затем какой-нибудь вуз,
 Звонок телефонный влиятельный,
 И, смотришь, живёт человек без обуз,
 Солидный и самостоятельный.

Нет, сын мой, так ты не смеешь жить,
 Шаги по линейке равнять и делить,
 Не смеешь даже асфальтом итти,
 Ты потрудней ищи пути,
 Такие пути, чтоб сквозь горы вели
 Сына народа, сына земли!

Что мне такое сказать сперва,
 Чтоб не затасканы были слова,
 Что мне такое сказать потом,
 Чтоб мог ты гордиться своим отцом?

А он, твой отец... Он готов, сынок,
 Остаться без крова и без сапог,
 Лишь бы такие, как ты, в тепле
 Жили повсюду, по всей земле.

А он, твой отец... Он, поверь, сынок,
 Жизнь без раздумий отдать бы мог
 За светлое завтра, за свой народ,
 Который дорогой нелёгкой идёт,
 Не по асфальтовому шоссе —
 По кручам, по камню, по первой росе.

Будь честным во всём! — знает целый свет,
 Для правды ни смерти, ни ссылки нет.
 Будь смелым во всём, сын свободной страны,
 Ни перед кем не сгибай спины.
 «За» голосуй, если сердце «за»,
 Правда лишь трусам колет глаза!
 На пасеке нашей трутни есть,
 Таким лишь бы в кресло прочнее сесть,
 И думать они привыкают, увы,
 Креслом, чтоб не утруждать головы.
 Кресло велит — и целый район
 Сеет хлеба под один шаблон,
 Кресло прикажет — нужен отчёт,
 И вот в подойники сводка течёт,
 Цифра за цифрой взамен молока,
 Сводок выдаивается река.

Рискуй и сражайся, победу ищи,
 Не сразу найдёшь — не робей, не ропщи!
 Не ной, не ропщи, если в трудный год
 Вдруг неудача к тебе придёт.
 Ошибся — в соседе вину не ищи,
 Расхлёбывай, что заварил, не ропщи!
 Не ропщи, не брюзжи и жизнь не смей

Читать, как книгу чужих людей.
 Люди — твои и жизнь их — твоя,
 Будь горд, но скромн будь до конца.
 В том, кто важничал, глупость тая,
 Отец твой всегда узнавал глупца.

Ты ещё мальчик! Когда подрастёшь
 И эти отцовские строки прочтёшь,
 Возможно, хоть я и писал их не зря,
 Ты их не поймёшь уже без словаря.
 Откроешь словарь — откопаешь подряд
 Словечки: «банальность», «болтун», «бюрократ»,
 Откроешь словарь — и за слогом слог
 Прочтёшь ископаемое: «де-ма-гог».

Ну что ж, я за то и веду бои,
 Чтоб устарели советы мои,
 Чтоб написались стихи поновей
 Ради грядущего сыновей!

Перевод М. Максимова.

САГАТЕЛ АРУТЮНЯН ФРОНТОВОЙ ПИСЬМОНОСЕЦ

Сегодня ночью, в грустном забытьи,
 Я мысленно прошёл весь путь мой боевой.
 И встали предо мной товарищи мои,
 И среди них мой молодой дружок —
 Бесстрашный письмоносец фронтовой,
 Весёлый вологодский паренёк.

...Снаряды разрываются, визжат,
 Жгут миномёты снег. Огонь, и свист, и вой.
 А по снегу ползёт сквозь этот дикий ад,
 Неся мне ласку материнских строк,
 Бесстрашный письмоносец фронтовой,
 Весёлый вологодский паренёк.

Добрался — и с улыбкою в глазах
 Мне протянул письмо, кивая головой...
 Но закипела кровь на молодых губах,
 В глазах потух задорный огонёк.
 Так умер письмоносец фронтовой,
 Бесстрашный вологодский паренёк.

Сегодня ночью, в грустном забытьи,
 Я мысленно прошёл весь путь мой боевой,
 И были вновь со мной товарищи мои.
 И как письмо, что я прочесть не смог,
 Был он, тот письмоносец фронтовой,
 Бесстрашный вологодский паренёк.

Перевод В. Звягинцевой.



АЛЕКСАНДР БЕК

★

ЖИЗНЬ БЕРЕЖКОВА

*Роман**

23

— **Ч**увствую, — сказал с улыбкой Бережков, — что надо подхлестнуть нашу затянувшуюся повесть. Разрешите сразу перенести вас на восемь — десять месяцев вперёд, изобразить один денёк — опять последнее число декабря, канун нового года, наступающего тысяча девятьсот тридцатого.

Утром в тот день Бережков нервничал, ожидая, когда придет Шелест. Они договорились встретиться в АДВИ в десять часов утра. Но Шелест опаздывал. Бережков в замасленной рабочей кепке, в чёрном, тоже кое-где поблёскивающим маслом комбинезоне, натянутом поверх костюма, уже несколько раз пробежал по морозу из мастерских, где после очередной поломки был разобран и тщательно просмотрен «Д-24», в главное здание института и спрашивал там о Шелесте, выскакивал на крыльцо, оглядывая улицу, и, наконец, не выдержав, позвонил Шелесту домой. Из дома ответили, что Август Иванович уже час назад поехал на работу.

— Как — на работу? Мы его здесь ждём не дождёмся.

— Кажется, он хотел по дороге заехать в редакцию.

— Ещё в редакцию? В какую?

Бережков знал, что Шелест был членом редакционного совета в нескольких местах: в отделе техники Большой Советской Энциклопедии, в научно-техническом издательстве и в журнале «Мотор». Не получив от домашних Шелеста более точных указаний, Бережков стал названивать во все эти редакции. Через несколько минут он попал на след.

— Да, Август Иванович у нас был и только что ушёл.

— Куда?

— Одну минутку... Простите, оказывается, он ещё здесь. Зашёл в нашу парикмахерскую.

— В парикмахерскую? — вскричал Бережков. — Так передайте ему... Передайте ему, что всё погибнет, если он не придет сейчас же в институт.

— Как вы сказали? Что погибнет?

— Всё.

Со стуком положив трубку, он мрачно посмотрел на телефон и зашагал в мастерские, к мотору.

Через некоторое время Шелест прибыл.

— Что у вас стряслось? Я думал, что АДВИ горит...

Они, директор и главный конструктор института, разговаривали в маленькой конторке мастерских. Шелест положил на стол большой жёлтый портфель, снял фетровую серую шляпу, которую носил и зимой, и энергично потёр уши. Бережков потянул носом.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2, 3, 4 с. г.

— Вы, кажется, изволили и надушиться,— зло сказал он.

Шелест расхохотался. Видимо, он приехал в чудесном настроении.

— Хорошо, что я догадался,— сказал он,— кто мне позвонил. А то... А то, мой дорогой, остался бы неподстриженным под Новый год.

Он провёл рукой по своим блестящим, цвета серебра с чернью, волосам, сейчас очень гладко зачёсанным, и чуть их взбил. Бережков метнул на него свирепый взгляд.

— Какой, к чёрту, Новый год?! Август Иванович, погибаем без подшипника.

— Так я и знал... Если Бережков не раздобыл подшипника, то у него рухнет вселенная... Садитесь-ка. Рассказывайте. Вместе что-нибудь придумаем.

— Я уже придумал. Но нужен, Август Иванович, ваш авторитет.

Бережков сообщил, что в разобранном моторе произведена подгонка и смена разных деталей. Поставлен новый кулачковый вал взамен сломавшегося. Но выяснилось, что треснул и шарикоподшипник на этом валу. Запасного подшипника таких размеров в институте нет.

— А рядом,— Бережков ткнул в пространство чёрным замазанным пальцем, — вы представляете, Август Иванович, рядом, на складе Авиа-треста, есть такие шарикоподшипники. Но трест нам их не даёт. Импортная вещь! Нужно чертовское оформление через тридцать три инстанции.

— Что же вы предлагаете?

— Конечно, немедленно позвонить Родионову. Вы, как директор...

— Ну, знаете... Звонить начальнику Военно-Воздушных Сил из-за какого-то подшипника...

— А как же? Иначе, чёрт побери, мотор простоит несколько суток.

— Нет, я решительно отказываюсь. Во всём, дорогой мой, надо знать такт и меру.

— Тогда я позвоню сам.

— Попробуйте,— иронически произнёс Шелест.

— Хорошо.

Бережков потянулся к телефону.

— Алексей Николаевич, что вы?! Это... просто неприлично. Поищем-ка других путей. Надо быть совершенно невоспитанным, чтобы...

Бережков перебил:

— Теперь вы ещё скажете о чести корпорации... Нет, Август Иванович. Вы же знаете, что Авиатрест вечно нас мытарит. Пора с этим покончить! Больше не вникая предостережениям, Бережков взял трубку, назвал номер.

— Будьте добры, соедините, пожалуйста, с Дмитрием Ивановичем.

— Кто его просит?

— Передайте, что звонит Бережков, главный конструктор АДВИ.

— По какому вопросу?

— О моторе... Без Дмитрия Ивановича мы...

— О моторе? Сейчас ему доложу. Пожалуйста, подождите у телефона.

Насупившись, мрачно глядя на Шелеста из-под лоснящегося козырька нахлобученной кепки, Бережков ждал.

— Здравствуйте, товарищ Бережков,— раздался в трубке голос Родионова.— Я слушаю.

— Дмитрий Иванович, извините, что я обращаюсь к вашей помощи... Но мы можем потерять несколько суток из-за одного проклятого шарикоподшипника.

— Очень хорошо, что обратились... Нуте-с, в чём у вас затруднение?

— Дмитрий Иванович, Авиатрест не даёт подшипника. И это не случайно. Нас там изматывают...

Жестикулируя, не стесняясь в выражениях, слыша порой внимательное «нуте-с, нуте-с», Бережков обрисовал положение.

— Так,— сказал Родионов.— Повторите, пожалуйста, размер подшипника, я запишу... Так... Сейчас же посылайте машину на склад и получите там подшипник. Очень хорошо, что вы поставили этот вопрос, товарищ Бережков.

Мгновенно преобразившись, лихо сдвинув кепку на затылок, не забыв победоносно посмотреть на Шелеста, Бережков воскликнул:

— Спасибо, Дмитрий Иванович! Значит, к вечеру запустим. И в нынешнюю ночь «Д-24» будет отсюда вас приветствовать с Новым годом.

— А что как остановится, да ещё ровно в полночь?

— Ни в коем случае! Вы прислушайтесь под Новый год. Откройте форточку и слушайте. В полночь я дам такую форсировку, что вы дома нас услышите.

— И мотор выдержит?

— Обязан выдержать!.. Я, Дмитрий Иванович, загадал: если «Д-24» под Новый год будет работать, значит в тысяча девятьсот тридцатом на нём взлетят наши самолёты.

— Примите, товарищ Бережков, такое же пожелание от меня... Эту ночь вы, следовательно, проводите с мотором?

— Да... Был бы только подшипник.

Родионов помолчал. Затем просто сказал:

— Нуте-с... Посылайте же машину.

— Нам тут и сбегать недалеко! — смеясь, воскликнул Бережков. — Спасибо, Дмитрий Иванович. До свидания.

Окончив разговор, Бережков выпрямился во весь рост, сунул руки в карманы своего чёрного промасленного комбинезона и встал в таком виде перед Шелестом.

— Да, дорогой мой, — задумчиво произнёс Шелест. — Кажется, я становлюсь очень старомодным человеком... И помру, наверное, таким.

24

В мастерских несколько слесарей-сборщиков и молодых инженеров, младших конструкторов института, перебирали мотор.

Все детали уже были пересмотрены; намётанный глаз по мельчайшим признакам, по чуть заметным засветлениям на обточенной стальной поверхности, по узору смазки, разгадывал или словно прочитывал немую выразительную речь металла. Некоторые узлы уже были после переборки вновь смонтированы; около других, полусобранных на строго горизонтальных стальных плитах, ещё лежали снятые части.

К плитам быстро подошёл Бережков. За ним не спеша следовал Шелест.

— Недоля! — позвал Бережков.

Опустившись у плиты на корточки, Недоля что-то устанавливал или регулировал в одном агрегате мотора. Кепка была надета козырьком назад; голова прильнула к просвечивающему механизму; одна рука, словно обнимая сочленения металла, нежными, почти незаметными движениями массивных пальцев поворачивала блестящий диск, другая придерживала его снизу. Рядом на плите лежала синька — чертёж этого узла. Недоля не сразу откликнулся, лишь повёл спиной; под пиджаком, некогда, видимо, коричневым, а теперь чёрно-лоснящимся, слегка двинулись лопатки. Наконец он отвёл взгляд от мотора, поднялся и, откинув тыльной стороной ладони светлые волосы, выбившиеся из-под кепки, с довольной улыбкой произнёс:

— На месте.

— Через два часа всё у нас будет на месте, — сказал Бережков. — Подшипник есть! Надо, друг, слетать за ним на склад.

— И сегодня пустим?

— Да.

— Сейчас умоюсь...

Ни о чём больше не расспрашивая, Недоля опустил замасленные руки в ведро с керосином и принялся их отмывать. Потом на несколько минут ушёл и появился почти неузнаваемый: в новой пушистой кепке, в хорошо проглаженном тёмном, в полоску, костюме, в тёплом свитере верблюжьей шерсти, не закрывавшем белого воротничка, перехваченного галстуком, — молодой инженер, младший конструктор института.

— Ты сегодня что-то приоделся, — сказал Бережков.

Он теперь обращался к Недоле то на ты, то на вы, то по имени, то по фамилии. Недоля смущённо улыбнулся.

— Я знал, — ответил он, — что Новый год здесь будем встречать. — Помолчав, он продолжал: — Алексей Николаевич, к вам просьба...

— Пожалуйста. Какая?

— Алексей Николаевич, ребята... — Недоля по студенческой привычке называл ребятами своих товарищей, молодёжь АДВИ. — Ребята тоже хотят с нами тут встречать...

— Чёрт возьми, как я сам об этом не подумал? — воскликнул Бережков. — Потрясающая мысль! Это будет абсолютно необыкновенный новогодний вечер. Закатим адскую иллюминацию...

Бережков уже стал фантазировать, но спохватился.

— Добывай подшипник! Потом этим займёмся.

— А меня вы не приглашаете? — раздался голос Шелеста. Тон был очень грустный. Недоля обернулся.

— Август Иванович, неужели вы приедете?

— Если не помешаю, то...

— Август Иванович, мы не смели вас просить.

25

«Д-24» ревел под навесом на открытом воздухе. Ночь прорезали огненные языки из шестнадцати выхлопных труб. В любом помещении от этих сгорающих отработанных газов задохнулись бы не только люди, но и сам мотор, тоже требующий кислорода, кислорода... Сильный рефлектор освещал длинную панель со всякими приборами, где дрожащие стрелки показывали количество оборотов в минуту, мощность, развиваемую двигателем, давление масла и т. д. Рядом, в здании института, в зале испытательной станции, действовала точно такая же дублетная панель — за работой мотора можно было следить и отсюда.

Под навесом, ни к чему не прикасаясь, лишь поглядывая на стрелки, прохаживался дежурный механик. «Д-24» ревел, сотрясая бетонный фундамент под собой, сотрясая воздух. Вот так — без перерыва, без единой остановки хотя бы на минуту — мотор должен был проработать пятьдесят часов на государственном испытании, к которому его готовил институт. Авиационный двигатель, как знает читатель, по существу ещё не создан, не доведён, если он не может выдержать столько часов непрерывного хода на разных режимах, не сдаст такой нормы (ныне, скажем в скобках, значительно повышенной).

В воротах испытательной станции, похожих на ворота гаража, открылась дверь-калитка. На покатый настил, на снег хлынул поток электрического света. В зал, некое подобие цеха, вторглась ещё гурьба гостей, участников новогодней пирушки, энтузиастов института. В глубине, среди испытательных приборов и машин, виднелся стол, уставленный яствами и питьями, закупленными в складчину. Над ним скрестились два прожек-

торных луча — красный и зелёный. «Адская иллюминация» вперемежку с гирляндами хвои придавала залу фантастический вид. Вместо камина можно было греться у поднятого окна пылающей газовой печи. От подкрановой балки до самого пола протянулось белое полотнище, развёрнутый рулон ватманской бумаги, где были выведены строчки Маяковского:

Быть коммунистом —
значит дерзать,
думать,
хотеть,
сметь.

На разметочной плите, словно на помосте, сидел ветеран института, почтенный работник бухгалтерии, страстный любитель-гармонист, и с упоением играл на своём инструменте. Кто-то плясал под гармонию и сразу сбился с такта, остановился, лишь раскрылась дверь. Гармонист продолжал играть, широко растягивая и снова сжимая мехи, но уже не было слышно ни звука — «Д-24» всё заглушил.

В небольшой комнате-«дежурке», отделённой от зала лёгкой застеклённой перегородкой, сидел в кругу молодёжи Бережков, уже выбритый, вымытый, тоже молодой. Ему только что позвонили по телефону, он успел подать первую реплику, когда в дверь ворвался гул мотора. Повернувшись к стеклянной стене, он замахал руками, что-то закричал, но и его не было слышно. Затем опять раздалась звуки плясовой. Дверь-калитка плотно затворилась.

Бережков закричал в трубку:

— Повторите, Август Иванович, не разобрал... Скорее выбирайтесь, Август Иванович... Ждём, ждём... Не открываем бала. Что? Почему я так кричу? Простите, до сих пор уши забиты... Да, гудит, гудит... Что? Какой американец? Как?

Бережков опять замахал рукой, хотя все вокруг молчали.

— Что? Не знаю никаких американцев! — кричал он. — Кто? Как фамилия? Вейл? Первый раз слышу... Что? Гостиница «Националь»? А, рыжий Боб!.. Боб Вейл! Разыскал вас? Хочет меня видеть? Что? Имеет разрешение? Стоит у телефона рядом с вами? Давайте, я с ним поговорю.

Бережков хохотал в трубку, слушая американца и в свою очередь напоминая разные подробности их встречи, со дня которой минуло уже почти полтора десятилетия. Все с интересом прислушивались. Бережков, конечно, уже не однажды рассказывал молодёжи АДВИ о всяких своих приключениях, в том числе и о встрече с американцем Бобом Вейлом. И вот теперь из мира бережковских сказаний этот почти легендарный Боб вдруг заявился собственной персоной и, пожалуйста, где-то стоит у телефона. Закончив разговор, Бережков поднялся, улыбающийся, возбуждённый, с лукавыми огоньками в сощуренных глазах, и объявил всем:

— Товарищи, неожиданная новость: к Августу Ивановичу каким-то образом добрался американец, американский инженер, мистер Роберт Вейл, которого я когда-то знал. Сейчас Август Иванович приведёт его сюда. Прошу, товарищи, соблюдать дипломатическую вежливость.

Выйдя из «дежурки», Бережков потолкался по залу, сообщая всем новость, предупреждая о необходимости любезной встречи, потом надел шапку, кожаную куртку на меху, распахнул дверь-калитку, снова впустив всё заглушающий рокот, и зашагал к мотору.

Четверть часа спустя раскрылись ворота института и по двору, слабо освещённому двумя-тремя фонарями, к испытательной станции подкатила машина директора. Приехали Шелест и заокеанский гость. Роберт Вейл выскочил первым, Август Иванович степенно сошёл, указал американцу путь и, отворив дверь, пропустил гостя вперёд.

Попад под Новый год в фантастическую обстановку разукрашенного производственного зала, где вдобавок к иллюминации пылало синим огнём разверстое окно газовой печи, американец казался здесь тоже театральным, феерическим. Он был одет в светложёлтое пальто, в непривычные для нашего взгляда брюки-бриджи, стянутые вокруг икр и свисающие, как шаровары. Из-под фетровой широкополой шляпы виднелась яркорыжая, цвета моркови, шевелюра. Усики были тонкими, подбритыми сверху. Он слегка прихрамывал. Под большими желтовато-дымчатыми стёклами очков искрились маленькие лукавые глазки. Однако в ту минуту, пожалуй, ещё никто не разглядел этих подозрительно знакомых глаз.

Ничем не выдавая своего соучастия, Шелест любезно предложил мистеру Вейлу проследовать дальше в зал. Американец проследовал. С широкой добродушной улыбкой он оглядывал молодые лица, явно ища Бережкова. И вдруг кинулся к почтенному бухгалтеру, восседавшему с гармоникой на разметочной плите, заключил его в объятия, радостно крича на ломаном русском языке:

— Мой дорогой друг! Мистер Бережков!

Огорошенный ветеран института пытался высвободиться, растолковать ошибку, но под общий смех американец его тискал, с размаху хлопал по плечу, дружески наградил тумакон в бок. Наконец недоразумение разъяснилось. Экспансивный Боб всплеснул руками, извинился и... Американец, несомненно, был парень не промах. Не растерявшись, он мигом вытащил из кармана пальто небольшую книжку. В руках невинно пострадавшего оказался бесплатный прејскурант фирмы «Гермес», со звёздным флагом Соединённых Штатов на обложке.

— На память! На память! Наша фирма! — восклицал гость.

Он безукоризненно продолжал свою роль, хотя многие, конечно, уже догадались о шутке. Вновь оглядевшись, он вопросительно повернулся к Шелесту. Тот с самым серьёзным лицом выразил предположение, что Бережков находится у мотора. Боб тотчас оживился:

— А, мотор! Мотор! — с нерусским ударением заговорил он. — Мотор моего друга!

Потом он по-английски попросил о чём-то Шелеста. Август Иванович выслушал, любезно кивнул и, подняв руку, сказал всем:

— Товарищи, пойдёмте с нами. Посмотрим, как понравится американцу наш мотор...

И вот гурьба молодёжи, наскоро одевшейся, уже распознавшей, чьи глазки скрыты под очками, окружает на морозе под навесом новогоднего американца. Мотор ревьёт, сотрясается земля, из выхлопных труб бьёт острое пламя, а мистер Роберт Вейл совсем не восхищён. Его подвижная физиономия неодобрительно кривится, он наклоняется, проводит пальцем по картру мотора и поднимает этот палец, вымазанный чёрным маслом. Да, в «Д-24» пока есть этот изъян: прокладки кое-где пропускают масло. Пренебрежительно махнув рукой, американец отворачивается, вытирает платком палец и вдруг, снова обретя экспансивность, выхватывает из кармана ещё один прејскурант фирмы «Гермес». Здесь, во всепоглощающем гуле, нельзя ничего произнести, ничего слышать, но Боб энергично жестикулирует, демонстрирует звёздный флаг на обложке прејскуранта и выразительно изображает размах — размах американской техники. Затем откидывает обложку и показывает снимок

мотора. Он ударяет по странице пятернёй: «Вот, господа, это мотóр!» Он ждёт восторгов, но все хохочут. Все знают, что последняя модель «Гермеса» уже далеко превзойдена в мощности вот этой машиной, ещё недоведённой, ещё пропускающей масло, но уже живущей, рокочущей во дворе института. И только теперь мнимый американец выпрямляется, срывает с себя шляпу и парик, слёргивает очки и, хохоча со всеми, театрально кланяется.

27

Вскоре Бережков, уже без парика, в своей меховой шапке, в кожаной куртке, снова наведаясь к мотору. Собственно говоря, он мог бы спокойно оставаться в зале станции, ибо приборы, находящиеся там, показывали отличную ровную работу, равномерную нагрузку всех цилиндров, но его всё-таки тянуло сюда, под навес. Хотелось снова видеть вылетающие из шестнадцати патрубков огненные лезвия, вглядеться в каждое, распознать по характеру выхлопа, как ведёт себя цилиндр.

Присев на табурет, он ощутил, как под деревянными ножками дрожит мёрзлая земля. Во всём мире ещё нет авиационного мотора такой мощности. Как чудесно он гудит! Бережков закрыл глаза, пытаясь уловить какие-либо дисгармонические стуки. Нет, ничего не стучало. Прошёл ровно год с того вечера, когда... В памяти всплыл этот вечер; всплыло худощавое лицо с крупной родинкой на конце носа, с бледноватой незагоревшей полоской вверху лба, лицо человека, который всегда держится так прямо, Родионова, начальника Военно-Воздушных Сил страны. Тогда, чуть подавшись к лампе под зелёным абажуром, этот человек раскрыл том Ленина с потрепавшимися уголками переплёта и прочёл оттуда: «...Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей...» И в те минуты там, в кабинете Родионова, год тому назад Бережкова вдруг залихорадило, затрясло так же, как... как сейчас на этом дрожащем табурете. Потом... Бережков улыбнулся, вспоминая, как он выскочил, словно ошпаренный, с новогоднего вечера у Ганьшина и побежал по улицам ночной Москвы: чертить, чертить!

Он опять притронулся к картеру мотора, ощутил пальцами горячее живое трепетание. Год назад это было мыслью, мечтой, фантазией, а теперь вот она, фантазия, гудит, сотрясая землю. Он достал часы, взглянул, машинально поднёс к уху, не уловил тиканья и ещё раз взглянул: секундная стрелка мерно двигалась. Бережков усмехнулся — к мощности этого гула он ещё и сам не мог привыкнуть. Пусть же разносится по Москве под Новый год этот будто водопадный рёв, такой, какого Москва никогда ещё не слышала. А в наступающем году — до него осталось всего четверть часа — моторы «Д-24» поднимут в небо самые большие, самые быстрые в мире самолёты.

Из-под края навеса виднелось звёздное небо, табуретка дрожала, длинные острия пламени стлались по ветру, и Бережкову чудилось, что он несётся сквозь пространства, мчится на локомотиве или на корабле времени. Двор института, слабо освещённый фонарями, казался очень далёким. Уносясь, Бережков смотрел туда со своего корабля, будто через какой-то оптический инструмент: всё было видно, но ни единый звук не доходил.

...Вот из проходной будки вышел сторож, беззвучно хлопнул дверью, направился к воротам, что вели на улицу, открыл их. Возникли лучи фар, и во двор беззвучно въехала легковая машина. Чья она? Откуда? Автомобиль ещё не совсем остановился, а кто-то в темноватой военной шинели, в военной шапке, в сапогах лёгким упругим движением спрыгнул на снег. Кто же это? Странно, как он прямо держится. Неужели Родионов? Да, это был он, начальник Военно-Воздушных Сил Союза. И уже шагал к навесу, на пламя выхлопов, на рёв мотора.

Новый год встречали у мотора.

Родионов стоял у ярко освещённой панели, где по приборам можно было видеть, как работает «Д-24»; но сейчас, сдержанно улыбаясь, смотрел не на приборы, а на молодых конструкторов, которые, захватив стаканы и бутылки, покинули тёплый зал.

Шелест прокричал на ухо Бережкову:

— Сбросьте газ до малого!

И показал на часы. Две стрелки уже почти слились у цифры «12». Не полагаясь на свой голос, Шелест ещё и жестами скомандовал, чтобы мотор гудел потише. Кто-то откупорил вино.

Первый стакан Недоля, смущаясь, протянул Родионову. Тот снял перчатку, взял стакан. Губы командующего авиацией шевельнулись. Шелест угадал, что это было всегдашнее родионовское «нуте-с», теперь поощрительное, даже ласковое.

— Снизьте обороты! — опять прокричал Шелест Бережкову. — И давайте тост.

Он жестами изобразил, что предоставляет слово главному конструктору.

Держа в левой руке поданный ему стакан вина, Бережков сжал рычажок управления газом. Стрелка на одном из приборов говорила, что сейчас на этом ровном режиме мотор развивает мощность около 700 лошадиных сил. Бережков взглянул на прибор, взглянул вокруг на всех, кто здесь, на морозе, на ветру, ждал новогоднего тоста, вскинул голову и со счастливыми блестящими глазами потянул рукоятку, потянул не вниз, а добавил оборотов. Послушно двинулась стрелка — 750, 800, 820... Ого, как легко принимает мотор форсировку! Наверное, на всех ближайших улицах в домах задрожали стёкла. Наверное, за празднично накрытыми столами многие прислушались, переглянулись: кто же в такую минуту, ровно в полночь, когда часы отбивают двенадцать, приветствует Москву словно новогодним тостом? Кто? 840, 850... Это советский авиационный мотор! Слушай, Москва, слушай! Может, и Ленинград услышит? 860, 870; Бережков не решился дальше набирать мощность, она и так поднялась куда выше проектной. Показав на приборы, на мотор, взмахнув рукой ввысь, к звёздному небу, он безмолвно предложил выпить.

Родионов поднял свой стакан, подошёл к Бережкову, чокнулся с ним. Бережков никогда ещё не видел у строгого и, казалось бы, суховатого Дмитрия Ивановича таких сияющих глаз. И не только сияющих. Родионов с нежностью и с каким-то особым интересом вглядывался в конструктора, словно прозревая в этот миг что-то очень редкое, необыкновенное.

Толкаясь, чокаясь, беззвучно крича, ничего не слыша и всё-таки друг друга понимая, все выпили здравицу, возглашённую без слов, — за свою страну, за авиацию, за мотор.

Кто-то крикнул, показал:

— Качать!

Кинулись к Шелесту и Бережкову. Молодые руки подняли и понесли под открытое небо пятидесятилетнего профессора, по трудам которого училось и это поколение, основателя АДВИ, — улыбающегося, слабо протестующего, придерживающего фетровую серую шляпу. А Бережков, кивнув на приборы, решительно отстранил всех. Потянув обратно легко подающуюся рукоятку, он плавно перевёл «Д-24» на прежний режим. Затем ещё убавил газ. Рёв постепенно сменился лёгким рокотом. Теперь уже можно было, пожалуй, и расслышать голос. Да, прекрасная машина. Сейчас она отлично выдержала испытание на форсировку. О, как понадобится лётчику в любом трудном манёвре эта «приёмистость» мотора,

способность почти мгновенно увеличивать обороты, отдавать полную мощность.

Потом Бережкова всё-таки качали. Осмелев, молодёжь добралась и до Родионова. Его, командующего авиацией, в строгой темносиней шинели, тоже подкидывали и мягко ловили и снова подкидывали десятки рук.

А «Д-24» гудел. Родионов опять подошёл к мотору, постоял, наклонился к Шелесту и что-то прокричал. Бережков, смеясь, подставил ухо.

— Когда же он сломается? — весело крикнул Родионов.

— Сломается, не беспокойтесь! — так же весело заорал в ответ Бережков.

Он уже не был птенцом в своём деле, твёрдо знал, что поломки ещё будут, и запасся терпением, упорством, ультраупорством, по его выражению, чтобы доводить, доводить мотор.

— Оставайтесь с нами до утра! — прокричал он Родионову. — Тогда, может быть, дождётесь...

Родионов отрицательно повёл головой.

Он так и не дождался поломки. Ещё некоторое время он побыл у мотора, зашёл в зал испытательной станции, потом попрощался со всеми и уехал.

Мотор действительно сломался лишь к утру, непрерывно проработав четырнадцать с половиной часов. Для истории сохранилась краткая деловая запись об этом в журнале дежурных инженеров АДВИ, помеченная уже утренней датой: первым января 1930 года.

29

Несколько дней спустя Шелест привёз в институт радостную весть. Высшими правительственными органами было принято решение: завод авиационных моторов, строящийся на берегу Волги, предназначить для серийного выпуска «Д-24». Шелест вскоре выезжал за границу в составе специальной комиссии, которой поручили заказать и закупить оборудование нового завода. Авиатресту было дано распоряжение изготовлять вне всякой очереди на своих предприятиях по заказам АДВИ всё, что в процессе доводки мотора потребуется институту.

В связи с отъездом Шелеста Бережкову как главному конструктору АДВИ предложили временно замещать директора. Бережков наотрез отказался, даже когда ему позвонил Родионов.

— Не могу, Дмитрий Иванович, избавьте. А то меня непременно будут судить за кошмарнейшие преступления по службе.

— Почему так?

— Потому что у меня сейчас сомнамбулическое состояние.

— Какое?

— Сомнамбулическое. Я абсолютно невменяем. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не понимаю, кроме...

— Кроме мотора?

— Да. Я теперь, как пуля, устремлён только к одной цели: довести мотор.

— Вот, вот... И надо устремить весь институт к этой же цели... Кто же проведёт это практически? Мне подумалось: конструктор мотора.

— Конечно, конструктор! — пылко воскликнул Бережков.

Родионов рассмеялся.

— Нуте-с... Нуте-с, пуля... Договорились. Жму вашу руку.

— Подождите, Дмитрий Иванович. Решайте, как хотите, лишь бы я знал только мотор, лишь бы меня от этого не отвлекали.

— А кто будет отвечать?

— Не знаю, Дмитрий Иванович, как это выйдет юридически, но ведь я всё равно отвечаю за свою вещь всей своей судьбой.

Родионов помолчал, потом сказал:

— Хорошо. Что-нибудь придумаем. Занимайтесь мотором.

Комиссия по закупке оборудования, снабжённая всеми чертежами, вскоре уехала. Предварительно были просмотрены многие десятки прейскурантов-каталогов машиностроительных фирм, разработаны спецификации. Бережков принимал в этом самое деятельное участие, внёс массу предложений, сопровождая их моментальными набросками на полях каталогов или на любом попавшемся под руку листе бумаги. Проводив Шелеста, он продолжал с коллективом АДВИ улучшать мотор.

Однажды ему снова позвонил Родионов. Расспросив о работе, Родионов сказал:

— Алексей Николаевич, у меня к вам предложение: вылететь со мной завтра на площадку завода. Пора вам пройтись по цехам, где будет выпускаться ваш мотор, окинуть всё хозяйским взглядом.

— А у меня, — живо ответил Бережков, — есть встречное предложение. Что вы скажете о поездке туда на аэросанях? Славно промчимся, Дмитрий Иванович.

— С двумя-тремя приключениями в пути?

— Что вы! Никогда.

— Уж никогда ли?

— Дмитрий Иванович, я, конечно, не принимаю в расчёт уму непостижимых случаев.

Родионов улыбнулся, держа трубку. В эти дни, когда мощный советский авиамотор был уже, казалось, создан, он охотно шёл на шутку, подшучивал над Бережковым.

— А почему, собственно, нам не испытать и приключений? — сказал он. — Нуте-с... Кто нам это запретил?

— Испытаем! — воскликнул Бережков. — Ручаюсь, испытаем. У меня ни один пробег ещё не обходился без чего-нибудь невероятного...

— Не хотелось бы, Алексей Николаевич, только одного...

— Чего?

— Уму непостижимо засесть где-нибудь в сугробе.

— Никогда! Какие же теперь сугробы? Март. Самый дивный наст. Ничего чудеснее нет на свете.

— А сани в путь готовы?

— В АДВИ, Дмитрий Иванович, они всегда готовы.

— Что же, тогда завтра в шесть утра буду на Лефортовском плацу.

Бережков разыскал в мастерских Недолю. Там опять внимательно перебирали мотор.

— Федя, за дело!

Младший инженер-конструктор недоуменно посмотрел.

— Федя, завтра едем!

— Куда, Алексей Николаевич?

— На Волгу, на аэросанях.

— Зачем?

— На завод, где будет выпускаться наш мотор. Надо проверить, всё ли там в порядке... Оглядет всё по-хозяйски.

Бережков с удовольствием повторял слова, только что услышанные от Родионова. Он послал Недолю подготовить сани к поездке. Теперь молодое поколение АДВИ быстро завладевало в институте всем. Недоля, как некогда и Бережков, жадно работал и в конструкторском бюро и в мастерских, увлекался и аэросанями, проектируя для них с двумя товарищами свой первый собственный мотор.

Нет, в пути ничего не приключилось.

К десяти часам утра они вынеслись к Волге. Бережков заложил крутой вираж. Сани, накренившись, прочертили одним полозом по снежной целине красивую, геометрически точную кривую. С раскрасневшимся счастливым лицом Бережков оглянулся на Родионова, сидевшего в пассажирском отделении, поймал весёлый взгляд, кивок и всюду пустил сани по нехоженой белой глади русла, обозначенной высоким берегом с глубокими тенями оврагов. Мартовское солнце уже пригревало, в кабине потеплело. Наметённые вьюгой, затвердевшие маленькие гребешки снега, заметные только вблизи, нескончаемо выроставшие навстречу, уже подтаивали, стали хрупкими, чуть ноздреватыми.

Жмурясь от искрящейся мириадами кристаллов белизны, прижав ногой до предела педаль газа, свободно положив руки на руль, почти не управляя, Бережков отдавался удовольствию неимоверно быстрого скольжения, что можно ощутить, лишь летя с горы на лыжах или вот так, мчась по насту на аэросанях, когда, будто утратив вес, не проламывая подмёрзшей лёгкой корки, полозья оставляют только след. И вдруг...

Ни в одном своём рассказе о пробеге на аэросанях Бережков не мог обойтись без такого «вдруг». Я ожидал, что он по своей манере выдержит интригующую паузу, поднимет палец, посмакует моё нетерпение. Нет, он повествовал с воодушевлением, глаза блестили.

— И вдруг, — повторил он, — я вздрогнул. Поверите ли, это тоже был один из потрясающих моментов моей жизни! Догадались, что произошло? Завод! Мы увидели завод!

Как-то сразу, за какой-то излучиной реки взгляду Бережкова, взгляду всех, кто нёсся с ним на аэросанях, открылась площадка Моторстроя. Крутизна берега несколько заслоняла её; ещё не было видно взрытой земли, движения по дорогам, работ. Казалось, очертания огромного завода, смягчённые далью, поднялись прямо из снегов. Предстали ряды кирпичных труб, кое-где ещё не выведенных доверху; длинные остовы крыш, ещё не застланных, ажурных; силуэт башенного крана; тёмные контуры градирен и газгольдеров; железные переплёты эстакад; электростанция в фанерном тепляке с характерными короткими чёрными трубами, похожими на пароводяные. Над самой высокой строительной мачтой реяло по ветру красное полотнище.

С каждой секундой завод приближался, становился явственнее. Вот уже можно различить вонзившиеся в голубое небо острия громоотводов на кирпичных трубах; поворачивается подъёмная стрела, несущая над крышами по воздуху стальную балку; чернеют фигурки верхолазов; на крыше заклёпывают стропила; блеснули здесь и там молнии электрической сварки.

Бережкова била дрожь. Ведь это же завод для его мотора! Уже много месяцев подряд Бережков занимался утомительной доводкой; мозг был сосредоточен на тысяче мелочей, на какой-нибудь ничтожной кривизне, эллипсности валов, которую им следовало придать для долгой службы, на мельчайших зазорах, измеряемых сотыми долями миллиметра, что тоже надо было отыскать, поймать нескончаемыми опытами. Каждый день одно и то же: просмотры диаграмм температуры и прочих показаний всех самопишущих приборов, демонтаж мотора, смена деталей, настройка. И на следующий день опять: нелады с маслоподачей, перегрев, клапаны, подшипники, прокладки... И только в редкие минуты, как-нибудь под вечер, мечты.

А тут перед ним не в мечтах, а наяву, среди снегов, на крутом берегу русской великой реки, раскинулся на несколько километров завод, который будет выпускать эти моторы, самые мощные авиадвигатели в мире.

Рядом с Бережковым сидел Недоля в чёрной жеребковой куртке, в меховой шапке со спущенными, завязанными у подбородка ушами. Он тоже смотрел на завод, подавшись к ветровому стеклу. Ему стало жарко. Дёрнув тесёмки, он снял шапку, смахнул тыльной стороной ладони лёгкую испарину на лбу. Пробившиеся где-то струйки ветра чуть трепали его светлые волосы. Бережков взглянул на него. Вот так же, наклонившись вперёд, прильнув к пулемёту, Федя сидел рядом с Бережковым ровно девять лет тому назад, когда впереди цепей пехоты они мчались на аэросанях по льду Финского залива. Впереди и по бокам вскипали белые взбросы битого льда и воды от рвущихся тяжёлых снарядов. И теперь вдаль на берегу вдруг возник такой же, только чёрный, взмёт: на стройке рвали землю.

Наметив трассу подъёма, Бережков направил сани вверх по береговому склону. Встающий белый гребень постепенно закрывал стройку. Родионов приподнялся, перегнулся через спинку водительского места, чтобы всё-таки видеть завод. Уже только кончики труб маячили над гребнем да колыхался по ветру приближающийся красный флаг. Родионов вдруг потряс Бережкова за плечи и, смеясь, показывая вперёд, крикнул, перекрывая гул мотора:

— А?!

Так они и взлетели в гору.

31

Бережков остановил сани у тепляка электростанции.

Отсюда вглубь площадки к главным корпусам прокладывали траншею так называемого шинного туннеля. Линия работ просекала ещё не застроенное поле. Промёрзшую землю отогревали кострами, врубались в неё мотыгами, топорами, ломками, а там, где она не поддавалась и лому, вгоняли кувалдами железные клинья и всё-таки откалывали кусок за куском. В пробитые колодцы запальщики закладывали бурки; звучал сигнальный рожок; люди отбегали; чёрные глыбы с глухим уханьем вздымались в воздух; оседала пыль; землекопы с лопатами и кирками снова шли туда.

Тогда ещё не выпускали ни экскаваторов, ни грузовиков; на всём открытом взору пространстве курсировало лишь несколько грузовых автомобилей, переваливающих на ухабах с боку на бок; всюду сновали лошадёнки; выброшенную землю грабари, бородатые, в крестьянских армяках, в лаптях, кидали лопатами в сани и в телеги.

По свежему рву вслед за землекопами продвигались плотники и арматурщики. Здесь же на морозе на деревянную опалубку траншеи, на каркас железных прутьев выливали из бадей и утрамбовывали дымящуюся подогретую кашу бетона. Перекликались то с волжским оканьем, то на украинской «мове», то по-московски акая. Виднелись солдатские папахи ещё времён давней войны, кубанки, русские треухи, обтрёпаные шлемы будёновки, татарские стёганые шапки. В одном месте Бережков заметил странную группу в ватных, по-восточному пёстрых халатах, в азиатских малахаях. Это были смуглолицые узбеки или казахи. «Вот так Моторстрой,— возбуждённо подумал Бережков.— Всю страну подняли ради мотора».

Родионов в кожаном чёрном пальто без всяких воинских знаков и в мерлушковой шапке со звездой шёл впереди. Недоля, шагавший рядом с Бережковым, оглянулся на тепляк, за которым в затишке под охраной сторожа были оставлены аэросани.

— Дальше не пойду! — сказал он. — Постою немного здесь, потом займусь санями.

— Успеется... Пойдём, — коротко кинул Бережков.

Его влекли длинные корпуса цехов в отдалении. Сквозь светлые пустые проёмы окон и ворот можно было видеть, как там, внутри цехов,

двигаются паровозы и вагоны. Под остовом крыши покачивалась поднятая на стальных тросах тяжёлая тележка мостового крана, которую подтягивали к верхним главным фермам.

Тропка вывела их к санному пути. Длинной чередой шли груженые землёй розвальни. На дорогу сыпались комочки мёрзлого суглинка и песка. Полозья давили их, втирали в снег. Вдали показалась легковая машина. Она медленно пробиралась по этой дороге, продёгшей в снежном поле светлокориичевой широкой полосой.

— Дальше, Алексей Николаевич, не пойду, — опять сказал Недоля.

И всё-таки шагнули поближе к траншее, где кипела работа. Бережков взял его под руку. С минуту они стояли молча. Родионов тоже остановился.

— Чёрт возьми, — сказал Бережков, — ведь это — чудо. Чудо-завод, а?

— Да, — откликнулся Недоля. — И смотрите, как работают... Смотрите, как нужен народу наш мотор...

Бережков счастливо рассмеялся.

— Ну, это ты, Федя, того... Такому дяде, наверное, наплевать на все моторы.

Он показал на проезжавшего мимо небритого возницу в папахе, который, сунув подмышку рукавицы, свёртывал толстыми, запачканными землёй пальцами цыгарку махорки.

— А между тем, философски говоря, — улыбаясь, продолжал Бережков, — смысл его жизни, быть может, именно в том, что он служит созданию мотора. В том-то, Федя, и чудо, что всех этих мужичков, никогда не помышлявших о моторах, взяли крепкой рукой за ворот, стащили с русской печи, и вот...

Родионов стоял неподалёку. Внезапно его шея покраснела. Он круто повернулся.

— Не говорите пошлостей!

Бережков увидел его странно взметнувшиеся светлые брови, вспыхнувшее негодованием лицо. Недоля потупился и пошёл в сторону.

— Куда ты? — растерянно выговорил Бережков.

Недоля лишь ускорил шаг.

— Неужели вы не понимаете, — с неутраченной резкостью быстро говорил Родионов, — что ему стало за вас стыдно!

— Дмитрий Иванович, я... Я только...

— Вы только сказали, что смысл жизни этих людей, — резко жестикулируя, Родионов показал вокруг, — в том, чтобы сделать ваш мотор. Подумаешь, существует этаким гений Бережков, а все эти мужички, как вы их изволили назвать, живут лишь для его мотора! Чудовищно! Постыдно! Они поднялись, чтобы разделаться с вековым угнетением, совершили величайшую в истории революцию, воевали за неё, лили кровь, голодали, валялись в тифах и всё-таки выдержали, прогнали армии четырнадцати стран. И теперь работают, строят заводы на своей земле. Ради чего? Чтобы доставить удовольствие, или, если вам угодно, творческое удовлетворение Бережкову? Чёрта с два! Им действительно наплевать на это, если только... Если только вы сами не служите народу! И, философски говоря, товарищ Бережков, смысл вашей жизни именно в том, что вы, желаете этого или не желаете, служите им, этим мужичкам, о которых позволили себе с таким пренебрежением говорить.

— Дмитрий Иванович, я... Я, конечно же...

— Вы, конечно же, нагородили вздору! Народ для мотора! Какая чепуха! Мы с вами оба служим народу, живём для него.

Бережков стоял, пытаясь улыбнуться, как провинившийся, пристыжённый школьник. Родионов оборвал свою отповедь. Некоторое время

он молчал. Вскинувшиеся брови опустились, краска возмущения схлынула с загорелого лица.

Рассказав мне об этом эпизоде, Бережков задумчиво проговорил:

— Можно ли это миновать в нашем романе? Нет, мой друг, нельзя. Вы должны знать всё. Ваш герой был таким дураком, или, литературно выражаясь, настолько ограниченным, что никак не мог даже, как видите, уже не в первые годы революции понять, глубоко, душевно воспринять, казалось бы, самую простую вещь: народную, человеческую сущность социализма. Эта суть социализма — освобождение человека от гнёта эксплуатации — долго до меня не доходила. Меня захватывали другие стороны нашей великой революции: патриотизм, невероятный размах индустриализации, дерзновенность пятилетки и так далее. А её глубочайшая человеческая сущность, основа всех наших чудес, — это было последнее, что я осознал в социализме. К сожалению, приходится в этом признаться... Вернёмся теперь, мой друг, на площадку.

32

По дороге приближалась легковая машина. Родионов посмотрел туда и совсем иным тоном, будто и не было вспышки, сказал:

— Нуте-с... Это, кажется, Алексей Николаевич, за нами.

С подножки автомобиля соскочил Новицкий, директор Моторстроя.

— Дмитрий Иванович, здравствуйте! — весело закричал он. — Почему без предупреждения? Хотели застичь врасплах? Пожалуйста, вот и застигли... А, и товарищ Бережков! Здравствуйте, милости просим...

Пожав руку Родионову, он ударил ладонью по протянутой ладони Бережкова и крепко её стиснул.

— Давно вас, Алексей Николаевич, сюда жду. Скоро переберётесь? Я ему, Дмитрий Иванович, уже и кабинет оштукатурил. Только где же мотор? Давайте, давайте, а то не поспеете за нами.

Новицкий был на два-три года моложе Бережкова, но теперь никто не назвал бы его молодым. Кожаное чёрное пальто, такое же, как у Родионова, не скрывало грузноватости. Его, видимо, увлекала работа; карие глаза, как и прежде, были очень живыми, но под ними набухли небольшие мешки. Сеточка красных жилок в белках глаз, краснота век были печатью многомесячного недосыпания.

— Нуте-с, как ваше здоровье? — спросил Родионов, внимательно взглядываясь в Новицкого. — Как сердце?

— О здоровье, Дмитрий Иванович, будем говорить, когда пустим завод. Тогда уеду лечиться... Этак месяца на два в санаторий. Позвольте?

— Конечно.

— Боюсь, что для меня сразу найдётся новая ударная задачка. Садитесь... — Новицкий раскрыл дверцу машины. — Дмитрий Иванович, с вашего разрешения, сначала повезу вас подкрепиться...

— Нет, благодарю вас...

— Тогда командуйте... Куда поедем? Что вы хотели бы посмотреть прежде всего? Или позвольте, я сам, Дмитрий Иванович, покажу вам стройку...

— Давайте-ка, Павел Денисович, попросту пройдемся.

— Охотно...

Они пошли по дороге. Новицкий рядом с Родионовым, Бережков сзади. Посматривая по сторонам, задумавшись, он время от времени прислушивался к сильному баску Новицкого.

— ...Сейчас гоню шинный туннель, — объяснял Новицкий. — Высоковольтный ток дам мостовым кранам точно по графику: первого мая. И немедленно начну монтировать оборудование.

— ...Складируем, Дмитрий Иванович, неплохо. Сам это проверяю ежедневно. Не хотите ли туда проехать? Но уже вырисовывается, Дмитрий Иванович, угроза некомплектности. Я вам завтра вышлю рапортчку.

— ...Базу создали. Это, Дмитрий Иванович, выполнено. Имеем теперь свой лесоккомбинат, свои подсобные заводы: ремонтно-механический, бетонный, кирпичный, котельный...

— ...С дорогами трудно. Транспорт режет, Дмитрий Иванович. Да, узкую колею веду... Но не хватает подкладок, костылей. Прошу вас, Дмитрий Иванович, в Москве нажать.

— ...Ограда? Это тяжёлый объект, Дмитрий Иванович. Ограда встанет нам ровнёхонько в миллион рублей. С весны возьмёмся... Нет, только из железобетона. Самый дешёвый и надёжный материал.

Бережков шёл, порой ловя эти долетавшие до него слова, глядя на приближающиеся корпуса цехов. Его снова охватывал восторг. Боже мой, какой завод! Миллион рублей ограда!

Внезапно Родионов остановился перед невзрачным длинным баракom, битым из неструганных досок, с небольшими, запотевшими изнутри окнами.

— А это что у вас?

— Это, Дмитрий Иванович, времянка... Скоро её выбросим.

— А что там?

— Рабочая столовка.

— Вот как... Ну те-с, посмотрим.

33

В холодноватом помещении пахло щами. Под потолком стлался пар, заколыхавшийся, когда раскрылась дверь. Столы почти не были заняты, ещё не настал час обеденного перерыва. Лишь несколько рабочих, не раздевшись, что-то сли из жестяных мисок. У самой двери, за столом, преграждавшим вход, сидела девушка в валенках, в пальто, в шерстяном платке и читала растрёпанную книжку. Перед ней была навалена груда деревянных ложек. Не отрываясь от книги, она машинально нашарила и сунула Родионову ложку. Он нахмурился, взял, произнёс:

— Странный порядок...

Девушка подняла взор и оторопела.

— Странный порядок, — повторил Родионов. — Для чего, собственно, вы тут сидите с этими ложками?

Запинаясь, она объяснила, что каждый, уходя из столовой, обязан сдать ложку. И показала большую плетёную корзину на столе, куда их следовало бросать.

— И вы здесь контролируете, чтобы рабочий, не дай бог, не унёс вот эту деревяшку?

— Да...

Бережков увидел, что шея Родионова опять покраснела. Вынув из кармана совершенно чистый платок, Родионов протёр полученную ложку. На полотне остался чуть заметный слой жира: ложка явно была вымыта в несвежей воде. Он повернулся к Новицкому. Брови круто взметнулись.

— Вам хотелось бы обедать здесь, товарищ Новицкий?

Несколько рабочих, сидевших неподалёку, заинтересованно прислушались. Кто-то торопливо вышел из-за дощатой перегородки в глубине и нерешительно остановился.

— Дмитрий Иванович, — негромко ответил Новицкий, — во-первых, я столовыми не занимаюсь. Это дело кооперации...

— Не моё дело? И это говорит член партии, директор, коммунист?

— Дмитрий Иванович, — попрежнему негромко, но твёрдо перебил Новицкий. — Вы могли бы сказать мне всё это в кабинете, а не здесь...

Родионов сдержался. Не вымолвив больше ни слова, он бросил ложку в корзину на столе и зашагал к выходу. На воле Новицкий сказал:

— Должен повиниться, Дмитрий Иванович, я ни разу не бывал в этой столовой. Не находил времени...

— И очень плохо. Позор проверять эти несчастные ложки! И содержать столовую в такой грязи! Детские ясли у вас на стройке есть?

— Да...

— Но вы и там, наверное, ни разу не были?

— Не побывал, Дмитрий Иванович.

— Нуте-с, поедемте туда... А затем в партийный комитет... Вы и там, думается, не частый гость?

Новицкий промолчал.

У барака стояла легковая машина, которая ранее, когда они шли, медленно следовала за ними. Родионов обратился к Бережкову:

— Алексей Николаевич, вы, пожалуйста, пройдите по цехам. Всё осмотрите по-хозяйски... Встретимся...— Отогнув кожаный обшлаг, Родионов взглянул на часы.— Встретимся, если не возражаете, через два часа вот там, у заводууправления.

Он указал на очень заметное, четырёхэтажное, уже оштукатуренное и частью застеклённое здание в центре площадки. Потом сел с Новицким в машину. Она тронулась.

34

Ровно через два часа тот же облупленный пофыркивающий автомобиль подкатил к четырёхэтажной коробке заводууправления.

Фасад был залит мартовским солнцем, перевалившим за полдень. С крыши, обросшей сосульками, сбрасывали тяжёлый, напитанный влагой снег. Широкое крыльцо из тёсаных плит серого камня вело к главному входу: там уже были навешены массивные дубовые двери, ещё не выкрашенные, а только зашпаклёванные. В некоторых окнах уже блестели стёкла, забрызганные жидким мелом. А боковое крыльцо ещё было забрано лесами. Шаткий наклонный настил из пары досок пока заменял здесь ступени. По этому настилу строители то и дело вкатывали с разбега тачки или таскали носилки с цементом, известью, песком.

— Где же наш Бережков? — произнёс Родионов, выйдя из машины и оглядываясь.

Новицкий ответил:

— Наверное, увлёкся и про всё забыл... Слишком импульсивная натура.

— А это неплохо... Нуте-с...

Сейчас родионовское «нуте-с» вызывало на разговор. Новицкий сдержанно пожал плечами. Но в ту же минуту появился Бережков. Он вышел из здания, сбежал по главному крыльцу, взволнованно направился к Родионову.

— Дмитрий Иванович, меня зарезали!

Его энергичный вид — слегка разругавшиеся на ветру щёки, сдвинутая немного набекрень меховая шапка, чёрный полушубок, туго перехваченный ремнём, испачканный на плечевом шве известью, добротные высокие бурки, упёршиеся в сыроватый снег,— его вид так противоречил возгласу, что Родионов улыбнулся.

— Кто вас тут обидел?

— Форменным образом зарезали! Я обошёл завод...

— Нуте-с, нуте-с...

— Прекрасный завод! Необыкновенный завод! Но для работы главного конструктора не создано абсолютно никаких условий.

— Какие же вам нужны условия? — сухо спросил Новицкий.

— Конструкторское бюро загнали в какой-то закоулок.

— Закоулок в двести пятьдесят квадратных метров.

— А мне нужно в несколько раз больше.

— Ого! Может быть, всё это здание?

— Нет, другое... Которого ещё здесь нет... Дмитрий Иванович, это страшное наше упущение. Где мы будем изучать мотор? Где наша испытательная станция? Главному конструктору необходимо своё здание. И оно должно быть самым лучшим, самым чудесным на заводе.

— Вот,— усмехнулся Новицкий,— поскакал в царство фантастики.

— Нет, почему же? — проговорил Родионов. — Послушаем его.

— Я, Дмитрий Иванович, категорически настаиваю на отдельном здании. Иначе мы сами зарежем наш мотор! Ведь он должен с каждым годом развиваться, совершенствоваться. Над ним надо работать! Но где же я буду этим заниматься? Где буду экспериментировать?

И Бережков возбуждённо описал здание, которое ему виделось в воображении,— со специальными лабораториями, где можно создавать искусственно разрежённую атмосферу, чтобы изучать поведение мотора на различных высотах, с небывалыми рентгеновскими установками, которые навсёль просвечивали бы работающий двигатель, и так далее и так далее. Невольно улыбаясь, Родионов опять, как и под Новый год, у ревущего мотора, вглядывался в конструктора с каким-то особым интересом.

— Павел Денисович, ну-с, что вы можете возразить по существу?

— Ей-богу, с удовольствием бы всё это построил,— весело ответил Новицкий.— И перетащил бы сюда весь институт Шелеста. Но мне дан проект. Для меня это закон. И я не могу строить того, что придёт в голову мне или такому фантазёру, как наш уважаемый Алексей Николаевич... У нас, как на всяком современном заводе, есть контрольные лаборатории...

— Мне надобно не то!

— Во всяком случае, Дмитрий Иванович, проект обсуждался много раз, и никто об этом не просил.

— А я прошу!

— Хорошо,— сказал Родионов.— Дадим вам своё здание.

И опять, как всегда, когда он говорил, почувствовалось: что он скажет, то и будет.

— Дадим, Павел Денисович, всё,— продолжал Родионов,— о чём просит конструктор мотора. В этом нельзя жаться, ибо дело идёт...— он помолчал,— о мировом соревновании. Проект надо соответствующим образом дополнить...

— Я сам всё начерчу! — воскликнул Бережков.

Втроём они вернулись к тепляку электростанции. Солнце ещё грело, но стало неослепительным, чуть золотистым. Впадины оврагов потемнели. Пора, пора было ехать! Обогнав спутников, Бережков энергично шагал к аэросаням. Родионов ещё раз оглянулся на завод, потом посмотрел вдаль на белую равнину лугового берега, где виднелась деревенька, почти утонувшая в сугробах, глубоко втянул воздух, налитанный запахом талого снега, быстро нагнулся, сгрёб белый, легко лепящийся комок и запустил в Бережкова. Снежок угодил в плечо. Бережков обернулся. Следующий ловко нацеленный удар пришёлся ему пониже уха. Кусочки снега попали за шиворот.

— А-а-а! — крикнул Бережков.— И мы это умеем!

Снежки градом полетели в Родионова. Первый — мимо, второй — мимо, третий — в шапку, четвёртый — ага! — четвёртый, кажется, в ухо. Бережков опять испустил боевой клич и, наступая, хватал на ходу по-

красневшими мокрыми руками снег, бросал и бросал без передышки, чтобы заставить Родионова показать спину. Однако Родионов, пригнувшись, легко увёртываясь, отвечал меткими ударами. Чёрт возьми! Бережков остановился, повёл шеей, за ворот опять поползли холодные струйки. Ну, нет! Хоть вы, Дмитрий Иванович, и командующий авиацией, но... Бац! Бац! Бац! По кожаному чёрному пальто Родионова забарабанили снежки.

Из-за тепляка появился Новицкий. Узрев сражение, он побежал по целине, зашёл во фланг Бережкову и, немного запыхавшись, стал его обстреливать. Бережков попятился.

— Наша берёт, Дмитрий Иванович! — кричал Новицкий.

Но Родионов вдруг метнул в него снежок.

— Алексей Николаевич, вперёд! Зададим директору! Бей формалиста!

Бережков расхохотался. Атакованный с двух сторон, Новицкий пустился было наутёк, увяз в снегу, сел и поднял руки. Родионов подошёл к Бережкову.

— Славно! — сказал он. — Теперь, дружище, едем.

36

— Далее я вам с прискорбием изложу, — продолжал своё повествование Бережков, — трагический финал истории «Д-24».

Представьте, прошёл март, апрель и май, пролетело лето, подступила ещё одна зима, приближался следующий Новый год, уже 1931-й, завод был уже совершенно готов к пуску, там уже шло опробование термических печей, прессов, паровых молотов; мастера-токари налаживали в прекрасном механическом цехе всякие умные машины, станки-автоматы, специально заказанные для изготовления деталей «Д-24»; уже ежедневно гоняли вхолостую главную сборочную ленту и все малые конвейеры, но... Но вот вам положение: завод есть, мотора нет!

Во время монтажа оборудования Шелест и я часто вылетали на завод, предьявляли свои требования монтажникам, решали вместе с ними всякие сложные вопросы, ко мне там уже привыкли обращаться, как к главному конструктору, даже здание испытательной станции, о котором я просил, уже высилось на краю завода, однако — проклятье! — мотор-то ведь всё ещё не был доведён.

Минул год, как мы его построили, этот самый «АДВИ-800», или «Д-24». Вы знаете, как чудесно он работал, как легко принимал форсировку, показывая мощность сверх проектной, но до нормы государственного испытания, то есть до пятидесяти часов непрерывного хода, мы никак не могли дотянуть. Перестав ездить на завод, забросив и многие другие дела, я снова отдался лишь мотору... Нас опять мучили бесчисленные задержки выполнения наших заказов на предприятиях Авиатреста. Приходилось по многу раз просить, кричать, учинять скандалы, чтобы на каком-нибудь заводе нам выточили партию валиков, клапанов или поршней. Поверьте, я шёл на то, чтобы кланчить у Подрайского, засевшего в Авиатресте, всякую необходимейшую мелочь. Ведь в процессе тончайшей доводки требуются, без преувеличения, тысячи новых деталей. Постоянно мотор попусту простаивал, пока мы выцарапывали нужные части. Мы, работники АДВИ, изводились из-за этого. В вынужденном безделье мы теряли драгоценнейшие дни. У нас буквально крали время.

И всё-таки, несмотря на эти изматывающие непрестанные мелкие подвохи, мы довели мотор до такого состояния, когда вполне определились точки, над которыми ещё следовало работать.

Нас, например, резали поломки клапанов. Наш «Д-24», как мы говорили, «плевался клапанами». Вот мотор отлично идёт, крутится десять

часов, двадцать часов, и вдруг на форсированном ходу тот или иной цилиндр выходит из строя. Машина хрипит и свистит, резко падает мощность. Мы уже знали, что означает этот проклятый дикий свист. Остановливаем, смотрим. Там, где в ряд расположены клапаны цилиндров, в одном месте чернеет дыра. Весь мотор цел, лишь вырвало клапан. Мы потом часами искали этот оторванный клапан и находили где-нибудь на краю двора или на улице: бывало, он отлетал чуть ли не на четверть километра.

Все ждали, что мы вот-вот скажем: мотор готов для государственного испытания. А он попрежнему «плевался клапанами», попрежнему на двадцатом, на двадцать третьем, на двадцать восьмом часу работы начинал адски свистеть.

Мы ошупью, экспериментально, искали форму клапана, чертили всё по-новому и по-новому эту деталь, отсылали заказы Авиатресту, и из нас снова выматывали жилы.

И проходили недели, проходили месяцы, а мы всё ещё не могли рапортовать: мотор готов!

37

— Нам несколько раз предоставляли отсрочки,— продолжал Бережков,— помогали. Дошло до того, что командующий авиацией сам занимался тем, чтобы выполнение наших заказов не задерживалось.

Но все сроки истекли. На Волге стоял новый, поистине грандиозный, первоклассный, полностью оборудованный завод авиационных моторов, стоял в бездействии из-за нас. Правительство не могло больше ждать. Было принято решение отказаться от нашего мотора и переоборудовать завод для выпуска иностранной модели. У немцев, у фирмы «ЛМГ», были куплены чертежи авиадвигателя, тогда самого мощного в Европе. Фирма обязалась передать вместе с чертежами и все так называемые операционные карточки, то есть всю технологию производства, и принимала гарантию за выпуск моторов.

Я понимал, что другого выхода нет. В эти последние месяцы меня порой удивляло, или, вернее, трогало, что нас так терпеливо ждут, дают и дают нам время, приостановив пуск Волжского завода. Я ощущал, что наш недоведенный мотор задерживает, подобно пробке на шоссе, движение всей страны; был внутренне подготовлен к решению, о котором вам только что сказал, и всё-таки оно на меня обрушилось, как страшное личное несчастье.

Ведь мотор был для меня ставкой всей жизни. Не удался мотор — значит не удалась жизнь. Кроме того, поймите, конструктору, человеку творчества, присуще чувство, которое на страницах нашей книги однажды уже было названо словом «материнство». И как бы мать ни была подготовлена к тому, что дитя умрёт, надежда не покидает её до последней минуты.

Мне очень смутно, какими-то отдельными проблесками, помнится день, когда я узнал, что на «Д-24» поставлен крест.

Помню, Август Иванович пришёл в мой кабинет. Я слушал доклад дежурного инженера, рассматривал листки миллиметровки, ночные показания самопишущих приборов о работе мотора. А он, наш мотор, ровно гудел за окном. На моём столе лежали разные его детали, то уже побывавшие в работе, сломанные или обнаружившие преждевременный износ, то совсем новые, матовые после обточки. Я подал Августу Ивановичу одну деталь, зная, что она заинтересует его. Он повертел стальную вещь и, не взглянув на неё, молча положил на стол. Жест был таков, что я сразу всё понял. Отпустил инженера. Спросил:

— Кончено?

Шелест стал говорить, но я расслышал, воспринял лишь одно: да, с мотором всё покончено, мы не успели. Некоторое время, вероятно, сидел, как оглушённый. Не могу вспомнить, как я встал, как очутился у окна, но последующий момент запечатлелся.

Я стоял, прислонившись к косяку окна, и смотрел на Шелеста, а он, присев на ручку кресла, обращался ко мне, говорил. Я заставил себя вслушаться. Ассигнования, расширение... О чём он? Дошло, что институт решено расширить, что будут выстроены новые производственные корпуса АДВИ, где через два-три года... Эх, через два-три года! Но сегодня или завтра мы вынесем в сарай, в могилу, наш мотор, навсегда похолодевший.

Боже мой, но ведь вот же он — гудит за окном, живёт! Это было страшно, как голос с того света. Я коснулся пальцами оконного стекла — оно вибрировало; ухо уловило его дребезжание, которое мы в институте по привычке перестали замечать. Так неужели же всё кончено? И уже ничего невозможно сделать? Неправда, невозможного не существует! Спасать мотор, спасать! Далее опять слепое пятно в памяти. Знаю одно, я кинулся к Родионову. Как, на чём я к нему ехал или, может быть, попросту шагал, как попал в приёмную, с кем там объяснялся — всё это выпало, не помню.

Новый проблеск — кабинет Родионова. Длинная комната, которую когда-то я вам уже описывал. Очень много окон. Вдоль стен — модели советских самолётов. И вдруг в глаза бросилось то, чего раньше я здесь не видал. На специальной подставке, на высоком стальном стержне, была укреплена модель мотора. Я сразу узнал конструкцию Петра Никитина, наш первый отечественный авиамотор в сто лошадиных сил. Никитин дожал-таки свою машину, довёл до государственного испытания, до серийного выпуска. Я был поглощён собственным несчастьем, но на миг мне стало страшно по-ипому. Представьте себе эту картину: десятки самолётов разных типов, вплоть до крупнейших воздушных кораблей, сконструированных и построенных в нашей стране, и среди них один-единственный моторчик мощностью всего в сто сил. И модель нашего «Д-24» не будет здесь стоять. У страны, которая так устремилась вперёд, попрежнему нет отечественного мощного мотора. Мы опять вынуждены купить заграничную марку. Дмитрий Иванович, нельзя с этим мириться! Дмитрий Иванович, ведь вы же сами говорили о сражении моторов! Нельзя, нельзя, тысячу раз нельзя позволить, чтобы нас побили!

Это была истерика — я не могу подобрать другого слова.

Родионов в военном френче спокойно меня слушал. Помню, меня почему-то опять, как и прежде, поразил его пробор, прямой, будто вычерченный по линейке, разделявший надвое рыжеватые, крепко приглаженные волосы. Упорный человек, ведь он их переупрямил. Как это ни странно, но мне показалось, что даже его родинка на кончике носа, неправильная выступающая шишечка, сулит надежду. Как вам это объяснить? В ней сквозь сдержанность сухошавого лица будто проглядывал задор этой природы, задор, который Родионов уже никак не мог убрать или пригладить.

Родионов слушал, не перебивал, лишь изредка вставляя своё «нуте-с». В интонации, как мне чудилось, звучало: «К делу, к делу! Что вы предлагаете?» Но я ничего не предлагал. Я попросту прибежал к нему в отчаянии. Помню его ясный ответ. Сражение за советский сверхмощный мотор, сказал он, вовсе не проиграно. Мы идём к этой же цели. Выкладываем большие деньги немцам, но пустим завод, освоим технику. Сейчас мы покупаем у них время, платим золотом за время. Ваш институт мы реконструируем, или, вернее, выстроим заново, вооружим конструкторов. И снова в атаку! Нуте-с...

В этом словечке мне опять послышалось: «Что вы предлагаете?»

— Дмитрий Иванович, я вас прошу... Дайте мне ещё неделю. Только одну неделю.

— Что же можно сделать за неделю?

— Не знаю. Наверное, ничего. Но я сделаю.

— Что?

— Решу эту проклятую задачу. Что-нибудь придумаю. Приду через неделю к вам и доложу: мотор готов для государственного испытания.

— Алексей Николаевич, неужели вы считаете это возможным?

— Нет. Соберите тысячу специалистов, и все ответят в один голос: нет! Я тоже на таком консилиуме сказал бы: нет! И всё-таки я сделаю!

В этот миг взгляд Родионова вдруг переменялся. Я заметил, что он снова, как бывало, смотрит на меня с каким-то особым интересом, с необычайной теплотой. Он мне поверил. Может быть, всего на одну минуту, но поверил. Показалось, даже радостно вспыхнул.

— Алексей Николаевич, если бы это было так... Скажите, что вам нужно?

— Ничего. Я должен думать. И через неделю буду вам рапортовать.

— Идёт.

Он встал и протянул мне руку.

Надо уходить. Вероятно, отчаяние опять выразилось на моём лице. Родионов улыбнулся.

— Не убивайтесь! Ведь мы же с вами побывали в переделках...

Я насторожился. О чём он?

— Вспомним Кронштадт... Первый штурм не удался, а вторым мы его взяли... Ну-с...

Воля, вера, призыв прозвучали в этом «ну-с».

38

Но Бережков ничего не придумал, не смог спасти мотор.

— Это были мучительные дни,— рассказывал он.— Я часами сидел, сжав лоб, будто стараясь что-то выдавить из черепной коробки, какую-нибудь гениальную идею. Или шёл к холодному замолкшему мотору, который после очередной поломки был так и оставлен на стенде, под навесом. К нему уже никто не прикасался. Все в институте уже знали, что наше недоведённое творение оказалось за бортом. Ко мне относились бережно, не приставая с расспросами или с делами, ничем не отвлекая от мыслей, и, наверное, ещё ожидали от меня чуда.

Мне и самому верилось, что вот-вот блеснёт озарение и я решу каким-то необыкновенным способом в один момент все задачи доводки.

Чего, казалось бы, проще: клапан цилиндра? К чему мудрствовать? Взять, например, клапаны «Райта» или «Гермеса», в точности повторить, скопировать эту деталь— вот вам и решение. Однако это было десятки раз нами испробовано и столько же раз не удавалось: металл рвался до срока, клапаны выбрасывало чёрт те куда.

Собственно говоря, я уже знал тогда разгадку. Нужна точка опоры, промышленность, производственный опыт, чтобы создать мотор. И не только авиамотор, своего рода пик современной индустрии, но и любой другой механизм.

Скажем, в те годы мы строили автомобильные заводы. Представьте себе, вы, получив некий образец, совершенно доведённую автомашину, предположим, малолитражку, разберёте её, снимете самые точные чертежи, самые точные размеры и запустите по этим чертежам в производство. И у вас ничего не выйдет, ибо весь секрет в том, какова была технология

производства, то есть как эта вещь обрабатывалась. Возьмите самую элементарную деталь, такую, например, как кузов, цельнометаллический кузов. Вот вы сделали его в абсолютном соответствии с чертежом, отшлифовали на пять с плюсом, а поставьте на место, и он может лопнуть. Почему? Потому что вам неизвестна история доводки. Вы не знаете, сколько операций, и какие именно, и в какой последовательности прошёл этот стальной лист. А оказывается, это имеет значение.

Теперь другие времена. Мы так шагнули, что теперь копируют наши моторы.

Берём такой случай: война, наш самолёт сбит над территорией неприятеля. Или даже мирное время: авария над чужим материком, самолёт исчез, не найден. А на деле он попал в исследовательскую лабораторию какого-либо государства. Итак, наш мотор в чужих руках. Что же, займите, сдирайте... Во-первых, у вас долгое время ничего не выйдет, ибо мотор ещё не приносит с собой своей истории, то есть технологии производства, всех операций, которые произвели его на свет. И во-вторых, уже в ту минуту, когда у вас возникло намерение скопировать, вы отстали, опоздали, у вас в руках лишь вчерашний день авиации, ибо конструктор, у которого вы списываете, уже находится далеко впереди, уже работает вместе с большим коллективом, вместе с заводом, над своей следующей вещью, доводит её.

А самый материал, из которого сделана вещь, металл? Вот вы произвели химический анализ, выяснили состав металла и, казалось бы, получили у себя точно такой же. Нет, в работе он рвётся, сдаёт. В чём дело? В том, что вы не знаете, как этот металл был выплавлен, как закаливался, как остужался. Тут важны мельчайшие технологические тонкости, о которых нельзя догадаться, которые познаются только долгим опытом.

Конструктор — это труженик. Он систематически работает, экспериментирует, изучает машину, производство. Я вам уже говорил, что, став зрелым человеком, почти никогда не называю себя изобретателем. Идешь по улице, в фантазии что-то сверкнуло, предстала вещь — готово, ты изобретатель. Конечно, тут тоже есть свои законы, но изобрести — это всё-таки самое лёгкое в нашей профессии. А дальше труд, нескончаемый труд.

Над «Д-24» мы работали, как вам известно, около двух лет. Машина была почти доведена. Но с этого «почти» мы не могли сдвинуться. И потребовались бы ещё долгие месяцы, может быть год, чтобы одолеть это ничтожное, это проклятое «почти». Вы спросите, почему бы не потерять на доводку ещё год? Потому, помимо всего прочего, что конструкции авиационных моторов стареют. То, что было в момент рождения мотора современным, передовым, становится через три года отсталым, и уже нет смысла запускать это в производство. Таким образом, главной трудностью, которую нам пришлось преодолевать, было отсутствие собственного технологического опыта, производственной базы, современной промышленности авиационных моторов. Мы боролись с неисчислимыми трудностями, вытекавшими из самого существа задачи, боролись за дни и часы, а нас изматывали бесконечные проволоочки.

Пришлось покупать мотор у немцев. Это решение казалось мне тогда чудовищным ударом, страшным поражением, но, как вы увидите далее, оно было единственно верным в той обстановке. Вместе с мотором к нам пришла и технология, культура производства; у нас быстро выросла армия производственников, которая научилась строить мощные авиамоторы. Мы купили время, как сказал Родионов. Но даже и он, человек очень ясного ума, ещё мог на момент поверить мне, что я совершу чудо. Нет, я ничего не совершил, не спас мотора.

Крушение мотора нанесло мне жесточайшую психологическую травму. Страдая, убеждаясь в собственном бессилии, я, как мне казалось, изжи-

вал свои последние иллюзии. Довольно с меня неудач! Отныне я запрещаю себе конструировать сверхмощные моторы! И не сниму этого запрета в течение по крайней мере пяти лет, пока у нас не возникнет новейшая промышленность моторов. Буду рвать свои чертежи, если вдруг, забывшись, начну рисовать некую новую сверхмощную конструкцию. Нет, не начну, не позволю себе этого. И пусть отсохнет моя правая рука, если я нарушу эту клятву, пусть отсохнет в ту минуту, как только я проведу первую линию!

К Родионову я обещал прийти через неделю. Но не пошёл. Это было слишком тяжело. Даже не позвонил ему по телефону. Он и так всё понял.

Я сложил оружие. Мотор «Д-24» был вычеркнут из моей жизни.

39

Следующий Новый год Бережков встречал у себя дома, с родными, с друзьями, с молодёжью. Дадим лишь один штришок этого вечера.

Вдоволь натамцевавшись, Бережков поманил за собой Ганьшина. Они ускользнули в кухню, захватив бутылку вина и стаканы. Там всё было заставлено, стояли блюда с остатками закусок, куча посуды, бутылки. Недолго думая, Бережков предложил сесть прямо на пол, спрятаться от всех за большой плитой. Он весь вечер веселился, славно выпил. Маленький очкастый Ганьшин, не прекослова, опустился на пол и прислонился к тёплому белому кафелю печки. Вместо стола Бережков мгновенно приспособил оцинкованное железное корыто, поставив его вверх дном. Когда-то в этой же кухне он горестно откупорил заветную баночку эмалевой краски и выкрасил это корыто. На покатых бортах и кое-где на дне сохранился поблёкший коричневый слой, всё ещё напоминающий цвет пенки на топлёном молоке. Бережков снял пиджак, привычно поддёрнул брюки, чтобы не испортить свежей складки, и сел у корыта, скрестив ноги калачиком. Ганьшин сказал:

— Мы с тобой старые китайцы...

— Которые всё понимают,— подхватил Бережков.

Он наполнил стаканы.

— За что же мы с тобой выпьем? — спросил Ганьшин.

— За что? За правила трамвайного движения. Помнишь? «Старик, оставь пустые бредни, входи с задней, сходи с передней».

— И ты оставил?

Бережков махнул рукой. Пережив духовный кризис, он уже оправился. И, право, чувствовал себя превосходно, отказавшись от фантазий, решив стать наконец реалистом, деловым человеком. Ныне он снова расставался с иллюзиями, как некогда с баночкой светлокориичневой эмалевой краски. Что же, и вышло неплохо. Ему тридцать шесть лет. Он главный конструктор института. И автор тракторного мотора в шестьдесят сил с вентиляторным обдувом, мотора, который уже осваивается в Ленинграде. Что ни говори, это немало. С этого можно начинать ещё одну жизнь Алексея Бережкова.

— У поэта нет карьеры, — проговорил он. — У поэта есть судьба. Но я, брат, больше не поэт. Следовательно... Следовательно, выпьем, Ганьшин, за тебя, величайшего скептика всех времён и народов!

Бережков с улыбкой поднял стакан.

— Славно! — сказал он. — Славно мы с тобой, дружище, провожаем этот год... Скатертью ему дорога!

Доносилась музыка. На стене тикали ходики. Где-то мчался локомотив времени. Друзья сидели в тёплом уголке. Бережков философствовал. Он очень весело встретил Новый год.

Часть шестая

«Алексей Бережков-31»

1.

Мне тоже пришлось долго доводить эту книгу. Временами мы с Бережковым были вполне довольны друг другом. Мне нравилось, как он рассказывает; ему нравилось, как я пишу. Но иногда он предъявлял мне самые неожиданные требования. Однажды, например, мы чуть не поссорились из-за вопроса о цвете его глаз.

У меня было написано: «его небольшие зеленоватые глаза». Бережков взял эту страницу и исправил: «его голубые глаза». Я запротестовал:

— Зеленоватые! Уверю вас: зеленоватые с крапинкой.

— Кошачьи?

— Немного кошачьи,— необдуманно ответил я.

— Нет! Этого я не пропущу!

Я рассмеялся. Но Бережков без шуток требовал голубых глаз. Голубых глаз и застенчивой улыбки. С немалыми усилиями, с боями мне удалось отстоять право рисовать Бережкова по-своему — рисовать так, как я его вижу.

Были случаи, когда у Бережкова устраивались маленькие публичные чтения этой рукописи в присутствии его жены и двух-трёх друзей. Я читал вслух; он поглядывал на слушателей, следя за впечатлением; потом повествование увлекало его; маленькие глазки начинали искриться; он улыбался, совсем позабыв, что это следует делать застенчиво; лицо розовело. Помню, посреди какой-то фразы Бережков расхохотался. Он откинулся на диванные подушки, почти повалился и хохотал, покрасневшись, пытаясь что-то сказать сквозь взрывы смеха.

— Всё это истина! — выкрикнул наконец он. — Чего только я в то время не проделывал!

Легко поднявшись, тут же стал рассказывать, изображать в лицах приключение, о котором шла речь в книге. Я слушал его с удивлением, с удовольствием — мелькали неизвестные мне новые подробности, новые вставные эпизоды, неожиданные сопоставления. Бережков не повторял себя, а как бы заново видел перед собой то, о чём рассказывал. Он мне очень нравился таким — в нём сверкала одарённость.

Казалось, чтение сошло вполне удачно. Однако, когда я пришёл к Бережкову в следующий раз, он меня встретил озабоченно.

— Почти всё, что вы читали, мой друг, надо вычеркнуть, — сказал он.

— Как так? Почему?

— Не та вещь. Не то. Нужна совсем другая книга.

— Как — другая книга?

— Да. У нас с вами получилось легкомысленное произведение. Кому, например, надо знать, как мы с Ганьшиным встречали Новый год? Или про какую-то баночку эмалевой краски? Всё это мы выбросим. У меня родился абсолютно новый план.

Постепенно увлекаясь, он принялся развивать этот новый план. Я был подавлен. Год назад Бережков требовал, чтобы я ввёл в книгу историю банки с эмалевой краской; он убеждённо восклицал: «Без банки у вас никакого романа не получится!», зажёл меня своим замыслом, своим рассказом, а ныне, когда всё было написано, с лёгким сердцем намеревался это вычеркнуть. Сейчас ему рисовалось необыкновенное художественно-философское произведение о законах конструкторского творчества.

— Творчество и творчество, конструкторское творчество,— говорил он,— вот красная нить книги. А всё остальное никому не нужно.

Я пытался возражать, но скоро понял, что мне надо не спорить, а слушать, слушать и записывать всё, что скажет мой герой о творчестве. Так я и поступил.

2

Хочется привести некоторые мысли Бережкова о литературе, об искусстве писателя, которые он высказывал во время наших споров.

— Я позволю себе,— говорил он,— сравнить писателя с изобретателем, с конструктором. Ныне создание каждой конструкции есть дело рук многих людей: конструкторских бюро, целых опытно-испытательных заводов. Разделение труда глубоко проникло в эту область творчества. Поэтому тут, в нашем деле, с полной наглядностью отделено главное от второстепенного. Вы можете подойти к столам и посмотреть, чем занимаются помощники автора-конструктора и что делает он сам. Это главное есть идея, общий замысел, или, как мы говорим, компоновка вещи в целом. От конструктора ныне, в тридцатых годах нашего столетия, нельзя требовать, чтобы он сразу продумал компоновку до раздробления на мельчайшие составные элементы. Писатель сам трудится над всеми частностями произведения, а у нас это делают помощники автора-конструктора. У нас есть поршневники, специалисты по смазке, клапанам и так далее и так далее.

Я перебил Бережкова:

— Алексей Николаевич, в художественном творчестве это вряд ли возможно.

— Не знаю, не уверен. Но не исключено, мой друг, что великий писатель будущего — это писатель-конструктор. В искусстве писателя, по моему, тоже можно выделить нечто самое главное. Что же это такое? Вот вы читаете книгу, какое-нибудь замечательное произведение, например, «Войну и мир» или «Анну Каренину». Читая, вы непременно ощущаете, будто взбираетесь, карабкаетесь по какой-то центральной ферме произведения. Она незрима. Кажется, писатель даёт вам только частности, но за ними или в них вы с наслаждением чувствуете эту ферму, продвигаетесь по ней. Это рельсы, по которым стремится и не срывается поезд. Вы по пути наблюдаете всякие картины, виды, но вас не покидает ощущение рельсов. Таким образом, главным в произведении, на мой взгляд, является общий замысел, идея, компоновка вещи в целом, то есть то, что принадлежит у нас изобретателю, автору-конструктору. Есть ещё одно подходящее слово: концепция. Ведь это имя, женское имя. Знаете ли вы, что оно значит в переводе? Зачатие, зарождение.

Бережков повторил по слогам:

— Кон-цеп-ция! За-рож-де-ни-е!

Пояснив, что имеются и другие значения слова «концепция», например, «понимание», «замысел», он продолжал:

— Нередко говорят, что искусство — это частность. Нет, я с этим не согласен. Искусство — это целое! Способность видеть целое, охватить воображением свою вещь в целом, способность подчинять этому целому все частности — это, по-моему, самый большой дар для человека искусства и для человека техники.

Связывая эти свои мысли с нашими спорами о книге, Бережков говорил:

— Что же является такой центральной фермой, такими рельсами для нашей книги? Творчество. Конструкторское творчество.

Многие суждения Бережкова казались мне глубоко верными. Я от души соглашался с ним. Однако у меня был свой замысел книги. Слову «творчество, конструкторское творчество», конечно, далеко не охватить этого замысла.

Бережков убеждал меня, говорил:

— Думается, тайну писательского дарования можно выразить в одном слове: проникновение. Вообще талант — это, по-моему, дар проникновения. Писателем я называю того, кто проникает в душу человека, в его

характер. Для этого вы должны отдать себе совершенно ясный отчёт в том, какова же основная черта, или, так сказать, ядро характера, который вы намерены изобразить. Ваша задача — добраться до этого ядра, сделать его видимым, отбрасывая всё наносное или несущественное. А вас отвлекают мелочи.

Мне действительно, как скульптору, лепящему с натуры, были дороги многие чёрточки моего героя, я не хотел их отбросить. Раздумывая над речами Бережкова, я вдруг вспомнил одну сценку, свидетелем которой мне довелось быть. Однажды утром Бережков просматривал при мне свежие газеты. И неожиданно ахнул. И крикнул на весь дом, зовя жену из другой комнаты:

— Валя! Статья про нас! Иди скорей сюда!

Она вошла, глядя на Бережкова с любящей, умной усмешкой. Так нередко смотрят на детей. Статья тотчас была оглашена вслух.

— Прелестно! Прелестная статья! — безапелляционно заявил Бережков. — Вчера я продиктовал всё это корреспонденту в пять минут.

Он радовался в этот момент поистине словно ребёнок. Однако спустя четверть часа, когда мы приступили к очередной беседе о моторе Бережкова, о творчестве, о страсти конструктора, он сказал, кивнув на газету, на статью, что всё ещё лежала перед нами:

— Да, это приятно. Но ведь вещь создаётся не ради этого. Если вы, конструктор, работаете ради этого, значит ваша вещь ничего не стоит.

Эти слова врезались мне в память. Я понимал, что они вели к чему-то очень глубокому в личности Бережкова, к основной черте, или, по его выражению, к ядру характера; понимал — такова его вера. И вместе с тем я чувствовал, что если, рассказывая про моего героя, приведу лишь эти слова без предшествующей сценки, то у меня не получится, не выйдет живой Бережков.

Однако я больше не спорил. Я записывал. Возвращаюсь к своим записям.

3

— Удивительная это вещь — человеческая психика, — продолжал свою повесть Бережков. — Как она изумительно сконструирована природой. Ведь я окончательно и бесповоротно запретил себе думать о каком-нибудь новом сверхмощном моторе, решил больше не гнаться за этой синей птицей, зарёкся: пусть отсохнет моя правая рука, как только она проведёт первую линию. И как будто обрёл полное душевное спокойствие. Но вот подите же...

Сейчас я вам расскажу о самом решительном и самом горячем этапе своей жизни.

Однажды, в июне 1931 года, прекрасным летним вечером я выехал в командировку в Ленинград по делам института. В Москве, с небольшим удобным чемоданом, я сел в поезд «стрелу». Знакомо ли вам это чудесное чувство отрыва от брэнной земли, от привычного круга вашей жизни, когда поезд наконец трогается и вы словно понеслись куда-то в иной, таинственно-привлекательный мир?

Осталась позади, была закончена целая полоса дел: свёрстана и утверждена пятилетка авиапромышленности, в составлении которой принял участие и я; подписан пятилетний план института; разработаны всякие титульные списки, спецификации; вычерчены и утверждены проекты; распределены заказы; получены ассигнования, фонды, наряды и т. д. и т. п. С той самой минуты, как колёса двинулись, я уже стал отдыхать. Забрался на верхнюю полку, на приготовленную мне свежую постель. Помечтал о встречах, отнюдь не предусмотренных командировочным заданием, о встречах, которые, возможно, случатся в Ленинграде. Впрочем, блаженство, вкушаемое мной на верхней полке, нарушалось порой

мыслью об одном ленинградце — о Ладосникове. Собираясь в поездку, я твёрдо решил: в Ленинграде к Ладосникову не загляну. Да, не хочу ему показываться. Если мы увидимся, от большого разговора не уйди. Сперва Ладосников спросит о Маше, о наших общих друзьях, потом неминуемо задаст вопрос, который я не желаю услышать. Категорически не хочу! Ведь я же поклялся: «Пусть отсохнет моя правая рука...» И надо быть последовательным. Пусть же отсохнут и ноги, если они понесут меня туда, куда не следует идти! И довольно об этом! К чёрту эти мысли!

Вагон на ходу мягко покачивался. Я достал из чемодана книгу, какой-то приключенческий роман. Маленькая лампочка над головой уютно освещала страницы. Ни разу я не поймал себя на том, что читаю механически, обдумывая что-то иное. С удовольствием почитав, я сладко потянулся, выключил свет и уснул.

Бережков улыбнулся.

— Пока ваш покорный слуга спит, покрывая расстояние от Москвы до нашей бывшей северной столицы, мы, как это принято в старинных романах, сможем обозреть некоторые события, которые произошли с тех пор, как «Д-24» потерпел фиаско.

4

Август Иванович Шелест перестал возглавлять институт. Ему предлагали, как я узнал, остаться у нас заместителем директора или своего рода главным консультантом, но этих предложений он не принял.

Шелест продолжал читать курс авиационных двигателей в Московском Высшем техническом училище, попрежнему работал в редакции Большой Советской Энциклопедии и, кроме того, был введён в Научно-технический совет при народном комиссаре тяжёлой промышленности. Отставка, как видите, была более или менее почётной. Но в институте он с тех пор, помнится, года два не появлялся. Даже дела сдавал дома.

Вместо Шелеста директором АДВИ был назначен крупный работник, зарекомендовавший себя серьёзными делами, тогда только что награждённый орденом за успешное завершение строительства Волжского авиамоторного завода, известный нам Новицкий. Уже одно это показывало, что перевооружению института придаётся не меньшее значение, чем важнейшим стройкам пятилетки.

Придя к нам первый раз новым хозяином, Новицкий пожал мне руку и, смеясь, сказал:

— Вот, Алексей Николаевич, мой отпуск. Я же предсказывал... Вызвали телеграммой из Кисловодска.

Однако он всё же успел отдохнуть, посвежел. Выбритое пополневшее лицо уже не выглядело серым, старообразным. Разгляделись мешки под глазами. Одет он был попрежнему на военный лад: в суконную защитного цвета гимнастёрку с отложным воротником, перепоясанную широким ремнём, что отнюдь не скрывало достаточно заметного животика. Высокие сапоги безукоризненно блестели. Новицкий поймал мой взгляд.

— Ничего, скоро запылятся, — сказал он.

Он стоял у окна, покачивался с носков на каблуки и говорил:

— Сейчас объехал с планировщиком из Моссовета нашу будущую территорию. Поставили с ним вешки, воткнули несколько еловых веток. Следовательно, город заложен... Приятно, Алексей Николаевич, с этого начать первый рабочий день на новом месте.

И в самом деле было видно, что он с удовольствием, со вкусом приступает к стройке.

— Все эти домики мы скоро снесём, — говорил он, показывая в окно. — Отсюда и вот до того поля, до самого края Москвы, всё это будет городок АДВИ. Нет, назовём по-новому: ЦИАД. Центральный Институт

Авиационных Двигателей. ЦИАДстрой, а? Как это вам нравится, Алексей Николаевич?

— Нравится, — ответил я. — Это был бы какой-то необходимый рубикон, который...

— Прекрасно. Очень рад. Теперь, Алексей Николаевич, вот у меня к вам первая просьба. Подготовьте, пожалуйста, ваши соображения об экспериментальном заводе, об оснащении института. Фантазию не стесняйте. Надо видеть вперёд на пятилетие. Нужен размах.

— Надеюсь, — скромно сказал я, — что этого у меня хватит.

Новицкий прищурил глаз.

— Вы думаете? В случае если перехлестнёте через край, ну... Ну, я вас тогда немного ограничу.

— Заранее соглашаюсь.

— Прекрасно. Тогда, наверное, подружimsя. Сейчас продолжайте, пожалуйста, свои дела.

— А мы почти ничего не делаем, Павел Денисович... У нас такой разлад.

— Ничего. Дайте мне одну неделю сроку. Я кое о чём подумаю, кое-чем займусь. А через недельку мы с вами основательно засядем, потолкуем...

Знаете, что он подразумевал, неопределённо говоря: «кое-чем займусь»?

В течение этой недели на улицы, прилегающие к институту, въезжали и въезжали грузовики с брёвнами и тёсом, буквально в несколько дней вырос тесовый забор, охвативший ближайшие кварталы вместе с домами, садами и дворами, водопроводными колонками, даже с отрезком трамвайной колеи. Из домиков, несмотря на зимнюю пору, началось переселение жителей куда-то в другой конец Москвы, в какие-то новые квартиры. Те же грузовики, свалив лес на мостовую, на перемолотый колёсами снег, увозили чей-то домашний скарб. Некоторые строения тут же шли на слом. Другие предназначались пока под общежития для рабочих. Сносились заборчики, сараи. На площадке уже горели жаркие костры из гнилушек и всякой трухи. Всё трещало на этой московской окраине вокруг института.

Новицкий уже действительно приходил в институт если не в запылённых, то в грязных сапогах. В одном из освободившихся домиков он устроил себе вторую резиденцию, которая вскоре у рабочих-строителей, а потом и у всех нас стала называться «контора Новицкого». Надо отдать должное его энергии. В эту же неделю Новицкий сформировал проектно-строительный отдел. Нам в главном чертёжном зале пришлось потесниться, отдать половину зала этому новому отделу.

Со мной в эти дни Новицкий лишь издали здоровался или перекидывался несколькими фразами. Но в одно прекрасное утро пригласил меня в кабинет.

5

Это был тот самый кабинет, ещё обставленный по вкусу Шелеста, куда я так часто раньше приходил. Стояли обитые кожей дубовые кресла у большого стола; был, как и прежде, тщательно натёрт паркет; лежал тот же ковёр. За стёклами книжного шкафа хранились в том же порядке разные справочные издания и многотомные энциклопедические словари на русском и иностранных языках. Лишь со стены был снят один из чертежей, и на гвозде висели чёрное пальто и чёрная тёплая кепка. Новицкий обычно поднимался сюда не через главный вестибюль, а со двора. внутренним кратчайшим ходом, и здесь же раздевался. На столе, поверх каких-то бумаг, лежала коробка дорогих папирос. Здесь же стоял наполненный до краёв стакан чаю, видимо, уже остывшего. Поблизости, на широком подоконнике, кипел блестящий электрический чайник.

— Пока всё по-походному, — сказал Новицкий. — Садитесь. Чаю хотите?

— Нет, Гавел Денисович, благодарю вас.

— А я позволю себе это удовольствие.

Он встал, выплеснул в полоскательницу холодный чай, налил горячего, положил сахар. Я покосился на письменный стол и вдруг увидел раскрытый на первом листе атлас чертежей мотора «Д-24». Странно, для чего Новицкий его выкопал? Какие ещё могут быть разговоры об этом моторе, с которым уже всё покончено? В большом блокноте, тоже раскрытом, было что-то записано крупным почерком, синим карандашом. Какие-то пункты: первый, второй, третий... Прищурившись, я прочёл верхние строки:

«С Бережковым:

1) «Д-24»...»

Странно... Что это могло бы означать? Неужели?..

Новицкий подошёл к столу с той же стороны, где стоял я.

— Уже смотрите? — произнёс он и прихлебнул крепко заваренного дымящегося чаю. — Садитесь...

Он расположился напротив меня, поставил стакан, потянулся к атласу, придвинул его на край стола. Да, на листе был изображён главный разрез моего мотора. Новицкий сказал:

— Что же мы, Алексей Николаевич, будем делать с этой вещью?

— Не знаю... Как вам известно, вопрос о ней решён. Стоит пока в сарае под замком.

— Да, я там был, смотрел... Стоит в углу... Но по-хозяйски ли это? — Новицкий опять пригубил чаю, взял папиросу, закурил. — Конечно, Алексей Николаевич, назад нам ничего не повернуть. Да и не надо. Наверное, вы теперь и сами понимаете, что это, — он мягко постучал по чертежу, — это была романтика... Обречённая затея.

Я молчал. Удобно сидя в кресле, выпуская дым, он продолжал:

— Очень хорошо, что вы это понимаете... Сейчас я вам могу сказать, что я был с самого начала против того, чтобы предназначать Волжский завод для выпуска вашего мотора. Надо было сразу пойти к варягам. Но не послушали.

Он говорил дружелюбно и несколько покровительственно, словно поучая меня уму-разуму. Вспомнилась его усмешка, когда он два года назад, на конференции по сверхмощному мотору, заявил: «Я предпочёл бы начать с иностранной модели». Неужели он действительно был тогда умнее всех? Всё видел наперёд? Но подмывало воскликнуть: «Что же, значит не надо было и браться?!» Однако я снова промолчал.

— Не послушали меня, — продолжал Новицкий. — И всё уже не то... Завод испорчен. Ставили оборудование для одного мотора, выпускать будем другой. Приходится многое переоборудовать, закупать новые станки...

— Какие же? — проговорил я.

Волжский завод был безвозвратно потерян для нашего «Д-24», и всё-таки я со щемлящим любопытством спрашивал, что делается там. Новицкий тоже ещё в какой-то мере жил неостывшими мыслями о Мотор-строе и, немного брьюжа, рассказал о новом оборудовании, закупленном для завода. Потом оставил эту тему.

— У нас с вами, Алексей Николаевич, теперь свои заботы. Что же мы будем делать с этим наследством, а?

Он взял со стола большой синий карандаш и опять постучал по чертежу.

— Насколько я знаю, — вновь заговорил он, — у вас самые слабые части вот и вот... — Он показал карандашом клапаны и некоторые другие детали. — Думали вы о том, чтобы решить этот вопрос кардинально? Попросту, всё отяжелить.

— Думал. Безнадёжно.

— Почему?

— Потому что... Ну, вам же понятно... Тогда меняются все габариты. Получится слишком тяжёлая машина.

— Что же, пусть будет тяжёлая... Сделаем двигатель для глиссера. Военные моряки такие судёнышки соорудят, если получат этот мотор, что... Я у них уже побывал, позондировал... А? Возьмёмся за это, Алексей Николаевич? Вытащим мотор?

— Для глиссера? — протянул я.

— В один миг мне стало ясно, что Новицкий действительно отыскал способ вытащить из могилы нашу вещь. Конечно, это уже будет не то, о чём мечталось, не мотор для авиации... Ну, бог с ними, с мечтами. А это впрямь реальное дело. С таким мотором — да, да, его можно отяжелить — военные торпедные катера будут лететь, как пуля. Какой он, однако, молодец, этот Новицкий!

А он уже взял атлас на колени и обвёл синим карандашом, грубо усилил уязвимые части. Потом, перекидывая страницы, задерживаясь на некоторых, высказал несколько мыслей о том, какие перемены в конструкции повлечёт за собой это усиление. Тем же карандашом, уверенным, твёрдым нажимом, он то исправлял чертежи, то ставил знаки вопроса или другие заметки. Я охотно вступил в обсуждение. Нельзя было не признать, что со мной разговаривает специалист, вполне технически грамотный, находчивый, очень энергичный.

Захлопнув атлас, он сказал:

— Вот, Алексей Николаевич, и проясняются наши перспективы. Проведём это через Госплан, включим в пятилетку института...

Перечеркнув обложку, он там написал: «ГД-24». «ГД» — значило «глиссерный двигатель».

— Одну нашу задачу мы, следовательно, утрясли, — продолжал Новицкий и протянул мне атлас. — Пожалуйста, вам и книги в руки.

Я охотно принял это задание. И опять с уважением посмотрел на своего директора. Да, абсолютно реальная вещь! И так, у меня на счету будет уже два мотора — тракторный в шестьдесят сил и этот, глиссерный. Неплохо!

6

— Второй вопрос у меня к вам, — сказал Новицкий, — это пятилетка института. В частности, по вашему отделу. По существу в данный момент её нет...

— Конечно, Павел Денисович, это так...

— Вот мы и должны её сверстать. Кстати, на днях начинает работать большая комиссия по пересмотру пятилетнего плана всей авиапромышленности. Заводы принимают на себя дополнительные обязательства. Спрашивается: а институт? Что институт даст промышленности в этой пятилетке?

Я неуверенно проговорил:

— Это вы относительно сверхмощного мотора? Но я не представляю себе...

— Чего? Проблема, по-моему, совершенно ясна.

— Как же ясна? Если бы мне предложили сейчас сконструировать ещё один сверхмощный мотор, то... Не знаю, Павел Денисович... По этому вопросу у меня нет никакой ясности.

— Проблема, по-моему, совершенно ясна, — повторил Новицкий. — Для того-то мы и строим ЦИАД, вкладываем сюда сотни миллионов рублей, чтобы взяться серьёзно за создание советского мощного мотора. Будем решать эту задачу основательно, солидно, без преждевременных по-

пытках завоевать голыми руками высоты техники... Сначала соорудим наш новый институт-завод, а уже потом...

Я слушал и кивал, соглашаясь с Новицким. Проблема как будто и впрямь становилась ясной.

— Со сверхмощным мотором мы выйдем в следующем пятилетии, — продолжал Новицкий. — Выйдем без истерических рывков, наверняка. И, пожалуй, никто нас не обгонит.

Он рассказал, как обстоит дело с работой Макеева и младшего Никитина. В процессе постройки этого мотора «Д-25», основанного на интересном конструкторском принципе максимальной гибкости, обнаружались чрезвычайные технологические трудности. Доводка, как и у нас, затянулась на годы.

— Таким образом, мы с вами должны, — говорил Новицкий, — в этой пятилетке взять на себя иные обязательства. Надо, чтобы промышленность почувствовала помощь института...

Продолжая разговор, мы наметили несколько серьёзных задач: в частности, переделку на воздушное охлаждение мотора «Испано», который всё ещё выпускался на одном из заводов. Это вместе с «ГД-24» уже составляло достаточную нагрузку для моего отдела.

— С этим мы выступим, — сказал Новицкий, — в комиссии по пятилетнему плану. По крайней мере всё это реально...

Он опять покровительственно улыбнулся. Меня это снова немного покорило. Понимал ли я тогда, что Новицкий, этот несомненно очень сильный человек, способный работник, в чём-то, говоря нашим профессиональным языком, всё-таки «недобирал»? Как вам сказать? Конечно, при всех его достоинствах ему явно не хватало того, что он называл романтикой, не хватало какого-то взлёта, дерзновения. Но ведь в те дни и я, как вам известно, внутренне отказался от дерзаний. И поэтому внимал без возражений, учился уму-разуму.

— От нас с вами, Алексей Николаевич, — говорил Новицкий, — требуют конкретных дел, выполнения плана, который будет подписан мной и вами и утверждён правительством. Взятся, подписал — значит выполняй, отвечай головой. Вот, Алексей Николаевич, наше правило.

— Прекрасное правило! Я вполне, Павел Денисович, с вами согласен.

— Что же, второй вопрос мы, кажется, тоже исчерпали. Вы не станете, надеюсь, возражать, если я попрошу вас быть представителем от института в авиационной комиссии Госплана.

— Нет, отчего же, — с достоинством ответил я. — Наша линия мне ясна.

Наконец мы перешли к третьему вопросу, пожалуй, самому интересному для нас обоих, заговорили о проекте нашего огромного будущего института, нашего экспериментального завода. У меня уже был подготовлен ряд предложений. Мы их рассмотрели. Новицкий почти всё одобрил. Кроме завода, мы запроектировали свыше десяти лабораторий. Некоторую аппаратуру, о какой я давно подумывал, мы решили сконструировать собственными силами, у себя в институте. Это тоже была ещё одна нагрузка для вашего покорного слуги. Разработали и ориентировочный календарный план изготовления чертежей.

Из директорского кабинета, где мы вдвоём провели три или четыре часа, я вышел твёрдой походкой, неся подмышкой атлас «Д-24», на обложке которого, перечёркнутой крест-накрест, было крупно выведено синим карандашом новое название, и свою папку с разными набросками и заметками для памяти, сделанными то моей рукой, то тем же крепким нажимом синего карандаша.

В окно в конце коридора светило мне навстречу невысокое зимнее солнце. Это показалось хорошим предзнаменованием. Впереди расстила-

лась ровная, прямая дорожка — ковровая дорожка в коридоре. Против света я не видел, где она кончается: чудилось, уходит далеко. Пожалуй, тоже добрый знак. Шагая, я прислушался, не пружинит ли подо мной пол. Нет, он что-то не пружинил... Ну, и слава богу. Хватит с меня пружинящих полов и тротуаров. Было и сплыло. И довильно.

Что вы так смотрите? Ждёте: «и вдруг»? Нет, в тот день, получив от Новицкого зарядку на полтора-два ближайших года, я полагал — более того, был убеждён, — что совершенно гарантирован от ещё каких-нибудь «вдруг».

7

Теперь, прежде чем обратиться к событию, о котором у нас далее пойдёт речь, я бегло обрисую ещё несколько моментов.

Первый из них — чисто лирический. Когда я вернулся от Новицкого в свой кабинет и положил на стол атлас чертежей мотора, который я считал уже вычеркнутым из своей жизни, о котором принудил себя не думать, который и теперь, сколько бы я его ни переделывал, уже не оживёт, как двигатель для авиации, — когда я положил атлас, откинул обложку, увидел опять своё творение, в душу хлынули воспоминания. Припомнилось всё: с каким упоением дома, взаперти, после заседания у Родионова, я набрасывал компоновку; как мы здесь по ночам пели «Садко — богатый гость», «раздраконивая» проект; как на морозе у ревушего мотора встречали Новый год и как я поднял стакан, показывая вверх, в звёздное небо, куда наши моторы «Д-24» внесут... Нет, ничего не внесут. На мощных советских самолётах, на самолёте Ладосникова, будет установлен двигатель иностранной марки «ЛМГ», который уже значится у нас под номером «Д-30», уже вводится в серию на Волжском заводе.

В моём письменном столе лежали чертежи этой машины. В своё время я их внимательно, даже пристально рассматривал, стремясь понять, почему же, чем меня побили иностранцы. Достал и сейчас эти чертежи. Развернул. Нет, делайте со мной что хотите, хоть режьте на куски, но я всё-таки не соглашусь, что эта конструкция лучше нашей. Мне было попржнему ясно, что по сравнению с «Д-24» эта последняя новинка является конструкторски отсталой, не имеющей перед собой будущего, ибо... Но к чему об этом думать? Это доказывается лишь на испытательном стенде; там мы были биты. Конструктор «ЛМГ» одержал надо мной верх не глубиной, не блеском, не талантливостью замысла, а... А чем же? В Европе — развитая техника, новейшая промышленность моторов, а мы создавали свой мотор без этого, создавали в отчаяннейшей борьбе. И кричи не кричи — не победили. Пришла на ум строчка Маяковского: «Ору, а доказать ничего не умею».

Не умею, вернее, не могу! К чему же тогда и орать? Или скулить безмолвно, жалобно скулить, хотя бы даже здесь, в тиши, наедине с собой? Но разве же, чёрт побери, дело в моём личном несчастье?

Ведь у нашей авиации, такой замечательной, имеющей столько талантливых, отважных лётчиков, давшей всему миру в работах Николая Егоровича Жуковского теорию летания, будут до той поры подсечены крылья, пока мы не сможем выпускать собственные авиадвигатели.

Вся страна взяла небывалый разбег, отмеченный волнующими названиями строек: Магнитки, Днепрогэса, Сталинградского тракторного, Горьковского автомобильного, Уралмаша и так далее, а здесь, на нашем участке, из-за нас, конструкторов авиационных моторов, остался зияющий прорыв пятилетки. И на каждом шагу, буквально на каждом шагу, это будет чувствоваться: у Советского Союза нет своих мощных авиационных моторов.

Новицкий сегодня определил линию института: «Мы выйдем со сверхмощным мотором в следующем пятилетии». И я это подтвердил, я согласился. А тут за своим столом я безмолвно застонал. Боже мой, в следующем пятилетии! Неужели придётся ещё столько ждать? И ничего нельзя придумать? Но что же придумаешь, если нет базы, нет точки опоры? Да, сначала надо строить экспериментальный завод института. Другого пути нет. И к чёрту нытьё!

Я прогнал все мысли о своём погибшем моторе, затолкал их, словно кулаками, куда-то под спуд и запер там на ключ. Повернув ключ, я в буквальном смысле слова сунул чертежи «ЛМГ» опять в ящик стола. Не хочу на них смотреть.

Теперь расскажу вам о том, как мы отметили день 17 марта 1931 года, десятую годовщину смерти Николая Егоровича Жуковского. Незадолго до этой даты мне позвонил Андрей Степанович Никитин. Я забыл вам сказать, что он давно уже работал у нас в институте и недавно даже был выбран секретарём парторганизации. Он стал отличным математиком-расчётчиком. Мне говорили, что брат в шутку называл его «поздняя звезда».

Звонок Никитина был неожиданным.

— Алексей Николаевич, не зайдёте ли к нам в партийное бюро? Обдумаем, как провести вечер памяти Жуковского.

Я тотчас же пошёл. В комнате партийного бюро было очень оживлённо. Там уже составили первую намётку программы торжественного вечера. Никитин сказал, что бюро просит меня выступить с докладом «Жуковский и русские моторы».

— Э, что придумали! — протянул я.

И рассмеялся своей интонацией. И тут же объяснил, что так, с такой же интонацией, говаривал в своё время Николай Егорович. За этим штришком вспомнилось другое: квадратная баночка-чернильница с обыкновенной пробкой, дешёвая ученическая ручка, которой всегда пользовался Жуковский, листки бумаги, разложенные всюду, даже порой на полу, сотни и сотни этих исписанных крупным почерком листков. Я вспоминал вслух разные подробности о Николае Егоровиче, а молодёжь, мои друзья, с которыми было столько пройдено, готовы были слушать без конца.

— Рассказывать можно сколько угодно, — заключил я. — Но успею ли я подготовить доклад? Ведь это целое исследование. И почти все материалы не опубликованы. Надо специально их разыскивать.

— Мы поможем, пойдём куда угодно, — сказал Никитин. — Вы понимаете, Алексей Николаевич, как необходим сейчас такой доклад, чтобы у всех укрепить веру в дело создания русского мощного мотора.

Я внимательно посмотрел на него. Знал ли он, этот несуетливый, большой, широкий в плечах секретарь партийного бюро, располагающий к себе спокойной, будто пружиненной силой, знал ли он, подозревал ли о моём внутреннем разладе? В ответ на мой взгляд он улыбнулся.

— Ведь Жуковский в это верил, — произнёс он.

— Ещё бы! — воскликнул я. — Позвольте, позвольте-ка, друзья! Ведь он сам мне говорил, что в своём курсе механики напишет о моторе, который сконструировали мы с Ганьшиным. Николай Егорович не закончил этой книги, но, наверное, сохранились же наброски, какой-нибудь план, конспект... Это надо обязательно найти. Потом...

Мне со всех сторон стали подсказывать:

— Алексей Николаевич, надо взять и письма Жуковского к Макееву о моторе для самолётов «Илья Муромец»...

— А статью Жуковского о принципе реактивного движения? Вы должны развить и эту тему: «Жуковский и Циолковский».

— И личные воспоминания! Обязательно ваши личные воспоминания!

— Берусь, друзья, берусь! — заявил я. — Чертовски много всяких дел, но это вытяну.

Мы ещё посидели, поговорили о Жуковском, о том, как бы нам лучше отметить его память.

На другой день я отправился в Центральный институт авиации и попросил рукопись Жуковского о нашем «Адресе», которую когда-то я же сам сдал туда. Боже мой! Из этой работы я в своё время запомнил, как школьник, заглянувший в ответ, лишь уравнение, которое тогда практически использовал. А сколько там оказалось откровений! Изучение этих материалов, этих трудов Жуковского, частью, как уже сказано, даже неопубликованных, явилось для меня не только подготовкой к докладу, но, безусловно, и толчком к тому, что я сделал впоследствии.

8

— Итак, мой друг, поехали! — возгласил со свойственной ему энергией Бережков, когда мы начали новую беседу. — Поехали в командировку в Ленинград. Прошу вас снова в поезд, в купе мягкого вагона, где, покачиваясь, как в люльке, сладко спит на верхней полке ваш покорнейший слуга.

Я вам уже докладывал, с каким приятным самочувствием отправился в эту поездку. Всё, что мы с Новицким наметили несколько месяцев назад, уже принято комиссией по пятилетнему плану, включено в пятилетку института, в том числе и глиссерный двигатель, и переделка на воздушное охлаждение мотора «Испано», и ещё ряд конструкторских работ. За эти же месяцы мы изготовили чертежи «ГД-24»; проект был уже рассмотрен и одобрен. Сверхмощного мотора в плане института не было. За массой всяких дел я о нём почти не думал. Так по крайней мере мне казалось.

В Ленинграде срочно выполнялась часть наших заказов на оборудование для института; в ходе производства возникли разные неясности, трудности, вопросы; я ехал, чтобы решить всё это на месте; вёз также и некоторые дополнительные чертежи. Кроме того, у меня была и своего рода дипломатическая миссия — предстояло провести несколько разговоров с тремя-четырьмя ленинградскими профессорами, которых мы хотели в будущем перетянуть к себе, в наш новый ЦИАД.

Первый день в Ленинграде прошёл весьма плодотворно. Я побывал на заводе «Двигатель», безуспешно провёл время в Политехническом институте, повидав нужных мне людей, словом, был занят чрезвычайно. И всё же как-то среди дня, мимоходом, в чьей-то приёмной я взял телефонную трубку и, позабыв, что ещё вчера клялся: «Пусть отсохнут ноги!», назвал номер Ладосникова. Мы условились, что вечером я навещу его дома, на Каменноостровском проспекте.

С вашего разрешения, сразу перенесёмся туда, на Каменноостровский.

Ладосников встретил меня в передней и повёл в кабинет. Обстановка, в которую я попал, ничуть не напоминала комнату в деревянном флигеле около Остоженки, где когда-то Ладосников, изучая законы летания, стараясь заснять самодельным киноаппаратом летающую муху. Теперь, ступая по наощённому паркету, оглядывая расположенную в строгом порядке мебель, я, признаться, даже затруднялся представить, что в эту чинную ленинградскую квартиру вообще когда-либо залетала муха.

Последний раз мы с Ладосниковым виделись на новогоднем вечере у Ганьшиных. С тех пор прошло больше двух лет. Я за это время пережил взлёт и падение, успел оправиться от неудач и даже зарёкся от будущих взлётов, но хозяин дома не заводил разговора о моих делах. Он радушно усадил меня в глубочайшее кожаное кресло, сам уселся в такое же и стал расспрашивать о Маше.

Упорный во всём, Ладошников был упорен и в дружбе. Над письменным столом в строгих дорогих рамках висели картины, подаренные ему моей сестрой. В центре пестрел огромный букет осенней листвы, списанный художницей с той самой золотистой охапки, которую Ладошников вручил ей перед отъездом в Ленинград.

— Передай, Алёша, что её уроки не забыты... Сейчас я тебе кое-что покажу.

Откуда-то, из глубины книжного шкафа, был извлечён большой, тяжёлый альбом в холщовом переплёте. На ватманской бумаге уверенной рукой — то карандашом, то чертёжным пёрышком — были сделаны рисунки, множество разных эскизов. Пропеллер, крыло, шасси, руль высоты, хвостовое оперение, весь самолёт целиком — одномоторный, длиннокрылый, могучий... В прошлом Ладошников не раз говорил, что авиаконструктору надо уметь не только чертить, но рисовать, уметь в рисунке выразить, передать свои фантазии. Теперь он, видимо, вполне владел искусством этого особого, конструкторского рисования. Признаюсь, я любовался новым творением Ладошникова, пока существующим только в альбоме, и не без некоторого усилия удерживался от восклицаний, опасаясь, как бы не зашла речь и о моих замыслах.

Водворя альбом обратно в книжный шкаф, Ладошников буркнул:

— Пусть отлёживается...

Я не стал спрашивать, чего должен дожидаться новый «Лад», а подошёл к стене и принялся с повышенным интересом разглядывать небольшой, писанный маслом пейзаж. Ореховский пруд... Маша часто ходила сюда на этюды... Зеленоватая вода, ряска у глинистого берега... Здесь, на берегу, однажды в жаркий летний день, возясь с лодочным мотором, я впервые говорил с Ладошниковым, долговязым студентом в запыхлённых высоких сапогах.

«А ведь ты, Алексей, пожалуй, изобретёшь собственный мотор...» Тогда-то я умел лихо ответить: «А как же! Обязательно!»

Я всё ещё изучал тёмную гладь ореховского пруда, когда в кабинет вошла жена Ладошникова.

— Знакомься, Алёша. Людмила Карловна.

Я видел её впервые. Высокая, по плечо мужу, она выглядела очень эффектно. Возможно, приделась для гостя, а похоже, что не разрешала себе ходить иначе. Конечно, она была душой этого отлично налаженного дома. Даже машины картины развешаны, разумеется, её руками, это она, Людмила Карловна, нашла каждой подходящее место.

— Прощу к столу.

Я чуть не наскочил на огромного породистого пса, сопровождавшего хозяйку, и, мысленно отругав себя, чинным шагом вошёл в столовую. Массивная, старинного типа мебель, чистота. Во всём ощущается размеренный, ровный ритм жизни. Поинтересовавшись родословной собаки, я смиренно сел перед указанным мне прибором.

Признаюсь, мне безусловно хотелось произвести благоприятное впечатление на Людмилу Карловну, оказаться достойным в её глазах. Я живо изобразил две-три сценки из московской жизни и был вознаграждён: мне несколько раз удалось вызвать улыбку хозяйки. Правда, я тут же выслушал неодобрительные замечания по поводу суматошной жизни москвичей, коим противопоставлялась выдержка «петербуржцев».

Ладошников молча посмеивался и следил, чтобы моя стопка не оставалась пустой. Я провозглашал тосты, очень удачные, в меру остроумные. Людмила Карловна спрашивала меня о теперешней работе под началом Новицкого. Чтобы подчеркнуть собственную выдержку, я поведал о клятве не заниматься более бесплодными фантазиями.

— Пусть отсохнет моя рука...

Хозяева почему-то не рассмеялись, хотя и не спорили, не возражали. И вдруг Ладосников, оставив рюмку, сказал:

— Возможно, милостивый государь, вы правы, что устранились.

Это выражение Николая Егоровича, произнесённое по моему адресу, мигом прогнало хмель. Разговор больше не клеился. Вскоре «милостивый государь» пожелал хозяевам покойной ночи и побрёл в гостиницу.

9

Утром меня захватили дела. Я побывал в нескольких местах, вёл там деловые разговоры, в промежутках же любовался чудным городом, наслаждался солнцем, июньским, мягким солнцем Ленинграда. О визите к Ладосникову старался не вспоминать. Ни о каком сверхмощном авиационном моторе совершенно, казалось бы, не помышлял.

Однако, мой друг, повторю ещё раз: самая изумительная на белом свете конструкция — это человеческая психика. Существует, насколько мне дано судить по собственному опыту, некий закон творчества, который я называю «законом пружины». Озарение есть как бы удар туго взведённой пружины, которая срывается в один момент. Если вы затратили очень большие усилия на решение какой-нибудь задачи, долгое время напряжённо над ней думали, изучили в связи с этим много литературы или других материалов, то тем самым вы привели в действие, завели пружину своего творчества. Потом вы так или иначе покончили с вашей задачей; то ли решили её, то ли, наоборот, признали свою несостоятельность, сложили оружие, отступились, официально прекратили о ней думать (Бережков так и выразился: «официально прекратили думать»; пусть здесь останется это выражение); переступили, как вам кажется, какую-то итоговую черту. И, тем не менее, туго сжатая пружина всё же не перестаёт действовать: творческая проработка той же темы продолжается в каких-то областях сознания, где-то не в фокусе, не в поле зрения, а может быть, даже и в подсознательной сфере.

И, наконец, самое главное. Эта пружина постоянно как бы заводилась во мне вновь. Вспомните атмосферу того времени, которую я вам не раз старался очертить. Мощный мотор, сверхмощный советский мотор! Распростившись на время с мечтой стать автором такого мотора, я всё же постоянно слышал о нём. В каждом выступлении, даже при каждой встрече говорил об этом Родионов. Да и неопубликованные труды Жуковского, недавно просмотренные мною, подводили к тому же. Это же было своего рода лозунгом на вечере памяти Жуковского. Это же на все лады обсуждалось на многих заседаниях, посвящённых разработке пятилетнего плана, в которых я самым добросовестным образом участвовал. Воздух времени был заряжён, точно электричеством, острой потребностью страны в таком моторе.

Повидимому, в течение всего полугодия, с тех пор как был поставлен крест на «Д-24», пружина творчества, туго скрученная во мне ранее, делала своё. Так и полагаю.

10

Примерно на пятый день моего пребывания в Ленинграде я поехал на завод «Коммунист». Никуда не торопясь, я просидел около часа в кабинете моего давнего знакомого — начальника конструкторско-чертёжного бюро Ивана Алексеевича Макашина. Встреча была очень приятной, мы поговорили о всяких новостях, пошутили, посмеялись.

Затем, попрежнему в прекрасном настроении, отправился побродить по цехам. По внутренней лестнице спустился в цех. Что такое? У окна стоит на подставке какой-то полуразобранный авиационный мотор. Я прищелкнул. Чёрт возьми, ведь это «ЛМГ» — мой враг, мой ненавистный

соперник, которому был отдан завод, построенный для «Д-24». Неужели эта машина уже выпущена у нас, на Волге? Да, вон наш гриф «Д-30».

В институте мы некоторое время не принимали новых моторов для исследования: наша старая испытательная станция расширялась, там были разломаны стены. Я досконально знал по чертежам, долго анализировал в своё время этот немецкий мотор, но в натуре увидел «Д-30» лишь впервые.

Меня кинуло в дрожь. Я стоял и смотрел на «Д-30». И, представьте, было достаточно одного этого взгляда, чтобы во мне произошёл творческий разряд. Это можно уподобить удару бойка в капсуль снаряда или, проще говоря, попаданию искры в пороховую бочку, когда мгновенно освобождается вся та потенциальная энергия, которую содержит в себе порох, этакий, до появления такой искры, как будто невинный порошок.

Буквально в одну минуту мне стало ясно, что новый мотор надо конструировать на базе «Д-30». Нет, я неправильно сказал. На базе оборудования, которое служит для производства «Д-30». «Зачем мечтать о своём моторе, зачем проектировать, если мы не имеем современной промышленности?» — думал я раньше. Как так не имеем? Ведь этот мотор, проклятый «ЛМГ», уже выпущен, выпущен не в Германии, а на нашем, советском, заводе!

Но вы, может быть, спросите: почему же на базе Волжского завода нельзя было выпускать конструкцию «Д-24», а некую новую вещь можно? Это было мне ясно: потому что «Д-24» мы не довели. Не довели, промучившись без мощной базы. И за два года, потерянные нами, конструкция, так и недоведённая, уже устарела. Теперь, видя перед собой базу для совершенно нового мотора, я понимал: ведь это же и база для доводки. Правильная предпосылка всегда приводит к удивительно правильным дальнейшим рассуждениям и выводам.

Повторяю, вероятно, вся эта проблема новой, сверхмощной конструкции отрывочно и неотчётливо была уже мной проработана в каких-то областях сознания, но только тогда, у мотора «ЛМГ» в цехе завода «Коммунист», мне с ослепительной яркостью предстала идея новой вещи. И я уже не рассуждал, я видел.

11

Что я взял от «Д-30»? Только одно: ёмкость цилиндра. Ещё Август Иванович Шелест в результате длительных исследований указал наилучший литраж цилиндра для больших, мощных моторов. В «Д-30» были именно такие цилиндры. Но всё остальное в этой машине я отвергал. Мне и раньше было ясно, что в ней, в её компоновке, в самом замысле не выражены передовые, прогрессивные тенденции техники. Не были раскрыты и использованы возможности, таящиеся в больших цилиндрах. «Д-30» развивал 1 800 оборотов в минуту. Мало! Куда меньше того, что можно было бы взять, если бы... Да, да, я уже созерцал свою вещь. Цилиндры у моего врага не составляли слитной группы, а располагались по отдельности и были довольно хитро скреплены. Долой всё это хитроумие, к чёрту всю компоновку! Блок, монолит металла — вот основа нового мотора. Мне сразу предстали его формы. Ого, как поднялось число оборотов! 2 100! 2 200! Воображаемую конструкцию я уже различал в деталях, даже в мелких деталях. Помню, я чуть не вскрикнул, когда вдруг мысленно узрел единую блочную головку мотора. Блочная конструкция головки, вот где зарыта собака, вот в чём решение всей задачи. Я сразу представил себе эту головку в форме всасывающего патрубка, удобного для прохода газа. Ого, как завертелся главный вал. А что, если взять кое-что ещё и от «Адраса»? В одно мгновение промелькнули рукописи Николая Егоровича, которые я недавно перечитал. Ого! Две с половиной тысячи обо-

ротов! И даже больше! Почти три! Этой мощности уже не выдерживает конструкция. Значит, ещё, ещё усилить жёсткость. Здесь же, застыв, как в столбняке, я вдруг увидел способ жёсткого крепления головки. Она притягивалась к картеру анкерными болтами. Анкерный — значит капитальный, основной. Да, передо мной была совершенно оригинальная конструкция, не похожая ни на какую в мире, — не американская и не германская, а наша, русская, наша, советская, машина, развивающая свыше двух с половиной тысяч оборотов, то есть... То есть машина в тысячу лошадиных сил. Ведь это скачок, поистине скачок в авиамоторном деле, ибо самые мощные иностранные модели, разные «Тайфуны», «Леопарды» или «ЛМГ», достигли тогда лишь 800—850 сил. Неужели же это... Неужели это Вещь с большой буквы? И неужели есть база, где можно её построить и довести? Да, есть! Да, существует, работает завод на Волге. И ведь в этом-то, именно в этом, ключ решения, весь смысл моей вещи.

Некоторое время я ещё стоял в оцепенении, словно прислушиваясь к гулу нового мотора, словно ощущая его содрогание. Всё же выдержит ли он такую мощность? Не разорвутся ли болты? Нет, в нём нигде не было слабого места.

12

Потом, совершенно позабыв, зачем, собственно, я сюда приехал и куда лежал мой путь, я по той же лестнице немедленно поднялся обратно. Помню, войдя снова к Макашину, я машинально выговорил:

— Здравствуйте.

Он посмотрел с удивлением.

— Здравствуйте. Давно не виделись.

— Иван Алексеевич, извините, у меня к вам просьба.

— Пожалуйста. Что-нибудь случилось?

— Ничего. Мне надо немного почертить. Сделайте одолжение, дайте мне доску.

— Только и всего? Сейчас я вам это устрою.

Случайно один инженер конструкторского бюро оказался в этот день больным, и Макашин, проведя меня в чертёжный зал, предоставил мне его стол у раскрытого большого окна.

— Дать вам готовальню?

— Нет. Спасибо. Только карандаш и бумагу.

Приколов большой лист к доске, я тотчас принялся чертить. В экстазе творчества, с пылающими ушами и щеками, абсолютно ничего вокруг не замечая, ни разу не прикоснувшись к резинке, я изобразил все попеременные разрезы машины, перенося её из воображения на бумагу. В какую-то минуту я взглянул на свою руку, которая держала карандаш. Боже, ведь совсем недавно я дал страшную клятву, на днях повторил её у Ладосникова: «Пусть рука отсохнет, если...»

Нет, она не отсыхала...

Я чертил, а в сознании возникали, пробежали будто посторонние видения... Вот Родионов трясёт меня за плечи, когда из аэросаней, несущихся по снежной глади Волги, мы увидели трубы завода. Вот снова Родионов, его радостно вспыхнувшее сухощавое лицо, когда он поверил мне, прибежавшему в отчаянии, поверил, что я ещё найду какой-то ход и мы всё-таки станем выпускать на Волжском заводе не иноземный, а свой мотор...

У окна я даже не заметил, как подступила ленинградская белая ночь. Макашин, который был занят на каком-то совещании, заглянул поздно вечером в конструкторский отдел. В огромном зале Макашин застал меня одного, ничего не видящего и не слышащего или, как он потом деликатно выразился, слегка обалдевшего. Впоследствии он уверял, что несколько раз меня окликнул. Но я очнулся лишь от какого-то странного нечлено-

раздельного звука, раздавшегося за моей спиной. Это был возглас изумления, который испустил добрейший Иван Алексеевич, взглянув на мой чертёж. Он увидел поперечный разрез сверхмощного авиадвигателя, увидел блочную головку, анкерные стяжные болты, небывалую, ни на что не похожую конструкцию, отличающуюся простыми, плавными, естественно и легко округляющимися и завершающимися линиями. Охнув, Макашин спросил:

— Что это?

— Тысячесильная машина.

— Но как же вы?.. Когда же вы всё это сделали?

— Сегодня.

Он усомнился. И, представьте, не верит до сих пор.

13

— Иван Алексеевич, — сказал я, — разрешите мне ещё немного посидеть.

— А вы пообедали?

Только в ту минуту я вспомнил, что зван к знакомым на обед.

— Нет, не обедал. Сколько сейчас времени?

— Двенадцатый час.

— Двенадцатый?

Да, всё пропустил. Надо скорее звонить по телефону, извиняться. Однако, представьте, я тотчас забыл об этом благом намерении. Помнится лишь такой миг: мой взгляд устремлён на телефон, и я не понимаю, зачем на него смотрю. И вновь с головой погружаюсь в мир воображения. Что ещё сказал мне Макашин, как и когда он ушёл, не могу восстановить в памяти.

Меня вторично отвлек тот же нечленораздельный возглас за моей спиной. Там опять стоял Макашин и опять удивлялся. Оказалось, что он уже побывал дома и, беспокоясь за меня, возвратился, принёс мне поесть. Ему снова не верилось, что, с тех пор как он меня оставил, я успел столько начертить. Этот прекрасный человек, честнейший инженер принадлежал к той категории конструкторов, которые считают, что всякая компоновка должна долгими месяцами «высиживаться» за чертёжным столом.

Конечно, законен и такой путь творчества. Разно складывается история конструкции. Но существует, по-моему, единое общее правило: если вы не проработали и, скажу более, не пережили вашей темы, если она не завладела тайниками сознания, то и пружина творчества не взведена, не может дать разряда.

Итак, к утру у меня были готовы все поперечные разрезы. До прихода сотрудников я прикорнул на часок-другой в кабинете Макашина. Днём ползавода перебивало у моего стола. Все смотрели компоновку. Разгорелись споры, правильно или неправильно я решил то или иное: конструкцию главного вала, головки, способ крепления, клапаны и так далее и так далее. Я слушал, возражал, жил своей вещью, и она становилась для меня всё яснее и яснее.

Надо вам сказать, что жизнь воспитала у меня черту, которую я считаю благодетельной для изобретателя-конструктора, — черту, вообще свойственную советскому инженеру. Когда к моему столу подходит товарищ по профессии, у меня никогда не бывает желания прикрыть свой чертёж, спрятать его, чтобы, упаси боже, у меня не украли какой-нибудь мыслишки. Я всегда рад услышать разнообразные суждения о своей работе. Я понимаю, как много значит для конструктора самый процесс рассказывания и спора. Ваша идея, которую вы представляете себе графически или предметно, как-то особенно ярко воплощается в словах, и тем самым производится проверка всех пробелов и неясностей. Вы рассказываете, передаёте

свою мысль, и перед вами яснее вырисовываются разные трудности, особо сложные места, а, кроме того, зачастую вдруг открываются такие стороны задачи, о которых дотоле вы не думали. Случается даже, что я загодя, ещё ничего не решив, не начертив, а лишь думая о вещи, беру первый попавшийся, может быть, заведомо негодный вариант решения, иду к товарищу и говорю: «Дружище, знаешь, какую я придумал штуку!» И всё выкладываю. Собеседник, конечно, говорит: «То-то и то-то неверно». Я и сам знаю, что неверно, но он приводит свои доводы и с какой-то новой стороны, совершенно индивидуально, со своей точки зрения освещает тему. В такой беседе я проясняю свой замысел.

Ладошников всегда заявлял, что лишь недалёкие люди боятся конкуренции, а люди подлинного творчества ценят общение с каждым талантом, ибо этим они лишь облагораживают, очищают собственный талант...

14

Когда чертежи были готовы, я прежде всего выспался. Вскочив утром, поспешил на Каменноостровский.

Меня приняла Людмила Карловна. Придетая, тщательно причёсанная, она самым вежливым образом толковывала мне, что в дневные часы её муж никогда не бывает дома.

— Где же он сейчас?

— Могу вам лишь сказать, что он, наверное, даже не в городе.

— Не в городе? А позвонить ему туда нельзя?

— Нельзя...

Вот незадача! В трюмо, находившемся в прихожей, я мог видеть, как выглядит человек, удручённый таким известием. Это — весьма трагическое зрелище, в особенности если он застыл с прижатым к груди толстым рулоном чертежей, то есть, так сказать, в классической позе изобретателя.

Не дожидаясь приглашения, я прошагал в комнаты, сел. Меня бесил невозмутимый вид этой ленинградки. Что в ней нашёл Ладошников? Чопорная. С рыбьей кровью...

Однако тут же пришлось взять свои сетования обратно. Клянусь, эта женщина преобразилась, услышав слова «сверхмощный мотор». Она заставила меня изложить историю последних дней, потом принялась энергично звонить по телефону. Наконец она вызвала машину и вместе со мной поехала разыскивать Ладошникова. В дороге она сказала:

— Михаил говорил, что от вас можно всего ожидать.

Поверите? Эта фраза в её устах прозвучала, как одобрение.

15

Людмила Карловна доставила меня к проходной будке аэродрома, принадлежавшего, как я понял, заводу, на котором выпускались «Лады». Сначала мне не хотели давать пропуск. Вызванный к воротам дежурный объяснил, что в данный момент к Ладошникову нельзя ни пройти, ни позвонить: Михаил Михайлович следит за испытанием; строжайше запрещено в это время чем-либо его отвлекать.

Я поклялся, что не отвлеку, что буду смиренно ждать, пока Михаил Михайлович не освободится. Молвила словечко и Людмила Карловна. При её поддержке сопротивление заслона в проходной будке было сломлено: я получил пропуск. Мне указали двухэтажный дом, видимо очень светлый внутри, так много в нём было стекла. Вскоре я очутился в приёмной — представьте, даже здесь, на аэродроме, завелась эта неистребимая приёмная, — решительно прошагал мимо растерявшегося секретаря и вошёл в кабинет главного конструктора.

У одного из окон стоял большой, чтобы не сказать огромный, письменный стол. Неподальёку поместился покатый чертёжный стол, на нём белела прикреплённая кнопками бумага. Ни за тем, ни за другим столом никого не было. Где же Лadoшников? Накопец сквозь широко раскрытую, ведущую на балкон дверь я его заметил. Он сидел там, на балконе, в плетённом лёгком кресле, удобно привалившись к спинке и вытянув длинные ноги. В руках у него был мощный призматический бинокль. Несомненно, Лadoшников не слышал, как я к нему вошёл. Его поза была очень спокойной; казалось, он ничего не делал, а просто смотрел вдаль. Вспомнилось, что вот так же в усадьбе Орехово, в саду, каждое утро сидел на скамейке Жуковский. С этого начинался его рабочий день. Глядя в пространство, он отдавался свободному течению мыслей.

Внезапно Лadoшников поднёс к глазам бинокль. В голубом небе я увидел точку самолёта. Очевидно, Лadoшников следил за испытанием своей новой машины. Я шагнул на балкон.

— Михаил, извини, что я ворвался... Но произошло нечто такое...

— Нечто потрясающее?

Лadoшникову-то было известно, сколько раз мне случалось попадать врасак. Я сам рассказывал ему, как некогда явился к Шелесту с чертежами изумительной газотурбины и получил в ответ приглашение занять должность младшего чертёжника. Однако сейчас я не пожелал заметить иронию Лadoшникова.

— Вот именно! Я сконструировал мотор в тысячу сил.

— За один день?

— Не совсем так. За несколько. Но решение, представь, пришло в одно мгновение.

— Вдруг?

Работая всю жизнь планомерно, Лadoшников не ведал никаких «вдруг». Однако сквозь насмешку проступало нечто иное. Он смотрел на меня совсем иначе, чем у себя дома, когда я повторял свою клятву. Теперь я ему выложил всё: как приехал на завод «Коммунист», как бросил взгляд на иностранный мотор, уже выпущенный нами на Волге, как застыл в неподвижности, созерцаая возникший в воображении новый двигатель.

— Пойдём к столу... Покажу чертежи, — настаивал я.

Михаил встал, оглядел меня из-под бровей.

— Ну, давай чертежи...

На его огромном письменном столе я расстелил прежде всего общий вид мотора, затем продемонстрировал один за другим все разрезы. Лadoшников подолгу смотрел каждый чертёж. Кое-что я пытался пояснять, но он всякий раз останавливал меня, буркал:

— Понятно...

Наконец положен последний лист. Что же сейчас вымолвит Лadoшников? Он поднял голову. Боже, как давно я этого не видел: его глаза, обычно казавшиеся маленькими, прятавшиеся под лохматыми бровями, сейчас были большими, яркими.

— Хочешь знать моё мнение? — спросил он. — Вряд ли я имею право сказать с одного взгляда. Но, по-моему, ты должен немедленно лететь в Москву и сегодня же доложить Новицкому...

Пришёл мой черёд усмехнуться.

— Ну, уж и сегодня...

— Да. Я дам самолёт.

Вид у меня, вероятно, был преглупый. Я не придумал ничего лучшего, как задать вопрос:

— А где же я отмечу командировку?

— Это не самое сложное, — сказал Лadoшников, — отметим.

Представьте, два часа спустя я уже летел в Москву, в двухместном «Лад-3». Конструктор «Ладов» сам посадил меня в кабину.

В Москве из аэропорта я позвонил Новицкому. Удалось застать его в кабинете.

— Павел Демисович, я вернулся.

— Почему так скоро? Произошло что-нибудь важное?

— Да, очень важное. Я говорю из аэропорта и сейчас прибуду к вам.

— Хорошо. Посылаю вам машину.

— Не надо. Быстрее доеду на такси.

— Разве так спешно?

— Да, Павел Денисович, очень спешно.

— Хорошо. Жду вас.

С чемоданом и портфелем, с длинной трубкой чертёжной бумаги, перевязанной верёвочкой, я втиснулся в первую подвернувшуюся автомашину и помчался в институт.

И вот снова наша улица, вдоль которой протянулся на версту свежий дощатый забор, вот подъезд института, вестибюль, широкая лестница на второй этаж, дверь директорского кабинета. Впрочем, через неё к Новицкому уже не входили. Она была обита войлоком, обшита клеёнкой и наглухо закрыта. В кабинет вела новая дверь из смежной комнаты, где Новицкий расположил свою приёмную-секретариат.

И самый кабинет изменился. К боковой стене переместился письменный стол. Новый чернильный прибор из авиационной стали, а также несколько папок и книг были расположены в полнейшем порядке. Некоторые книги на столе представляли собой переплетённый машинописный текст: «Титульный список ЦИАДСтроя», «Пятилетний план авиапромышленности» и т. д. Переплёты были красные, золотообрезные — пожалуй, кто-то перестарался для директора. Уже не было в помине ни кепки на гвозде, ни электрического чайника на подоконнике — чай Новицкому теперь приносили из приёмной. Над столом висел наклеенный на коленкор генеральный план ЦИАД. В окно виднелась стройка. Площадка была уже спланирована, выводились корпуса.

И Новицкий был одет по-иному, не в гимнастёрку военного сукна, как я вам всегда его описывал, а в летний просторный парусиновый костюм. За эти полгода, с того дня, как он принял дела, Новицкий много и, как говорится, напористо у нас поработал, запустил на полный ход стройку, выправил положение в институте, добился чёткости во всём. Он предполагал после моего возвращения ехать в отпуск. На выбритом полном лице стали снова заметны следы утомления — нездоровая желтизна, одутловатость, небольшие отёки под глазами, попрежнему, однако, очень живыми. Сейчас взгляд был несколько встревоженный. Поднявшись мне навстречу, Новицкий пошутил:

— Значит, как сказано у Гоголя: «Должен сообщить вам, господа, пренеприятное известие». Какое же, Алексей Николаевич?

— Наоборот. Очень приятное, Павел Денисович.

Мигом развязав верёвочку, я положил чертёж на стол директора, наскоро прижав углы ватманской бумаги тем, что попало под руку: увесистым чернильным прибором, пепельницей, стопкой папок, толстой книгой. Новицкий молча наблюдал. Потом не спеша склонился над столом.

— Что это у вас?

— Тысячесильная машина.

Больше я ничего не прибавил. Всякому инженеру-мотористу, а тем более столь незаурядному, наделённому и конструкторской жилкой, как Новицкий, без комментариев было ясно, что означали в мировом соревновании моторов эти два слова: «тысячесильная машина».

Новицкий стоял, опершись на край стола обеими руками. Я почему-то до сих пор помню эти руки, поросшие на пальцах, на тыльной стороне ладони густым волосом.

— Так, — выговорил он, всё ещё глядя на чертёж. — Ваше произведение?

— Да, Павел Денисович.

Он молча поставил на прежние места пепельницу, чернильный прибор, папки и книгу. Листы ватмана сами собой свернулись.

— Так, — повторил он и сел в своё кресло.

Теперь я видел, что Новицкий очень рассержен. Сразу набрякли мешки под глазами. Он, однако, сдерживался.

— Садитесь...

Всё острее чуя неладное, я опустился в кресло, словно сваливаясь с небес на землю.

— Вашими личными делами, — продолжал Новицкий, — мы, если позволите, займёмся позже... Расскажите, пожалуйста, что вы сделали.

— Павел Денисович, какое же это личное дело?

— Хорошо. Не будем пока спорить. Как наши заказы?

Я не ответил. Собственно говоря, ни одно из порученных дел я не довёл до конца, а Новицкий жёстко задавал вопросы, перечислял все задания, с которыми я поехал в Ленинград, словно на память читал их по списку. В этом списке был и глоссерный мотор, и оборудование, изготовление которого задерживалось, и многое другое.

— Так... С кем же вы виделись из профессуры? — спрашивал Новицкий. — С кем договорились?

Я буркнул:

— Начал переговоры.

Он скрестил руки на груди. Видимо, всё в нём кипело. Я чувствовал, что вот-вот — и он стукнет по столу кулаком. Но Новицкий встал, подошёл к окну, достал из кармана папиросы, закурил и повернулся ко мне.

— Вот что, товарищ Бережков... Одно из двух... Или мы будем вместе работать, или... — Он шагнул к столу, резким движением вырвал чистый лист из большого блокнота и положил передо мной. — Вот бумага, пишите заявление об уходе. И расстанемся.

— Павел Денисович, но почему же? Ведь вы даже как следует не посмотрели чертежей, не выслушали моих...

— Я посмотрю. Это я вам обещал. Но, извините меня, вы проявили крайнюю степень безответственности. Это анархический или, в лучшем случае, мальчишеский поступок.

— Павел Денисович!

— Извольте меня выслушать. Я с вами разговариваю не как добрый знакомый, а в качестве директора, вашего начальника, представителя советской государственности. Вы уезжаете в командировку, берётеесь выполнить поручение, от чего зависит своевременный ввод в строй важнейшего объекта, за который мы отвечаем головой перед правительством, который записан вот сюда... — Новицкий всё же стукнул по столу, стукнул книгой в красном твёрдом переплётё. — Уезжаете и, забыв о своём долге...

— Павел Денисович, мой долг...

— Потрудитесь не перебивать... Забыв о своих обязанностях, извольте заниматься личными делами, какими-то изобретениями, о которых никто вас не просил.

— Павел Денисович, это...

— Это анархизм с начала до конца... Индивидуалистическое гениальничанье. Если вы желаете работать с нами, то прежде всего подчиняйтесь государственному порядку, плану, дисциплине. На фронте за такой поступок я отправил бы вас в ревтрибунал. А здесь... Пожалуйста, можете писать заявление об уходе. Сегодня же будете свободны от всех ваших обязанностей.

Я молчал, чувствуя, как он, этот властный человек с тяжёлой рукой, подминает, подчиняет меня. Он тоже помолчал.

— Так... Я должен объявить вам выговор в приказе.

— Павел Денисович, у меня имеется лишь единственное оправдание.

— Какое?

— Эта вещь! — Я показал на листы ватмана, которые, свернувшись, всё ещё лежали на столе. — Павел Денисович, ведь я не так уж задержал всех. Сегодня же можно отправить в Ленинград кого-нибудь другого, а я не смею сейчас терять ни одного дня. Вы знаете, как этот мотор нужен. Я был вправе...

— Нет, не вправе. Это опять рассуждение индивидуалиста. Взбрело в голову, и к чёрту всех и вся! Извините, это не наш принцип.

Его манера произносить эти слова: «наш», «с нами», «мы», опять, как когда-то в давнюю первую встречу, коробила, колола меня. Опять подмывало вскричать: «А я кто, не наш? Не мы? Не государство?» Но в те минуты, растерявшись, я не отдал ещё себе отчёта в этом чувстве.

Новицкий нажал кнопку звонка. Явилась стенографистка-секретарь.

Он сказал:

— Будьте любезны, запишите... Потом отстучаете на машинке и принесёте мне на подпись. «Главному конструктору института А. Н. Бережкову. Считаю недопустимым ваше самовольное возвращение из командировки, вследствие чего сорваны возложенные на вас задания. Ставлю это вам на вид и прошу...» Нет, зачеркните «прошу»... «и требую, чтобы...»

Я выговорил:

— Павел Денисович, я понимаю, что действительно нарушил дисциплину.

Новицкий быстро на меня взглянул. Насупленное лицо изменилось. Я вдруг увидел дружелюбную улыбку.

— Алексей Николаевич, этого признания мне достаточно... Дайте сюда...

Он взял у стенографистки недописанный листок, разорвал и бросил в корзину.

А я... Что поделаешь, мой друг, рассказывать так рассказывать всё. Я в глубине души чувствовал, что если бы моя поездка повторилась снова, то я — хоть убейте! — опять поступил бы так же, забыл бы всё на свете и начертил мотор. Ибо знал, как он нужен, ибо верил, абсолютно верил в свою вещь!

17

Новицкий сказал стенографистке:

— Можете идти... И пришлите нам, пожалуйста, два стакана чаю.

Потом обратился ко мне:

— Что же, посмотрим, Алексей Николаевич, вашу тысячесильную машину. Берите стул... Присаживайтесь-ка рядом.

Этот тон, эти два стакана чаю были, конечно, знаком примирения. Новицкий сам расправил чертежи, внимательно посмотрел сначала один лист, потом другой, третий.

— Не могу понять, — произнёс он, — какую конструкцию вы взяли за основу. Это что-то...

— Новое! — воскликнул я. — Такого решения, Павел Денисович, вы не найдёте ни в одном моторе мира. Гильза цилиндра, и этот несокрушимый блок, усиленный блочной головкой, и эти стяжные болты, которые стягивают всю вещь, придают ей исключительную жёсткость, — всё это, Павел Денисович, не американское и не немецкое, а новое, наше. Вы сказали «взбрело». Нет, Павел Денисович, это — логическое завершение моих творческих исканий за много-много лет. Сколько я думал о жёсткости и только тут её поймал! И самое главное, знаете, в чём? Эта вещь опирается на базу, на технологию Волжского завода. Знаете, как явилась мне эта идея?

Новицкий слушал, опять закурил, прихлёбывая горячий чай, поглядывая то на меня, то на расстеленные чертежи. Я сидел уже рядом с ним, сидел, не чувствуя собственного веса. Ко мне вернулась вся моя увлечённость, подъём, упоение собственным созданием. Я рассказывал о том, как увидел мотор «Д-30» уже с табличкой Волжского завода, как замер перед ним, как сел за чертёжный стол и забыл обо всём, кроме машины, которая вычертилась в воображении, — вот этой тысячесильной машины.

— Тысячесильная... Гм... — Новицкий улыбнулся. — Тысячесильная авантюра, Алексей Николаевич.

Второй раз в этот день я будто сверзился на землю.

— Авантюра? Почему же, Павел Денисович?

Он стал разбирать вещь. Теперь он говорил со мной, как с сотоварищем, как инженер с инженером, и высказывал прежде всего ряд чисто технических сомнений. Сомнительно, не разорвутся ли болты? Как будет вести себя блочная головка? Всё это рискованно, нигде и никогда не испытано...

Я должен опять отдать ему справедливость: он сразу сформулировал возражения, которые потом я слышал столько раз, что они навязли у меня в ушах.

Мы долго спорили. Мне не удалось его переубедить. Ссылка на Ладошников только рассердила Новицкого.

— С каких это пор конструктор самолётов считается высшим авторитетом среди мотористов? Ладошников может фантазировать у себя, в своей епархии. Но я не допущу, чтобы наш институт опять залихорадило ради этой сомнительной вещи.

Я снова запротестовал, однако Новицкий утвердился в своём мнении.

— С какой стороны ни подойти, — говорил он, — ваша вещь сомнительна. Или, в лучшем случае, преждевременна. Ну, нашумим, опять выбьем институт из колеи... Да что институт? Собьём с толку завод. Знаете, что сейчас там делается? Осваивают новую технику, не выполняют программы. Если теперь переменить модель мотора, это вовсе сорвёт освоение. У нас, Алексей Николаевич, другой план. Из «Д-30» естественно вырастет путём модификации советская конструкция. Мы приняли определённую стратегию. А вы по существу сейчас пытаетесь её сорвать. Уверю вас, этим мы лишь замедлим темпы...

— Павел Денисович, я же хочу ускорить...

— Для этого у вас есть пути. Организуйте получше работу ваших конструкторских групп. Выполняйте свою пятилетку в три года... Конечно, Алексей Николаевич, вы огорчены, но с государственной точки зрения...

Я не выдержал, вспыхнул:

— Почему вы считаете государственную точку зрения своей привилегией? Только потому, что вы директор? А не может ли стать, что в своей области творческий работник, конструктор, вернее, чем вы, понимает задачи государства?

Со спокойной усмешкой Новицкий взял со стола одну из книг в золотобрезном переплёте — пятилетний план авиапромышленности.

— Вот государственный документ, — сказал он. — Не возражаете?

Я промолчал. Новицкий продолжал:

— Составленный к тому же, если мне не изменяет память, при вашем участии. Так?

— Так.

— Однако ваша вещь здесь не числится. Что же, вы будете выступать против собственной подписи?

— Да.

— И, следовательно, против пятилетки?

— Павел Денисович, извините, это формальный довод.

Он прищурился.
— Формальный?
— Да.

И мне вдруг ярко вспомнилась игра в снежки на площадке Мотор-строя, вспомнилось, как Родионов, повернувшись к Новицкому, крикнул: «Бей формалиста!» Э, не зря, видимо, у Родионова вылетело это слово, сказанное тогда будто в шутку.

— Да,— твёрдо повторил я.— Эта книга не догмат. Мы можем, даже обязаны её дополнять своими делами.

— Так. Желаю вам успеха.

— Напрасно пронизируете... Этого проекта раньше у нас не было. А он нужен, его ждут. Значит, с тех пор, как он появился, что-то прибавилось и в пятилетке.

Он опять усмехнулся.

— С той самой минуты?

— Да, с той самой минуты!

— Алексей Николаевич, можно ли так увлекаться? Вы какой-то одержимый!

— Как вам угодно, но я буду настаивать на своём проекте.

Новицкий нахмурился.

— Что же, созовём совещание старших конструкторов института. Послушаем, что они скажут.

18

До совещания, назначенного на следующий вечер, я опять не мог ни о чём разговаривать, ни о чём думать, кроме своей вещи. Мне было интересно показать её одному, другому, выслушать разные мнения.

Однако, представьте, я встретил исключительно единодушный отпор со стороны старших конструкторов института. Как это объяснить?

Надо отбросить, мой друг, какие-либо предположения о личных счётах, скажем, о зависти, недоброжелательстве ко мне, главному конструктору, который пришёл в институт младшим чертёжником.

В эти годы, начиная с первых дней службы, с известной вам голёвки для мотора «АИШ», я приносил десятки проектов, компоновок, взбудораживал институт, и что же? Что из этого вышло? Где мои великие дела, мои творения?

Вы видите, что вся моя жизнь, вся моя биография конструктора, казалась бы, оправдывала такое насторожённое ко мне отношение.

Потом, после многих неудач, я уgomонился, вошёл в колею, изо дня в день работал, руководил своим отделом, сдал проект глссерного двигателя, переконструировал мотор «Испано» и так далее. Постепенно наладились и отношения с моими давними соперниками в нашем коллективе, инженерами старшего поколения, которым раньше вольно или невольно я нанёс столько обид.

Со мной, в общем, примирились, приняли, признали меня. И вдруг я снова взорвался. Это опять было непонятным и пугающим. И, естественно, соговарищи конструкторы отнеслись к моему проекту сугубо критически, сугубо недоверчиво.

Вечером я помчался к Ганьшину, самому близкому, самому старому другу. Он уже обитал на своей новой квартире, в новом жилом корпусе авиационной академии имени Жуковского. Большой кабинет был завален книгами, журналами, листами чертежей. Ганьшин работал над вторым томом своего капитального труда: «История и теория авиационных двигателей». Первый том тогда уже вышел в свет, уже стяжал Ганьшину славу. Пользуясь тем, что волосы на макушке поредели, Ганьшин завёл себе ермолку и в таком виде — в чёрной ермолке, в очках, в потрёпанном домашнем пиджаке, с испачканными чернилами пальцами — был, хоть

бери кисть и пиши, готсым портретом вдохновенного учёного. Я немедленно разложил на его столе, поверх разбросанных страниц гениального труда, свои чертежи.

Великий скептик посмотрел и нежнейшим голосом спросил:

— С винтом прёт?

— Ганьшин, перестань... Скажи серьёзно.

— Вполне серьёзно.

И вот знаменитый автор непревзойдённого исследования «История и теория авиационных двигателей» принялся критиковать мою компоновку. Хороший друг — это также и хороший критик. Я защищался, аки лев, но был благодарен Ганьшину, ибо вещь становилась для меня всё яснее и яснее. И она устояла: в ней ничего не мог расшатать или разьесть язвительный анализ Ганьшина. Под конец и он поколебался, согласился признать, что я схватил и выразил в своём проекте самую передовую тенденцию развития авиадвигателей.

Но у него оставалось ещё множество сомнений. Я с пламенной верой заявил:

— Вот увидишь, в твоём курсе последняя глава будет посвящена моему мотору.

— Нет, — сказал он. — Сначала надобны несколько глав, ещё не написанных историй.

Собственно говоря, это была та же точка зрения, которую мне уже изложил Новицкий: моя машина преждевременна. Ганьшин дружески увещевал меня.

— Посчитай, — говорил он, — сколько раз ты уже проваливался. И ведь ты отлично знаешь, что для конструктора достаточно двух-трёх неудач и он сходит с круга. Его уже никто всерьёз не принимает. Тебе просто посчастливилось, что ты уцелел в этой передрыге после краха «Д-24». Оставили тебя главным конструктором, так уймись и не делай глупостей. Сейчас тебе нельзя браться за рискованные вещи. Пойми, ещё одна неудача — и твоя карьера кончена.

Но я не хотел его слушать.

— К чёрту карьеру!

— Ну, тогда, как бишь её, судьба... Судьба Алексея Бережкова.

— К чёрту судьбу! У меня есть мотор! Он на два, на три года сократит расстояние, которое нам надо пробежать, чтобы обогнать моторостроение за границей. Я пришёл к тебе не о себе говорить. Тут не судьба Бережкова, тут судьба советского авиадвигателя! И в какой-то степени судьба всей нашей страны!

— Ты всё-таки поэт! — сказал Ганьшин.

— Брось это... Слушай, Ганьшин, давай вместе подумаем, что сказал бы об этой вещи Николай Егорович. Неужели стал бы, как ты, лишь сомневаться?

Ганьшин снова посмотрел на чертёж, помолчал.

— У меня есть мотор! — повторил я. — И знаешь, мне сейчас действительно не важно, мой ли или чей-нибудь ещё. Я всё равно буду за него бороться.

Ганьшин снял очки, подошёл ко мне. Я близко увидел внимательные серые глаза, которые блестели теперь уже не насмешкой, а волнением.

— Помогу тебе всем, — произнёс он, — чем только сумею!

И разряжая серьёзность, даже торжественность этой минуты, Ганьшин улыбнулся.

— На худой конец, — добавил он, — раскинешь здесь свою штаб-квартиру. Засядем вместе, как в былое время. Ты будешь чертить, а я рассчитывать.

В восторге я сорвал с головы Ганьшина его почтенную ермолку и запустил в стену. Потом сгрёб друга в объятия и расцеловал.

19

На следующий день Новицкий собрал у себя в кабинете узкое совещание, пригласив всего семь-восемь человек. Я сделал сообщение. Затем один за другим поднимались наши старшие расчётчики и старшие конструкторы и разносили проект. Основной мишенью была абсолютно новая конструкция цилиндрической группы, которая до сегодняшнего дня отличает «Д-31» от всех существующих моторов. Никто не верил в оригинальную рубашку охлаждения, в блочную головку, в анкерные стяжные болты. Говорили, что этого никогда и нигде не было, что это — пагубное, злобное изобретательство. Ссылаясь на учебники, на книги Шелеста, придираясь чуть ли не к каждой детали, утверждали, что то, другое, третье обязательно сломается. За всё, за всё мне тут досталось.

Новицкий спокойно руководил заседанием. Анализ, который я выслушал от него вчера, был, казалось, всецело подтверждён обсуждением. Сам он в этот раз не выступал. Но я... Чем больше я слушал возражений, тем глубже понимал, что вещь решена правильно, что мной найдена наконец конструкция самого мощного, самого лучшего в мире мотора. Я с полным убеждением это высказал и просил, несмотря на все возражения, поставить в план конструкторского отдела разработку моей компоновки. Новицкий был несколько удивлён моим упорством.

— Я подумаю, — произнёс он. — И завтра дам ответ.

Утром я пришёл к нему. Новицкий сказал, что он подумал и решил, что дальнейшая работа над проектом нецелесообразна. Он говорил твёрдо и вместе с тем миролюбиво, старался как-то утешить, ободрить меня:

— В нашем деле недопустимы авантюры. Выстроим новый институт и тогда мы с вами, Алексей Николаевич, основательно займёмся проблемой сверхмощного мотора. Некоторые ваши идеи, вероятно, ещё пригодятся. А пока отложите ваш проект.

Я всё-таки пытался спорить, однако Новицкий стал официален и оборвал разговор. Несколько дней спустя он уехал в отпуск. Надолго. На целых полтора месяца.

20

Что же произошло дальше? Вы мне не поверите, ибо это в самом деле уму непостижимо, но как раз в те дни, даже скажу точно, в ближайшее же воскресенье после заседания, после убийственного для меня приговора, я... повторяю, это уму непостижимо: вдобавок ко всем моим переживаниям я ещё и отчаянно влюбился.

Итак, представьте обстановку. Старший персонал института высказался против моей вещи. Новицкий вынес приговор, наложил запрет. Что делать? Я решил на один денёк из всего выключиться, отвлечься от гипнотизирующей меня вещи, чтобы потом взглянуть на неё как бы свежими глазами.

Надо вам сказать, что к тому времени у меня уже был свой маленький автомобиль марки «АДВИ-Т». Помните, в те годы, в начале первой пятилетки, когда лишь строился великолепный Горьковский автозавод и ещё не появились его первые произведения — незабываемые «газики», вам иногда попадались на улицах Москвы смешные автомобильчики — букашки, выкрашенные в белый цвет. Ручаюсь, что вы когда-нибудь видели на одной из таких машин и главного конструктора АДВИ, тогда вам незнакомого, — вашего покорного слугу, гордо восседающего за рулём. Мы сами сконструировали и построили в мастерских института несколько таких малюток. Как сказано, они у нас именовались «АДВИ-Т». Загадочная буква «Т» означала «тарактелка».

Потом всюду замелькали «газики», народились «эмки», которые казались тогда очень шикарными, а мы попрежнему, на удивление москвичам, ездили на своих «адвишках».

И вот, получив от Новицкого последний и окончательный афронт — это как нарочно случилось в субботу, — я, отбросив уныние, решил поутру предпринять автомобильную прогулку.

Воскресенье выдалось чудесное, солнечное. Моя тарактелка набирала скорость, а я упивался охватившим меня чувством, чувством молодости, дерзновения, силы, — словно летел на корабле времени. Вчера на заседании меня, что называется, изрубили в капусту, а утром я вскочил, точно sprysnutый сказочной живой водой. Где-то внутри звучал мотив: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней».

Выехав на Ленинградское шоссе, я уже распевал эту песню вслух. Мелькали жилые дома, магазины. Вскоре завиднелось знакомое здание, где в былые времена помещался «Компас». Тут я покатил тише, зато запел, по всей вероятности, громче. Здесь-то — заметьте, у самого «Компаса»! — меня остановил свисток милиционера. Постовой утверждал, что пение за рулём является нарушением правил уличного движения. Я протестовал со всей свойственной мне энергией. В результате милиционер стал требовать документы — права водителя и так далее. Никаких удостоверений у меня с собой не оказалось. Милиционер предложил последовать в отделение. Прощай, воскресная прогулка! Кто знает, сколько времени уйдёт, пока установят мою личность. Да и настроение уже будет не то...

Собравшаяся вокруг машины толпа была не на моей стороне. Не внушала доверия ни букашечка, ни её непутёвый владелец. Фамилия «Бережков», ссылка на звание конструктора никого не убеждали.

— Двинулись, гражданин, — наконец потребовал милиционер.

С той поры я верю, что милиционеры приносят счастье. В ответ раздалось:

— Я могу поручиться за товарища Бережкова.

Меня словно подкинуло от звука этого голоса. Я выскочил из машины. К милиционеру подошла молодая женщина. Она или не она? Из-под синего берета выбивались светлые волосы. Она не смотрела в мою сторону, она протянула милиционеру какой-то документ (как я потом узнал, это была её зачётная студенческая книжка) и стала очень тихо что-то толковать.

Надо было срочно увидеть её глаза. Карие или не карие? Нужно было ещё раз услышать её голос...

— Вы меня знаете? — громко спросил я.

Не помню, что она ответила, но голос был знакомый и глаза карие.

Милиционер тем временем смилостивился, согласился ограничиться лишь штрафом. Я с громадным удовольствием уплатил.

— Разойдитесь, граждане, — приказал блюститель общественного порядка и, откозырнув, пошёл на угол.

Не разошлись только двое. Я и она.

— Всё-таки, Валя, несмотря на некоторые воспоминания, вы поручились за меня. И вы правы. У вас потрясающая интуиция.

Валентина рассмеялась.

— Никакой интуиции, просто мне рассказывали о вас. — Она лукаво добавила: — Я многое слышала. Например, об Институте авиационных двигателей.

— Вы занимаетесь авиацией?

— Именно занимаюсь. Я ведь студентка. — Валя пояснила: — До института долго была на комсомольской работе.

Распахнув дверцу машины, я предложил своей спасительнице присесть, не беседовать же нам стоя. Поколебавшись, Валентина устроилась на заднем сиденье, я сел за руль. Надо было быстро и незаметно осуществить один блеснувший мне замысел.

Некоторые части внутри моей машины были закреплены маленькими велосипедными гаечками. Я незаметно отвинтил одну гайку и протянул Валентине.

— Видите? Хранил всю жизнь.

Почему-то я не увидел свою будущую жену ни потрясённой, ни расстроганной. Взяв «сувенир», она лишь сдержанно улыбнулась.

Вскоре я добился разрешения включить мотор, продлить прогулку. Миновали Петровский парк. Вдруг сзади протянулась розовая ладонь, на которой лежали две одинаковые гайки.

— Тоже хранила всю жизнь, — не без яда сказала Валя.

Я обернулся. У правой дверцы не хватало одной гаечки.

— Вы очень наблюдательны, — любезно сказал я.

— Наблюдательна и правдива, — ответила моя пассажирка.

Я поддал газку и, не раскрывая рта, домчался до знаменитого Архангельского. Меня гнал страх, что Валентина откажется от дальнейшей прогулки. Но прогулка оказалась изумительной. Эта прогулка и следующие...

В общем, мой друг, почему, как и отчего приходит любовь, не объяснишь. Во всяком случае, далее должны бы следовать страницы не из этой, а из другой книги. Её мы с вами, может быть, ещё напишем. Вот ведь как бывает. Совершенно не думая ни о какой любви, поглощённый, казалось бы, большой творческой задачей, борьбой за свою вещь, я вдруг безумно влюбился. Верите, буквально через месяц Валентина стала моей женой.

21

Вернулся из отпуска Новицкий. Он нашёл меня в главном чертёжном зале и ещё издали приветливо мне улыбнулся. Подойдя, посвежевший, благодушный, он крепко сжал мне руку и сказал:

— Поздравляю вас, Алексей Николаевич.

— С чем?

— А как же? Слухом земля полнится: Бережков женился.

Я скромно кивнул.

— Поздравляю, — повторил он. — Жаль, я опоздал на вашу свадьбу.

— Никакой особой свадьбы не было. Так... Очень маленькое торжество.

— Почему же?

— Не до того, Павел Денисович. Надо работать. Пятилетка...

— Золотые слова. Но боюсь, — он весело прищурился, — что вы за этот месяц не слишком были поглощены работой.

— Наоборот, Павел Денисович. Сделал очень много.

— Тогда совсем отлично. Завтра с утра с вами засядем, потолкуем о делах. — Снова сощурился карий глаз, он испытующе посмотрел на меня. — Значит, женился, остепенился?

Я засмеялся. Остепенился? Ещё чего!.. Однако браво ответил:

— Так точно, товарищ начальник.

— Рад! Очень рад за вас! Перед вами прекрасное будущее. Алексей Николаевич, передайте, пожалуйста, от меня привет вашей жене.

Затем Новицкий прошёл по залу, порой останавливаясь около того или другого конструктора, спрашивая о здоровье, о работе. Летний свободный парусиновый костюм скрывал его грузноватость, но неторопливая, спокойная поступь всё же была, как и прежде, тяжеловатой. Остановился он и у стола Недоли.

— Здравствуйте, товарищ Недоля. Как ваши успехи? Я вижу, вы стали очень недурно чертить...

Поднявшись, когда к нему обратился директор, Недоля, конечно, чёрт бы его взял, смутился, покраснел.

— Приятный чертёж... На пятёрку, товарищ Недоля. Это для... — Новицкий на миг затруднился. — Для какой же машины?

Недоля замаялся. Я поспешил было на помощь моему славному другу, но Федя не дождался меня.

— Для... для... — запинаясь, повторил он.

Федя совершенно не умел врать. Он напрямик выпалил:

— Для тысячесильной!

— Какой тысячесильной?

В первую минуту Новицкий даже не понял, не сообразил, что всё это время, пока он был в отпуску, я вместе с несколькими молодыми конструкторами, моими друзьями, кому я доверился, разрабатывал в чертёжном зале института проект моего нового сверхмощного авиамотора. Но когда это наконец до него дошло, разразился колоссальнейший скандал.

Разумеется, Новицкий моментально позабыл, что передо мной «прекрасное будущее». Взъярившись, он кричал мне:

— Это приёмчики мелкого жучка! Уважающий себя конструктор не позволил бы себе...

— Павел Денисович, я попросил бы...

— Я вас не желаю слушать. Вы, кажется, забыли, что это государственный советский институт, а не частная лавочка, не конструкторская фирма гражданина Бережкова. Я не допущу, чтобы вы разлагали коллектив, протаскивали контрабандой собственные забракованные изобретения. Если вы не желаете честно работать, можете совсем оставить институт. Больше предупреждать я вас не буду.

Наговорив мне оскорблений, резкостей, Новицкий вышел из зала. В тот же день мне был объявлен выговор в приказе.

Конечно, Новицкий имел против меня очень веский, формально решающий довод: протокол совещания старшего персонала института, где мой проект был забракован. Что же я мог этому противопоставить? В тот момент только одно: мою убеждённость. Я сам помнил, что после всех моих бесконечных неудач это весило очень немного. Но как же, по-вашему, я должен был поступить? Пойти к Родионову? Да, я так и решил сделать. Но не очертя голову, не с пустыми руками, не с карандашными набросками. Пока у меня не готов рассчитанный, проработанный проект, который можно защищать перед любым научным синклитом, до тех пор я не имею права рисковать. Дело было настолько серьёзным, настолько большим, что я не разрешал себе ввязываться невооружённым или недостаточно вооружённым в новый тур борьбы.

Впрочем, тут уже надо говорить не «я», а «мы»...

Мне так и сказал в тот же день Андрей Степанович Никитин. Всё последнее время он тоже рабстал вместе с нами, взявшись рассчитывать мотор.

Я мрачно сидел у себя в кабинете, вспоминая всё, что пришлось выслушать, а Никитин вошёл, посмотрел на меня и улыбнулся.

— Придётся, значит, сегодня записать, — произнёс он, — один ноль в пользу Новицкого.

— Андрей Степанович, как вы можете шутить?! Вы представляете, я настолько верю в эту вещь, настолько убеждён, что в ней есть всё, чего от нас ждут, что... Пускай мне сто раз запрещают, а я всё-таки буду чертить. Как хотите, а я решил уйти в подполье. И в конце концов один всё начерчу.

Никитин засмеялся, сел. Было очень приятно видеть его спокойное лицо с вьющейся темнорусой шевелюрой, с увесистой, упрямой, сильной челюстью. Тут-то он мне и сказал:

— Знаете, Алексей Николаевич... Давайте теперь не говорить «я». Будем говорить «мы».

Я встрепенулся.

— Мы? Идёт! — Вскочив, я протянул Никитину руку. — Давай руку! Первый раз в жизни я обратился к нему, секретарю партийного бюро, на ты, сам не заметив, как у меня вырвалось это.

Никитин крепко стиснул мою пятерню.

— Ну, слушай... Всю драку я беру на себя, а твоё дело — работать! Так случилось, что вопрос о «я» и «мы» для нас решился ещё одним маленьким местоимением, — не сговариваясь, мы перешли на ты.

— Но где же работать? И с кем?..

— В подполье... — Никитин расхохотался, произнося это слово.

— Нет, я серьёзно тебя спрашиваю.

— Будешь работать дома по вечерам и по ночам с нашими ребятами. — Он назвал Недолу и ещё нескольких моих учеников, молодых конструкторов. — И я тоже буду там с вами. Думаю, Валентина нас не выгонит?

— Что ты? Она сама сядет с нами чертить!

— Ну вот... Здесь, в институте, веди себя так, чтобы... В общем, свято исполняй обязанности. А с Новицким уже мне предстоит схватиться. — Он с улыбкой потянулся, расправил широченные плечи. — Тебя я не позволю отвлекать ничем. Твоё дело скорее чертить и чертить компоновку. И не терять ни часу!

Мы ещё раз обменялись рукопожатием. И я перенёс домой проектирование мотора.

23

Мы собирались каждый вечер, а по воскресеньям с девяти часов утра, у меня на квартире, которая превратилась в чертёжное бюро. Моя чудесная жена была возведена приказом вашего покорного слуги в ранг младшего чертёжника-конструктора и вместе с нами просиживала ночи за чертёжным столом. Таков, мой друг, был наш медовый месяц.

Никитин обычно являлся с опозданием — случалось, даже чуть ли не к полуночи, — но всё же обязательно ежедневно приходил. Он радостно окунался в атмосферу кипучей деятельности, немедленно принимался за работу.

Молодые конструкторы воодушевлённо подсказывали отдельные решения, разрабатывали детали. Среди дела подчас сверкала шутка. Например, кто-то, вбежав, кричит:

— Новицкий идёт! Федя, в окно!

Клянусь, если б мы не жили на четвёртом этаже, Федя действительно выпрыгнул бы в окно.

Ради чего эти ребята, молодые инженеры, поверившие мне, просиживали со мной все вечера и все воскресенья? Кто им платил, кто их вознаграждал? Никто. Разве что Маша, которая и среди ночи неутомимо разливала чай, а порой и настоящий кофе. Но даже хлеб и сахар мои помощники деликатно приносили с собой, ибо в те времена мы получали всё это по карточкам. Ни один из нас не выдержал бы такого напряжения, если бы не ощущал всем своим существом, как нужна стране наша работа.

Зов времени! Это-то и было крыльями, которые нас несли. Всех нас, даже Ганьшина, известного скептика, который не раз приходил к нам и помогал в трудную минуту. По существу он руководил Никитиным в дьявольски сложном расчёте мотора.

Наконец все расчёты, все чертежи, четыре больших листа и несколько малых, были закончены. Теперь вещь стала кристально ясной, проработанной во всех деталях.

В одно августовское утро я позвонил в секретариат Родионова. Меня соединили с Дмитрием Ивановичем.

— Здравствуйте, товарищ Бережков. Нуте-с, чем порадуете?

Волнуясь, я сказал:

— Дмитрий Иванович, я прошу принять меня по очень важному делу.

— Знаю... Приезжайте...

— Дмитрий Иванович, что же вы знаете?

Он засмеялся.

— Давно уже вас жду... Нуте-с, как ваша тысячесильная? — И другим тоном, деловито, добавил: — Приходите сегодня в десять часов вечера.

И вот я снова у Родионова. Поощряя меня своим любимым «нуте-с» и взглядом, в котором я опять читал и доверие и какой-то особый интерес ко мне, что так располагает к откровенности, он внимательно слушал мою взволнованную речь. С абсолютной искренностью я рассказал о том, как решил было больше не заниматься проектированием сверхмощных моторов и как всё-таки во мне, под влиянием толчков жизни...

— Нуте-с, каких же толчков?

Мне казалось, что в его лице всё время будто мелькала улыбка, доброжелательная, даже радостная. Я поведал ему всю творческую историю тысячесильной машины вплоть до момента, когда я, как при разряде молнии, вдруг увидел вещь, которая зрела где-то в подсознании.

— Нуте-с, нуте-с, в подсознании...

Опять показалось, что Родионов улыбнулся.

— Дмитрий Иванович, со мною часто насчёт этого спорят... Говорят, что марксизм не признаёт подсознания.

— Вот как? Позвольте, Алексей Николаевич, вы сами заправский марксист в этих вопросах.

— Я? В этих вопросах?

— Да, да, представьте себе.

Как вы считаете, шутил он или разговаривал серьёзно? Признаться, кое-что в последнее время прочитав, я склоняюсь всё-таки к тому, что это не было шуткой. У меня есть одна прекраснейшая выписка...

Впрочем, я отвлекся. О своей вещи я сказал Родионову:

— Дмитрий Иванович, я в неё непоколебимо верю. В ней много нового, что не встречалось ещё ни в какой другой машине. Из-за этого её легко критиковать и даже вовсе отвергнуть. Но как раз это новое, что отличает мой мотор от всех иных, и является сутью конструкции. В этом весь смысл. Именно это и должно поставить её на первое место в мире. Но мне никто не верит, кроме нескольких моих друзей. Я знаю, Дмитрий Иванович, что моя честь конструктора, авторитет — всё пойдёт насмарку, если... Но я могу прозакладывать голову за эту вещь. Вот моя голова! Рубите её, если мотор будет неудачным.

— Думается, ваша головушка ещё послужит, — ответил Родионов. — Но вера верой... Вы, Алексей Николаевич, вполне готовы к бою?

— Да.

— Тогда... — Родионов перешёл на деловой тон. — Тогда созовём послезавтра расширенное заседание Научно-технического комитета. Поставим на обсуждение ваш проект.

Обсуждение проекта состоялось в том самом зале, где два года назад, в 1929-м, заседала конференция по сверхмощному мотору.

Теперь для дискуссии о моей тысячесильной машине опять была созвана своего рода конференция. В Москву на этот вечер по вызову Родио-

нова прибыли на самолёте директор и главный инженер Волжского завода. Несколько конструкторов были приглашены из Ленинграда. Присутствовали представители Авиатреста, представители московских моторных заводов, руководители конструкторских организаций, авторитетные столичные профессора, а также весь старший персонал ЦИАД во главе с Новицким.

По стенам были развешаны наши чертежи. До начала заседания их рассматривали собравшиеся здесь специалисты. В одной группе стоял Шелест, устремив взгляд на чертёж, заложив руки за спину. Я прошёл мимо, он не заметил меня. Или, может быть, не пожелал заметить. Но вот он обернулся, встретился со мной глазами, ответил на поклон, кивнул. И как будто приветливо. Или это лишь его всегдашняя корректность? Он, как и прежде, элегантен, но волосы уже не цвета серебра с чернью, а, пожалуй, попросту белые. Мой старый учитель... Подойти? Но Шелест уже опять стоял ко мне спиной, опять смотрел на чертёж. Первый раз в жизни я выступаю здесь сегодня без его благословения и поддержки, без поддержки института. Что же скажет сегодня Август Иванович? Захочет ли говорить?

Здесь же похаживал и Подрайский. Потрясения былых лет, казалось, не оставили на нём следа. Он попрежнему занимал должность начальника отдела новых моторов в Авиатресте. Всё такой же общительный, благовоспитанный, свежий, он даже слегка потолстел. Вот он приблизился к Шелесту, о чём-то спросил, почмокал, отошёл. Ну, от Подрайского-то, разумеется, мне добра не ждать.

Не скрою, перед заседанием я очень волновался. Знал, что предстоит жестокий бой. Из друзей со мной здесь Андрей Никитин. А Валя дома. Вместе с нею там же, в маленьких комнатах, заставленных чертёжными столами, ждут моего возвращения все, с кем я создал этот проект. Никитин подготовился, он будет обосновывать расчётную часть, скажет, наверное, горячее слово. Но кто с ним посчитается? Какие учёные труды, какие диссертации у него за плечами? Пока никаких, кроме расчёта вот этой машины, отвергнутой дирекцией института.

Кто-то стиснул мой локоть. А, Ганьшин... Он наклонился, шепнул:

- Не робей!
- А я и не робею.
- На меня можешь положиться.
- Знаю, старина... Спасибо.

Да, голос Ганьшина здесь авторитетен. Но всем известно, что он мой старый близкий друг. А кто ещё, кто ещё меня поддержит?

В зале появился Родионов, обогнул ряды, сел не за председательский стол, а в стороне, у окна. Оттуда ему видны чертежи.

Председатель позвонил. Ещё с минуту рассаживались, потом он открыл собрание. Были произнесены какие-то обязательные или, может быть, вовсе не обязательные фразы. Я ничего не воспринимал. Услышал только:

- Товарищ Бережков, пожалуйста... Доложите о проекте.

Ну, Бережков, в бой! «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней».

И вот перед этим высококвалифицированным собранием я стал излагать свои революционные идеи. Казалось, я отрицаю всё, что утверждал раньше, два года назад, в этом же зале. Тогда я требовал, чтобы мы лишь следовали опыту мировой техники, лишь развивали существующие, проверенные практикой формы, — сам ограничивал, обуздывал себя, боялся своей тяги к «свинтопульщине», своей страсти фантазёра. А теперь впервые заговорил во весь голос.

Я показал, что в новой компоновке, в этой тысячесильной машине, я, во-первых, иду от Жуковского, опираюсь на его малоизвестные работы, посвящённые авиадвигателям, и, во-вторых, продолжаю ту же тенденцию жёсткости мотора, что отстанбал и прежде, но продолжаю по-своему, не следуя никаким иностранным образцам. Довольно подражательного творчества, мы уже прошли этот этап, — в мучениях, в неудачах, но прошли! Не повторять конструктивные формы, уже созданные, разработанные за границей, а смело давать новое, своё, смело выходить на первое место в мире! Два года назад мы не имели новейшей промышленности авиамоторов, а теперь она у нас есть. На этом и основана моя конструкция!

Ещё никогда я так взволнованно не выступал. Было такое ощущение, словно — ну, как вам это объяснить? — словно не я произношу речь, выбираю слова, строю фразы, а она, моя речь, сама собой стремительно несётся, лётся каким-то прорвавшимся потоком. Меня била дрожь, когда я, закончив, сел на стул.

Затем слово было предоставлено Никитину, расчётчику конструкции. Я полагал, что он, как секретарь парторганизации, сначала даст, так сказать, партийно-политическую постановку вопроса, раскроет принципиальное значение проекта, но он вместо этого направился прямо к доске, взял мел и без дальних слов, без предисловий, приступил к математическому обоснованию машины. Не в силах следить за доказательством, которое я, конечно, помнил назубок, я смотрел на плечистую крупную фигуру, видел упрямо оттопыренные уши, смуглую большую руку, уверенно выводящую на доске формулы. И ловил насторожённость, тишину в зале.

Впоследствии, или, вернее, не впоследствии, а в эту же ночь, когда мы с Никитиным приехали ко мне домой, где нас нетерпеливо ждали, он, смеясь, рассказывал всем, что я, беспартийный конструктор, выступал, как яркий большевик, а он, партийный работник, предстал перед собранием сухарём-расчётчиком, узким специалистом, который ничего на свете не желает знать, кроме математики. И мы с ним обнялись, расцеловались...

Однако я снова отвлёкся. Вернёмся, мой друг, на заседание.

26

Начались прения. Стали выходить производственники, заводчики. Они утверждали, что неправильно подсчитано литьё, что вес неверен, расчёт неверен, не принято во внимание то, другое, третье, поэтому машина не даст тех результатов, которые обещаны в докладах. И самое главное — блочно-стяжная конструкция не выдержит проектной мощности, обязательно поломаётся, развалится, и тогда вообще всё ни к чему. Любопытно было бы прочесть сейчас стенограмму этого собрания. Может быть, вы её разыщете где-нибудь в архивах?

От имени Авиатреста выступил Подрайский. Он сохранил умение говорить со вкусом, с расстановкой. Вначале он пустился в воспоминания. — Я знал товарища Бережкова ещё совсем молодым, — оповестил он присутствующих.

Далее он помянул об «Адресе».

— Кто мог в то время поверить в эту конструкцию изобретателя-студента, основанную на совершенно новом принципе?

Задав этот риторический вопрос, «бархатный кот» сделал движение, напоминающее лёгкий поклон. Это надо было понимать так: «своих заслуг касаться я не буду».

— Лишь при содействии Николая Егоровича Жуковского, — мурлыкал он, — нам удалось приступить к постройке мотора.

Нам удалось... Гм... Не намерен ли он и сейчас предложить мне пятьдесят на пятьдесят? Да, похоже на то...

— Как и пятнадцать лет назад, — продолжал Подрайский, — я склонен поддержать новую конструкцию Бережкова.

Чёрт возьми, наверное, он когда-нибудь ещё похвастается, что выступил первым в защиту моей тысячесильной машины. (Забегая вперёд, скажу, что обнаруживший и далее невероятную живучесть «бархатный кот» действительно стал причислять к своим историческим заслугам поддержку моего нового двигателя.)

В своей речи Подрайский постарался не поссориться и с производственниками и тут, что называется, проявил понимание. Признав, что промышленности сейчас было бы тяжело взяться за постройку такого двигателя, он внёс предложение: во-первых, машину необходимо строить, во-вторых, приступить к этому через год-полтора, когда окрепнет промышленность авиационных моторов.

Год-полтора... Недурно придумано... Я-то понимал, что потерять время в создании авиационного мотора — значит потерять всё.

Потом заговорили теоретики. Выступил, конечно, Ниланд, мой давний недоброжелатель. Ну, и поизмывался же он над проектом! Никитина он постарался, что называется, стереть в порошок. Тонем экзаминатора, профессора Ниланд риторически задавал ему вопросы и в заключение заявил, что поставил бы двойку за такой расчёт.

Но знаете, о чём я думал, когда он выступал? Ведь с самого первого дня нашего знакомства, с достопамятной гайки, мы только и знали, что схватывались один с другим. Однако его сугубая придирчивость ко всему, что я приносил в институт, строжайший педантизм — ведь всё это тоже воспитывало, подтягивало, муштровало меня. И в наших чертежах, висевших сейчас в этом зале, что-то — какая-то частица, и может быть немалая, — принадлежало и ему, моему недругу Ниланду. А он-то... Он этого не понимал.

Наконец поднялся Новицкий. Я увидел его уверенную, спокойную усмешку. Он уже торжествовал.

— Товарищи, собственно говоря, всё основное, — начал он, — здесь уже сказано. Это избавляет меня от необходимости подробно объяснять, почему проект не был принят дирекцией института.

И с той же усмешкой, не повышая голоса, он учинил такой разнос моему проекту, что после этого уже было не о чем, казалось, спорить. Надо признать, его речь, несомненно, произвела впечатление: он суммировал, словно собрал в кулак, все возражения и бил этим кулаком. На миг мне бросилось в глаза расстроенное лицо Ганьшина.

Это были тяжёлые минуты. Один ругает, другой ругает, третий с землёй смешал.

Вы представляете, каково было моё состояние — трепет, надежда, нетерпение, — когда я услышал:

— Слово имеет профессор Август Иванович Шелест...

Председатель произнёс это имя с уважением. Смещённый с административного поста, Август Иванович был теперь членом технического совета при наркомате тяжёлой промышленности и оставался для всех нас, кто присутствовал в зале, крупнейшим учёным, основоположником отечественной научной школы моторостроения. Я и сейчас дословно помню его речь.

— На своём веку, — сказал он, — мне довелось высказываться о многих проектах. В моих руках перебивали сотни чертежей. Это были и всякие заграничные конструкции, и студенческие дипломные работы, и все проекты, которые обсуждались здесь, на заседаниях Научно-технического комитета. Среди них были и мои собственные произведения, были и такие, которые разрабатывались под моим руководством. Однако теперь первый и единственный раз в моей жизни я не могу сделать ни одного критического замечания о проекте. Ни одна деталь в нём не вызывает у меня воз-

ражения. Я обязан сказать, что это самое талантливое произведение, которое мне когда-либо доводилось видеть.

Вот, мой друг, какие слова он произнёс. Я слушал, и мурашки бегали у меня по телу. «Самое талантливое произведение!» Боже мой, неужели всё это происходит наяву?

Затем Август Иванович отметил все основные достоинства машины: жёсткость, выраженную с неуклонной последовательностью, как он сказал, во всей композиции; наличие жёсткостянутых болтов, которые, как он утверждал, не поломаются; наличие особого рода клапанов, которые повышают возможности форсирования мотора, и так далее и так далее. Он заявил, что мотор надо немедленно стронть, не теряя ни одного дня.

— Некоторые товарищи, — продолжал он, — к сожалению, не поняли, в чём талантливость этой конструкции.

Новицкий не выдержал. Он подал ироническую реплику:

— Может быть, гениальность?

Шелест помолчал, взглянул на чертежи и ответил:

— Нет. Гений попадает в цель, которую видит только он. В данном же случае цель нам всем ясна. И наш товарищ попал в самое яблочко. Поздравляю его и всех, кто ему помогал. И горжусь, что был в числе его учителей.

Мне хотелось кинуться к Августу Ивановичу, но я сидел, как пригвождённый: отнялись руки и ноги. На меня будто обвалилось счастье. Даже дышать было больно.

Новицкий снова со свойственной ему самоуверенностью перебил Шелеста какой-то репликой. Но он не рассчитал, что старика было опасно задевать. Шелест приостановился, его смуглый профиль слегка вскинулось. Август Иванович всё время держался с подчёркнутой корректностью по отношению к Новицкому, сменившему его на посту директора АДВИ. Несомненно, ему и сейчас было трудно преодолеть какую-то внутреннюю сдерживающую его преграду. Но он перешагнул её. Оборвав нить мысли, Шелест отчеканил:

— Вы хотите, товарищ Новицкий, чтобы я объяснил вам ваши ошибки? Если вам угодно, могу это сделать. Вы, во-первых, не поняли возможностей, тающихся в настоящем таланте, и, во-вторых, не видите, что существует путь убыстрения темпа...

— Скажите, пожалуйста! — иронически выкрикнул Новицкий. — А вы всегда видели?

— Да, я совершал серьёзные ошибки, — чётко проговорил Шелест. — Но я их понял, а вы своих до сих пор не понимаете. В этом между нами разница. Теперь вы мне, может быть, разрешите продолжать?

Новицкому пришлось проглотить эту пилюлю. Меня подтолкнул локтем Никитин и шепнул:

— Ай да Август Иванович! Не ожидал!

Я тоже, признаться, не ожидал. Но надо иметь в виду, что Шелест уже несколько месяцев работал в непосредственном общении с таким человеком, как Серго Орджоникидзе, — с народным комиссаром тяжёлой промышленности. Шестидесятилетний заслуженный профессор наново проходил школу жизни, глубоко воспринимал её уроки. А Новицкий... Мне становилось абсолютно ясно, что Новицкий, этот признанный директор больших строек, властный, сильный, способный человек, будет смят нашим движением, если не сможет быстро и решительно отместить, как сор, всё то, что тянуло и тянет его вспять, свои ошибочные представления, которые когда-то были не так заметны. Впрочем, о Новицком у нас ещё будет разговор.

Следующим выступил Ганьшин. Ого, как он воспрянул после речи Шелеста! Он тоже дал блестящую оценку проекту и твёрдо заявил, что вещь настолько интересна, сулит такие перспективы, что было бы преступле-

нием, если бы мы не построили мотор, не проверили бы теоретический спор практикой. И строить надо быстро.

Спасибо, дружище! Мне больше ничего и не надобно. Только это, только одно: построить, быстрее построить мотор!

Мне дали заключительное слово, я ответил оппонентам. Родионов ничего не сказал на совещании, но просидел до конца, выслушал всё. Никакого решения не было объявлено.

27

После заседания, сам не зная зачем, я подошёл к Родионову, уже покинувшему место у окна. Что-либо говорить ему я не собирался; очевидно, просто хотелось встретить ещё раз его подбадривающий взгляд, услышать какое-то слово напоследок. Несколько человек уже обступили его.

Массивный, похожий на борца-тяжеловеса, директор Волжского завода Кушин наседали на Родионова. Подойдя, я мгновенно понял, что они разговаривают о моём моторе.

— Дмитрий Иванович, — взывал тяжеловес-директор, — отправляйте куда хотите эту музыку... Пусть строят, воля ваша... Только не взваливайте этого на наш завод.

— Преждевременно волнуетесь, — сказал Родионов. — Ещё ничего не решено.

— Нет, сейчас самое время. Чую, куда клонится дело. Учтите, Дмитрий Иванович, вы задержите освоение завода... Вся тяжёлая авиация не получит во-время моторов, если мы...

Шея Родионова вдруг покраснела.

— Хватит! — оборвал он Кушина. — Коммунисту, советскому директору подобные речи не пристали.

Кушин, однако, не потерялся.

— За директорское кресло я, Дмитрий Иванович, не цепляюсь. Не о своей особе думаю, а о заводе...

Родионов усмехнулся.

— Эка, похвалился... Кто же в таких делах думает о собственной особе?

Тут прозвучал голос Новицкого. До сих пор он помалкивал, стоя несколько поодаль.

— За примером, Дмитрий Иванович, ходить недалеко, — не громко, но уверенно, веско произнёс он; я уловил злость в его тоне. — Товарищ Бережков больше всего думает как раз о своей особе. Прочее ему безразлично. Пусть развалится завод, два завода... Пусть самолёты, ждущие моторов, не войдут во-время в строй... Пусть всё кругом провалится в тартарары, лишь бы ему, Бережкову, выстроить собственный мотор! — Повернувшись ко мне, Новицкий язвительно добавил: — Адски хочется прогреть? Возвеличить имя Алексея Бережкова?

Родионов хотел что-то сказать, но я не дал ему вмешаться. Предвкушая, как я раздавлю сейчас своего противника, чувствуя, что меня несёт горячая волна азарта — азарта борьбы за мотор, — я закричал:

— Это неправда! Это чудовищная ложь! Чтобы опровергнуть её раз навсегда, я заявляю, что никогда нигде не назову этот мотор созданием Алексея Бережкова... Его создатель — коллектив! Если потребуется дать нашему мотору имя, мы назовём его «СМ-1»: Советский Мощный Первый!

Родионов рассмеялся.

— Не рано ли устроили крестины? Не рано ли делить шкуру неубитого медведя?.. Нуте-с, по домам.

Домой я поехал вместе с Андреем Никитиным. Нас ожидали друзья, ожидал пир на весь мир. Валентина и Маша позаботились об угощении.

Вино, правда, не лилось рекой — Валентина, которую я иногда попрежнему звал «строгой девочкой», и на этот раз, несмотря на исключительность события, проявила строгость, — но я и без того был разгорячён, был как во хмелю. Вскоре собравшиеся запротестовали. Хватит о Новицком! Хватит о проблеме индивидуализма! Но я всё-таки не мог остановиться, даже мобилизовал Маяковского.

— Сто пятьдесят миллионов автора этой поэмы имя! — в упоении продекламировал я, указывая на свёрнутые чертежи мотора.

Ко мне подошла моя кроткая сестрица и шепнула на ухо:

— Не городи глупостей!

На минуту я был ошарашен. Потом, вероятно, я дал бы сокрушительный отпор, однако семейному раздору не суждено было разыграться. В передней затрещонил телефон: наконец-то междугородная станция соединила нас с Ленинградом, с Ладосниковым. Меня к аппарату не допустили. На все расспросы Михаила отвечал Никитин. Я с этим примирился, сообразив, что, зная некоторые мои склонности, Ладосников не поверил бы сообщению о грандиозных сегодняшних событиях, если бы услышал про эти события от меня.

Ещё несколько дней мы провели в муках неизвестности. Наконец меня вызвали в Научно-технический комитет и сообщили, что решено строить мой двигатель в самом архисрочном порядке. Ему был дан номер «Д-31».

Новицкий, очевидно, получил основательную взбучку, стал со мной любезен, дружелюбен, будто между нами и не было войны. В моё распоряжение предоставили большие, практически неограниченные денежные средства, чтобы скорее закончить проектирование. Конструкция была разбита на узлы, руководителем каждого узла был назначен инженер по моему выбору, группы соревновались, я выдавал премии, оплачивал работу аккордно и т. д. Словом, в небывало короткий срок, в полтора месяца, мы изготовили рабочие чертежи для запуска вещи в производство.

Но, представьте, опять что-то заело. Машина назначена к постройке, а авиационная промышленность категорически отказывается строить. По этому вопросу происходили десятки совещаний, и всюду представители авиапромышленности упирались, повторяли, что заводы загружены и перегружены серийными моторами, что производственные планы не выполняются, что новые заводы не вылезают из полосы непрерывных поломок оборудования, мелких аварий и поэтому нельзя, немислимо в таких условиях строить ещё и наш мотор.

Как раз в это время Дмитрий Иванович Родионов был назначен начальником ГУАП. Техника, промышленность давно стали близки Родионову. Возглавляя наши Военно-Воздушные Силы, он, как вы знаете, не ограничился тем, что составляло, казалось бы, непосредственный круг его обязанностей. Нет, он знал не только эскадрильи, манёвры, учения, личный состав авиации, но привлёк, включил в своё, так сказать, ведомство ряд научных институтов, постоянно общался с конструкторами, инженерами, бывал на заводах и требовательно вмешивался, руководил, двигал, ускорял дело. Поэтому его назначение в промышленность было всем нам понятно.

Меня вызвали ещё на одно совещание — опять в Наркомтяжпром. Там впервые я увидел Дмитрия Ивановича в штатском. Его выправка, прямизна стана как-то слились в моём представлении с военной формой, с гимнастёркой или темносиним френчем, а теперь, в новом сером костюме, Родионов вдруг наново показался мне удивительно стройным. Он носил уже фетровую шляпу, но на лбу, у крепко зачёсанных волос, всё же осталась незагорелая бледная полоска от военной фуражки. На совещании

представители заводов и инженеры ГУАП опять говорили о тяжёлом положении на предприятиях, о том, каким мучительно трудным оказался период освоения новой техники, о том, что постройка нового двигателя приведёт в данный момент к ещё более глубокому прорыву в выполнении плана. Директор Волжского завода опять категорически отказался принять наш заказ.

Родионов слушал, задавал вопросы, убеждал. Потом покраснел, встал и как стукнет кулаком по столу.

— Довольно! Я не буду сто раз вам объяснять значение этого мотора для страны. Приказываю с завтрашнего дня начать постройку мотора на Волге!

Все замолчали. Почувствовали — пришёл человек, с которым не поспоришь. Родионов сел и, обратившись ко мне, сказал:

— Товарищ Бережков, выезжайте завтра с чертежами на завод и начинайте строить. Возьмите с собой группу инженеров. Если встретите сопротивление на заводе, немедленно мне телеграфируйте. Сообщите поимённо обо всех, кто станет вам мешать.

На следующий же день вместе с Андреем Никитиным, Фёдей Недолей, разумеется, и с Валентиной Бережковой и ещё с двумя-тремя помощниками я выехал на Волгу.

29

Завод, как сказано, находился в глубочайшем прорыве по количеству сдаваемых моторов «Д-30». Там адски не хватало квалифицированных рабочих рук. И их неоткуда было взять. Их вообще не могло хватить стране, ранее по преимуществу крестьянской, при таком развороте и темпе индустриального преобразования. И только беспредельная вера большевиков в силы народа, развязанные революцией, только эта беспредельная революционная вера позволила им решиться на такой, казалось бы, безумный, с обычной инженерской точки зрения, шаг, чтобы взять тысячи людей прямо из деревни, от земли, привезти их на заводскую площадку, разместить в бараках и потом, выстроив завод, поставить их же, вчерашних землеробов, к нежнейшим станкам-автоматам, вручить им самую тонкую, самую требовательную, самую точную технику, какую представляет собой авиационное моторостроение. В грандиозные цехи Волжского завода, только что оборудованные всевозможными новейшими механизмами — всякими конвейерами, электроавтоматикой, — пришли люди с грубыми необычными руками.

И вот эти люди, которые прежде никогда в жизни не видали чертежа, которых на ходу обучали, проявили такую же волю и напор, как и в те времена, когда они же или их отцы на бесчисленных фронтах с оружием сражались за Советскую власть.

И, представьте, начав со ста процентов брака, постепенно пройдя, уже на моей памяти, через девяносто, восемьдесят, семьдесят пять, эти же самые люди через некоторое время стали блестяще выполнять программу, теперь они выпускают самые точные двигатели новой, советской конструкции.

Итак, к тому моменту, когда наша группа приехала на Волгу, завод работал над созданием кадров. Не только на плакатах, но и на бортах грузовиков, на стенах заводских зданий виднелись надписи: «Кадры решают всё». Продолжалось строительство второй очереди, площадка всё ещё была разворочена, лежали груды земли, глинистой, по-осеннему мокрой. В цехах происходили поломки оборудования, крупные и мелкие аварии, на тачках вывозили тысячи и тысячи забракованных деталей, действовали всякие курсы по повышению квалификации, кружки молодёжи по овладению техникой, выпускались листовки, шла напряжённая борьба за освоение завода.

И поэтому, когда ещё и мы вклинились туда со своими чертежами, со своими синьками, то, конечно, это никакого впечатления не произвело, ни ошеломляющего, ни вдохновляющего. Просто прибавилась ещё одна капля в море трудов и напряжения.

Нельзя сказать, что мы встретили сопротивление на заводе. Мы сами понимали, что здесь людям не до нас. Всё, начиная от планового бюро, нам пришлось организовать самим для производства деталей нашего мотора. Мы выписывали рабочие карточки, сидели в конструкторском бюро, переделывали чертежи по нормам этого завода. Вообще мы втиснулись во все заводские органы и выполняли все работы, начиная от функций рядового конторщика и до главного инженера и даже директора, ибо умудрялись правдами или неправдами отстранять некоторые детали серийного производства, чтобы продвинуть свои. Для завода мы явились тем вредным грибочком или, скажем, жуком-древоточцем, который заводится в бревенчатых стенах и разрушает эти стены, проедавая в них каналы, по которым он в дальнейшем движется. Вот таким древоточцем, который преследовал свою цель, протачивал для себя пути, мы и были. Мы строили свой двигатель за счёт срыва серийного производства, его плановости, за счёт каких-то просьб, иногда хитростей, порой скандала, порой стараясь расположить к себе, улестить мастеров, чтобы, скажем, в термическом или в механическом цехе наши детали шли впереди деталей мотора «Д-30».

Сначала я приехал туда с пятью друзьями, потом прибавилось ещё десять человек, потом ещё двадцать, потом сорок, и в конце концов наша группа уже насчитывала семьдесят работников. Среди них было восемь инженеров-конструкторов, а остальные — студенты Московского авиационного института, практиканты, зелёная молодёжь, ничего ещё не смыслившая в производстве. Не скрою, у меня волосы поднялись дыбом, выражаясь фигурально, когда мне прислали этих юнцов. Я требовал производственников, инженеров или мастеров, а прислали студентов. Что я буду с ними делать? Однако в присылке этой молодёжи был свой смысл...

Рассказать обо всём подробно нет возможности: у нас получился бы ещё целый роман. Поэтому ограничимся немногими отдельными картинками, всплывающими сейчас в памяти.

...Комнатка в городе. Маленький, старый, когда-то тихий городок. А рядом вырос завод, прекрасные корпуса. И вот над тихим городком повис непрестанный гул моторов, которые испытывались на заводе. Осень, холод, слякоть неимоверная. Некоторые рабочие ещё в крестьянской одежде, в лаптях. Ежедневно утром, чуть свет, шли мы по этой слякоти на завод. Калош нельзя было купить нигде, ни за какие деньги...

...Для иностранцев инструкторов и инженеров были построены коттеджи. Привезли им ванны. Кормили в особой столовой. Чёрт с ними, не жалко. Они, наверно, ничего вокруг не видели, кроме дикости, азиатчины, грязи... (Впрочем, некоторые, как потом выяснилось, кое к чему присматривались слишком внимательно.) На их лицах словно застыло презрительное выражение. А мы, строившие тут же «Д-31», самый мощный в мире мотор, перед которым хвалёный «Д-30» был попросту отсталой машиной, мы проходили мимо них и думали: «Погодите, мы ещё посмотрим, кто кого!»

Они засмеялись бы, если бы тогда им кто-нибудь сказал, что у них на глазах в этом как будто хаосе, в сплошном потоке брака, неудач, неразберихи идёт сражение, битва моторов...

...В цехах обеденный перерыв в разное время. Как раз в те часы, когда конструкторский отдел уходил обедать, мне требовалось бывать в литей-

ном, или в термическом, или другом цехе, и я не успевал пообедать. В результате я почти не ел. Даже моя строгая жена ничего не могла со мной сделать. Часа в два, в три ночи она кормила меня дома, а в семь часов мы уже вскакивали, выпивали молока и — на завод!

Несколько раз оставался на заводе спать, где-нибудь на столе или на стульях. Вначале я получал взбучку только от Валентины, но потом и от Родионова пришёл приказ: если Бережкова увидят на заводе позже двенадцати часов ночи, выводить с милицией...

...Нельзя, чтобы бригаду на чужом заводе возглавлял такой фанатик, каким являлся я. В Москву докатился слух, что я, устремлённый к цели, всё разрушаю на своём пути. Прислали ко мне комиссара товарища К., как будто я был Чапаевым, к которому прикомандировали Фурманова. Сначала мы с ним жили мирно, а потом у нас стали происходить столкновения. Я не хотел ни с чем считаться и действительно, подобно броневой снаряду, всё сокрушал перед собой. И мне уже казалось, что этот человек, который приехал помогать, задерживает постройку нашего «Д-31».

Я давал телеграммы Родионову: «Немедленно уберите К... он мешает мне работать». Тот тоже писал: «Удалите Бережкова, а то мы не будем иметь ни его мотора, ни завода...»

...Всё брак и брак. Для того чтобы сделать десяток хороших деталей, запускали сотнями. Завод работал в три смены. День и ночь точили, и только десятая часть оказывалась годной. Мы тоже запускали сорок деталей, чтобы получить четыре.

Моя изящнейшая небывалая блочная головка никак не удавалась. Двадцать два раза отливали — всё брак. Наконец одна хороша. Надо сверлить...

...Все говорят: «Нельзя сверлить, провалится металл», а я требую:

— Сверлите! На чертеже здесь дырка — значит и сверлите эту дырку.

— Не дам. Это наша последняя головка.

— Сверлите. Я буду отвечать перед правительством.

— Не дам! Надо считаться с мнением опытных людей.

— Сверлите! Если провалится, тогда... Тогда, ладно, отстраняюсь. Вы будете командовать!

И вот при гробовом молчании мастер сверлит эту дырку. Около станка стояло человек пятнадцать. Я был уверен в нашем чертеже, и действительно, когда просверлили и продули эту дырку, алюминий не провалился.

— Вот видите! Я сейчас протелеграфирую Родионову, что вы мне не давали сверлить дырку...

...К сборке мотора нужно было во что бы то ни стало привлечь из Москвы двух инженеров, лучших экспериментаторов, лучших сборщиков, каких я знал. Мне их не давали. С огромным трудом мне всё-таки удалось добиться их откомандирования в моё распоряжение. Сначала они меня просто возненавидели. Из тёплой Москвы их притащили в эту адскую слякоть, в этот холод, поместили куда-то в барак, в общежитие, где ещё не было водопровода и прочих так называемых «удобств». И вот, можете себе представить, год спустя величайшей гордостью этих людей было то, что из их рук вышел первый мощный советский мотор.

...Дмитрий Иванович каждый раз с величайшим вниманием выслушивал мои истерики. Другим словом я не могу назвать своё состояние, когда я в крайних случаях обращался к нему. У него была секретарша, которая всегда говорила:

— А, товарищ Бережков? Вы приехали с завода? Я сейчас пойду к Дмитрию Ивановичу и доложу.

Родионов без малейшей паники относился к тем вопиющим фактам, о которых я ему рассказывал. Он очень дружески похлопывал меня по плечу, всячески подбадривал и говорил, что вызовет к себе того, другого и даст все указания.

— А вы, Алексей Николаевич, спокойно поезжайте и работайте...

Я в ту же ночь обычно уезжал обратно на Волгу, а он вызывал, кого надо, и вообще всё, что надо, устраивал.

30

Мы начали сборку одного блока. Моя... то есть наша конструкция, как вы знаете, была совершенно необычной. Неизвестно было, соберётся ли она, придутся ли вплотную головка и цилиндр, не прорвётся ли газ, как будет работать алюминий уплотняющего кольца и т. д. и т. п. Словом, всё это предстояло проверить при сборке и при испытании, первом испытании первого блока.

Вы понимаете, какими волнующими были те минуты, когда мы по чертежу, который недавно был всего-навсего фантазией, монтировали обточенный, весомый металл. Станут ли эти металлические части, алюминиевые, бронзовые, стальные, аккуратно разложенные около нас, механизмом, машиной, блоком мотора, первого советского мощного авиамотора? Заработает, зарокочет ли он? Ждётся только этого, думаешь только об этом...

Однако тогда же, в день испытания, у нас произошло ещё одно большое событие.

Прежде всего вообразите обстановку. Вообразите ночной предрассветный час в механосборочном цехе, протянувшемся на полкилометра. Цех кажется пустынным, вечерняя смена ушла, утренняя выйдет не скоро. Вдаль, в какую-то туманную дымку, уходит линия сияющих больших электроламп. В цехе так много простора, высоты, куда едва достигает электрический свет, что бывает: взглянешь вдоль линии фонарей и вдруг почувдится, что ты на палубе, на океанском пароходе, прорезающем волны в ночной тишине.

С лёгким шорохом крутятся несколько станков, чуть жужжат электромоторы. Почти бесшумно работают наладчики, ремонтные слесари, электрики, готовя цех к утру. Идёт проверка электроавтоматики. В высоте, на невидимой панели, вспыхивают, словно на мачте, сигнальные огни: жёлтый, фиолетовый, зелёный. И опять кажется, что ты двигаешься, несёшься в пространстве.

В такой час весенней ночью мы монтировали наш блок, чтобы испытать его в тиши — без зрителей, без корреспондентов, без представителей из центра, постоянно наезжавших на завод. Нам, нашей группе, был отведён отдельный пролёт цеха. Начальником пролёта стал Андрей Никитин. К началу сборки у нас было всё вычищено, вымыто, протёрто до сияния. Матово поблёскивали поверхности разметочных и сборочных плиты. Два инженера, командированных из Москвы в моё распоряжение, о которых я уже упоминал, аккуратнейшие люди, лучшие сборщики страны, надели в цехе белые халаты — они признавали лишь одну эту спецодежду при работе с авиационными моторами. Некоторые члены нашей группы — Недоля и другие — тоже получили в эту ночь белые халаты. Никитин организовал всю подготовку к сборке. И нашёл время побриться, переодеться перед тем, как ночью прийти в цех. Он явился в лучшем праздничном костюме и не взял себе халата. Сосредоточенный, серьёзный, бледноватый от скрытого волнения, он без суеты ходил по цеху от наших

плит к станкам, где кое-что подтачивалось для нас по ходу сборки, без суеты распорядился.

Мне оставалось только наблюдать. Но мог ли я сидеть без дела? Взобравшись на металлический помост, я свесился оттуда к мотору и помогал товарищам, вставляя в отверстия болты, мои анкерные стяжные болты, и наживляя гайки. Отверстия отлично сошлись, один за другим болты вставали на места.

В эту ночь, решив провести испытание до начала утренней смены, мы работали как-то особенно слаженно, чётко, понимая друг друга с полуслова, а подчас и вовсе без слов. Каждый молча передавал другому нужные детали и инструменты. Увлёкшись, я не замечал ничего кругом, видел только механизм, чудесно возникающий под нашими руками. И работал, работал... Глядя попрежнему только на мотор, я протянул руку за очередным болтом. Но почему-то мне никто его не подал. Я крикнул:

— В чём дело? Давайте...

Никакого ответа... Я осмотрелся. Невдалеке, в нашем пролёте, стоял полноватый, высокий человек в распахнутой длинной шинели.

Хорошо, пусть себе стоит. Но возле него почти все наши сборщики. Вон без всякого дела стоят оба аккуратнейших, педантичных инженера в своих белых рабочих халатах. Чёрт возьми, бросили сборку! И Недоля и Валя — от них я этого никак не ожидал — тоже оставили работу и удрали туда. И ещё кто-то там, рядом с военным, кажется, корреспондент газеты «За индустриализацию», который уже не раз донимал меня. Вот ведь нашли время для расспросов! Не раздумывая, я закричал:

— Товарищ военный! Надо иметь всё-таки совесть! Если вы уж пожаловали сюда, то не стывкайте по крайней мере людей от работы!

В ответ на столь любезный оклик военный поднял голову. Представляет, это было всем знакомое по портретам лицо — немного свисающие густые усы, слегка тронутые сединой, орлиный нос, чёрные, как спелая вишня, глаза. Когда-то, в незабываемый день 1919 года, я видел эти усы, в то время ещё чёрные, с острыми, как бы слегка закрученными концами, видел эти глаза — глаза члена Реввоенсовета Четырнадцатой армии. Сюда, в наш пролёт, к нашим сборочным плитам, пришёл народный комиссар тяжёлой промышленности Орджоникидзе, товарищ Серго, как его называли повсюду.

31

Едва успев опомниться, я заметил, что сюда, к группе, собравшейся вокруг Серго, идёт Никитин, начальник нашего пролёта. Походка была, как обычно, неторопливой, несколько развальной. Он так же, как только что и я, ещё не разглядел, не догадался, кто этот человек в шинели, оказавшийся глубокой ночью у наших сборочных плит. Я еле сдержался, чтобы не крикнуть Андрею: «Что же ты, друг, не видишь, что у нас за гость?!» Он всё приближался и вдруг, будто на что-то натолкнувшись, приостановился. В этот миг он узнал наркома. Всегда немного тугодум, Никитин на минуту замер от неожиданности.

Затем, уже другой походкой, ставя ногу по-военному, он подошёл к Орджоникидзе.

— Товарищ народный комиссар! Во вверенном мне пролёте группа конструктора Бережкова, строящая отечественный мощный авиационный двигатель «Д-31», ведёт сборку первого блока.

Серго слушал, отдавая честь. И все, кто окружал Орджоникидзе, тоже стали по-военному. Хочется передать вам эту картину. Ночь. Освещённый цех. Его просторы пустынно. Тихо. Нарком и Андрей Никитин стоят друг против друга. Вокруг, как группа бойцов, замерли сборщики. Валя тоже вытянулась, как и все, и, не отрываясь, смотрит на Серго. Недоля очень серьёзен. На нём белый халат. Светлые волосы ничем не покрыты. Где я

его видел таким? И внезапно вспомнилась другая ночь — ночь штурма Кронштадта. Там, на балтийском льду, тоже в белых халатах, только иного покроя, длинных, с капюшонами, мы стояли у аэросаней, прогревая моторы. И потом ринулись вперёд... И сейчас она близка, такая же минута!

Выслушав рапорт, Орджоникидзе пожал Никитину руку. Никитин сказал:

— Разрешите продолжать работу?

Орджоникидзе кивнул.

— Товарищи, все по местам! — скомандовал Никитин.

32

Я соскочил с помоста и направился к наркому, намереваясь извиниться. Он увидел меня, сам шагнул навстречу, протянул руку, улыбнулся.

— Давненько не встречались... Годков, кажется, двенадцать?

Я пробормотал:

— Товарищ народный комиссар, извините, пожалуйста, меня... Прошу вас забыть мою неловкость.

— Нет, не забуду! — Под усами показалась улыбка. — Не забуду! — повторил он. — Если здесь так меня встречают, то... то, значит, уже есть дисциплина и порядок. А?

Он неожиданно взял меня под руку и пошёл со мной по цеху.

— Ну, как? Собралось?

Странно, он употребил наше, особенное, профессиональное словцо. Я не удержался и в ответ показал большой палец.

— Так точно, собралось, товарищ Серго.

Это обращение — «товарищ Серго» — как-то естественно вылетело у меня.

— Головка вплотную пришлась?

Я опять поразился. Откуда он знает всё то, о чём больше всего беспокоился и я? Прохаживаясь со мной, Орджоникидзе задал ещё несколько вопросов, свидетельствовавших, что он до тонкости знал всё о нашем моторе и о нас, кто работал над этим мотором. Затем он спросил:

— А эти искусники что говорят? — Он показал на двух инженеров, посланных к нам из Москвы, и обменялся со мной улыбкой, давая понять, что ему известно, как я их сюда вытягивал.

— Сегодня у них настроение поднялось, — ответил я. — Домой, в Москву, уже не просятся...

— Ничего, если и поворчат... Так идите, работайте, товарищ Бережков. Когда предполагаете произвести запуск?

— Думаю, часа через полтора-два...

— Хорошо... До тех пор не буду вам мешать.

— Товарищ Серго, пожалуйста, сколько угодно.

— Нет... Но если вы не возражаете, я немного отвлеку товарища... Как его зовут? Командующего вашим пролётом.

Отпустив меня, нарком снял фуражку, посмотрел, как идёт сборка, затем подозвал Никитина и пошёл с ним по цеху.

33

Впоследствии мне довелось убедиться, что для Орджоникидзе отнюдь не было редкостью приехать вот так, без предупреждения, на завод и направиться прежде всего не к директору, не в кабинет, а прямо на производство, в цех или на стройку. Он любил взять под руку (так же, как подхватил, например, меня) того или другого инженера, или мастера, или рабочего и, прохаживаясь, разговаривать с ним полчаса-час, разузнавая,

если можно так выразиться, из первых рук всё, что его, наркома тяжёлой промышленности, интересовало. Уже пожилой, грузноватый, он поднимался на самые верхние площадки металлургических печей, спускался в строительные котлованы, в колодцы, туннели, ходил и ходил вдоль и поперёк по заводу, забирался в самые дальние углы, не стесняясь ни расстоянием, ни временем суток, ни погодой. И разговаривал, разговаривал, разговаривал с людьми. Слушал, доискивался, допытывался.

Поговорив с Никитиным, Серго покинул наш пролёт. Мы продолжали сборку. Наконец, уже на заре, когда посветлели окна и стеклянный фонарь крыши, была довёрнута последняя гайка.

Теперь оставалось лишь нажать стартер. Разумеется, мне нестерпимо хотелось сделать это самому, я уже подошёл туда, оглядел всех, но вдруг увидел обращённое ко мне лицо Недоли.

И я произнёс:

— Прошу всех отойти! Внимание! Недоля, запускай!

Ну, пойдёт или не пойдёт? Даст ли хоть одну вспышку? Или останется недвижим? Или... Эти мысли ещё не успели промелькнуть, как вдруг мотор зарокотал. Он сразу принял газ и пошёл, заговорил какими-то особенными, мягкими, бархатными звуками. Мне казалось, что ещё никогда я не слышал ничего более приятного, более мелодичного.

Мы застыли на местах и слушали. Чья-то рука мягко легла на моё плечо. Я встрепенулся. Рядом со мной стоял Орджоникидзе. Шинель была влажной: на дворе моросило. Фуражку он держал в руке. В чёрных волосах, всё ещё густых, непокорно выющихся, виднелось несколько дождевых капель. Был мокрым от дождя и лоб.

— Теперь, надеюсь, не прогоните? — сказал он, наклоняясь к моему уху.

Я в восторге воскликнул:

— Товарищ Серго, слышите, какой бархатистый звук?!

И вдруг Серго расхохотался.

— Бархатистый? Да ведь он ревёт, как сто чертей!

Никитин пробасил:

— Товарищ Серго, это только один блок. А будет тысяча чертей!

Серго всё ещё не мог унять смеха.

— Бархатистый?! — повторял он. — Вот это творец мотора!

34

Через некоторое время блок был выключен. Моя бригада принялась разбирать, изучать части впервые запущенной машины. Мы знали: предстоит долгая доводка. В данном случае мы не задавались целью испытать мотор на длительность работы, а выясняли лишь коренной вопрос: станет ли действовать конструкция.

После опробования, которое, как вы знаете, было удачным, Орджоникидзе направился со мной в конторку, устроенную здесь же в пролёте, огороженную тонкой застеклённой переборкой.

Тут произошёл один, казалось бы, незначительный случай, о котором надо рассказать. Я вам уже говорил, что к моменту сборки мы навели блеск и чистоту в нашем пролёте. Но и конторка выглядела празднично: это уже постаралась моя дотошная Валентина. Ей, выросшей в детском доме, ничего не стоило быстро протереть окна, обмахнуть пыль. На стенах висели новенькие плакаты. На письменном столе красовался прикреплённый кнопками большой лист зеленоватой бумаги, такой же, как в нашей московской квартире. Признаться, поглощённый волнениями сборки, я ни разу не заглянул в мой обновлённый кабинет и теперь с удовольствием видел, как там всё преобразилось.

Орджоникидзе огляделся, подошёл к стёклам перегородки, посмотрел

сквозь них на наш производственный участок, где тоже всё блесело, и сказал:

— Да, постепенно учимся порядку. Наводим чистоту. Что же, у вас, товарищ Бережков, есть специальный уполномоченный по этой части?

— Имеется. Сейчас, товарищ Серго, я вам его представлю.

Я раскрыл дверь и позвал Валю, мысленно благодаря её за то, что она не посрамила нас перед наркомом. Не снимая шинели, Серго сел, жестом пригласил сесть и меня, положил на стол свою защитного цвета фуражку с красной звездой над козырьком и неожиданно нахмурился.

— А это что у вас?

Он указал пальцем на новенький настольный календарь, представлявший собой своего рода рекламный прейскурант немецкой машиностроительной фирмы «Демаг». На многие наши заводы, которые когда-либо покупали оборудование «Демага», фирма ежегодно посылала в качестве подарка подобные изящно отделанные календари. На своём столе я впервые видел эту вещь и, признаться, не вдумываясь, отметил её, как некое достижение в обстановке.

— Это? — сказал я. — Календарь...

— Вижу, что календарь... Но зачем вы его сюда поставили?

Я не знал, что ответить. В этот момент в контору вошла Валя и остановилась в дверях. Серго, нахмурился, листал календарь. Валентина, видимо, догадалась, о чём шёл разговор, и покраснела, мгновенно поняв, что сделала что-то не так.

— Это я положила, — быстро сказала она. — Тут стоял другой календарь. Очень невзрачный... Знаете, «Светоч»? А мне хотелось как-то украсить стол. Вот я и спрятала «Светоч».

— А ну, покажите его, — попросил Серго, не удержав улыбки.

Нагнувшись, Валя вынула из ящика хорошо знакомый мне календарь. Серго положил его перед собой и стал внимательно рассматривать оба календаря. Посмотрел сверху и с изнанки, заинтересовался, как прикреплены листки к подставкам. Потом начал перелистывать немецкий календарь. На каждом листке была напечатана фотография той или иной машины, выпускаемой фирмой. Подписи он прочитывал вслух.

— Подъёмники Оттиса... Сами теперь делаем... Блуминги... Делаем на Ижорском заводе... Вагон-весы... Сами выпускаем в Свердловске и в Одессе... Эскаваторы... В будущем году получим с Уралмаша.

Он перекидывал листки немецкого календаря, прочитывал названия машин и говорил: «Делаем, выпускаем, начинаем выпускать». Это производило огромное впечатление. Шёл 1932 год, последний год первой пятилетки, выполненной в четыре года, и мы, Советская страна, уже выпускали всё и всяческое оборудование, которое раньше покупали в Германии, в Англии и в Америке.

Положив календарь «Демага», Серго взял «Светоч». Бумага была темнее, хуже; деревянная красная подставка отделана грубо. Он стал перелистывать и этот скромный календарь и прочитывать отмеченные там памятные даты.

— Декрет о создании Красной Армии, — произносил он. — Расстрел адмирала Колчака... Выступление В. И. Ленина с броневика на Финляндском вокзале в Петрограде... Первый коммунистический субботник на Московско-Казанской железной дороге...

Наступила минута тишины. Серго молча смотрел на листок с красным числом 7 ноября. Затем он стал читать, строчка за строчкой, всё, что уместилось на этом листке:

— «1917. Великая Октябрьская социалистическая революция. Взятие Зимнего дворца революционными рабочими, солдатами и матросами Петрограда. Открытие Второго Всероссийского съезда Советов, провозгласившего Советское Правительство во главе с В. И. Лениным».

Ниже была указана ещё одна дата: «1929. Статья И. В. Сталина «Год великого перелома». Серго прочёл вслух и эту строку, взглянул на нас и проговорил:

— Мы ещё посмотрим, какие страны... Помните, товарищи, как сказано в этой статье? «Мы ещё посмотрим, какие страны можно будет тогда «определить» в отсталые и какие в передовые».

Держа в руках оба календаря, он усмехнулся.

— Ну вот... Мы-то всё сумели сделать, чем они здесь хвалятся, а они далеко поотстали от нашего списка.

Он взглянул на Валию. Она, снова вспыхнув, сказала:

— Дайте мне этот преysкyрант!

И сунула его в нижний ящик. Орджоникидзе продолжал уже шутливо:

— Ничего, у нас с вами тоже будут красивые календари. Раз уже блуминги научились делать, то с этим справимся.— Он протянул Вале «Светоч».— Поставьте-ка на стол нашему конструктору советский календарь. Как видите, стыдиться его нечего...

35

Затем Серго поговорил с Валей. В те времена он был озабочен проблемой культуры в цехах, во всей нашей молодой индустрии. Ему очень понравилось, как содержались станки и другие рабочие места в нашем пролёте, и он интересовался всеми мелочами, имевшими к этому касательство, вплоть до конструкции индивидуальных шкафчиков, введённых нами. Впрочем, слово «интересовался» не вполне подходит к характеру Серго. Надо бы найти выражение посильнее. Он так близко принимал к сердцу каждое дело, которым занимался, что и тут хотел тотчас же опять пойти в пролёт и рассмотреть эти шкафчики вблизи, но взглянул на меня и произнёс:

— Как идёт ваша работа? Чем вам помочь, чтобы мотор скорее был готов?

— Разрываемся, товарищ Серго. Надо прикомандировать к моей группе ещё хотя бы трёх-четырёх сильных технологов.

Я откровенно и подробно обрисовал обстановку на заводе.

— Мы понимаем,— говорил я,— что в данный момент, когда коллектив завода буквально в муках осваивает новую технику и бьётся над выполнением государственного плана, нельзя требовать, чтобы заводские работники уделяли внимание ещё и нашему экспериментальному мотору...

— Нельзя требовать? — с сомнением переспросил Орджоникидзе.

— Не то чтобы нельзя... Мы требуем, даже скандалим. Но попросту заводу не до нас...

Тут я привёл понравившееся мне сравнение нашей группы с жуком-древоточцем, протачивающим свои пути, но почувствовал, что наркому оно не пришлось по вкусу. Он промолчал, потом неожиданно спросил:

— С Никитиным вы ладите?

— Отлично ладим! Он моя первая опора.

— Позовите его.— Серго встал.— Пройду вместе с ним по всем этим каналам, которые вы тут прогрызли.

Мне показалось, что он произнёс это сердито. Пожалуй, даже со сдержанным гневом.

— Товарищ Серго, ведь я...

Но, видимо, не на меня был обращён его гнев. Он не дал мне договорить.

— Творец мотора! — с улыбкой сказал он.— Другой бы, наверное, не прогрыз...

К десяти часам вечера я и Андрей Никитин были вызваны на совещание в вагон Орджоникидзе. Кущин проявил любезность — прислал нам машину. Вместе со мной уселась в автомобиль и Валя.

— Я вас провожу, — сказала она. — Подожду на станции, погуляю, дождусь конца совещания.

Совещание могло затянуться, но я не спорил, знал, что Валентина в одном схожа со мной — нетерпелива. Конечно, ей было бы трудно усидеть дома в такой час.

Минут за десять до назначенного срока мы с Андреем вошли в вагон наркома. Нас провели в поместительный, обставленный удобной мебелью салон. Орджоникидзе был одет по-летнему — в парусиновые брюки и такой же китель. Ветерок слегка колыхал занавески на открытых окнах.

Мы появились в ту минуту, когда Серго говорил по телефону. Жестом он пригласил нас сесть, а сам тем временем продолжал разговор. Вскоре стало понятно, что он говорит с Москвой, допытывается, задута ли первая доменная печь Кузнецкого завода. Ответы были, очевидно, не вполне определёнными, не удовлетворяли его.

— Выясните поточней, потом звоните мне, — распорядился он и положил трубку.

Затем обернулся к нам и со свойственной ему раскритичностью души признался:

— Иногда, товарищи техники, я завидую вам, дьявольски завидую. Задуть новую печь, запустить новый мотор, какое это заманчивое дело!

Андрей сказал:

— А революция, товарищ Серго, разве не заманчивое дело?

Я подхватил:

— Да, разве это не заманчиво: потрясти, изменить весь мир?

Серго наклонился ко мне, поднёс к густым усам ладонь, словно собирался шепнуть на ухо, и произнёс:

— Скажу по секрету: всё-таки, товарищ Бережков, не поменялся бы с вами специальностями.

В дверь постучали. Вошёл директор Волжского завода, тяжеловес Кущин, в новом добротном костюме, в начищенных ботинках, выбритый. Поздоровавшись с ним, Серго сказал:

— Почему бы, товарищ директор, вам каждый день не иметь такого вида? Глядишь, и завод стал бы почище.

Пришли ещё несколько человек, вызванных Орджоникидзе. Часы на стене вагона начали отбивать десять. Последний удар ещё не прозвучал, как в дверях, к моему крайнему удивлению, появился Новицкий в неизменных сапогах, в суконной, военного покроя гимнастёрке, перехваченной широким ремнём.

— Новицкий, — представился он. — Согласно вашему разрешению, товарищ нарком, прибыл...

— А, лорд-хранитель государственного плана, — сказал Орджоникидзе. — Точен...

— Вылетел самолётом, товарищ нарком.

— Лорд-хранитель государственного плана, — повторил Орджоникидзе. — Плана, переплетённого в золочёную обложку. А неуёмные таланты, чёрт бы их побрал, ломают все установления, нормы, не дают спокойно жить.

Очевидно, Орджоникидзе досконально знал о том, что произошло в институте.

Новицкий не сморгнул. Стоя по-военному, держа руки по швам, он произнёс:

— Товарищ нарком, разрешите мне здесь, в присутствии товарища Бережкова, заявить: полностью признаю свою вину. Был момент, или, верней сказать, период, когда я не понимал значения предложенного им мотора. Теперь весь институт будет повернут лицом к задаче создать в кратчайший срок первый мощный советский авиамотор.

— Сказано, словно по-писаному,— протянул Орджоникидзе.

— Глубоко продумал.

— Что же, если вина открыто признана, долой злобу из сердца. Товарищи, миритесь...

Новицкий повернулся ко мне...

— Алексей Николаевич, я был неправ. Поверьте, нелегко это сказать.

Заявление Новицкого тронуло меня.

— Павел Денисович, больше ни слова!

Он протянул мне руку.

— Алексей Николаевич, с нынешнего дня вместе будем драться за мотор!

— Мировую утверждаю,— сказал Орджоникидзе. Помолчав, он испытующе посмотрел на Новицкого.— А не настанет ли денёк, когда один покаявшийся консерватор станет яростно защищать этот мотор от посягательств одного неумного конструктора? Не скажет ли однажды Бережков: «Павел Денисович, это уже не годится, устарело, всё переделаем по-новому...» — Обратив ко мне большие, блестящие, как спелая вишня, глаза, Серго добавил: — Дай бог, товарищ Бережков, чтобы когда-нибудь вы сами раньше всех это сказали.

Затем он открыл совещание.

— Давайте-ка, товарищи, подумаем, как нам скорей выпустить этот мотор. Он нужен нам до чёртиков, как воздух, как вода. Иностранцы нам продали авиадвигатель, а у самих уже есть кое-что получше. В случае чего нас с этим их двигателем будут бить, как миленьких. А мы не хотим быть битыми. Хотя товарищ Кушин, если судить по его делам...

— Товарищ Серго,— взмолился Кушин,— разве же я против?

— Теперь не найдётся таких чудаков, которые сказали бы, что они против советского мотора. Теперь пошли другие речи: нельзя ли как-нибудь помедленнее взять шаг? Нельзя ли как-нибудь отодвинуть это дело? Кто ставит так вопрос, тот борется против большевистских темпов, то есть по существу способствует врагам социализма, врагам нашей страны, рассчитывающим, что в решающий час мы будем слабы.

Резко, без единого смягчающего слова это высказав, Орджоникидзе обратился ко мне:

— Изложите, пожалуйста, в чём вы нуждаетесь.

Я перечислил наши нужды и в заключение попросил усилить мою группу, командировать в моё распоряжение ещё несколько сильных работников.

Меня поддержал Новицкий:

— Мы выделим для товарища Бережкова нужных ему людей из состава института. Мобилизуем все наши резервы. Я прошу разрешить мне, товарищ нарком, самому выехать сюда с новой бригадой института, чтобы вместе с товарищем Бережковым добиться в кратчайший срок победы.

Орджоникидзе спросил:

— А что думает по этому поводу товарищ Никитин?

Андрей кратко сказал, что согласен с моими предложениями. Затем и Кушин заявил, что не возражает против усиления моей группы.

Орджоникидзе прищурился. Мне показалось, что я вижу хитрые огоньки в его глазах.

— Вот как? Пришли к одному мнению? А я, товарищи, намереваюсь поступить наоборот. Придётся немного подсократить группу Бережкова, кое-кого у него забрать.

— У меня? Ни в коем случае!

— Лишь одного человека. Буду просить у вас товарища Никитина. Плохо ли будет, если он поработает здесь заместителем директора завода? Дадим подмогу Кушину. Чего, Кушин, молчишь? Думаешь, поведёт свою линию? Поведёт! Не будет относиться к советскому мотору, как к подкидышу. Прекратит эту позорную историю, когда группе Бережкова приходится чуть ли не контрабандой добывать детали для мотора... Твоё мнение, Кушин? Может быть, возражаешь против такого заместителя?

— Не возражаю...

— А почему мрачен? «Не возражаю...» Не так, товарищ Кушин, надо разговаривать, когда речь идёт о важнейшем для партии, для Советской власти деле. Вот на Сталинградском тракторном я видел инженера, начальника механического цеха. В нём дьявольский запас энергии. Для него невозможного не существует. Это надо сделать? Сделаем! В какой срок? Сделаем! Трудности? Преодолеем! И делает, даёт! Вот таких инженеров, таких директоров надо нам побольше... Товарищ Никитин, вы принимаете моё предложение? Возьмётесь? Проведёте нашу с вами линию?

Я не выдержал:

— Возьмётся! Проведёт!

В глазах и под усами, в уголках крупных губ Серго, мелькнула улыбка. Сразу яснее обозначилась ямочка на подбородке.

— А я опасался, — не без лукавства сказал он, — что товарищ Бережков действительно ни в коем случае не отдаст никого из своей группы. Ну, раз конструктор мотора благословляет, то...

Он взглянул на Никитина.

— Поработаю, товарищ нарком... Берусь...

— Вам, товарищ Никитин, придётся посоревноваться с вашим братом... Его мотор тоже на подходе...

Я быстро спросил:

— Вы там, у него, были?

— Понаведался... Сейчас вы впереди на полголовы, но... Если зазеваетесь — обгонит.

Нарушая строй заседания, следуя, видимо, течению своих мыслей, Серго вдруг заговорил на другую тему:

— Сравниваю я вот двух конструкторов — Бережкова и Петра Никитина. До чего же разные!.. Один — вспышка, пламень, озарение, другой — методика, ровное напряжение, умение всё предусмотреть. До чего разные таланты! И ведь оба большевики в технике. И не скажешь даже, который лучше.

Слушая, я предвкушал, как изложу всё это своей Валентине. Талант... Большевик в технике... Физиономия, очевидно, выдала меня. Возможно, я даже порозовел от удовольствия. Во всяком случае, Серго тут же позаботился о том, чтобы я не слишком занёсся.

— А ведь Пётр Никитин лучше работает с людьми, товарищ Бережков. Лукин-то оказался у него превосходным работником.

— Лукин? — только и нашёлся молвить я.

В памяти всплыл добродушный, рыхловатый блондин, старший конструктор АДВИ, с которым я не поладил с первых же дней работы у Шелеста. Этот тугодум раздражал меня своей, как мне казалось, вечной вялостью, медлительностью. Став главным конструктором, я порой, не выдержав, отбирал у него чертежи, чертил сам. И вот... У Петра Никитина, в его группе, он оказался хорошим работником, даже отличным,

раз уже нарком так отзывается о нём. Придётся и об этом рассказать Вале.

Меж тем Орджоникидзе повернулся к Новицкому.

— Как видите, усиливать группу Бережкова не придётся.

— Считаю всё же необходимым, товарищ нарком, принять личное участие в работе здесь, на месте.

— Если вы так рвётесь потрудиться для мотора Бережкова, то для вас, возможно, найдётся другое серьёзное задание.

Орджоникидзе, к моему торжеству, заговорил о заводе, который, вероятно, придётся строить для выпуска «Д-31». Он спросил Новицкого:

— Хотели бы вы построить этот завод?

— Почёл бы долгом и честью для себя.

— Хорошо. Буду это помнить. Память у меня хорошая.

Затем совещание продолжалось. Серго обсудил с нами и решил ещё несколько организационных и технических вопросов. Около полуночи ему позвонили из Москвы. Открытое, крупных очертаний лицо Орджоникидзе — человека, которому было уже под пятьдесят, — живо, по-молодому передавало движения души.

— Значит, буду уже в пути, когда задуют? Шлите мне молнию по линии. Что? Не страшно, если разбудят...

Он рассмеялся в ответ на какую-то неслышную нам реплику и проговорил:

— Мечтаю, чтобы разбудили... Шутка ли, первая домна в Кузнецке!

Положив трубку, он сказал:

— Помните, какие были толки за границей по поводу Магнитки и Кузнецка? Предсказывали, что сядем в лужу... Оказывается-то, не мы садимся в лужу.

Затем он вернулся к обсуждению наших дел.

...После совещания Орджоникидзе вышел вместе с нами из вагона, надев шинель внакидку.

Сияла полная луна. Путьевые будки, вагоны на запасных путях, столбики около скрещений отбрасывали чёткие тени. Фонари у здания станции освещали перрон. Там былолюдно, вскоре ожидался поезд на Москву..

Где же Валя? Пересекая запасные пути, поглядывая по сторонам, я направился к станции. Бригада железнодорожников, расхаживающих с фонарями, готовила к отправлению длинный товарный состав. Я приостановился. Возле одного из вагонов можно было различить женскую фигурку в знакомой мне светлой косынке. Любопытно, что там делает моя Валентина?

Нагнувшись, она с таким вниманием наблюдала за работой смазчика, что не заметила, как я приблизился.

— Добрый вечер, дорогая жена, — не выдержал наконец я.

Валя выпрямилась, подозвала меня.

— Погляди, как работает. Глаз не оторвёшь.

Смазчик меж тем перешёл к другой оси. Фонарь висел у него на груди, руки были свободны. Быстро откинув крышку подшипника, он одним движением невидимого в полутьме крючка извлёк чёрную, напитанную маслом паклю, прикрывавшую шейку оси, поднёс к блеснувшему металлу маслёнку, снабжённую, очевидно, каким-то особенным приспособлением, и почти мгновенно налил требуемую порцию масла, даже не капнув на утопанную гальку. Он не обращал на нас внимания, не взглянул и на Серго, который подошёл сюда же в накиннутой на плечи шинели, подставляя обнажённую голову свежему ночному ветерку.

— Расчётливо действует, обдуманно, точно, — сказал Орджоникидзе.

— Я давно уже смотрю, товарищ Серго, — откликнулась Валя.

Смазчик обернулся. Мы увидели обросшее курчавой бородкой привлекательное круглое лицо. Худощавый, небольшого роста, он нас живо оглядел. Свет его фонаря задержался на фигуре Орджоникидзе.

— Разрешите продолжать, товарищ народный комиссар?

— Работаете вы, товарищ, замечательно. Приятно смотреть, — сказал Серго.

— Раньше мне не позволяли так работать. Мол, нарушаешь правила. А теперь доверили...

— Нарушаешь правила? — с интересом переспросил Серго. — Какие же это правила?

— Вы извините, товарищ Орджоникидзе, я сейчас разговаривать не могу. Я должен заканчивать.

— Заканчивайте, заканчивайте...

Смазчик пошёл дальше, к следующей оси, а за ним, любуясь им, его сноровкой, следовал Орджоникидзе. Вот он снова обратился к смазчику:

— Скажите, вы не проехали бы со мной немного? Поговорили бы... Встречным вернётесь.

— А отпустят? — спросил смазчик.

— Попробуем нарушить правила, — улыбнулся Орджоникидзе. — Может быть, окажут нам доверие, разрешат.

Серго заметил на перроне дежурного в красной фуражке и направился к нему. Мы с Валей пошли вслед. Дежурный вытянулся перед наркомом.

— Через двадцать минут, товарищ народный комиссар, подойдёт московский... К нему прицепим ваш вагон.

— Знаю... Я к вам, товарищ, по другому поводу. Можно попросить вас отпустить со мной вон того смазчика на несколько часов? Как он у вас? На каком счету?

— Хороший рабочий... Быстро обрабатывает составы. — Повидимому, желание наркома казалось дежурному удивительным. — Но ему, товарищ народный комиссар, следовало бы помыться, переодеться. Он всё там у вас измажет.

— Ничего. В вагоне найдётся умывальник. Да и переодеться, пожалуйста, что-нибудь ему найдём.

Прощавшись с Валей и со мной, Серго, сопровождаемый дежурным, снова пошёл к смазчику.

Мы с Валей ещё побродили у станции, потом по тропке, проложенной вдоль насыпи, зашагали домой. Валя озябла в своей вязаной кофточке, мы шли, прикрывшись одним пиджаком.

Близ выходного семафора, светившего зелёным глазком, нас обогнал московский поезд. Он не развил ещё полного хода, мимо нас проплывали освещённые вагоны. Вот и последний вагон... Я сразу узнал занавеску, которую раньше, когда окно было открыто, слегка колыхал ветер. Теперь оконная рама была поднята. Две тени смутно вырисовывались на занавеске. Был различим профиль Серго, подавшегося к сидевшему напротив собеседнику, лицо которого охватывала короткая курчавая бородка.

Поезд прогрохотал. Мы стояли в тишине под открытым небом.

Валя смотрела вслед исчезающему поезду, стояла, угкнувшись подбородком в моё плечо.

— Серго с этим смазчиком так же, как с тобой? Верно? Он везде ищет талантливых людей, нарушителей шаблона.

У меня вылетело:

— Не то, что Новицкий.

— И сравнивать не смей! Я и сегодня не верю ему!

Попрежнему прикрывшись одним пиджаком, мы пошли дальше под сверкающими весенними звёздами.

Постройка мотора и, главное, доводка его заняли ещё приблизительно полгода. Наконец ранней зимой 1932 года, по первому снежку, мотор погрузили и повезли в Москву на государственное испытание. На заводе он был уже испытан, непрерывно проработал семьдесят пять часов. Это была новая, повышенная государственная норма.

37

— А затем,— сказал Бережков,— я опишу вам, мой друг, одну ночь, последнюю ночь государственного испытания «Д-31».

Я провёл эту ночь дома. Перед этим больше двух суток я не спал и никуда не мог уйти от стенда, на котором происходило испытание, — то где-то сидел, то бродил, шатался без дела, ибо на государственном испытании конструктору уже не разрешено ни во что вмешиваться.

«Д-31» уже миновал заветную когда-то зарубку. — пятьдесят часов непрерывной работы на разных режимах. Но теперь была новая норма — семьдесят пять! Ещё сутки должен был крутиться мой мотор. На пятьдесят девятом часу испытаний приехал Родионов, увидел меня, почти оглохшего от страшного воя, с каким-то одеревеневшим, как я сам это чувствовал, от бессонницы лицом, и распорядился немедленно посадить меня в машину, отправить домой спать.

Помнится, было девять или десять часов вечера. Дома мне приготовили ванну, накормили, уложили, но я не мог заснуть. Рядом сидела Валя, мы тихо разговаривали. Форточка была открыта. И сквозь все шумы Москвы — дребезжание трамваев, стрекот и гудки автомобилей, звуки шагов под окном, то быстрых, молодых, то шаркающих, невнятные обрывки разговоров, иногда чей-то возглас, смех, — сквозь всё это я различал далёкую-далёкую ноту мотора.

— Валя, слышишь? Дали форсаж...

Она улыбалась.

— Это Маша возится с примусом... Спи...

— Нет, примус само собой... Слушай, слушай... Гудит, как шёлковая ниточка.

Она уступала, как ребёнку:

— Конечно, гудит... Засыпай...

Пожалуй, никто, кроме меня, не смог бы в городском шуме уловить её, эту тончайшую ниточку звука, простите, не подберу другого выражения. Вот мотор оглично выдержал форсаж. Сбавлена сотня оборотов. Хорошо, очень хорошо работает... Ровно вибрирует в воздухе Москвы струна, которую слышу только я.

И я уснул. Спокойно, глубоко, без сновидений. Уснул, как утонул. И вдруг меня словно подбросило. Я в темноте вскочил. В первый момент не понял, что случилось; лишь душу томило ощущение какого-то страшного несчастья. Форточка попрежнему была открыта. Под окном слышались скребущие звуки железа: скребком или лопатой дворник счищал с асфальта снег. Прошёл трамвай. Ага, уже светает. Москва просыпается. Но что же случилось? Какое несчастье? Почему так ноет сердце? Боже, а мотор?

Я кинулся к форточке. Вчера вечером ничто, даже шипение примуса, не помешало мне воспринимать далёкий звук мотора, единственную волну, на которую я весь, всеми кончиками нервов, был настроен, а сейчас в тихой предутренней Москве ухо уже не улавливало этой ноты. Нет, не может быть! Я снова вслушивался. Высунулся в форточку. Напрасно. Ниточка оборвалась. Мотор замолк. Это был... Где мои часы? Это был

шестьдесят седьмой час испытания. Значит, мотор не дотянул восьми часов.

Не помню, как я оделся, выбежал, как нашёл где-то такси или просто какую-то проходящую машину и полетел на завод, где происходило испытание. Всюду лежал свежий, выпавший за ночь снег. Выдалось очень тихое, безветренное утро. В рассветной полумгле было заметно, как дым из труб столбами поднимался в бледнеющее небо, на котором ещё не погасли последние две-три звезды.

Безветренное... Чёрт побери! А ведь вчера был ветер! И Валя сказала — да, да, это внезапно припомнилось с невероятной ясностью, — сказала: «Прикройся. Ветер прямо в форточку...» Да, был ветер в нашу сторону. Так, значит...

Я с размаху стукнул шофёра по колену.

— Стой!

Он удивлённо взглянул:

— Подождите. Сейчас проедем площадь.

— Стой! — закричал я.

Он затормозил. Я открыл дверцу, выскочил. Это были Красные ворота. Отсюда до места испытаний на несколько километров ближе, чем от моей форточки. Я стоял на асфальте, на пути машин, как столб. Да, так и есть! В утреннем безветрии я опять уловил её, тончайшую нить звука. Мотор жил, мотор гудел. И ничего другого я не слышал.

Опомился от свистка милиционера. Он подошёл почти вплотную и свистел мне чуть ли не над ухом. Я стал извиняться. Не знаю, наверное, в этот момент у меня была бессмысленно счастливая улыбка. Строгий постовой покачал головой и вдруг тоже улыбнулся. Он хотел провести меня на тротуар. Но я сам прошагал туда.

В ушах — нет, не в ушах, а будто во всём теле, или, вернее сказать, в душе, — звучала далёкая ровная нота мотора. Я шагал к Лефортову. Это восточная часть Москвы. И вдруг где-то на Басманной, прямо перед собой я увидел солнце — большое, пламенеющее, чуть поднявшееся над горизонтом. На пустынной улице, где в этот час ещё почти не было прохожих, я протянул к нему руки.

Шесть часов спустя закончилось государственное испытание. Правительственная комиссия приняла «Д-31». Наконец наша страна имела свой мощный авиационный мотор, самый мощный мотор в мире.

Надо рассказать ещё об одной встрече с Орджоникидзе. Это было уже после трагической гибели Дмитрия Ивановича Родионова, после авиационной катастрофы, которая так потрясла всех нас...

Итак, шла осень 1935 года. В Институте авиационных двигателей, где я попрежнему был главным конструктором, заканчивался рабочий день. И вдруг звонок из секретариата народного комиссара тяжёлой промышленности. Что такое? Оказывается, я срочно понадобился Орджоникидзе. Пока машина мчала меня до площади Ногина, я, глядя сквозь залитое струями дождя стекло, прикидывал, о чём сейчас со мной будет говорить нарком. Выходило, что разговор пойдёт о моторе «Д-31».

Для производства этого мотора был сооружён новый огромный завод. Туда в качестве начальника строительства был переведён, или, как говорится, переброшен, Новицкий. Он сумел там проявить, надо отдать ему должное, свои сильные качества и был после пуска назначен директором завода.

И вот проходит 1933 год, 1934-й, 1935-й, завод работает, там выпускается моя конструкция, наш отечественный мощный авиационный мотор,

а ко мне это словно не имеет никакого отношения. На завод меня не приглашают, не зовут. Оставшись в институте АДВИ, уже неузнаваемо разросшемся, получившем собственную прекрасную экспериментально-производственную базу, я, конечно, наряду с прочими делами занимался время от времени и мотором «Д-31», исследовал, изучал его — теперь уже в том виде, как он сходил с заводского конвейера: образцы одного года, второго года, третьего.

Да, мотор выпускался, выпускался в точности таким же, каким когда-то мы его сдали на государственное испытание. Сначала это радовало, потом стало тревожить, потом... Не буду, однако, описывать своих переживаний. Изложу существо вопроса. Дело в том, что мотор почти не совершенствовался. Его мощность не возрастала. А в технике беспощадные законы. Сегодня ваш мотор самый передовой, самый мощный в мире, а через год-два, если вы не сумели ещё повысить его мощность, или, как мы говорим, «форсировать», он неизбежно, неотвратимо становится отсталым, нежизнеспособным, оттесняется в мировом соревновании. Не мог дальше развиваться и новый скоростной большой самолёт Ладошникова, оснащённый нашим мотором.

Я всё с большей тревогой рассматривал очередные экземпляры «Д-31», прибывающие в институт, — того самого, точь-в-точь такого же «Д-31», над которым ещё столь недавно я так восторженно работал.

Не буду описывать и моих попыток вмешаться в заводские дела, всяких моих предложений, с которыми я обращался на завод. Новицкий сухо отстранял, оттирал меня.

— Я отчитываюсь перед правительством, — заявлял он, — а не перед вами. И о заводе можете не беспокоиться. Вас это совершенно не касается.

— Как «не касается»? Ведь это же мой мотор!

— Ваш? Извините, у нас нет частной собственности на моторы.

И проходили, как я сказал, годы, а завод так и не давал стране форсированных, то есть с повышенной мощностью, моторов «Д-31».

Что делать? В мыслях не раз представал Родионов таким, как он мне запечатлелся, — со свойственной ему прямизной во всём: в деле, в слове, даже в очертании внешности. Вы знаете, кем он для меня был.

Завод, где выпускался «Д-31», назвали именем Родионова, но к самому Дмитрию Ивановичу я уже пойти не мог...

Давний друг Андрей Никитин был далеко; он до сей поры работает на Волжском заводе. Иногда думалось, что надо бы обратиться прямо к Орджоникидзе.

И вот он сам вызывает меня.

Позже я узнал, как это случилось. Оказывается, в тот день Орджоникидзе созвал у себя руководящих работников завода имени Родионова. Мне не было ничего известно об этом совещании. Между тем в кабинете наркома происходило следующее. Серго поставил вопрос в упор: «Почему завод не даёт форсированных моторов? Почему «Д-31» мало-помалу становится отсталым мотором?» И стал выслушивать объяснения, вникая по своему обыкновению во все мелочи, добираясь до корня беды. Объяснения, конечно, приводились всякие. Говорилось, что на заводе слабы испытательные лаборатории, что следовало бы повысить класс точности в обработке ответственных деталей, что некоторые цехи надо дополнительно оснастить оборудованием. Ссылались и на конструкцию; она-де по своему характеру крайне трудно поддаётся форсировке, мотор ломается при всякой попытке повысить его мощность.

Тут Серго, как мне передавали, спросил:

— Позвольте, а где же конструктор мотора?

Директор завода — известный вам Павел Денисович Новицкий — ответил, что мотор создавался общими усилиями, что конструктором является по существу коллектив — в своё время коллектив АДВИ, а ныне конструкторское бюро завода.

— А я помню, — сказал Орджоникидзе, — что встречался с автором мотора Бережковым. Почему он не присутствует на совещании?

Новицкий объяснил, что Бережков-де на заводе не работает, а служит в АДВИ, в Москве. Тогда-то Орджоникидзе и распорядился немедленно вызвать меня на совещание.

Как только я приехал, мне тотчас, без малейшей проволочки, предложили войти в кабинет наркома. Там в эту минуту говорил Новицкий. Глядя в блокнот, он приводил какие-то цифры. Неподалёку, держа наготове, или, может быть, лучше сказать, наизготовку, раскрытую пухлую папку, сидел Подрайский, его заместитель. Всё в этом толстяке было в отличном состоянии: костюм, бархатистые седые усы, розовый цвет лица. «Непотопляемый! — мелькнуло у меня. — Непотопляемый, как вездеход-амфибия». Подрайский дружески кивнул мне. Новицкий продолжал невозмутимо докладывать. Однако Орджоникидзе жестом остановил его. Поздоровавшись со мной, нарком строго спросил:

— Товарищ Бережков, кто является творцом мотора «Д-31»?

Меня поразила эта неожиданная строгость его тона. Не задумываясь, я ответил, как привык отвечать всегда:

— Творцом мотора является создавший его коллектив.

— Но кто же автор? Автор конструкции, несущий за неё ответственность? От этого вы не отказываетесь?

— Нет, товарищ Орджоникидзе.

— Можете ли вы объяснить, почему не возрастает мощность вашего мотора?

— Могу. Потому что над ним неправильно работают.

— В чём же заключается неправильность?

— В том, товарищ Орджоникидзе, что нет единой конструкторской мысли в деле усовершенствования этого мотора. На заводе сменилось три главных конструктора. Каждый что хочет, то и делает. Нет единой воли. Организованного и направленного конструкторского творчества на заводе нет.

— И вас это совершенно не мучило?

— Мучило...

— Почему же вы, конструктор, не проявили энергии в борьбе за развитие вашего мотора? Оказывается, над вашей машиной по-всякому мудрили, губили её будущее, а вы терпели.

— Товарищ Орджоникидзе, я написал много заявлений.

— Вас это не оправдывает. Что вы, не могли прийти ко мне? Кто мог вас остановить, когда дело шло о жизни или смерти вашего творения? Кто же будет заботиться о вашем детище, следить за каждым его шагом, если вы, создатель машины, молчите?

Мне нечего было отвечать, я не оправдывался. Серго продолжал мягче:

— Скажите, товарищ Бережков, вы смогли бы форсировать мотор?

— Да. Я глубочайше уверен, что если я сконструировал мотор, то мог бы его и форсировать.

— И вы взяли бы?

— Ещё бы... В любую минуту готов.

Серго посмотрел на Новицкого.

— Не понимаю, товарищ Новицкий, почему вы всё-таки не привлекли Бережкова к работе на заводе?

Лицо Новицкого казалось красным: на нём проступили мелкие склеротические жилочки. Под глазами набрякли мешки. Он твёрдо ответил:

— У меня, товарищ нарком, на этот счёт были свои соображения.

— Выкладывайте их...

— Товарищ нарком, мне нужен на заводе сплочённый, здоровый коллектив. Мы, долго работавшие бок о бок с Бережковым, знаем его замашки. Он недисциплинирован, нередко ведёт себя, как индивидуалист, как анархист, может разложить любой коллектив. Разумнее было обойтись без его услуг.

— Разумнее? Может быть, спокойнее?

Серго произнёс это побагровев, всплыв. Он с грохотом отодвинул стул, поднялся, бросил карандаш, который полетел на пол, и, тяжело дыша, добавил:

— Воображаю, как чувствовал бы себя Бережков, работая у такого руководителя.

Выразительнее всего в лице Серго были глаза. Существует выражение: глаза метали молнии. Там, в кабинете, глядя на охваченного гневом Серго, я впервые воочию увидел, что это не только пишется в книгах. Сдержав себя, он стал прохаживаться вдоль своего стола.

— Что же, товарищи,— наконец заговорил он,— будем подводить итоги. Мы разобрали серьёзнейший, весьма поучительный случай.— Взгляд Орджоникидзе остановился на мне.— Товарищ Бережков сконструировал, изобрёл, довёл машину. Спрашивается: кто является хозяином, отцом этой машины? Вы, товарищ Бережков, её отец. А вместо вас воевать за ваше детище приходится мне. Не правильнее ли взять и назвать мотор вашим именем? То есть именовать его не «Д-31», а «Алексей Бережков-31». Тогда всем будет понятно, кто является хозяином машины. Тогда и вы, товарищ Бережков, почувствуете свою ответственность.

Затем Орджоникидзе предложил принять решение: официально обратиться к правительству с просьбой о переименовании мотора.

— Может быть, кто-нибудь желает возразить?

Нет, возражающих не было.

— Главным конструктором завода, — продолжал Серго, — должен быть тот, кто является автором мотора... Товарищ Новицкий! Обязуетесь ли вы создать вашему новому главному конструктору необходимые условия для работы?

Теперь Новицкий заговорил по-иному:

— Разумеется. Все условия будут созданы.

— Смотрите... Верю вам в последний раз.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Истекло два десятилетия. Самолёты Ладошникова, моторы Бережкова хорошо поработали в годы великой войны. В мирные дни страна узнала и имя Ганышина: величайший скептик среди математиков дал в развитие трудов Жуковского теорию и расчёт реактивного двигателя.

Как-то отнесутся они, столь маститые, прославленные работяги, ставшие уже старшим поколением авиации, к этой книге об их молодости?

Взяв с собой рукопись романа, я поехал к Бережкову. В прихожей меня встретила Валя, то есть, разумеется, Валентина Дмитриевна. Лицо её, подсушенное временем, было, как всегда, приветливо. Однако она насторожилась, когда я протянул ей две объёмистые папки, на каждой из которых было выведено: «Жизнь Бережкова».

— Что ж это? Ещё один портрет?

— Разве такие работы уже были? Про Алексея Николаевича? — не без некоторого беспокойства спросил я.

— Бывали... — неопределённо ответила хозяйка дома.

Вместе со мной Валентина Дмитриевна прошла в просторную комнату с большим роялем. У рояля, перебирая клавиши, сидела худенькая девица, возможно, уже студентка. Валентина Дмитриевна представила её:

— Наша старшая...

Тем временем в комнату вошёл Бережков. Ого, он располнел, мой герой! Прихрамывающая походка стала грузноватой.

Я указал на папки, которые положил на круглый полированный стол. — Алексей Николаевич, читайте... Требуется ваша виза.

Бережков почему-то помедлил, покосился на жену и дочь, потом всё же развязал тесёмки на одной из папок, раскрыл наудачу рукопись. Небольшие зеленватые глазки побежали по случайно открывшемуся тексту. В какое-то мгновение проступила, заиграла прежняя плутовская улыбка. Рассмеявшись, Бережков начал читать вслух. Я выслушал знакомый диалог:

«— А на аэродром мне с вами нельзя, Алексей Николаевич?

— Нельзя.

— Секрет?

— Да... Тсс... Ни звука...»

В этом месте Бережков оборвал чтение. Что-то он скажет? Он, однако, молчал. Вновь покосившись на близких, он аккуратно сложил потревоженные листы рукописи, завязал папку.

— Не буду читать!

— Алексей Николаевич, почему же?

— Зарёкся... Обещал Ладосникову, да и вот этим строгим девочкам, — Бережков посмотрел на жену и дочь, — никогда не давать заключений по поводу моих портретов... Есть, знаете ли, один роковой закон.

— Роковой? Какой же?

В глазах Бережкова мелькнули юмористические искорки. Подняв, как и в давние времена, указательный палец, он прошептал:

— Тсс... Ни звука... Секрет...

Виза всё же требовалась. Пришлось обратиться к Ладосникову. Так, волей судьбы, рукопись романа, а вместе с ней и автор пропутешествовали в Ленинград.

Квартира Ладосникова, пережившая войну, ленинградскую блокаду, показалась мне отнюдь не столь величавой, как я сам расписал её в романе со слов Бережкова.

Хозяйка вышла ко мне в прихожую, ту самую прихожую с большим трюмо, перед которым когда-то, четверть века назад, Бережков, прижимая к груди чертежи, застыл, по его собственному выражению, в классической позе изобретателя. Людмила Карловна, как и тогда, оказалась приодетой, тщательно причёсанной. Впрочем, по описаниям Бережкова, я помнил её темноволосой, теперь строгая причёска была сплошь белой, серебристой.

Голова Ладосникова — выражаясь точнее, голова академика Ладосникова — тоже стала седой. Лишь лохматые брови устояли, не поддались времени, остались сивыми.

Худошавый, немного сутулящийся, Михаил Михайлович что-то буркнул о переменах, происшедших в моей внешности, и усадил на диван, куда я положил и папки с рукописью. Естественно, я рассказал про недавнюю встречу с Бережковым, про его загадочную фразу относительно «рокового закона».

Ладосников усмехнулся.

— Секрета в этом нет...

И поведал следующую историю.

Как-то после войны один известный московский художник выразил желание написать портрет Бережкова. Тот, польщённый, согласился. По-

началу это было тайной от жены и друзей. Лишь впоследствии близкие установили, что перед сеансами Бережков каждый раз прибегал к услугам парикмахера, выезжал в мастерскую художника тщательно выбритый, в парадном, подбитом ватой генеральском мундире, при всех звёздах, орденах и медалях. Дознавшись, Валентина Дмитриевна попробовала вмешаться, но Бережков объявил:

— Художник на правильном пути. Я сам руковожу его работой.

За несколько дней до открытия выставки, где среди прочих полотен должен был экспонироваться и портрет Бережкова, он повёз своих близких полюбоваться законченным произведением. Случайно в Москве находился Ладошников. Бережков пригласил и его.

Наш герой был изображён во весь рост. Золотые пуговицы, погоны были выписаны с завидным мастерством. На зрителя смотрели красивые голубые глаза.

— Ну как? Что скажете? — допытывался, волнуясь, Бережков, будто он сам был автором картины.

Собравшиеся отмалчивались. Ладошников сказал:

— Поедем-ка к тебе. Потолкуем за стаканом чаю.

У Бережковых Ладошников сразу прошагал в кабинет хозяина, прошёлся взглядом по книжным шкафам.

— Где-то здесь я видел книгу «Мастера искусства об искусстве».

— По-моему, была, — неуверенно сказал Бережков. — Да, помнится, я покупал когда-то.

— И прочёл?

— А как же?! — не сморгнув, отвечивал Бережков.

Книга была общими усилиями отыскана. Ладошников полистал её, открыл «Мысли об искусстве» знаменитого французского скульптора Родэна, отчеркнул несколько абзацев, подал Бережкову. Тому пришлось проглотить горькую пилюлю. Читатель, надеюсь, не посетует, если мы приведём эти абзацы, мысли Родэна, отмеченные рукой Ладошникова. Вот они:

«По какому-то непонятному и роковому закону заказывающий свой портрет всеми силами противодействует таланту художника, которого сам же выбрал.

Человек очень редко видит себя таким, каким он есть, а если даже и знает себя, то неприятно поражён, когда художник передаёт его наружность правдиво.

Он желает быть представлен в самом безличном и банальном виде официальной или светской куклы. Его личность должна быть совершенно поглощена его должностью или положением в свете. Прокурору интересна только его тога, а генералу — расшитый золотом мундир.

...Чем напыщеннее портрет или бюст, чем больше он похож на безжизненную деревянную куклу, тем больше он удовлетворяет клиента».

— Я бы на твоём месте не появлялся в залах выставки, пока там будет красоваться твой портрет, — посоветовал Ладошников.

В итоге разговора, участницами которого явились и две «строгие девочки» — жена и старшая дочь Бережкова, — он дал слово своему другу никогда больше не быть приёмщиком собственных портретов.

Ладошников согласился прочесть рукопись. Несколько дней спустя я вновь побывал у него. Роман был уже прочитан.

Михаил Михайлович начал свой отзыв так:

— Оказывается, в вашем деле тоже бывают удивительные случаи.

Отвечая на немой вопрос, выразившийся на моём лице, он пояснил:

— Бережков нафантазировал, вы нафантазировали, а в результате... Я подхватил, уловив одобрение в его тоне:

— Минус на минус даёт плюс?

— Некоторые минусы всё же остались... Но вы, пожалуй, от них не избавитесь. Они в натуре вашего рассказчика. Уж очень красочно наш уважаемый Бережков расписывает минуты своих озарений... Впрочем, писателю указывать не берусь.

Но я настоял, чтобы Ладосников высказался.

— В качестве своего героя вы взяли безусловно талантливого человека,— продолжал Ладосников.— Но особенности его таланта вовсе не являются наиболее характерными или самыми распространёнными. На вашем месте я бы это подчеркнул. Бережков лишь один из многих, не похожих друг на друга по стилю работы конструкторов. Кроме того, нам-то всем это хорошо известно, он слишком любит распространяться о себе. И порой забывает о своих помощниках, товарищах, о коллективе, главой, душой которого является автор-конструктор.

— А вы, Михаил Михайлович, по-иному изложили бы все эти вопросы творчества?

— Я? Несомненно. Да и всякий иной из наших конструкторов тоже изложил бы по-своему. Но это была бы уже другая книга.

— Другая книга?

— Да. И такая же толстая.

— Михаил Михайлович, может быть, мы с вами возьмёмся за неё?!

— Что ж, пожалуй, дело стоящее...

Друг читатель, могу тебе сообщить: беседы с Ладосниковым начаты. Хочется после «Жизни Бережкова» дать ещё одну книгу о конструкторе — конструкторе совсем иного склада.



ТАТЬЯНА ТЭСС

★

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Рассказ

В коридоре Клавдия Леонидовна встретила с заведующим отделом информации. Он испуганно взглянул на неё и посторонился с преувеличенной вежливостью. Но Клавдия Леонидовна прошествовала по коридору дальше, минуя отдел. Заведующий, облегчённо вздохнув, проводил её взглядом и, определив, что она направилась на территорию экономического отдела, беззаботно побежал в буфет есть сосиски.

Редактор экономического отдела сидел за столом и правил передовую. Это был невысокого роста человек с большим, широко развёрнутым лбом и живыми умными глазами. Увидев Клавдию Леонидовну, он отодвинул передовую в сторону.

— Приветствую вас, Клавдия Леонидовна! — бодро сказал он, но глаза его смотрели на гостью встревоженно. — Как самочувствие?

— Благодарю вас... — Клавдия Леонидовна села и неторопливо вынула из кармана синего, хорошо отглаженного жакета очки. — Дело в том, Сергей Борисович, — ровным голосом сказала она, — что в заметке, идущей по вашему отделу, есть небольшая неточность. Садово-огородный трактор «ХТЗ-7» назван трактором «ХМЗ-6». Вы исправите или, может быть, хотите оставить так? — И она так же неторопливо вынула из другого кармана маленькую гранку с жирно подчёркнутой красным карандашом строчкой и вопросительным знаком на полях.

— Ну, конечно же, я сейчас исправлю... — Редактор отдела быстро взял из её рук гранку. — Ох, Стогов, Стогов, вечно у него ошибки! Большое спасибо, Клавдия Леонидовна...

— Пожалуйста... — Встав с кресла, она направилась к дверям, выходящая и строгая, в синем костюме мужского покроя, в белоснежной блузке, с тщательно причёсанными пепельными волосами, тронутыми сединой. Уже в дверях, полуобернув голову, она небрежно сказала через плечо: — Да, Сергей Борисович, в статье «На экономические темы» указано, что мощность Приозёрской ГЭС запроектирована на семь тысяч киловатт. На самом деле её мощность — семьдесят тысяч. Возможно, ошиблась машинистка при перепечатке. Я это уже исправила сама, вы не возражаете? — И, невозмутимо посмотрев сквозь очки на похолодевшего Сергея Борисовича, она закрыла за собой дверь.

Выйдя из экономического отдела, Клавдия Леонидовна спустилась в библиотеку. Она аккуратно развернула ещё влажную, только что сверстанную статью об Индонезии, обложилась со всех сторон справочниками и углубилась в чтение. Изредка она, осуждающе сжав губы, подчёркивала какую-нибудь строку или ставила на полях «птичку».

Клавдия Леонидовна Крамская заведовала так называемым «бюро проверки» редакции большой газеты. Работа её заключалась в том, что она проверяла все цифры и цитаты, все наименования географических

пунктов, все точные сведения, будь то показатели рекордов токарей-скоростников или название полотна итальянского мастера эпохи Возрождения, — словом, весь разнообразный, огромный материал, приготовленный для текущего номера газеты. О её поразительной способности вылавливать ошибки и неточности ходили легенды.

Редакторы отделов боялись её как огня. Когда Клавдия Леонидовна появлялась в дверях кабинета, любой сотрудник редакции испытывал томительное стеснение в груди. Приход её обозначал, что в статье или заметке обнаружена ошибка. Определить размер ошибки по каменному лицу Клавдии Леонидовны было невозможно, и заведующий отделом, притихнув, как кролик, терпеливо ждал, пока она с достоинством сообщит ему свои соображения и станет ясно, можно ли успеть внести поправку на ходу или надо идти к начальству для неприятных объяснений.

Покончив со статьёй об Индонезии, Клавдия Леонидовна сняла трубку внутреннего телефона и позвонила в иностранный отдел. Сегодня в отделе дежурил Гогуа, красивый и весёлый молодой человек, недавно закончивший институт. Замечания Клавдии Леонидовны он выслушивал внимательно, всегда вставал, когда она входила в комнату, но в его тёмных красивых глазах поблёскивали такие непочтительно насмешливые искорки, что Клавдия Леонидовна предпочитала во время дежурства Гогуа в отдел не заходить. К тому же она узнала, что он за глаза называет её «Немезидой Леонидовной», что было уже просто бестактно.

Услышав в трубке добродушный и громкий баритон, Клавдия Леонидовна, морщась, отодвинула её подальше от уха и холодно сообщила о географических «разночтениях», обнаруженных в индонезийской статье. После этого она с глубоким вздохом придвинула к себе материалы отдела литературы и искусства.

С этим отделом у Клавдии Леонидовны велась давняя и упорная война. Материалы отдела всегда сдавались наспех, цитаты часто были не проверены, источники не указаны, вечно происходила путаница с фамилиями персонажей пьес, инициалами авторов. Вот и сейчас, пробежав глазами первый абзац, Клавдия Леонидовна заметила, что имя знаменитого итальянского скульптора и живописца Верроккьо написано без второго «к». Она исправила ошибку и, значительно подняв брови, принялась читать дальше, но тут же обнаружила, что очерк Горького «Люди наедине сами с собою» был назван «Человек наедине с собой». Это была уже такая грубая ошибка, что Клавдия Леонидовна собрала со стола гранки и, величественно выпрямившись, направилась в отдел.

Когда она вернулась, справа от её стола, в глубоком кожаном кресле, сидел специальный корреспондент Назаров, недавно вернувшийся из поездки в Англию. В кожаное кресло возле стола Клавдии Леонидовны не все рисковали садиться. Его занимали только те сотрудники, к которым она благоволила. К числу их принадлежал и Назаров.

Это был богатырского сложения человек с круглой лысой головой, твёрдо очерченным лицом и детски пухлыми добрыми губами. В статьях Назарова Клавдия Леонидовна за все годы, что он работал в редакции, лишь однажды обнаружила неточность, да и то пустяковую. К тому же он был отменно вежлив и благовоспитан.

Поздоровавшись с Назаровым, она прошествовала к своему столу и села. После разговора в отделе в глазах её ещё не погас воинственный блеск. Назаров, попыхивая трубкой, перелистывал том Британской энциклопедии. Старенькая курьерша забрала гранки и ушла наверх. Библиотекарь Машенька шелестела за шкапами, разыскивая какую-то книгу. В библиотеке стояла та удивительная, хрупкая тишина, какая бывает иногда в разгаре шумного и бурного редакционного вечера.

— Честное слово, нигде мне так хорошо не работается, как здесь... — сказал Назаров, не отрываясь от книги, и вздохнул.

Клавдия Леонидовна опустила глаза и слегка покраснела. Она обожала редакционную библиотеку, гордилась её образцовым порядком, чопорным уютом, который царил здесь благодаря её стараниям.

С силой хлопнула дверь, и в библиотеку вошёл Савич, сотрудник сельскохозяйственного отдела. Это был добродушный и шумный человек в изрядно помятом пиджаке и брюках, вздувшихся на коленях пузырями. Его густые кудрявые волосы, как всегда, были взъерошены, во рту торчала папироса. Пахло от него пивом и раками — очевидно, Савич только что побывал в баре напротив редакции.

Савич вечно был в разъездах, причём для своих командировок обычно выбирал отдалённые, трудно достигаемые районы. Возвращался он переполненный впечатлениями, темами, наблюдениями, рассказами, втискивал их в коротенькую корреспонденцию и снова улетал куда-нибудь на Южный Сахалин или в степи Казахстана. В Москве у него была жена, тихая блондиночка с безмятежными голубыми глазами, и трое ребят, таких же кудрявых, весёлых и шумных, как он. Говоря о жене и детях, он называл их «мои ближайшие родственники».

— Привет труженикам пера! — закричал Савич ещё с порога. — Как живёте, братцы?

— Здравствуйте, Николай Степанович! — с достоинством сказала Клавдия Леонидовна и отодвинула стул. — Давно ли приехали?

— Три часа назад!

Савич взгромоздился на затрепанную под ним ручку кожаного кресла и весьма непочтительно потрепал Назарова по розовой холеной лысине.

— Прилетел я, братцы, сейчас прямо с целины! — сообщил Савич, болтая ногами и осыпая гранки, лежащие перед Клавдией Леонидовной, папиросным пеплом. — Интереснейшее место на планете!

— Вы после каждой поездки говорите, что были в самом интересном месте, — снисходительно заметила Клавдия Леонидовна, отодвигая от Савича гранки. Она хорошо к нему относилась, и Савич этим беззащитно пользовался.

— Нет, вы только послушайте! — сказал Савич с жаром и перевернул бокальчик с аккуратно отточенными карандашами. — Вы послушайте, что там происходит...

И он принялся рассказывать.

Назаров, удобнее усевшись, внимательно слушал его. Клавдия Леонидовна замерла у стола. Перед нею вставали бескрайние поля, хлеб в рост человека, косой, беспощадный дождь, бессонные трактористы и комбайнеры с обветренными, утомлёнными лицами и тем живым и горячим блеском в глазах, какой бывает только у людей, захваченных своим трудом. Она слушала Савича недвижимо, приоткрыв сухие розовые губы; на щеках её выступил румянец.

Никто не знал, как любила она эти вечерние беседы! За всю свою жизнь она не ездила никуда далее редакционного дома отдыха в Фирсановке. Но почти каждый вечер в маленькую редакционную библиотеку забегал, вернувшись из командировки, кто-нибудь из сотрудников, и заведующая бюро проверки, затаив дыхание, слушала рассказы о поездках, о встречах с людьми, о незнакомых городах, краях и странах. Потом из этих рассказов получались очерки или корреспонденции, и Клавдия Леонидовна, надев очки, читала гранки, изредка строго произнося:

— Вот об этом он мне рассказывал значительно интереснее!

Савич уже не впервые ездил на целинные земли и всякий раз рассказывал Клавдии Леонидовне о своих поездках. Она знала в том районе все совхозы, все сёла, всех людей. И сейчас, слушая Савича, она изредка прерывала его и спрашивала взволнованно:

— Ну, а в райкоме что вам сказали?

— Сейчас расскажу подробно...— Савич сбросил пепел прямо в корбочку с канцелярскими скрепками.— Прихожу я к секретарю райкома...

В библиотеку, переваливаясь на ревматических ногах, вошла старенькая курьерша и молча положила на стол свежие, влажные гранки. Клавдия Леонидовна посмотрела на них затуманенными глазами, но тут же её лицо приобрело свойственное ему выражение холодного достоинства.

— Попрошу вас перейти в другую комнату,— сказала она официальным тоном и придвинула к себе гранки.

Не успела она проверить три заметки, как принесли статью о конференции лейбористов, которая шла вместо статьи об Индонезии. Потом выяснилось, что обзор читательских писем сняли, а на его место поставили две колонки «Об уборке картофеля». Отдел литературы и искусства срочно сдал рецензию на новый фильм. Словно в наказание за минуты тишины, материалы шли потоком, и Клавдия Леонидовна, прямая и строгая, проверяла, ставила на полях «птички», звонила по телефону, вносила исправления...

Пришёл пухлый и томный Шмелёв, дежурный отдела информации, и стал торопиться с проверкой материалов для первой полосы. Клавдия Леонидовна сухо попросила его не мешать работать и, не удержавшись, намекнула, что она только что проверяла его заметку о пуске нового гидрогенератора, где вместо «ротор» было написано «мотор». Шмелёв обиделся и сказал что-то резкое, а она невесть почему тоже разгорячилась и даже почувствовала, как неприятно сжалось и кольнуло сердце. Она посидела секунду, закрыв глаза. Потом надела очки и снова взялась за работу. Это была заметка о научной конференции.

— Я иду к себе в отдел,— высокомерно сказал Шмелёв.— Пришлите, пожалуйста, гранки ко мне наверх.

Покончив с научной конференцией, Клавдия Леонидовна отправила заметку Шмелёву с курьером и посмотрела на часы. Вероятно, редактор сейчас читает последние материалы. Скоро конец. Клавдия Леонидовна глубоко вздохнула — сегодня был трудный день.

В комнату вошёл Павел Демьянович Сорокин, высокий человек с торчащей бородкой, всегда немного восторженный, говорящий громким, юношески звучным голосом. У Павла Демьяновича была особая специальность: он «вычитывал» готовые, подписанные к печати газетные полосы. Так же, как и Клавдия Леонидовна, он обладал феноменальной памятью и редким умением вылавливать неточности или опечатки. В отличие от Клавдии Леонидовны, с ледяным спокойствием сообщавшей о самой ужасной ошибке, он мог поднять на ноги всю редакцию из-за какого-нибудь пустяка — к примеру, из-за того, что в названии журнала «Техника — молодёжи» пропущено тире.

— Это чудовищно! — кричал он, волнуясь.— Надо немедленно остановить машины в типографии!

Сорокин и Клавдия Леонидовна относились друг к другу ревниво, но с взаимным уважением. В тихие минуты они любили посидеть в библиотеке, оживлённо вспоминая, когда и при каких обстоятельствах каждый из них обнаружил особо примечательную ошибку. Клавдия Леонидовна очень ценила эти беседы.

Благожелательно улыбаясь, она предложила Сорокину кресло, но тут позвонил телефон и из секретариата сказали, что последняя полоса пошла к редактору на подпись. Сорокин, крутя бородку, помчался к себе «вычитывать» полосу. Клавдия Леонидовна поднялась из-за стола, пригладив волосы и стала неторопливо прикалывать шляпку.

Как ни старалась она бесшумно открыть дверь своей комнаты, тётя Липа, жившая вместе с нею, проснулась и зажгла свет.

— Может, вскипятить тебе чаю, Капочка? — встревоженно сказала она, называя Клавдию Леонидовну так, как называли её, когда та была девочкой.

— Ах, пожалуйста, лежите! — сказала Клавдия Леонидовна недовольно. — Я всё могу сделать сама.

Она переделалась в длинный голубой халат с оборочками и села за стол.

У тёти Липы была способность тревожиться по любому поводу. Разговор она начинала обычно с одной и той же фразы: «Я всё беспокоюсь...»

Сейчас тётя Липа сидела на кровати и, придерживая на худенькой груди бумажеиную кофточку, внимательно смотрела, как Клавдия Леонидовна ест простоквашу.

— Я всё беспокоюсь, — сказала она, вздыхая. — Сегодня у тебя было много работы?

— Как обычно, — ответила Клавдия Леонидовна коротко.

— А отдел литературы, Капочка? — Глаза тётки заблестели. — Неужели сегодня опять была ошибка?

— Можете представить, спутали название очерка Горького! — негодуя сказала Клавдия Леонидовна.

— Какое неуважение к великому писателю! — Тётка возмущённо всплеснула руками. — Ну, а как иностранный отдел?

— Всё в порядке, — сдержанно ответила Клавдия Леонидовна и отставила чашку в сторону. — По отделу информации было много работы.

— А что завтра интересного в газете? — спросила тётя Липа робко.

— Статья о конференции лейбористов. Написана суховато, но с большой эрудицией, — сказала Клавдия Леонидовна и откашлялась.

Снова наступило молчание.

Клавдия Леонидовна заплела свои седеющие волосы в две косы и сразу стала похожа на взрослую маленькую девочку. Раздевшись, она улеглась в постель, мягкую, с двумя подушками в вышитых наволочках, надела очки и взяла с тумбочки «Русский лес» Леонова.

— Сегодня я читала в «Огоньке» насчёт акклиматизации диких животных, — сказала тётя Липа, вздыхая. — Оказывается, львица может зимовать в одной клетке с медведем. Просто удивительно! Или, может быть, в бюро проверки «Огонька» недостаточно проверили этот факт? Как ты думаешь?

— Трудно сказать, — ответила Клавдия Леонидовна, не отрываясь от книги. Она читала внимательно, изредка по привычке подчёркивая строку или ставя на полях «птичку».

— Я всё беспокоюсь... — тоненьким голосом проговорила тётя Липа, но Клавдия Леонидовна сделала вид, что не слышит её.

Тётя Липа обиженно замолчала, и через несколько минут из угла, где стояла её кровать, стало доноситься деликатное, ровное посвистывание. Клавдия Леонидовна читала ещё час. Потом она погасила лампу, перевернулась на правый бок и закрыла глаза.

И тотчас же со всех сторон на неё надвинулся огромный, шумный, полный событий мир, дыхание которого она ощущала в каждой статье, каждой заметке, что приходилось ей проверять.

Перед её глазами мелькали заголовки статей, строчки корреспонденций, фамилии, имена, названия городов, рек...

Громадный мир шумел и несся вокруг маленькой комнаты, где лежала на кровати немолодая, уставшая после рабочего дня женщина.

Долго лежала она так, закрыв глаза, перебирая в памяти все события, о которых прочла и узнала за день. Выражение строгости и сухости сошло с её лица. Вспомнив Савича, она тихонько засмеялась в темноте.

— Надо всё же писать Карпачинский сельсовет, а не Карпатчинский, неисправимый вы человек... — прошептала она.

Потом дыхание её стало ровным.
Клавдия Леонидовна уснула.

На следующий день, когда Клавдия Леонидовна, как всегда подтянутая, в неизменном костюме мужского покроя и накрахмаленной блузке, ровно в три часа вошла в редакционный лифт, там сидела библиотекарша Машенька. При виде её Машенька как-то странно замигала глазами, и лицо её стало испуганным и растерянным. Комсомолка Машенька была человеком весьма деятельным, шумным, уверенным, и выражение робости и смятения на её лице казалось непривычным.

«Наверное, что-нибудь натворила, — подумала Клавдия Леонидовна с беспокойством. — Но что?»

В коридоре на пятом этаже ей навстречу попался атлетический красавец Гогуа. Поздоровавшись, он вежливо уступил ей дорогу. Проходя, Клавдия Леонидовна заметила, как в его тёмных глазах мелькнуло что-то похожее на снисходительное участие. Это было совсем странно.

Она села за свой стол и начала рассматривать макет завтрашнего номера. В комнату вошёл Павел Демьянович Сорокин и тут же вышел; лицо у него было таким напряжённым, будто он держал во рту воду. Потом в библиотеку ввалился Савич, небритый и весёлый, держа подмышкой только что купленные книги.

— Дивные книги о Ренессансе я сегодня отхватил в букинистической! — закричал он вместо приветствия и бросил книги прямо на лежащий перед Клавдией Леонидовной макет. — Такое наверчено о божественном Леонардо, что с ума можно сойти! И знаете что? — продолжал он болтать, сдвигая в сторону приготовленные Клавдией Леонидовной справочники. — Когда Леонардо было за пятьдесят, Микельанджело исполнилось двадцать семь, а Рафаэлю стукнуло девятнадцать. И когда Рафаэль приехал во Флоренцию, он видел этих двух великих художников за работой. Могучая была компания, а?

Несмотря на свою внешнюю грубоватость, Савич относился к книгам с ревнивой и бережной нежностью. Клавдия Леонидовна знала это.

— Что ещё вы приобрели? — поинтересовалась она, осторожно перекладывая свои справочники на прежнее место.

Но Савич вместо ответа внимательно посмотрел на неё, и в его глазах Клавдия Леонидовна вдруг прочла то же участие и новую, непривычную для неё снисходительность, которые так удивили её во взгляде Гогуа.

— Вы только не вздумайте, пожалуйста, нервничать, — сказал он и положил поверх её пальцев свою жёсткую, шершавую, как у мальчишки, руку. — Неприятно, конечно, но не такая уж случилась катастрофа...

— О чём вы говорите? — Клавдия Леонидовна подняла брови. — Не понимаю...

— Ну, об ошибке вашей, — сказал Савич, морщась. — В конце концов такое со всяким может быть. С другими бывало — и с вами случилось. Досадно, не спорю, но трагедии из этого делать не стоит, честное слово...

— О какой моей ошибке? — одними губами спросила Клавдия Леонидовна. Лоб её слегка побледнел.

— Господи, оказывается, вы ничего не знаете! — Савич всплеснул руками. — Вчера ведь после вашего ухода переливали полосу. В заметке о научной конференции было написано: «Академия медицинских наук». И вы вставили в двух местах: «РСФСР». Академии же медицинских наук РСФСР в природе не существует, есть Академия медицинских наук СССР. Павел Демьянович заметил ошибку, побежал к начальству; оказалось, что там тоже заметили в последнюю минуту... Ну, и пошла кутерьма! Пришлось задерживать полосу и исправить — неудобно всё же выходить в свет с таким ляпсусом...

Клавдия Леонидовна слушала его молча, откинувшись на спинку стула, словно окаменела. Савич ещё что-то говорил, утешал её, пытался острить, потом собрал свои книжки о Ренессансе и ушёл. А она всё сидела, не шевелясь, глядя прямо перед собой.

Как могла она так грубо ошибиться? Иногда случалось, что она пропускала мелкую чужую ошибку или неточность, и Павел Демьянович «вылавливал» их. Но это бывало редко, страшно редко! А здесь она сама, своей рукой, вписала неверное обозначение, и из-за этого пришлось переливать полосу, задерживать выход газеты...

Она перебирала час за часом весь минувший день, вспоминала, как принесли ей последние гранки, как прибежал Шмелёв и стал её торопить, а она попросила не мешать работе, и они повздорили... Всё это была такая чепуха! Но как, как же всё-таки это могло случиться?

Она сидела долго, смотря в одну точку. Потом пригладила волосы, решительно поднялась и пошла к дверям. На щеках её горели пунцовые пятна.

В отделе информации сидела за столом секретарша, молоденькая девушка с торчащими, как металлические спирали, кудерьками, по всей видимости только что испытавшими шестимесячную завивку. Смотрясь в зеркальце, она деловито пудрила маленький, курносый нос. Увидев Клавдию Леонидовну, секретарша смутилась и спрятала зеркальце в ящик.

Стол Шмелёва был пуст. Судя по тому, что пачка свежих газет лежала неразвёрнутой, хозяин стола в редакцию ещё не являлся.

— А где товарищ Шмелёв? — сдержанно спросила Клавдия Леонидовна, движением подбородка показав на стол.

— Шмелёв уехал в район. Вернётся только завтра.

Клавдия Леонидовна молча глядела на неразвёрнутые газеты. Сделав над собой усилие, она сказала:

— Дело в том, что я хотела бы посмотреть гранки вчерашней заметки с моей правкой. — Голос её дрогнул, она поспешно откашлялась и постаралась придать своему пылающему лицу обычное бесстрастное выражение.

— Гранки, очевидно, остались у Шмелёва в папке, а стол заперт. Но вашу правку он, конечно, перенёс — как же иначе! — Секретарша вдруг покраснела. — Ужасная неприятность получилась, я понимаю... — соболезнующе сказала она. Но Клавдии Леонидовне показалось, что в зрачках её голубых глаз мелькнуло весёлое оживление, словно этой завитой девчонке доставило удовольствие видеть, как строгий судья чужих ошибок и неточностей сейчас волнуется из-за собственной ошибки.

— Благодарю вас! — сказала Клавдия Леонидовна как можно более невозмутимо, хотя у неё от волнения дрожали колени. Выпрямившись, она неторопливо направилась к дверям.

Когда она вошла в комнату к Павлу Демьяновичу, он встал; выражение лица у него было торжественное и скорбное.

— Весьма, весьма досадный случай... — пробормотал он и тут же принялся подробно, во всех деталях, рассказывать о вчерашнем происшествии.

Клавдия Леонидовна слушала его, стиснув холодные как лёд руки. Она видела себя со стороны, и ей казалось, что пропасть отделяет эту сидящую на стуле расстроенную женщину с пунцовыми пятнами на щеках от того корректного, подтянутого, безукоризненно точного работника, каким она всегда самолюбиво себя ощущала.

— Да вы не расстраивайтесь, — печально сказал Сорокин. — Больше бодрости! — И лицо его стало таким скорбным, что Клавдии Леонидовне захотелось зарыдать.

Вернувшись к себе, она сняла телефонную трубку и секунду держала её у щеки, закрыв глаза и слушая, как деликатно пищит зуммер редакционной АТС. Потом набрала номер телефона редактора.

Главный редактор был назначен совсем недавно, и Клавдия Леонидовна видела его всего несколько раз на редакционных «лечучках». Это был худощавый, представительный человек профессорского вида, в золотых очках. Говорили, что в детстве он был пастушонком в уральском селе, потом учителем в том же селе, потом партийным работником.

С прежним редактором, который проработал много лет, у Клавдии Леонидовны были хорошие отношения. Ей была известна его сердитая, откровенная прямота и требовательность, его внимательность к людям. Она знала его почерк, его взыскательную правку, его нежность к стихам Пушкина, знала, что после конца работы он любит посидеть полчаса, рассказывая о сыне Серёженьке и о бабке, суровой костистой казачке, которой все в доме побаивались. Словом, она знала о нём немало.

О новом же редакторе она не знала почти ничего.

Гудочек АТС продолжал деликатно вздыхать у её уха — на том конце провода телефонную трубку никто не брал. Клавдия Леонидовна встала и отправилась на шестой этаж.

Войдя в приёмную, она увидела, что дверь в кабинет редактора раскрыта настежь. Кабинет был пуст. Клавдия Леонидовна заметила, что письменный стол стоял не вдоль правой стены, где он находился много лет, а был переставлен к окну. Настольной лампы с бронзовой фигурой бедуина, сидящего на верблюде, уже не было. Вместо бедуина на столе возвышалась обычная лампа с зелёным абажуром. Надо сказать, что бедуин и его царь пустыни, купленные начальником хозяйственного управления, всегда выглядели довольно комично и служили неизменным поводом для шуток. Но в редакции все к ним привыкли, и сейчас стол без этой лампы казался пустым.

— Николай Петровича нет, — сказала секретарша особым телефонным голосом. — Он уехал обедать.

Наступило молчание.

— Завтра состоится заседание редакционной коллегии. — Секретарша опустила глаза. — Вас вызывают на коллегию. В четыре часа.

— Благодарю вас, — сказала Клавдия Леонидовна глухо.

Весь день после этого разговора Клавдия Леонидовна работала, как всегда. Она проверяла цитаты, названия городов и рек, инициалы писателей и художников, цифры, сводки, текст торжественного пионерского обещания, год рождения знаменитого английского физика, счёт, с которым «Спартак» выиграл матч у «Динамо». Всё это она делала, как обычно, чётко, быстро, с невозмутимым выражением лица, но в душе у неё были смятение и испепеляющая тревога.

Несколько раз она ловила себя на том, что, проверив цитату, она через полчаса снова раскрывает книгу с заложенной страницей и проверяет цитату ещё раз. В библиотеку, как обычно, заходили то редакторы отделов, то спецкоры, то дежурные; одни разговаривали с Клавдией Леонидовной преувеличенно бодрым тоном, словно ничего не случилось, другие сочувственно поглядывали на неё, а в глазах третьих она снова видела новое и непривычное для неё замысловатое выражение снисходительного торжества, явно происходившего от сознания, что непогрешимая «Немезида» оказалась такой же уязвимой, как они сами.

Принесли статью из отдела советского строительства, и тотчас же пришёл Усачёв, дежурный по отделу, неся подмышкой пачку книг и справочников с аккуратно проложенными закладками. Материалы, которые сдавал Усачёв, всегда были безупречно проверены и вычитаны; в течение многих лет между ним и Клавдией Леонидовной шло соревнование в точ-

ности. Сейчас Усачёв ревниво следил, как Клавдия Леонидовна читала статью, и в ту секунду, когда её глаза останавливались на какой-нибудь цифре, он бесшумно и ловко, точно фокусник, клал перед нею книгу, откуда были почерпнуты эти данные.

Подняв глаза, Клавдия Леонидовна едва заметно улыбнулась, и Усачёв ответил ей такой же тонкой улыбкой, как бы говоря: «Кто-кто, а мы-то уж прекрасно понимаем друг друга...»

После ухода Усачёва Клавдия Леонидовна немного приободрилась. Но, читая статью отдела пропаганды, она снова поймала себя на том, что три раза подряд проверяет одну и ту же цитату. Когда она наконец закончила чтение и отослала гранки, она вдруг вернула старенькую курьершу с порога и, открыв похолодевшими руками книгу, ещё раз сверила все цитаты, все цифры. Это состояние было для неё настолько непривычным и тяжёлым, что она с трудом дождалась конца работы над номером.

Едва Клавдия Леонидовна открыла дверь своей комнаты, как тётя Липа проснулась и сразу села на постели, будто у неё в спине развернулась пружинка.

— Я всё беспокоюсь, — сказала она озабоченно. — Ты, наверное, хочешь кушать, Капочка?

— Да, — машинально ответила Клавдия Леонидовна. Она разделась, съела простоквашу. Всё это она делала механически. Она не слыхала, о чём говорила тётя Липа, лишь изредка, словно сквозь туман, до неё доносились отдельные слова.

— Ты знаешь, Капочка, у меня в молодости была чудная причёска, — говорила тётя Липа, поправляя свои тощие седые косички и искоса поглядывая на племянницу. То ли она намолчалась за день и теперь отводила душу, то ли хотела отвлечь племянницу разговором от невесёлых дум. — Дивные волосы! Не каштановые, а как бы тебе сказать... Цвета естественной юности. Представляешь?

Клавдия Леонидовна молча кивнула головой.

— Сегодня в «Вечёрке» напечатана интересная статейка, — с удовольствием сказала тётя Липа и села на кровати удобнее. — Ты меня слушаешь?

Клавдия Леонидовна снова кивнула головой.

— Оказывается, быть мнительным очень вредно для организма. В статье сказано, что оптимизм и воля к выздоровлению — лучшие помощники врача. Кстати, я всегда это предполагала! — наставительно произнесла тётя Липа. — Ещё двадцать лет назад я не раз говорила об этом твоему отцу, Клавдия, который был очень, очень мнительным...

«Но как же всё-таки я могла так ошибиться, вписать неправильное название? — думала Клавдия Леонидовна, не слушая. — Если бы эта ошибка проскочила в газету, сколько было бы телефонных звонков от читателей, сколько писем... Ведь читатель всегда замечает малейшую неточность в газете. И во всём этом была бы виновата я, я одна...»

Она тяжело вздохнула. Тётя Липа сидела, удобно опершись на подушки, глаза её блестели, она, видимо, и не помышляла о сне.

— Спокойной ночи, — сказала Клавдия Леонидовна безжизненным голосом и подошла к своей кровати.

— Спокойной ночи, детка! — удивлённо и грустно ответила тётя Липа и погасила лампу.

Клавдия Леонидовна слыхала, как тётка долго ворочалась, переключая подушки, потом сказала неуверенно:

— Говорят, Павлов придавал большое значение сну. Во время сна тормозится кора или что-то в этом роде. Это, кажется, очень полезно для организма. Ты не слыхала?

Клавдия Леонидовна промолчала, притворившись, что спит. Тонко зазвенела пружина: тётя Липа, очевидно, повернулась на другой бок. Наступила тишина.

Но Клавдия Леонидовна попрежнему лежала в темноте с открытыми глазами, глядя на стену, по которой скользил лёгкий, прерывистый свет от проезжающих мимо машин.

«А может быть, я просто постарела? Годы идут, и память у меня стала не та, что была раньше... — подумала она, и мысль, которая ещё недавно показалась бы ей дикой, сейчас была настолько простой и естественной, что она сама на секунду ужаснулась этому. — Может быть, уже настала пора, когда надо уступить место молодому работнику, а самой перейти в библиотеку, на выдачу книг?»

Год за годом вспоминала она свою жизнь, проведённую в стенах редакции, и всё — бессонные ночи, волнения, спешка, напряжённая, тревожная работа, — всё, что подчас так утомляло её, сейчас казалось дорогим и прекрасным. Её жизнь безраздельно принадлежала редакции. Сколько знакомств было безвозвратно утеряно, сколько обид осталось незаглаженными из-за того, что все её вечера были заняты работой...

Потом она вспомнила Гурского, заведующего отделом иллюстраций. Это был высокий, лысеющий, молчаливый человек с надменным выражением лица. На его худой, чуть сутулой фигуре костюм сидел с особой, немного старомодной элегантностью. В редакции его побаивались. Работник он был отличный, и за это ему прощали и резкость суждений, и нетерпимость, и беспощадную требовательность во всём, что касалось его отдела.

Жил Гурский один, и звонок в телефоне у него был так прочно заложен бумажным шариком, что вместо звонка слышалось только лёгкое гусиное шипение. В редакции все знали, что Гурскому домой звонить нельзя. Но ему прощали и это.

Однажды Гурский вошёл в библиотеку и молча, высокомерно поблёскивая очками, положил на стол перед Клавдией Леонидовной плитку шоколада «Золотой ярлык». Это было так неожиданно, что Клавдия Леонидовна выронила ручку и зарделась, словно девочка. После этого он несколько раз заходил в библиотеку, где раньше бывал крайне редко, клал перед Клавдией Леонидовной то шоколад, то букетик ландышей, то апельсины... Всё это он делал молча, строго сжав губы, и, когда он уходил, в комнате оставался лёгкий, едва уловимый запах тройного одеколна, хороших папирос и свежей, только что отглаженной сорочки — запах чистоплотного мужчины.

Потом он как-то пошёл провожать Клавдию Леонидовну домой, и они долго шли по пустынным улицам, чуть тронутым размытой розовой краской рассвета, и Гурский своим отрывистым, глуховатым голосом говорил ей, что для него нет большего наслаждения, чем стоять в Эрмитаже и часами глядеть на живопись Рембрандта.

С той ночи они всегда уходили из редакции вместе.

Гурский провожал Клавдию Леонидовну до дома, и она уже знала и то, что он любит Рембрандта, и то, что у него язва желудка, и то, что в Тамбове у него живёт больная сестра, которой он отправляет половину всех своих денег. И она уже любила и Рембрандта и больную сестру в Тамбове, потому что полюбила этого молчаливого, замкнутого, трудного человека, ни разу не сказавшего ей ни одного ласкового слова, полюбила так застенчиво и нежно, как любят только в зрелые годы.

А потом началась война, и Гурский с его близорукостью, язвой желудка и страстью к белоснежным воротничкам неожиданно для всех пошёл добровольцем в армию и уехал военным переводчиком на фронт. Клавдия Леонидовна изредка получала от него короткие, сдержанные записки и отвечала на них длинными письмами, в которых подробно описывала

все редакционные события. Однажды приехавший с фронта военный корреспондент рассказал ей, что видел Гурского. Сидя на самокате и быстро крутя педали длинными ногами, Гурский с тем же надменным выражением лица катил по лесной тропинке, простреливаемой миномётами, куда-то, по словам корреспондента, в самое пекло, допрашивать пленного «языка».

А потом приехал другой корреспондент и сказал, что Гурский погиб в боях под Ельней.

Клавдия Леонидовна вспомнила всё это, и такая тоска по несбывшему счастью охватила её, что она застонала в темноте. Но тут же испугалась этого стога и сделала вид, что закашлялась.

Нет, тётя Липа продолжала крепко спать. Во всей квартире стояла плотная ночная тишина. Клавдия Леонидовна лежала в темноте, не отводя глаз от стены, по которой всё реже пробегал скользкий ответ фар. Была глубокая ночь, город уснул. А к ней всё не шёл сон.

Болезненный укол самолюбия, который она испытала в первые минуты, уже зажил. В конце концов каждый человек где-то может оступить. Не ошибается только электронная счётная машина, о которой любит рассуждать неутомимая тётя Липа с той поры, как прочла статью на эту тему в молодёжном журнале.

Нет, всё было сложнее и глубже. Если бы она просто недоглядела, пропустила неточность, она переживала бы всё случившееся не так болезненно. Больше всего её мучило сознание, что она вписала эти буквы сама, была прямой виновницей ошибки.

Всю жизнь она воспитывала в себе суровую внутреннюю дисциплину. Эта дисциплина требовала безжалостной придирчивости, утомительной, «настырной» требовательности. Их не так-то просто было сносить. По-человечески она отлично понимала это. Сколько раз она выдерживала обидные упрёки в мелочности, в нетерпимости, в сухом педантизме! Она выслушивала эти упрёки, не оправдываясь. Было нечто, о чём знала только она одна. В глубине её сердца жила огромная, нежная любовь к человеку, которому она преданно и бескорыстно служила всю свою жизнь,— простому и удивительному человеку, называемому «читатель».

Об этом человеке она не забывала ни на минуту. Она любила его и робела перед ним. Когда Клавдия Леонидовна видела, как на улице, у витрин, люди читают свежий номер газеты, она волновалась, точно девчонка. С независимым видом она подходила к витрине, пристраивалась рядом, смотрела, какой материал больше всего привлекает внимание, как читают газету, что о ней говорят. Для неё это был высший суд. Люди, смотрящие на эту немолодую строгую женщину с седеющими волосами, даже и представить не могли, какое смятение, какой трепет были в её душе в ту минуту.

И вот сейчас она жестоко провинилась перед читателем. Дело не только в допущенной ошибке. Как закралось в неё сознание собственной непогрешимости? Как потеряла она всегда обычную для неё требовательность? А ведь эта требовательность, казалось, стала её второй природой...

Она вспомнила прозвище, которое ей дал остряк Гогуа, и грустно усмехнулась в темноте. Какая уж там Немезида Леонидовна! Снова подумала она о том, что, быть может, к ней просто постучалась старость. Кто это сказал: «Старость приходит неожиданно, как снег. Утром проснёшься и видишь: всё кругом бело...»

Она хотела вспомнить, откуда эта цитата, но так и не вспомнила и тяжело вздохнула. Очевидно, всему на свете приходит конец. А ей-то казалось, что её память всегда будет крепкой и точной, как в годы молодости...

Она закрыла глаза и попыталась уснуть.

Но сон не шёл к ней.

События злополучного вечера в редакции попрежнему толпились перед нею. Она припоминала каждую заметку, поступившую в тот вечер для проверки, видела стены библиотеки, свой письменный стол, лежащие на нём гранки, видела недовольное лицо Шмелёва, стоящего возле стола. Заметка о научной конференции была в тот вечер последней. Клавдия Леонидовна припомнила влажную гранку этой заметки, цифру, написанную на полях синим карандашом...

И вдруг с неожиданной, пугающе чёткой явственностью, от которой у неё перехватило дыхание, она увидела, как после слов «Академия медицинских наук» на гранке чёрным жирным карандашом, которым обычно Клавдия Леонидовна пользовалась, был поставлен корректорский значок. Такой же значок темнел на полях, и рядом было аккуратно вписано её, Клавдии Леонидовны, рукой: «СССР».

И у второго «С» хвостик был с нажимом поправлен. Она видела его так чётко, словно гранки сейчас лежали перед нею на столе.

Она зажгла лампу и села на кровати. Сердце её билось неровно и часто. Да, теперь она всё вспомнила! Шмелёв ушёл из библиотеки, она внесла исправления и послала ему гранки. Но он, очевидно, уже сдал заметку и оставил её правку без внимания. И это он, своей рукой, вписал неправильное обозначение. Теперь это для неё ясно. Если бы Шмелёв не уехал в командировку, она заставила бы его найти гранки с исправлениями и доказала бы это.

Можно было, конечно, и в его отсутствие обнаружить истинного виновника. Но она почему-то так глубоко и полно, с первой же минуты поверила в то, что виновна именно она, так была потрясена сознанием своей ошибки, что ни о чём другом и подумать не могла.

Но как Шмелёв мог это сделать?

Дело даже не в том, что он переложил свою вину на неё. Было что-то глубоко оскорбительное в равнодушии, с каким Шмелёв сунул заметку в секретариат, не проверив её сам, не заглянув в чужую правку.

Велика ли, мала заметка — она была для Клавдии Леонидовны священна, ибо предназначалась для читателя. Держа в руках влажные гранки, свёрстанную, исчерченную поправками полосу, она всегда ощущала их живую силу.

В ту минуту они ещё были всего лишь полосками бумаги, материалом для проверки, предметом труда многих людей, работающих в газете. Но едва в глубине большого здания редакции, в самом нижнем его этаже, закипал ровный, рокошующий гул, говорящий о том, что начали работать печатные машины, как эти разрозненные статьи и заметки, слитые воедино на газетном листе, начинали свою новую, самостоятельную жизнь.

Через все этажи, переборки, перекрытия до самого верхнего этажа добирался ровный, величавый гул. Новенькие, девственно юные номера газеты с беспечной, голубиной лёгкостью выпархивали из машины. Ещё полчаса назад люди, которые сидели на верхних этажах в редакционных кабинетах, имели власть над каждой строкой газеты, могли менять эти строчки, исправлять, вычёркивать. Сейчас они не были властны изменить даже запятую. Глуховатый всепроникающий рокот, идущий из глубин огромного здания, говорил о том, что свежие газетные листы летят один за другим, бесконечно и мерно, как снег. Теперь над ними властен только будущий читатель. Но это была совсем иная власть.

Новый номер газеты родился на свет.

В этом непрестанном обновлении, когда на смену вчерашнему, отлетевшему, словно опавший лист, газетному номеру рождается новый, несущий людям новые знания, мысли и чувства, Клавдия Леонидовна всегда ощущала великий ритм жизни, её силу, её невянущую молодость, подобную вечной молодости природы.

Клавдия Леонидовна работала в редакции двадцать пять лет. Она хорошо знала это состояние нервной приподнятости, словно после глотка вина, и вместе с тем удивительного блаженного покоя, какое приносит ровный гул печатных машин, свежий, пришедший прямо из цеха, неповторимо пахнущий типографской краской номер только что выпущенной газеты. Это состояние было ей привычно и знакомо, как привычны и знакомы были стены редакционной библиотеки, добродушное лицо гардеробщицы Марьи Ивановны, как привычны и знакомы были металлические трубки под потолком в коридоре — адское изобретение для посылки из наборной гранок, пролетающих в этих трубках с пугающим, револьверным треском.

Всё это было её жизнью, её бытом, её существом.

Но ещё никогда она не ощущала с такой нежностью, с такой сотрясающей всю душу полнотой своей нерасторжимой, кровной связи с газетой, как в эту ночь, — в эту долгую, трудную, бесконечную ночь, когда она ворочалась с боку на бок, то зажигая свет, то снова его гася, чувствуя, как тяжело и неровно стучит сердце, вспоминая год за годом всю свою жизнь, упрекая себя за вину, в которой не была виновата.

Ровно в три часа дня, как всегда, Клавдия Леонидовна поднялась на редакционном лифте на шестой этаж.

Она вошла в отдел информации. Шмелёв, розовый и томный, с пухлым лицом, словно покусанным пчёлами, сидел за столом. Он был в спортивной куртке на молнии, в свитере, в высоких шнурованных башмаках, как будто возвратился с дрейфующей льдины, а не из пригородного колхоза. Завидев Клавдию Леонидовну, он слегка привстал.

— Приветствую вас! — сказал он мурлыкающим голосом, глядя прямо на неё светлоголубыми безмятежными глазами. — Прошу садиться...

— Благодарю, — холодно ответила Клавдия Леонидовна, продолжая стоять. — Я на минуту. Хочу выяснить, почему вы не внесли давеча в заметку о научной конференции моих поправок. Как это могло получиться, Иван Кузьмич?

Шмелёв усмехнулся.

— Но, Клавдия Леонидовна, голубушка... — сказал он снисходительно, словно обращался к ребёнку. — Конечно же, я перенёс все ваши поправки. Разве мог я не сделать этого? Да что же вы стоите, присаживайтесь, пожалуйста...

— Вы говорите неправду, — тихо и твёрдо произнесла Клавдия Леонидовна. — Вы сами исправили заметку и сдали её без всякой проверки. А на мою правку вы даже не удосужились взглянуть.

Шмелёв сощурился и внимательно поглядел на Клавдию Леонидовну.

— А если бы даже и так? — с расстановкой проговорил он. — Большое дело! Подумаешь, чепуховая заметка о какой-то второстепенной конференции... В редакции уже все забыли о такой ерунде. — Он пожал плечами. — Но ведь для вас главное — ваша непогрешимая репутация! Из-за этого вы и раздуваете историю. Ну, что ж, идите, идите, жалуйтесь на меня! — Шмелёв покраснел, глаза его стали уже не голубыми, а почти белыми. — Мелочный вы всё-таки человек, Клавдия Леонидовна...

Комната вдруг поплыла перед глазами Клавдии Леонидовны, и голос Шмелёва прозвучал откуда-то издалека, глухо, точно из колодца. Но она продолжала стоять, выпрямившись, как часовой, только крепче взялась рукой за спинку стула.

— Чепуховая заметка... — повторила она, задыхаясь. — Второстепенная конференция... В газете не может быть чепуховых заметок. В науке не бывает второстепенных конференций. Неужели вы этого не понимаете?

— Послушайте,— сказал Шмелёв, морщась.— Извините меня, но не слишком ли много вы на себя берёте в конце концов? Можно подумать, что вы главный редактор, честное слово...

— У нас всех один главный редактор — это читатель! — всё так же тихо и твёрдо сказала Клавдия Леонидовна. Из её волос выпала шпилька, но она не заметила этого и не поправила рассыпавшейся причёски.

Шмелёв побагровел и встал.

— Ну, знаете, всё имеет свой предел! — сказал он, с раздражением глядя на Клавдию Леонидовну своими белыми глазами.— Откуда этот тон, кто вам позволил учить меня? Человек, не написавший в жизни двух строк, понятия не имеющий, что такое творческая работа...

Клавдия Леонидовна молча глядела на него.

— Да, я маленький работник, вы правы,— наконец сказала она, и секретарша, жадно слушавшая весь разговор, не без изумления заметила, что Клавдия Леонидовна произнесла эти слова как будто даже с гордостью.— И действительно, за всю свою жизнь я не написала для газеты даже двух строчек. Но я твёрдо знаю, что у каждого человека, умеет он писать или нет,— всего лишь одно сердце. Его нельзя приберегать, как карманную батарейку, а надо вкладывать в любое дело, которое делаешь. И читатель...

— Э! — Шмелёв, махнув рукой, раздражённо перебил её.— Надоели мне эти ханжеские разговоры.

Он сел за стол и придвинул к себе листы ТАСС, показывая, что разговор закончен.

Но Клавдия Леонидовна неожиданно для самой себя двинулась прямо на него. В глазах её зажгётся такой грозный блеск, что Шмелёв вместе со своим стулом невольно попятился к стене.

— Человеку, который не уважает читателя, нет места в редакции! — крикнула она и стукнула по столу.— И я вас заставлю это понять! Заставлю, слышите? — И она снова изо всех сил стукнула по столу своим маленьким сухим кулачком.

Курносая секретарша ахнула и закрыла глаза. Шмелёв, пожимая плечами, неестественно улыбался.

— Нельзя ли потише, однако...— пробормотал он.

Но Клавдия Леонидовна уже его не слышала.

Взъерошенная, негодующая, в съехавшей набок блузке, она большими быстрыми шагами шла к двери.

Когда Клавдия Леонидовна вошла в просторную, обшитую дубовой панелью приёмную, дверь в кабинет редактора была закрыта. Заседание редколлегии началось.

Тяжело дыша, словно она поднималась на шестой этаж без лифта, Клавдия Леонидовна остановилась возле стола секретарши, уставленного рогатыми, влажно поблёскивающими телефонными аппаратами. В руках воинственно, как револьвер, она держала гранки злополучной заметки.

— Прошу вас присесть,— сказала секретарша и вздохнула.— Ваш вопрос будет рассматриваться в конце заседания. Николай Петрович тогда вас вызовет.

— Хорошо! — твёрдо сказала Клавдия Леонидовна и с непостижимой решимостью с размаху опустилась на мягкий кожаный диван. Она так крепко сжимала гранки, что у неё побелели кончики пальцев.— Я подожду.



ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА

ДЖЕРАЛЬД КЕРШ

★

ЛЮДИ БЕЗ КОСТЕЙ

Джеральд Керш (род. в 1909 году) — популярный английский писатель, участник второй мировой войны. Ему принадлежит около десятка романов и множество новелл. Широкую известность принёс Д. Кершу роман из жизни английской армии в начале второй мировой войны «Они умирают в начищенных ботинках».

Для творчества Керша характерны стремление к правдивому отражению жизни различных слоёв современного английского общества и критика его в моральном плане.

Публикуемые ниже новеллы взяты из сборника его рассказов «Люди без костей», вышедшего в 1955 году.

Произведения Д. Керша на русский язык переводятся впервые.

В запотевшем зеркале

Это произошло вскоре после того, как сэр Джон Хардести получил титул баронета. Утром, вытирая перед бритвём запотевшую поверхность маленького зеркальца, сэр Джон вдруг увидел в нём — а может, это ему только показалось — такое несчастное лицо, что у него впервые за сорок лет больно сжалось сердце, а глаза наполнились слезами...

Он увидел голову и плечи хилого подростка, отражавшиеся в мутном стекле витрины; за спиной мальчика стояла стена осеннего тумана, но свет газового рожка, падавший из лавки, хорошо освещал его. Сэр Джон знал, что у него, шестидесятилетнего человека, голова седая, вся в прожилках набухших вен и массивная, как головы мраморных римских цезарей; что плечи, на которых она покоится, широкие — дюймов в тридцать, а накинутый на них халат стоит тридцать гиней. И, тем не менее, перед ним в зеркале отражались взлохмаченная голова без шапки и узенькие плечи подростка с пытливым взглядом, полным тоски; он напоминал взъерошенного щенка-терьера, застывшего с поднятой лапой в витрине зоологического магазина.

— А ведь таким я был в шестнадцать лет, — прошептал сэр Джон. Но тут зеркало снова стало мутным, и всё пропало. — Эх, время, время!.. Но что это со мной сегодня? Наверное, подействовал портвейн. Слишком много портвейна было выпито вчера в Вирджиния-хауз с его высочеством герцогом Сент-Джеймским... Да, несомненно. Ну и портвейн же у его высочества!.. — смакуя, повторил он.

Что-то смутное, непонятное носилось в воздухе, оно словно налипало на кончики пальцев сэра Джона и становилось между ним и тем предметом, который ему хотелось взять. Ручка безопасной бритвы казалась сделанной из шерсти. Тюбик крема для бритья точно ускользал из-под его пальцев. Помазок тоже всё время оказывался не там, где он должен был лежать. Сэр Джон вытер краем полотенца зеркальце и увидел себя таким, каким привык видеть. На него глядел властный старик, которого хватит ещё лет на двадцать, крепкий, как кремль, уверенный в себе, с большими настороженными серыми глазами и бульдожьими челюстями.

И, тем не менее, ему было не по себе — так и тянуло ещё раз протереть зеркало. В это утро он был явно не в своей тарелке. Проведя ещё раз по зеркалу полотёнцем, оставившим пушинки на его поверхности, он продолжал видеть себя таким, каким был на самом деле. Он видел сэра Джона Хардести. Но через несколько секунд зеркало снова потускнело — пар мелкими капельками оседал на нём, — и на сэра Джона снова установились печальные, задумчивые глаза шестнадцатилетнего подростка с косматой гривой и измождённым лицом.

Сэр Джон нажал кнопку звонка, и перед ним как из-под земли вырос Брайант.

— Сегодня я буду бриться после завтрака, — сказал сэр Джон.

— Слушаю, сэр Джон.

— Выдавите половину лимона в полбокала воды. Приготовьте пшеничные хлопья, яйца всмятку, ломтик поджаренного хлеба. Масла не надо. Кофе. Ясно?

— Слушаю, сэр Джон.

Брайант вышел. Сэр Джон закутался в халат и сделал два шага к двери; помедлил, вернулся назад, протёр зеркало и снова посмотрел в него. Отражение было расплывчато, словно он глядел на себя сквозь сетку дождя. Сэр Джон видел, что это он, но никак не мог отделаться от образа взъерошенного мальчика с задумчивыми глазами.

— Да хватит наконец, — сказал он и вышел в спальню.

Завтрак уже ждал его, но сэру Джону не хотелось есть. Он побарабанил ножом по краю тарелки, поковырял яйцо...

Подумать только, как это запотевшее зеркало воскресило вдруг далёкое прошлое! Оно, словно дым, рассеянный порывом ветра, было унесено прошедшими с тех пор годами. Но сейчас сэр Джон так отчётливо видел, как стоял он под дождём возле табачной лавки своего хозяина, мистера Поппи, который платил ему каждую субботу пять шиллингов за семьдесят два часа тяжёлой и нудной работы в течение недели.

«Боже, — подумал он, — чего я только не делал тогда! Скрёб полы, подметал, начищал бронзу, вытирал с полок пыль, таскал тяжести... Целый день на побегушках! Работал до изнеможения, пока не сваливался. Бедный ребёнок! И ради чего? Ради куска хлеба. А если Поппи казалось, что я выполнил работу на секунду позже положенного, он давал мне затрещину своей жирной белой рукой. По ночам, несмотря на усталость, я лежал, не смыкая глаз, и думал о том, что бы я с ним сделал, окажись он в моей власти...»

Но кто я, собственно, был? Безродный мальчишка, нищий, с сопливым носом. И что я мог поделывать? У меня всегда был насморк; носовые же платки были для меня тогда чрезмерной роскошью. Не очень это заботило и Поппи. Он был рад всему, что давало ему повод придрататься ко мне. Он знал, например, что мне было не под силу управляться с большими ставнями. Но он только стоял и смотрел, как я надрылся и калечил себе пальцы.

Всё началось с того утра, когда я, как заявил хозяин, размечтался, стоя под дождём у витрины. Да так оно и было. Я снял последний ставень и остановился на несколько секунд, чтобы передохнуть. Я посмотрел в окно и увидел внутренность лавки: товары на полках, бронзовые весы, посеребрённая зажигалка в виде змеи — изо рта у неё вырывался синеватый язычок горящего газа, — а ещё я увидел собственное отражение. На меня глядел хилый, забитый, безответный мальчишка. Помню, как я смотрел на себя и думал об этой жирной, хорошо одетой свинье Поппи. И вдруг я сам себе стал противен... Я ненавидел себя за то, что я грязный, мокроносый заморыш, маленький раб. И я заплакал. Мне захотелось убежать куда-нибудь в уголок, подальше от чужих глаз, и выплакаться.

Но в эту минуту незаметно подкравшийся сзади Поппи схватил меня за уши и рявкнул:

— Хватит торчать тут и любоваться собой! Будь я на твоём месте, меня бы стошнило от одного вида собственной рожки. Внеси ставни в лавку и подмети пол. Да поживей! Слышишь, ты, ленивый шенок! Не то я спущу шкуру с твоего зада.

И он дал мне пинок ногой.

Тут что-то перевернулось во мне. М-да, разве мог Поппи знать, что этим пинком он швырнул меня на дорогу, по которой я иду теперь, самолично подтолкнул к состоянию в десять миллионов фунтов и к титулу баронета! И вот, когда я входил в его тёмную лавку, согнувшись под тяжестью ставней, я поклялся отомстить Поппи. Я дал себе клятву, что больше никому не позволю запугивать и бить себя, — я сам стану большим человеком, я сам буду запугивать и бить других.

Это решение и побудило меня сделать то, что я сделал в следующую субботу. Вечером, как раз перед закрытием, Поппи оставил меня присмотреть за лавкой. Неожиданный большой заказ Дженкинса на сигары заставил его срочно отлучиться к оптовику, помещавшемуся за углом. В кассе была двухдневная выручка и арендная плата за квартал, которую следовало уплатить в понедельник, сразу же с утра, — всего около сорока пяти фунтов. Я вынул содержимое кассы, сунул деньги в карманы, запер лавку и ушёл. В полминуты я стряхнул с себя и отбросил, как грязную рубашку, всё, чего вечно боялся. Теперь я знал, что перестал быть безропотным страдальцем, но я знал, что и перестал быть честным. Я знал, что больше не буду слабым. Я знал, что стану большим человеком, великим человеком, сильным человеком. Сильнейшим из сильных! Я даже изменил свою фамилию на Хардести¹.

И, став Хардести, я стал тем, что я есть теперь. Сейчас мне кажется, что с тех пор прошло тысяча лет и в то же время, будто это было только вчера. Будь оно проклято, это запотевшее зеркало!

Я отправился на север, в Ливерпуль. Счастье повернулось ко мне! Казалось, долго перелистывая страницу скучной, нудной книги, я случайно наткнулся на яркую картинку... У Поппи я воспринял кое-что из его ремесла. Я пошёл по табачной части, получил место в оптовом магазине. Подучился. Стал копить деньги. Я понял, как важно уметь рисковать деньгами других, а не собственными. Я слушал и учился. Из разговоров я узнал о крупной сделке с боснийским табаком. Из разговоров же узнал я и о том, к кому надо обратиться и как найти общий язык. И так из года в год я всё выше забирался в гору.

Пусть собаки лают, сколько хотят! Пусть говорят, что я плачу гроши двадцати тысячам человек, работающих в моих магазинах и конторах, на моих фабриках. Пусть говорят всё, что им заблагорассудится. Пусть шипят, что я надул Лемана и Тэрбера. Пусть составляют на меня досье и распускают слух, что я плут, негодяй, злодей, угнетатель бедняков. Пусть лают, сколько их душе угодно, и так громко, как им хочется! Я слишком большой человек, слишком сильный и крепкий — им меня не укусить, чтоб их чёрт подрал! Кто посмеет сомневаться во мне? Пусть только кто-нибудь тронет меня, если посмеет!

И всё же лучше бы я не гляделся в это запотевшее зеркало... Такие вещи лучше всего забыть, вычеркнуть из памяти... А-а, плевать я хочу на всё это!..

Яйца совсем холодные. Почему мне всегда подают остывшие яйца?..»

— Брайант! Брайант! Чёрт бы вас побрал! Брайант!

Сэр Джон Хардести со злостью нажал кнопку звонка, но едва его палец коснулся её и он услышал вдалеке неясное жужжание, как что-то

¹ The hardest — сильнейший (англ.).

тяжёлое и холодное, похожее на железные шипцы, стиснуло ему грудь. Тарелка с яйцами взлетела вверх и ударила его по лицу.

Потом до его слуха донёлся голос Брайанта, гулкий и раскатистый, точно Брайант говорил в пустой галерее:

— Мария, быстро! У сэра Джона удар...

И он почувствовал, как проваливается в огромную чёрную пустоту.

Пустота была холодной, и сэру Джону стало страшно. Но, даже когда он падал, крутясь и перевёртываясь в этой чёрной необъятности, он видел лицо мальчика, отражавшееся в помутневшем стекле витрины. Видение было неясное, размытое дождевыми каплями, затуманенное слезами. И громовой голос, в котором было что-то от дрожащей томительности надтреснутого гонга, говорил:

— Ещё не всё, мой мальчик. Ступай назад, ступай назад, сынок, и начинай сначала.

Голос, похожий на гонг, будил жалость к себе, звал назад, в дождь, в холод, назад к тому, чем он был прежде.

— Попробуй жить сызнова! — убеждал этот голос.

Сэр Джон съёжился от страха и вскрикнул. Что-то похожее на волчок, непрестанно вращавшееся в его голове, казалось, замедлило своё движение, потом вздрогнуло и остановилось. И сэр Джон увидел себя перед окном лавки. Шёл дождь. Толстый мужчина с бесцветным лицом стоял с ним рядом и говорил:

— Внеси ставни в лавку и подмети пол. Да поживей! Слышишь, ты, ленивый шенок! Не то я спущу шкуру с твоего зада.

Сгибаясь под тяжестью ставней, мокроносый, с пытливым, полным тоски взглядом, мальчик Джон вошёл в тёмную лавку.

— Пора прекратить любоваться собой да скалить зубы! — крикнул мистер Поппи.

Он был зол. Но не потому, что его рука была мягче, чем голова Джона, и у него ещё болели костяшки пальцев. Он был зол потому, что вдруг почувствовал в этом сопливом мальчишке непонятную ему силу.

...Дневной выпуск «Ивнинг экстра» сообщил о внезапной кончине сэра Джона Хардести.

Благодарность

Операция прошла благополучно, но, когда я очнулся, у меня почему-то ныли пальцы на руке. Сестра увидела, как я рассматриваю их, и сообщила деловым тоном, что, просыпаясь от наркоза, я двинул хирурга по зубам. Не удовольствовавшись этим, я затем поставил синяк под глазом и сиделке.

— Пустяки, — успокаивала меня сестра, — с больными это часто бывает... А что они только говорят! Вы бы порядком удивились. Люди, о которых никто и не подумал бы, что они способны на это, выпаливают такие словечки, что только диву даёшься, откуда они их знают. Вы же, мистер Керш, вели себя так только из инстинкта самосохранения. Вы просто бессознательно пытались защитить себя.

— Мне так совестно, сестра!

— Ну что вы! Стоит ли об этом говорить! Это чепуха по сравнению с тем, что у нас выделывают.

— А что же вытворяют ваши пациенты под наркозом?

— Неудобно рассказывать... Во всяком случае, неделикатно. А в общем, встречаются презабавные люди, верно?

— На редкость забавные.

— Была у нас, например, одна дама...

Эта дама (стала рассказывать сестра) легла в больницу на довольно серьёзную операцию брюшной полости.

Она была весьма приятная с виду, миловидная, ещё молодая и очень состоятельная. Она занимала отдельную палату, и, казалось, пол-Лондона посылало ей цветы, фрукты, мармелад и всякую всячину.

С некоторыми больными бывает подчас довольно трудно, но про неё этого нельзя было сказать. Даже совсем наоборот.

Мы делаем всё для удобства больных. Эта наша обязанность. Приятно, когда вас ценят, но мы, право, стараемся не для того, чтобы нас благодарили... не говоря уже о том, чтобы помнили.

Ну и вот, эта дама вела себя так, будто она нас боялась, а меня в особенности. Знаете, как иногда маленькие мальчишки, когда они опаздывают в школу, приносят учителю цветов или яблоко? Она вела себя почти так же.

Право, было ужасно неловко. Как только кто-нибудь из нас заходил к ней в комнату, она обязательно предлагала что-нибудь — веточку винограда, персик или гвоздику.

Одной из наших девушек она сказала, что устроит её помощницей врача на Харли-стрит с окладом в пять фунтов в неделю. Мне она советовала открыть частную лечебницу... Говорила, что могла бы добыть для этого денег, ведь я такая замечательная, такая удивительная.

Она настойчиво уговаривала меня принять от неё в подарок ночную кофточку, которой я восхищалась, прелестную красную кофточку из ангорской шерсти. Я не хотела брать её, но она так настаивала, что я не смогла отказаться.

Она была частной пациенткой доктора Х. Этот доктор — отличный хирург; он не притронется скальпелем к частному больному меньше чем за сто гиней, а даром оперирует больничных пациентов сколько угодно.

Эта дама в ожидании операции провела в больнице около недели и уже через каких-нибудь четыре дня была дружна со всеми. Она даже снискала расположение старой миссис Биггс, которая топит камин; расспросила её обо всём: есть ли у неё муж и не хочет ли он получить в подарок что-нибудь из одежды, например, очень милое зимнее пальто, которое стало тесно её супругу; она угощала старуху виноградом и другими вкусными вещами.

У неё были сотни и сотни... ну, словом, ужасно много красивых журналов и книг — целые груды. Она говорила, что, когда будет уезжать из больницы, оставит их нам.

Денег у неё, несомненно, было тоже очень много. Руки её были унизаны драгоценностями. Она говорила, что кольца ей нравятся потому, что они красивы, а вовсе не потому, что дорого стоят. Обручальное кольцо у неё было с огромным сапфиром; она говорила, что хочет, чтобы её и похоронили с ним. Оно ценно для неё как память, и она не хочет с ним ни за что расставаться.

На мизинце рядом с обручальным она носила кольцо с огромным бриллиантом — наверное, с ноготь вашего большого пальца. Камень стоил, конечно, уйму денег.

Вечером, накануне операции, я зашла к ней, чтобы посмотреть, не требуется ли ей чего, и пожелать ей доброй ночи, как это обычно у нас делают. Она сказала мне:

— Сестра, я хочу вам подарить кое-что.

— Вы очень добры, — говорю я, — но вы и так уже достаточно мне подарили.

— Но мне было бы так приятно, — продолжала, тем не менее, она, — если бы вы согласились принять от меня маленький подарок. Вы не откажетесь? Ну, пожалуйста, сестра, возьмите это, прошу вас...

Она сняла кольцо с бриллиантом и надела его на мой мизинец. Я была совершенно ошеломлена, потому что такой бриллиант стоит, должно быть, сотни фунтов.

— Нет, такие подарки просто невысказаны! — сказала я, а сама так вся и задрожала: дело в том, что мне всю жизнь до смешного нравились бриллианты — этакие большие, переливающиеся всеми цветами радуги!

Стоит взглянуть на меня, чтобы понять, что ни один человек не станет дарить мне бриллианты. А тут вдруг эта дама, можно сказать, умоляет меня взять такое кольцо!

Разумеется, я сказала ей, что не могу его принять. Но она продолжала настаивать. Этот перстень, говорила она, для неё ничто, а я ей очень пришлась по душе, и ей будет приятно сознавать, что он у меня.

— Мне он не нужен, — заявила она.

Короче говоря, после долгих препирательств я всё же взяла кольцо. Но мне было боязно носить его, и я попросила сестру-хозяйку положить его в сейф. Сестра позавидовала мне, сказала, что я счастливая.

Все наши девушки оказались счастливыми в тот вечер. Ночная сестра получила меховую шубу. Ночной сиделке достался атласный халат, который не купить и за двадцать фунтов. Все только и говорили, что никогда ещё в больнице не было такой доброй, такой милой пациентки, как эта дама.

Я увидела её на следующее утро. Она была до смерти испугана и всё попытывалась, умрёт она или нет. Что за вздор! Конечно, она не умрёт, глупая женщина.

Операция предстояла довольно серьёзная, но у нас такие бывают по три раза на дню. Посмотрели бы вы на некоторых женщин и детей, которых привозили к нам во время войны!

Итак, её свезли в операционную; доктор Х. сделал своё дело. Как всегда, операция прошла блестяще, и наша дама в полном порядке была доставлена в палату.

Вы ведь знаете, мы для каждого стараемся сделать всё возможное — это наша обязанность. И к этой даме мы относились не лучше, чем к остальным пациентам. Да если бы она была простой уличной шарманщицей, мы и тогда сделали бы всё, что в наших силах, чтобы ей было хорошо и удобно. Но, поскольку она в знак благодарности подарила нам всем столько прекрасных вещей, мы питали к ней, так сказать, личную симпатию и были особенно рады видеть её в добром здравии.

Я находилась у неё в комнате, когда она проснулась. Она взяла мою руку и поцеловала её. Не выпуская руки, она спросила, благополучно ли прошла у неё операция. Я ответила, что да. Тогда она снова поцеловала мою руку, призвала на меня благословение божье и тут же заснула, как это обычно бывает после операции.

Проснулась она снова уже около пяти часов вечера. Я опять была возле неё. Первые её слова были:

— Где моё кольцо?

— В сейфе, — ответила я.

— Немедленно верните мне его, — сказала она.

У каждого есть чувство собственного достоинства. Я принесла кольцо, отдала ей, и она при мне надела его.

Потом она сказала:

— Куда девалась моя ночная кофточка?

Её она тоже получила. Короче говоря, она преспокойно отобрала у всех всё, что подарила.

Уезжая, она дала мне в знак благодарности одну из книжечек стихов в бумажной обложке, что стоят шесть пенсов, — и всё.

Ну, что вы на это скажете? Зачем нужно было этой даме так вести себя? Может быть, она считала, что, раз уж попала к нам, теперь от нас

зависит её жизнь? Или думала, что нужно втереться к нам в доверие, чтобы спастись? Должна же она была знать, что в любом случае мы сделали бы всё от нас зависящее, разве можно в этом сомневаться?

Скажите, почему люди бывают иногда такими низкими и жестокими? А ведь нет никакой необходимости быть низким и жестоким, не правда ли? Неужели человек ведёт себя так только потому, что боится смерти?

— Не знаю,— сказал я.

— Я тоже,— ответила сестра с добродушной улыбкой.

Запрятанное сокровище

Что бы вас ни влекло — бескрылый натурализм или безудержная фантазия, тягучий роман или пикантная сексуальная драма, ужасы или розовые бутоны, любовь или ненависть, страдание или радость, — в любом случае величайшим сочинителем является сама жизнь, а величайшим рассказчиком — человек, остающийся верным жизни, какая она есть. Самый изощрённый ум никогда не угонится за многообразной изобретательностью жизни.

Правда не только удивительнее вымысла, она бесконечно величественнее, ибо самый утончённый вымысел является лишь пересказом или отображением чего-то реального, а реальное происшествие всегда жизненнее его изображения. Наверняка существуют специальные картотеки, в которые тщательно занесены всевозможные переплетения обстоятельств и ситуаций, встречающиеся в беллетристике. Литераторы ломают голову, отыскивая новые аспекты, новые повороты — все те крохотные крупинки новизны, которые могли бы освежить старые сюжеты. Многие в искусстве писателя фактически состоит в отыскании новых специй и соусов, с помощью которых можно изменить знакомый вкус трёх или четырёх сортов мяса, составляющих повседневное меню.

Забавную историю, которую я собираюсь рассказать вам, я услышал, как говорится, из первоисточника. И всё же у меня где-то в мозгу гнездится ощущение, будто я уже слышал её раньше. Но это не имеет значения. Я знаю, что этот рассказ не выдуман, ибо я услышал его от человека, которому незачем было выдумывать его.

Я встретил этого человека в Лондоне несколько лет тому назад. Он был, как говорится, в преклонном возрасте. Но не думаю, чтобы ему на самом деле было столько лет, сколько можно было дать по виду. Просто он принадлежал к той мелкой породе людей, лица которых рано покрываются морщинами. Ему могло быть лет пятьдесят, а может, и все шестьдесят. Повидимому, он был большим любителем коктейлей и проводил значительную часть времени в барах. Я и познакомился с ним в одном знаменитом старом баре. Он был слегка навеселе. Повернувшись ко мне, он указал на небольшой преискурант или рекламу вин и других спиртных напитков и спросил:

— Вы верите в духов?

— Право, не знаю,— ответил я.— Однако, пожалуй, способен поверить в них. Можно даже сказать, что скорее я верю в них, чем отрицаю их, потому что необоснованное отрицание, по-моему, глупо... Нет ничего невозможного — этому, во всяком случае, научила меня жизнь.

— Видите ли, моя жена верит в духов,— сказал он.— А я верю только одному духу — спиртному... Моя жена,— продолжал он,— ужасная женщина. Она не любит меня, да и я не слишком люблю её. Она, что называется, женщина с причудами. Но я не виню её в этом. Возможно, я сам виноват, что не сделал её жизнь более интересной. За последние тридцать с лишним лет она только и делала, что душой и телом предавалась всякой чепухе, которая попадалась на её пути. Ну что ж... Я считаю, что каж-

дый имеет право удовлетворять свои желания, и боже упаси, чтобы я стал препятствовать каким бы то ни было устремлениям пытливого ума.

Но послушайте и судите сами. Я человек обеспеченный. Правда, деньги не свалились мне с неба. Я много работал и добыл их честным трудом. В жизнь я вступил, преисполненный всяких прекрасных, светлых идеалов. Я хотел стать крупным адвокатом, чтобы защищать права бедняков, трудиться на благо своих ближних. Но жена разубедила меня, отвратила от всего, во что я верил. Но и в этом опять-таки виноват прежде всего я сам. Как я мог позволить кому бы то ни было разубедить себя? Она требовала денег. И я посвятил всю свою жизнь добыванию их. Я стал дельцом, потел и надрывался, как чёрт, чтобы дать ей то, чего она хочет. И всё это время, пока я работал по десяти, двенадцати, шестнадцати часов в сутки, изматывая и изнуряя себя, она занималась самыми невыносимыми глупостями.

Начать с того, что она вступила в какое-то нелепое миссионерское общество, ставившее себе целью напялить штаны на дикарей, которые прекрасно обходились безо всяких штанов. Мне же это обошлось в копейчку. Затем в один прекрасный день она плюнула на штаны и увлеклась восточными вероучениями. Она привела в наш дом какого-то индуистского «святого», и целый год у нас была не жизнь, а крошечный ад. Она поклонялась этому типу, как богу, вместе с оравой таких же дур, как она, а мне в моём собственном доме не разрешалось ни пить, ни курить, ни принимать друзей. Она почти не разговаривала со мной, так как находила всё, что я говорил, отвратительным и, вероятно, кощунственным. Однако её «святой» не считал мои деньги кощунственными и в конце концов сбежал, прихватив с собой часть моих сбережений и кое-что из драгоценностей жены. Это меня несколько не огорчило — я был рад, что хоть такой ценой наконец избавился от этого типа. Я надеялся, что теперь-то уж в моём доме наступит хоть ненадолго мир и спокойствие. Но мне не суждено было такое счастье. Моя жена переходила от одного увлечения к другому с такой же лёгкостью, с какой я перехожу от одной рюмки к другой. Она тут же обзавелась новыми друзьями. Они интересовались... Забыл точно — чем, но, мне кажется, это имело какое-то отношение к воспитанию молодых матерей или что-то в этом роде. Моя жена не имела детей: для этого она была слишком занята. Когда я заикнулся как-то, что неплохо было бы, пока не поздно, обзавестись ребёнком, она спросила ледяным тоном, не собираюсь ли я низвести её на положение домашней рабыни — повидимому, в этом я вижу удел женщины... А потом она занялась какой-то новой религией, название которой я забыл... Так оно и шло из года в год. Наконец я пришёл к выводу, что жизнь моя лишена всякого смысла.

Но тут на жену нашло новое помешательство. На сей раз это были духи. Знаете, в этом вопросе я, кажется, похож на вас. Я абсолютно не разбираюсь в духах, но охотно готов поверить в их существование. Я даже допускаю, что и загробная жизнь существует: трудно как-то примириться с мыслью, что всё кончается могилой. Но, будучи человеком здравомыслящим, я считаю по меньшей мере странным верить на слово всему, что болтают все эти медиумы или как их там зовут. Вот, например, однажды спиритический кружок моей жены вызвал дух Вольтера. С типичным ланкаширским акцентом — уж в этом меня никак не проведёшь — дух соблащил им, что он очень счастлив. Я заговорил с ним по-французски, но он не понял ни слова. Ну, скажите, где тут здравый смысл? По-моему, ничего разумного тут нет и в помине.

Я так и сказал. И влетело же мне! Весь кружок напал на меня, как стая кур на утёнка. Меня чуть не заклевали насмерть. А я ведь не осуждаю ни спиритов, ни спиритизм: я просто ни черта не смыслю в этом. Но между мной и женой из-за этого всё время возникают нуднейшие споры, которые неизменно заканчиваются ссорами, и жена говорит мне всякие гадости. В довершение всего, неделю или две тому назад она заявила, что

вышла за меня замуж просто за неимением лучшего и что на самом деле всегда была влюблена в кого-то другого. Это почему-то ранило меня больше, чем всё, что я до сих пор от неё слышал: ведь знай я это раньше, я бы давно ушёл от неё и устроил бы свою жизнь получше.

Но я ничего не сказал ей. А моя жена — учтите, женщина уже в годах! — продолжает попрежнему поклоняться медиумам и немало платит за это удовольствие. Правда, есть медиумы, которые не интересуются деньгами. Но приятели моей жены явно не принадлежат к их числу.

И вот я решил проделать небольшой эксперимент. В последнее время мне что-то нездоровится, и мой врач говорит, что я могу в любой момент испустить дух — ну, вроде того, как это бывает с детскими воздушными шарами: хлоп — и нету! Меня это не очень огорчает. Но я подумал, что, отправляясь на тот свет, я могу позволить себе немного пошутить и произвести небольшой эксперимент с духами. Я составил завещание. Жена его ещё не видела...

Старик засмеялся. Смех перешёл в кашель. Когда ему удалось наконец перевести дух, он сказал:

— Я завещал ей двести пятьдесят фунтов в год, не подлежащих обложению налогом. Кроме того, я оставляю ей двести пятьдесят тысяч фунтов в ценных бумагах. Они лежат в герметически закупоренном ящике и спрятаны в таком месте, что даже сам Шерлок Холмс не сможет обнаружить их. В завещании я написал, что, если местонахождение этих денег будет обнаружено с помощью медиума, моя жена сможет распоряжаться ими по своему усмотрению. Жаль только, конечно, что меня не будет в живых, чтобы вдоволь посмеяться над нею. Но если, сказано в моём завещании, моя жена сумеет вызвать мой дух после смерти — ну что ж, я буду только рад рассказать ей, где спрятаны деньги... Мне кажется, что я поступил вполне справедливо...

Старик всё ещё смеялся, когда я уходил.

Перевод с английского Г. Шишкина.



ГЕНРИК ИБСЕН

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

23 мая 1956 года исполняется 50 лет со дня смерти великого норвежского поэта и драматурга Генрика Ибсена. Писатель глубоко национальный, черпавший мотивы своей поэзии и своих исторических и философских драм в живом роднике народного творчества, Ибсен вместе с тем — и именно поэтому — был и остаётся одним из выдающихся художников мировой литературы. Обличительная сила и гуманистический пафос лучших реалистических произведений Ибсена, таких, как «Столпы общества», «Привидения», «Кукольный дом», «Доктор Стокман» и другие, сообщают им непреходящую ценность. Всем своим творчеством Ибсен боролся против буржуазного лицемерия и либерального фразёрства, проповедовал «бунт человеческого духа» против мещанской морали и «дряблости душевной».

Несмотря на противоречивость мировоззрения Ибсена, его страстная защита человеческого достоинства, прав личности на свободное развитие делает его активным борцом и в нынешних битвах прогрессивных сил против реакции.

Ибсена издавна знают и любят в России. Его произведения много раз издавались у нас, его драмы прочно вошли в репертуар наших театров. Лишь поэтическое наследие Ибсена сравнительно мало известно советскому читателю. Ниже мы публикуем два стихотворения, в которых находят своё выражение эстетические принципы молодого Ибсена, стремившегося наполнить искусство народно-патриотическим содержанием и приблизить его к народу.

В русском переводе эти стихи печатаются впервые.

ПРОЛОГ К ПЕРВОМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ «ИВАНОВОЙ НОЧИ»¹

Слово нам летит вослед
В дальних жизненных скитаньях,
Голубой вплетая цвет
В наш венок воспоминаний.
И оно звучит порой
В нашей скорби и в томленьи,
Нам даруя исцеленье;
Это слово — край родной.

Осень тёмная пришла,
Ласточка на юг стремится;
Всё же ждёт она тепла,
Чтоб на север возвратиться.
То гнездо, где пела мать,
Не забыть ей, — улетаая,
Будет вечно тосковать
О своём родимом крае.

Так и ты в чужом краю
Мчишься за море мечтами —

¹ «Иванова ночь» — ранняя комедия Ибсена, написанная в 1852 году и поставленная в 1853 году в Бергенском театре. (Примеч. перев.)

Видишь родину свою
За безбрежными волнами.
Право, виноградный сок
Южных лоз, кроваво-чёрных,
Ты бы отдал за глоток
Из её потоков горных.

Зимним вечером сидишь
В тихой келье одинокой,
В пламя алое глядишь,
Призадумавшись глубоко;
Словно нити серебя
Дорогих воспоминаний,
Видишь мальчиком себя
У огня в каморке няни.

Сказки милых детских лет,
Звуки старых песнопений —
То, что в суете сует
Было предано забвенью, —
Слышишь? Вновь минувших дней
Просыпаются преданья,
И текут воспоминанья
К дому матери твоей.

Родина! Твой звучный глас
В нас не смолкнет до могилы!
Сад поэзии для нас
Ты, как солнцем, озарила.
И цветок искусства — он
Порождён землёй отчизны;
На чужбине осуждён
Потерять он краски жизни.

Чем же край наш не богат?
Словно куст, цветами полный,
Иль поэзии каскад,
Бьют навстречу жизни волны.
Разве скромный наш народ
В высях скал, в тени долины
Живописцу не даёт
Дивных красок для картины?

Манит юга пышный сад
Апельсином и платаном,
Но на севере стоят
Ели с гибким, тонким станом.
Ветви их кивают нам,
Тень их нежит в час досуга, —
Для чего ж искусства храм
Воздвигать нам в рощах юга?

Над холмами зазвучал
Звонкий рог крестьянской девы;
Оглашает выси скал
Хульдра¹ жалобным напевом.

¹ Хульдра — фея в норвежских народных сказаниях. (Примеч. перев.)

Песня девушек легка,
Хульдра скорбная томится.
Так веселье и тоска
Лишь в народе могут слиться.

Если ж чувствами полна
До краёв душа живая,
Скорбь и радость мы до дна
В наших песнях изливаем.
Нам искусство — мир родной!
То искусство, где народа
Истолкована природа,
Где он видит образ свой.

Скальдом-жаворонком стать
Суждено не всякой птице,
Всё же песни распевать
В меру сил она стремится.

Вам сегодня надлежит
Нас судить не слишком строго —
Пред художником лежит
Многотрудная дорога.

2 января 1853 г.

Перевод с норвежского В. Адмони и Т. Сильман.

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ

Жить — это значит снова
С троллями в сердце бой.
Творить — это суд суровый,
Суд над самим собой.

1878 г.

Перевод с норвежского В. Адмони.



ПУБЛИЦИСТИКА

М. ВИЛЕНСКИЙ

★

СТРАХИ И СОМНЕНИЯ

(Западная печать о проблемах автоматизации производства)

«Общий кризис капитализма продолжает углубляться. Неразрешимое противоречие капитализма — противоречие между современными производительными силами и капиталистическими производственными отношениями — обострилось ещё больше. Быстрое развитие современной техники не опровергает, а лишь подчёркивает это противоречие».

(Из отчётного доклада ЦК КПСС XX съезду партии).

И и одно событие в истории развития экономики не вызывало таких споров и разногласий, как эта комбинация электронных мозгов и механических мускулов¹, — так писал американский журнал «Нью-Йорк таймс мэгэзин» о бурной дискуссии, развернувшейся на страницах западной печати вокруг проблем, порождаемых широкой автоматизацией производства.

Заводы-автоматы, управляемые горсткой контролёров и наладчиков, цехи, где часами не появляется ни единая живая душа, но где непрерывно кипит работа, — что несут они миллионам трудящихся капиталистических стран? Сомнения, опасения, страх звучат в статьях вперемежку с успокоительными заверениями и деланно-оптимистическими прогнозами. Вот некоторые из тревожных заголовков, мелькающих на страницах западной печати: «Опасны ли заводы без людей?», «Руководители профсоюзов напуганы автоматизацией», «Автоматизация — принесёт ли она изобилие или увольнения?», «Автоматизация — оружие хозяев».

Об автоматизации толкуют под сводами Капитолия и в древнем Вестминстере. В США подкомиссия конгресса расследовала в конце прошлого года, как влияет автоматизация на экономику страны и на уровень занятости населения. В Англии член парламента лейборист Каллаган предупреждал, что страна находится в преддверии второй промышленной революции и что нельзя допустить, чтобы она обрушилась на Англию так же неожиданно и была столь же бесплановой, как первая промышленная революция конца XVIII, начала XIX века.

Особую остроту дискуссия приобрела в связи с подключением к автоматическим линиям электронных счётно-решающих устройств, которые условно называют «электронным мозгом». Это электронное устройство само определяет наимыгоднейший режим производственного процесса и поддерживает его, а также контролирует качество готовой продукции, бракуя или откладывая в сторону изделие, не отвечающее техническим требованиям. «Электронный мозг» позволяет высвободить с автоматизированного предприятия ещё некоторые категории рабочих.

Факты показывают, что такое величайшее достижение человеческого ума, как автоматизация производства, в условиях капитализма оказалось сгустком острейших противоречий, свойственных этому строю, стало или грозит стать источником новых несчастий для пролетариата капиталистических стран.

¹ „The New York Times Magazine“. 18.XII.1955.

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ

Вот несколько фактов, взятых прямо из вороха американских и английских газет.

Американская компания «Рок Айленд рифайнинг компани» пустила полностью автоматизированный нефтеперерабатывающий завод. Установка управляется с помощью электронных приборов, автоматически изменяющих температуру, давление, скорость поступления нефти. Новейшее оборудование даёт возможность уменьшить число рабочих нефтеперерабатывающего завода с восьмисот до двенадцати человек.

Четырнадцать автоматов изготовляют 90 процентов американских электроламп, производя их со скоростью тысяча восемьсот штук в минуту.

На заводе «Колумбия рекорд» (штат Коннектикут) четыре человека, обслуживающие автоматы, производят патефонных пластинок в восемь раз больше, чем двести пятьдесят человек, работающих на старом оборудовании.

Классическим образцом автоматизированного предприятия провозглашён фордовский моторостроительный завод в Кливленде. Теперь двести пятьдесят человек делают здесь вдвое больше, чем прежде две с половиной тысячи. Необработанная металлическая болванка поступает на линию. Она проходит через пятьсот тридцать операций на сорока двух автоматических станках, передвигаясь от одного к другому на специальных транспортёрах, и без приложения человеческой руки превращается в блок цилиндров. «Электронный мозг», связанный с автоматической линией при помощи двадцати семи миль проводов, «командует» станками, «решает», готов ли блок для того, чтобы перейти к следующей операции, «принимает донесения» стальных пальцев, прощупывающих глубину высверленных отверстий, сигнализирует об износе свёрл и режущих инструментов и показывает контролёрам, что происходит на каждой стадии производственного цикла. Перебегающие и перемигивающиеся на пульте управления зелёные, красные, синие и жёлтые сигнальные огни, по выражению восторженных поклонников Форда, делают пульт похожим на рождественскую ёлку¹.

Канторские служащие в США и Англии давно перестали терять себя надеждой, что им автомат не страшен.

Электронный бухгалтер английской фирмы «Дж. Лайонс энд К^о» вычисляет за сорок минут недельную зарплату для семи тысяч служащих. Солидная группа клерков тратила на эту работу в общей сложности двести двадцать пять часов.

Американский концерн «Дженерал электрик» установил на своём заводе в Луисвилле электронную счётную машину, благодаря которой намеревается сэкономить на заработной плате служащих 500 тысяч долларов в год.

Электронные счётные машины вычислили таблицы подоходного налога для всей Англии, проделав за десять часов семьсот пятьдесят тысяч математических действий. Самому квалифицированному персоналу для этого требовались недели труда.

«Через десять лет восемь из каждых десяти лондонских машинисток, секретарш, делопроизводителей и счетоводов, работающих ныне в крупных учреждениях, не будут нужны», — предсказывает английская газета «Дейли миррор»².

Печать сообщает, что у хозяев предприятий, умилённых «сообразительностью» и экономичностью их счётных машин, входит в моду говорить о своих автоматах: «Мой Лео сохраняет мне массу денег», «Моя Мадам превосходно считает». Словом, хозяева довольны, чего никак нельзя сказать об уволенных служащих.

ИЗУЧАТЬ, А НЕ ОТМАХИВАТЬСЯ

Судя по печати, в настоящее время новейшая автоматизация получает довольно широкое распространение в США и постепенно начинает проникать в индустрию Англии. Всё чаще появляются в прессе сообщения о самых различных американских предприятиях, где автоматизированы уже целые производственные участки. Это явление должно стать объектом пристального изучения и наших инженеров и наших эконо-

¹ „The New York Times Magazine”. 18.XII.1955.

² „Daily Mirror”. 30.VI.1955.

мистов. Однако до недавнего времени в течение ряда лет некоторые наши специалисты в этой области вместо объективного изучения фактов предпочитали заниматься абстрактными рассуждениями о многочисленных препятствиях на пути развития новой техники в эпоху империализма. Нежелание изучать зарубежный опыт проистекало, в частности, из-за ошибочного и ненаучного представления, будто эпоха империализма означает «закупорку» производительных сил, приостановку всякого технического прогресса в капиталистических странах.

Вот, например, как отнёсся к этой проблеме автор в общем довольно интересной и полезной брошюры «Автоматизация производственных процессов» кандидат технических наук А. Воронов. Он коснулся автоматизации на Западе, но сделал это по принципу «что касается вина, то он пил воду», ибо предпочёл говорить не об автоматизации, а о большом количестве патентов, скупленных и «замороженных» капиталистами для того, чтобы новым изобретением не мог воспользоваться конкурент. Вместо делового анализа достижений западной технической мысли А. Воронов сообщил о том, что для капиталистической техники характерно «широкое распространение станков фирмы «Болей», в которых продольное перемещение суппорта осуществляется самим рабочим, впрягающимся в хомут, напоминающий ляжку бурлака»¹. Всё это так, конечно: бывает и «замораживание» скупленных патентов (хотя порой наша политэкономия придавала этому явлению чрезмерное значение), есть и станки «Болей» с хомутом для рабочего. Но разве только о таких «достижениях» Запада следовало говорить в брошюре, посвящённой автоматизации производственных процессов?

«Предприниматель не заинтересован во внедрении автоматки, требующей значительных затрат,— пишет А. Воронов,— если это внедрение не обеспечивает максимальной прибыли». Совершенно верно. Но в том-то и дело, что именно во внедрении автоматки крупный предприниматель видит в наши дни одно из средств обеспечения максимальной прибыли! Он резко увеличивает выпуск продукции, значительно экономит в то же время на заработной плате рабочих. Нельзя упускать из виду, что погоня за максимальными прибылями при сужении рынка в небывалой степени обостряет конкуренцию между капиталистическими странами, между их монополиями, а конкуренция неизбежно подталкивает процесс обновления основного капитала. Вот почему в ряде отраслей происходит значительный технический прогресс, вводится новое высокопроизводительное оборудование, применяются всякого рода усовершенствования.

Высокомерно отмахиваясь от изучения автоматизации за рубежом, мы лишь затруднили бы себе решение задачи — догнать и перегнать по уровню производительности труда США.

Ленин указывал, что общая тенденция загнивания капитализма не исключает технического прогресса и подъёма производства в тот или иной период. Нам необходимо, как подчеркнул в отчётном докладе Центрального Комитета КПСС XX съезду, изучать всё лучшее, что дают наука и техника в странах капитализма, с тем чтобы использовать достижения мирового технического прогресса в интересах социализма.

Настоящий обзор не претендует на глубокий анализ причин и следствий автоматизации производства на Западе. Наша цель лишь привлечь внимание читателя к социальной стороне этой важной и интересной проблемы.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ — БЕЗРАБОТИЦА

Первый и непосредственный результат автоматизации производства при капитализме — дальнейший рост безработицы. Гром литавр и фанфар в честь технического прогресса не может заглушить проклятий тысяч и тысяч рабочих, выброшенных на улицу.

Английская «Дейли миррор» сообщала, что в 1954 году Америка произвела товаров столько же, сколько и в предыдущем году, но имея на восемьсот пятьдесят тысяч рабочих меньше². Со страхом смотрят в будущее труженики всех отраслей промыш-

¹ А. А. Воронов. Автоматизация производственных процессов. Издательство «Знание». Москва. 1954.

² „Daily Mirror”. 29.VI.1955.

ленности: и машиностроители, и сталеплавильщики, и текстильщики, и рабочие скотобоен, и кондитеры, и многие, многие другие, в чью сферу труда уже вторгся автомат. Скольким из них предстоит в ближайшем или отдалённом будущем пополнить собой армию «людей с угасшими глазами», армию безработных? Профсоюзные экономисты подсчитали, что автоматизация в среднем приводит к сокращению потребности в рабочей силе на 80—90 процентов, а кое-где можно найти предприятия, где один рабочий, обслуживающий новое оборудование, даёт столько же продукции, сколько ранее давали сто или более рабочих¹.

«Безработица усиливается. В этом нет ничего загадочного. Она усиливается в результате внедрения в промышленность новых машин, новых производственных методов», — писал в минувшем году журнал «Пэкингхауз уоркер» — орган профсоюза рабочих мясоконсервной промышленности. Об этом же пишет орган профсоюза рабочих горнорудной промышленности и плавильщиков газета «Юнион»: «Многие тысячи рабочих убедились в том, что автоматизация усиливает безработицу, уничтожает многие специальности и делает ненужным применение труда высококвалифицированных рабочих... Рабочие хотят быть уверенными в том, что век автоматизации не превратится в кошмар для них»². Встревожен и руководитель научно-исследовательского отдела профсоюза текстильщиков Баркин. «В результате быстрого роста технической оснащённости предприятий... — заявил он, — тысячи рабочих лишились работы и выброшены на рынок труда, где шансы на получение другой работы очень невелики».

Железные дороги представляют собой «жалкую картину», утверждает Кэррол, председатель профсоюза рабочих по ремонту дорог. Что он имеет в виду? Состояние дорог? Нет, совсем иное. За один лишь год введение технических новшеств, вроде электронных автоматических устройств для формирования составов, привело к увольнению 237 тысяч железнодорожников.

Сколь ни красноречивы подобные высказывания (а число их можно умножить), они нуждаются в комментариях. Дело в том, что упомянутые выше профсоюзные деятели и печатные органы неточно указывают виновника несчастий. Сама по себе автоматизация и рост технической оснащённости вовсе не влекут за собой безработицы. Машины не ответственны за что бы то ни было. Часто мелькающая на страницах буржуазной печати формулировка — «увольнение по причине роста технологической эффективности» — призвана затуманить истинное положение вещей. Не автоматизация как таковая, а капиталистическое применение автоматических станков и линий является одним из источников, порождающих безработицу. Теория «технологической безработицы» категорически опровергается опытом социалистического строительства в СССР. Всем известно, что увеличение числа машин не только не привело в СССР к безработице, а, наоборот, сопровождалось полной её ликвидацией.

С самого своего возникновения капиталистическое применение машин прежде всего лишало средств существования десятки и сотни тысяч рабочих, становящихся «излишними». Так, ещё за полтора века до того, как Форд пустил автоматическую линию на своём Кливлендском заводе, 800 тысяч английских ткачей оказались на улице в связи с широким внедрением паровых ткацких станков на заре британского капитализма.

ШАНСЫ УВОЛЕННЫХ

Положение американского безработного трагично. Шансы устроиться на новую работу весьма невелики, когда одни предприниматели лихорадочно автоматизируют своё производство, а другие разоряются, не выдержав напора конкурентов. В наше время в американской экономике чётко определилась тенденция в сторону модернизации уже имеющегося капитального оборудования, а не в сторону расширения его. Иными словами, предприниматели считают более выгодным оборудовать автоматические поточные линии под старыми крышами, чем воздвигать новые цехи и заводы. Процент на модернизацию, отчисляемый от всех расходов на капитальное оборудова-

¹ Labor Fact . Book 12. New York. 1955.

² „The Union”. 17.1.1955.

ние, вырос с 51 в 1952 году до 57 в 1953 году. А в 1956 году процент на модернизацию, как ожидают, достигнет 62¹.

Американский журнал «Нью рипаблик» делает вполне правильный вывод: «Поскольку наши расходы на капитальное оборудование в настоящее время направляются главным образом в сторону модернизации, а не в сторону расширения, безработица в промышленности в больших масштабах кажется близкой...»². Уже упоминавшийся нами профсоюзный деятель Кэррол говорит: «С увеличением выпуска продукции и ростом достижений машинного века рабочие будут терять работу быстрее, чем будет появляться возможность получения новой работы».

Но ведь всё-таки значительные средства расходуются на строительство новых заводов. Может быть, в их цехах и найдут себе место уволенные с автоматизированных предприятий? Однако те, кто рассуждает таким образом, упускают из виду, что новые заводы строятся сразу на основе последних технических достижений и их владельцы отнюдь не ставят себе целью обеспечить куском хлеба всех уволенных ранее с других предприятий. По мнению журнала «Нью рипаблик», нужно более ста миллиардов долларов в год для того, чтобы предоставить работу людям, уволенным с заводов и фабрик. «Весьма сомнительно, чтобы эти деньги можно было изыскать»³, — заявляет журнал. Пессимизм его понятен.

УЧАСТЬ ОСТАВШИХСЯ У «ЕЛКИ»

Глубоко ошибается тот, кто думает, что рабочий, избежавший увольнения, живёт припсавуци и в цехе только то и делает, что поглядывает на разноцветные огни «рождественской ёлки» и нажимает соответствующие кнопки на пульте. Жажда прибылей, накопления капитала ненасытна, и автоматизация не означает ни ослабления интенсификации труда, ни ликвидации потогонной системы.

Скорее наоборот.

Так, например, компания «Дженерал электрик» стремится полностью интенсифицировать труд рабочих на каждой новой операции. Как сообщала профсоюзная газета «Юнайтед электрик ньюс», компания дошла до того, что стремится установить точное время даже для операции, занимающей ничтожную долю секунды. Когда управляющий заводами «Паккард» Браун заявил, что все трудоёмкие процессы автоматизированы и механизированы и что рабочим будто бы живётся легко и привольно, паккардовские рабочие поспешили опровергнуть не соответствующее истине заявление управляющего. Один из них заявил корреспонденту газеты «Дейли уоркер»:

— Передайте вашим читателям, что господин Браун не стремится сколько-нибудь облегчить нашу работу. Если бы он стремился к этому, он давал бы нам несколько минут свободного времени во время работы. Он давал бы нам время на то, чтобы умыться. Он положил бы конец чудовищной интенсификации труда, которая достигается за счёт крайнего истощения всех наших сил. Нет, новая замечательная техника используется для того, чтобы уменьшить себестоимость продукции путём сокращения числа занятых на производстве рабочих.

Рабочий безусловно прав. Слова его можно подкрепить следующими данными. По сообщениям печати, например, применение станков-автоматов при выпуске автомобильных моторов «Плимут» позволило снизить производственные издержки вдвое и почти на 25 процентов уменьшить потребность в рабочей силе.

Рекламных дел мастера, воспевающие чудеса капиталистической автоматизации, весьма неохотно признают, что рядом с безлюдными автоматизированными цехами есть участки, где, попевая за страшным ритмом автоматов, надрываются рабочие. Так, журнал «Нью-Йорк таймс мэгэзин» рассказывает о «разительном контрасте», когда из пустынного автоматизированного цеха попадаешь в «сумятицу заключительных сборочных операций». «С последних фордовских линий двигатель сходит каждые двенадцать секунд, — пишет журнал, — и рабочие находятся в такой тесноте, что тол-

¹ „The New Republic“. 11.VII.1955.

² Там же.

³ Там же.

кают друг друга локтями и плечами, выполняя свои строго определённые операции, похожие на те, которые были прославлены (!) Чарли Чаплином в фильме «Новые времена»¹.

ЗЛО

«Автоматические фабрики: бедствие или залог благоденствия?» В этом заголовке из профсоюзной газеты «Юнайтед электрик шоп стюард» звучит горестное раздумье американского труженика. Смесь восхищения и страха сквозит во многих высказываниях. Рабочие «говорят о своих механических детищах с гордостью, редко наблюдаемой у заводских рабочих, — пишет «Нью-Йорк таймс мэгэзин», — но к этой гордости примешивается изрядная доля страха. Многие разделяют беспокойство своих профсоюзных руководителей о том, что машины в конце концов сделают ненужной их работу»².

Американские трудящиеся осознают простую истину: оснащая цехи автоматическими линиями, хозяева думают в первую очередь о том, чтобы удержать в кармане доллары, которые в противном случае они должны были бы уплатить рабочему.

Орган профсоюза горняков «Юнайтед майн уоркерс джорнэл» писал: «Когда мы строим новые чудесные машины, не создаём ли мы тем самым большую армию механических роботов, которые вытеснят человеческий труд и усилят безработицу?.. Нет никакой гарантии, что в результате жадности и эгоистичности предпринимателей мы не окажемся свергнутыми в экономический кризис»³.

По данным опроса (вероятно, такого же приблизительного и неполного, как и все подобные опросы в Америке), «около трёх четвертей работающего населения считает, что автоматизация приведёт к увольнениям и безработице, они считают, что зло от неё перевесит её выгоды». (Оптимисты, составляющие четвертую часть, вероятно, полагают, что они сами останутся у «ёлочных огней» — обслуживать автоматы, но их уверенность зиждется на песке. Капиталисты не очень-то склонны гарантировать кому бы то ни было работу.)

Таким образом, даже этот опрос вполне правильно показал истинное отношение к автоматизации: встревоженных куда больше, чем ликующих.

У рабочего класса Америки сложилось прочное, непоколебимое, основанное на фактах убеждение, что автоматизация при капитализме — зло для рабочих. Крупнейшие американские профсоюзные организации КПП и АФТ, до их слияния каждая в отдельности, выразили в различных документах своё серьёзное беспокойство по поводу последствий автоматизации. В одной из резолюций, принятых Конгрессом производственных профсоюзов, говорилось: «Дальнейший технический прогресс будет означать скорее вытеснение рабочих с производства, чем повышение их жизненного уровня в результате увеличения валового выпуска продукции»⁴.

Экономисты Американской федерации труда в своём докладе исполнительному комитету АФТ констатировали: «Быстро развивающийся процесс автоматизации производства отрицательно скажется на положении рабочих в ряде отраслей промышленности».

Ещё драматичнее звучат выводы американского журнала «Нью рипаблик». «Основным последствием автоматизации, — пишет журнал, — будет, повидимому, безработица, которая тяжело отразится без всякого различия на положении основных категорий, имеющих работу в настоящее время... Из нынешнего опыта автоматизации мы знаем, что безработица, к которой ведёт автоматизация, будет, учитывая наше нынешнее экономическое положение, очень значительной, постоянной и совершенно беспрецедентной по своим последствиям». И далее журнал указывает, что подобное положение неминуемо приведёт к «элементам депрессии во всей экономике»⁵.

¹ „The New York Times Magazine”. 18.XII.1955.

² Там же.

³ „United Mine Workers' Journal”. 1.IX.1954.

⁴ Resolution № 16. 1954. Proceedings of Sixteenth Constitutional Convention of the CIO. Los Angeles. California.

⁵ „The New Republic”. 11.VII.1955.

Так чудесные механические приспособления, воплотившие в себе сказочные мечты многих поколений людей, придя в жизнь, сулят невообразимые беды своим творцам. На долю американского рабочего выпали поистине танталовы муки. Мучимый жаждой и голодом, Тантал стоял по самый подбородок в прозрачной воде. Но едва он наклонялся, как вода исчезала. Над головой его свисали спелые фрукты, но едва он протягивал руку за прекрасными плодами, как ветер отклонял ветки в сторону. Американский рабочий, создатель чудесных автоматов, стоит как будто бы совсем рядом с изобилием. Кажется, протяни он руку — и вот она, обеспеченная, полная материальных благ жизнь. Но блага, приносимые автоматизацией, попадают только в хозяйские руки. Сердце Тантала сжимал вечный страх, ибо над головой его нависала скала, которая ежеминутно грозила обрушиться. На американского квалифицированного рабочего ежеминутно грозило обрушиться весть об увольнении его «в результате роста технологической эффективности».

Автоматизация бьёт не только по рабочим, но и по мелким и средним предпринимателям, у которых нет средств на автоматическое оборудование. Поэтому растут лишь и без того богатые, самые крупные корпорации и монополии, тогда как удел их более слабых конкурентов — банкротство.

ЗАВОДЫ БЕЗ ЛЮДЕЙ, ЛЮДИ БЕЗ ДЕНЕГ

Щедринский глупый помещик не выносил крестьянского духа. Но, будучи к тому же существом жадным, он боялся, «как бы мужик не проел всё его добро». Вот и решил он заменить мужика машиной, «чтоб всё паром, паром, а холопского духа чтоб нисколько не было». Читатель помнит, конечно, что произошло, когда исчезли крестьяне: казна лишилась податей, на базаре пропали хлеб и мясо, а сам помещик одичал. Сюжет и мораль мудрой сказки сатирика удивительно перекликаются с некоторыми явлениями, вызываемыми автоматизацией производства в Америке. Предприниматель тоже хочет, чтоб «всё паром, паром (автоматом, автоматом), а холопского духа чтоб нисколько не было». Уменьшая количество рабочих и в то же время наращивая выпуск продукции, капиталист тем самым резко снижает издержки производства и себестоимость продукции, успешнее душист конкурентов и увеличивает поступление прибылей. Капиталисту кажется, что автоматизация в сочетании с электроникой, позволяющая держать минимальное количество рабочих, сулит ему максимальные прибыли.

Однако во всём этом есть роковое для капитала «но». Знаменательный диалог произошёл между председателем профсоюза рабочих автомобильной промышленности Уолтером Рейтером и одним из директоров фордовского концерна. Показывая Рейтеру безлюдный, полностью автоматизированный цех Кливлендского завода, директор кивнул в сторону станков и не без злорадства спросил:

— Интересно, как вы будете собирать профсоюзные взносы с этих парней?

— Интересно, как вы заставите этих парней покупать ваши автомашины? — ответил вопросом на вопрос Рейтер¹.

Профсоюзный босс Рейтер, который в конечном счёте скорее охраняет нервную систему предпринимателей от сильных потрясений, нежели причиняет таковые, на сей раз задел их больное место. Действительно, автоматизация усугубляет острейшее противоречие капиталистической системы, противоречие между производством и потреблением. Истина состоит в том, что, производя массовые увольнения рабочих, капиталисты в конечном счёте сами лишают себя покупателей своих товаров, поскольку, как каждому понятно, покупательная способность безработного ничтожна.

Эту же мысль развил на заключительном заседании подкомиссии конгресса, изучавшей влияние автоматизации, д-р Ноурс — бывший председатель Экономического совета при президенте Трумэне. По его словам, нынешняя тенденция свидетельствует о том, что США переживают сейчас критический период... «Я сильно подозреваю, — сказал он, — что во многих местах мы уже создали производственную мощность, превышающую способность возможного рынка поглотить товары при тех доходах, которые

¹ „World News“. 5. III.1955.

имеют жители городов и деревень, и при том уровне занятости, который будет результатом автоматизации». Ноурс добавил, что, «если смотреть на дело пессимистически», положение американской экономики «чреват взрывом»¹.

«Подозрения» д-ра Ноурса легко обосновать рядом примеров. Так, к началу этого года на фордовских складах готовой продукции скопилось восемьсот тысяч нераспроданных автомобилей. Компании Форда пришлось рассчитать несколько тысяч рабочих и частично свернуть производство, законсервировав ряд своих предприятий. Аналогичная ситуация сложилась и в других отраслях производства.

Американские экономисты считают, что если будет автоматизироваться в год пять процентов всех предприятий и, таким образом, автоматизация всего производства займёт двадцать лет, то ежегодно будут оставаться без работы три миллиона человек². Это значит, что через двадцать лет может быть шестьдесят миллионов безработных. Но подобное положение абсурдно. Ибо возможно ли наличие в стране шестидесяти миллионов безработных? Даже отдалённое приближение к этой цифре будет означать неминуемый крах экономической системы данной страны.

Уже первые результаты этого технического переоснащения показывают, что по мере проведения автоматизации резко усиливается противоречие между производством и потреблением. Целью капиталистического производства является извлечение прибыли во всё возрастающих размерах. Но тенденция к расширению производства наталкивается на узкую базу народного потребления, что связано с неизбежным при капитализме падением платёжеспособного спроса трудящихся. А противоречие между ростом производства и сокращением платёжеспособного спроса ведёт не к чему иному, как к экономическому кризису.

Нет ли опасности появления луддитов XX века? Этот вопрос, как ни странно, мелькает на страницах западной печати. В частности, его задаёт английская «Дейли миррор»³.

Как гласит предание, почти полтора века назад английский рабочий Лудд в отместку хозяину сломал свой станок. В то время классовая борьба английских рабочих приняла форму бурных волнений, известных под названием «движение разрушителей машин». Малосознательные и неопытные в классовой борьбе рабочие обрушивали свой гнев на машину, считая её источником своих бедствий. Порой и в наши дни на Западе звучат нотки луддизма. В одном из английских профсоюзных журналов какой-то служащий писал: «Наше дело — бороться против автоматов, чтобы защитить интересы нашего профсоюза». Но подобные призывы — исключение. Ещё Маркс в «Капитале» доказал, что не машины сами по себе являются врагом рабочего класса, а капиталистический строй, при котором они применяются. Подавляющее большинство трудящихся капиталистических стран понимает, что бороться следует не против автоматов, а за изменение системы распределения материальных благ, производимых машинами.

ПУТИ БОРЬБЫ

Особенно ясно отдаёт себе в этом отчёт прогрессивно мыслящий авангард американских рабочих. Один из основателей профсоюза рабочих автомобильной промышленности, Нэт Гэнли, говорил:

— Автоматическая фабрика, несомненно, будет построена в будущей социалистической Америке. Тогда, с устранением погони за прибылями, автоматизация действительно принесёт то, на что сейчас просто надеется профсоюз рабочих автомобильной промышленности, а именно «обеспеченность и изобилие» для всех в условиях полной загрузки предприятий и полной занятости населения.

Ряд профсоюзов предъявляет к заводчикам, осуществляющим автоматизацию, широкие политические требования, как-то: проведение миролюбивой внешней политики и расширение торговли с СССР, Восточной Европой и Китаем, в результате чего увели-

¹ „March of Labor”. 1955. November.

² „The New Republic”. 11 VII.1955.

³ „Daily Mirror”. 30.VI.1955.

чится загрузка американских предприятий. Одновременно трудящиеся борются за введение сокращённой рабочей недели, с тем чтобы сохранить как можно больше людей в автоматизированной промышленности; за повышение заработной платы; за предоставление возможности для овладения новой профессией и т. д.

Что касается профсоюзных деятелей типа Рейтера и Мини, то они внушают рабочим надежду на то, что и при капитализме будто бы возможно добиться справедливого распределения благ. Они призывают законодательные органы страны обеспечить покупательную способность населения, чтобы она «непрерывно повышалась с ростом производственных возможностей», они толкуют о возможности установления «правильного контроля над использованием новой техники в целях обеспечения повышения благосостояния населения». Но надежды подобного рода утопичны. По существу упомянутые профсоюзные лидеры призывают рабочих уповать на «народный капитализм», а это такая же бессмыслица, как жареный лёд.

В ПОИСКАХ ПАНАЦЕИ

Среди американских профсоюзных лидеров, напуганных грозными последствиями автоматизации, есть немало таких, которые, взывая к благоразумию капиталистов, предупреждают их о возможности роковых для капиталистического общества социальных потрясений. «Безответственный подход к внедрению и эксплуатации новой техники может привести к беспрецедентной безработице и экономической депрессии, что может поставить под угрозу самые основы существования нашего свободного (понимай, капиталистического. — М. В.) общества», — указывается в резолюции КПП¹.

Более определённо высказывается на ту же тему «Нью-Йорк таймс мэгэзин». «Некоторые аналитики, — пишет журнал, — считают весь этот процесс второй промышленной революцией, со всеми потенциальными возможностями социального переворота, которым ознаменовалось рождение завода полтора столетия тому назад»². (Заметим в скобках, что термин «промышленная революция» в применении к процессу автоматизации — скорее публицистический образ, чем научная характеристика. Автоматизация при капитализме, несмотря на всё то принципиально новое, что она вносит, является всё же дальнейшим развитием машинного производства.)

На возможность социальных потрясений указывают и английские лейбористы. Член парламента Т. Ч. Паннел заявил, выступая в палате общин: «Если автоматизация будет внедрена с той скоростью, которую предсказывают в некоторых комментариях американской печати, то забастовки докеров, железнодорожников и моряков скажутся детской игрой по сравнению с тем бременем, которое ляжет тогда на плечи министра труда»³. Бремя это может оказаться непосильным не только для министра труда...

Близкая к лейбористам «Дейли миррор» пагетически писала: «Сто пятьдесят лет назад Британия с грехом пополам прошла через свою первую промышленную революцию. Она принесла богатства. Она принесла также и отчаяние. Бунтовщики ломали машины, которые, как они думали, исковеркают их жизнь... Автоматизация может означать четырёхдневную рабочую неделю, большую зарплату, больше досуга, повышение жизненного уровня, конец закопчённым трущобам. Или она может означать массовую нищету. Если автоматизация будет внедряться без надлежащего контроля, это может означать безработицу для миллионов. Если новая революция не будет должным образом спланирована, она может принести с собой потрясение и трагедию. Если профсоюзы выступают как разрушители машин вместо того, чтобы подготовиться к разрешению проблем, выдвигаемых веком автоматизации, это может означать новое

¹ Resolution № 16. 1954. Proceedings of Sixteenth Constitutional Convention of the CIO. Los Angeles. California.

² „The New York Times Magazine”. 18.XII.1955

³ „Daily Mirror”. 24 VI 1955.

средневековье... Мы не можем действовать кое-как. Правительство, профсоюзы и хозяева должны планировать прогресс, справедливый для всех»¹.

Итак, панацея, которую предлагает «Дейли миррор», сводится на поверку к совету терпеливо ожидать воцарения «классовой идиллии» и установления «классового сотрудничества». Однако суровая история рабочего движения показывает всю тщету подобных надежд. Капитализм по самой своей природе беспредельно эгоистичен, и вера в то, что буржуазное правительство и капиталисты в трогательном единении с профсоюзами будут сообща планировать «прогресс, справедливый для всех», по меньшей мере наивна!

ЧТО ГОВОРЯТ ХОЗЯЕВА?

Публичные выступления хозяев преисполнены лицемерия и фальши. С деланным благородным негодованием они отклоняют обвинения в эгоизме. Справедливые требования рабочих они расценивают, как «часть заговора подрывных элементов против прогресса».

Ещё в 1954 году Национальная ассоциация промышленников (НАП) выпустила специальную успокоительную брошюру, в которой, обращаясь ко всем рабочим, писала: «Пусть рабочий смотрит на это (то есть на автоматизацию) с надеждой в сердце, а не с тревогой... Талант и умение рабочих будут попрежнему достойны награды в сказочном мире будущего».

В таком же ханжеском духе выступали представители «большого бизнеса» в подкомиссии конгресса. Президент компании «Сильвания электрик продактс инкорпорейтэд» Дж. Митчелл имел смелость утверждать, что автоматизация, отнюдь не увеличивая армии безработных, «просто уменьшает перспективы острой нехватки рабочей силы». Но зато он вполне честно тут же добавил, что не видит возможности сокращения рабочей недели в ближайшие двадцать лет.

Его однофамилец — министр труда Митчелл — не постеснялся заверить подкомиссию в том, что компании, устанавливая новое автоматическое оборудование, «учитывали интересы каждого отдельного рабочего».

Нужно ли говорить, что председатель подкомиссии мистер Петман безоговорочно взял сторону хозяев и, подытоживая расследование, заявил, что его «ободряют» факты, выявившиеся в ходе заседаний. Наперекор истине он заявил, что «автоматизация, во-первых, делает положение рабочих масс более надёжным и, во-вторых, устраняет непосильный труд» (1).

Неискренность подобных высказываний не только в том, что капиталисты утаивают корыстные мотивы, побуждающие их проводить техническое переоснащение своих предприятий. Они утаивают также и то, что рост техники в значительной степени обусловлен гонкой вооружений, бурным развитием отраслей военного производства и связанных с ними отраслей тяжёлой индустрии. Американская автоматизация, конечно же, растёт на дрожжах гонки вооружений.

Выступая не для широкой аудитории, хозяева позволяют себе довольно откровенные признания. Так, председатель компании «Пратт энд Уитни» Дж. Джегер на вопрос, не вызовет ли автоматизация массовую безработицу, пренебрежительно ответил: «Не стоит этого касаться... Я не думаю, чтобы промышленность пыталась или могла бы попытаться планировать социальные аспекты автоматизации»².

Образчик цинизма — заявление капиталиста Дж. Брауна из «Алюминимум лимитед». «Люди по своей природе — изворотливые существа, и иметь с ними дело трудно, — изрёк Браун. — Вы содержите в штате специалистов по трудовым отношениям, хронометристов, директоров по вопросам производственной практики и обучения, отдел кадров, смотрителей в душевых, буфетчиков. Всё это стоит денег. Моя точка зрения такова, что если бы мы смогли употребить часть тех денег, которые мы сейчас тратим,

¹ „Daily Mirror”. 1.VII 1955.

² „March of Labor”. May. 1955.

...на научные исследования, чтобы найти способ вообще убрать отсюда вон этих людей, мы бы в конечном счёте здорово разбогатели»¹.

Самоуверенный тон хозяев объясняется тем, что они пока загибают бешеные прибыли. Касаясь доходов «Дженерал моторс», «Юнайтед стил корпорейшн» и других крупнейших компаний, агентство Ассошиэтед Пресс сообщало: «Ещё никогда не было лучших результатов. Старые рекорды буквально сметены, как сухие листья осенью». Определённую роль при этом, бесспорно, сыграло и широкое внедрение автоматизации. А то обстоятельство, что, как сухие листья осенью, бурей автоматизации выметаются на улицу и рабочие, конечно, весьма мало беспокоит владельцев корпораций.

Но возникает вопрос: неужели, взгромоздившись с победоносным видом на коня автоматизации, хозяева не понимают, что они по сути дела во весь опор скачут к пропасти — к колоссальному и разрушительному кризису перепроизводства? Вряд ли можно допустить, чтобы монополисты и обслуживающие их специалисты-экономисты не задумывались над таким вопросом. Вероятно, они рассчитывают во-время свернуть в сторону и удержаться в седле. Каким образом? В первую очередь, конечно, за счёт милитаризации хозяйства. Фабриканты танков и пушек полагают, что кому-кому, а им кризис перепроизводства не угрожает. Примером весьма прибыльного автоматизированного предприятия может служить химический завод в Огайо, который производит шестьсот пятьдесят тысяч фунтов напалма в день с помощью четырёх рабочих и одного контролёра².

Среди других спасательных кругов, на которые уповают монополисты, — расширение кредита, то есть покупок населением товаров в рассрочку, капиталовложения за рубежом, экспорт и т. д. Однако многочисленные признаки, появившиеся за последние годы, показывают, что и гонка вооружений и продажа в кредит и т. п. не панацея. Всё это отдаляет, но не ликвидирует опасность кризиса, и даже более того — ведёт к нарастанию предпосылок кризиса перепроизводства.

У НАС

Нам, советским людям, странно слышать дебаты на тему: «Что несёт автоматизация — бедствие или благоденствие?» Мы на этот вопрос отвечаем без колебаний — благоденствие. Автоматизация производственных процессов ускоряет наше движение к коммунизму. В стране социализма исключены кризисы, цель производства у нас не выколачивание прибылей, а благо народа, удовлетворение постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества. Автоматизация облегчает труд рабочего, стирает различие между физическим и умственным трудом, создаёт изобилие продуктов в стране.

Советскому рабочему не приходится опасаться безработицы. В течение шестой пятилетки у нас будет введён семичасовой рабочий день для всех рабочих и служащих и шестичасовой — для некоторых категорий рабочих. Уже сейчас введён шестичасовой рабочий день по субботам и в предпраздничные дни. По мере успехов автоматизации и роста производительности труда рабочее время наших трудящихся будет сокращаться всё более и более, в то время как зарплата их будет расти. Какой необыкновенно широкий простор открывается для развития духовных сил человека, какого расцвета достигнут наука, искусство, спорт, сколько новых талантов появится в этом сверкающем будущем!

Но автоматизация не свершается сама, её нужно внедрять, за неё нужно бороться. В ряде случаев автоматические линии у нас по своим техническим данным не уступают американским и превосходят все достижения Западной Европы в этой области. Однако по количеству внедрённых линий мы ещё значительно отстаём. Иные наши хозяйственники ещё с холодком относятся к автоматизации, ещё не почувствовали вкуса к ней. А автоматизацию, обогащённую электронными счётно-решающими

¹ „March of Labor”. May. 1955.

² „Daily Mirror”. 27.VI.1955.

устройствами, они рассматривают как дело отдалённого будущего, что-то вроде полёта на Луну, который, конечно, состоится, но не сегодня и не завтра.

Между тем, как подсчитали специалисты, в нашей стране эксплуатируется свыше ста тысяч автоматических и полуавтоматических станков, значительная часть которых пригодна для встройки в автоматические линии. Однако работы по созданию автоматических линий из имеющегося оборудования ведутся лишь от случая к случаю. И это в то время, когда наша промышленность недовыполнила пятилетний план по росту производительности труда, отчего наше хозяйство только за последний год пятилетки недополучило продукции на 40 миллиардов рублей.

XX съезд КПСС указал на важнейшее значение автоматизации производства и решительно нацелил нашу промышленность на её широкое внедрение. В Директивах XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства говорится: «В целях обеспечения дальнейшего технического прогресса, повышения производительности и облегчения условий труда резко усилить темпы механизации работ и внедрить в промышленность в широких масштабах автоматизацию производственных процессов». Выполнить исторический наказ партии — священный долг наших учёных, производственников и хозяйственников.



Т Р И Б У Н А П И С А Т Е Л Я

МУСТАЙ КАРИМ

★

ГЛАЗАМИ ДУШИ

(Заметки делегата XX съезда)

Хозяева

Прошёл XX съезд нашей партии. Осмыслить сразу всю глубину его документов, величие намеченных им планов — дело нелёгкое.

Каждый советский гражданин — будь он коммунист или беспартийный — всем сердцем чувствует те новые дали, те высоты, которые открывают перед нами решения съезда. Мы их видим, как говорят башкиры, «глазами души». Но в то же время народная мудрость гласит: «Хочешь увидеть вершину — спустись в долину, хочешь увидеть долину — поднимись на вершину». Действительно, для того чтобы до конца понять всё слышанное и виденное на съезде, чтобы за грандиозными цифрами завтрашнего дня ясно представить живые дела и судьбы людей, нужно время на размышления.

Радует и восхищает смелость, величие и реальность этих предначертаний. Наш народ, шедший путём пятилеток героического труда к победе социализма, на деле убедился, что планы партии целиком и полностью отражают насущные интересы страны и людей, и поэтому они всегда осуществляются с огромным творческим подъёмом и самоотверженностью.

Теперь ни перед кем не стоит вопрос: выполнима ли новая пятилетка? А ведь было время, когда партии приходилось вести большую работу только для того, чтобы убедить людей в реальности наших планов, нашей мечты. Особенно живуч был крестьянский скептицизм. Я рос в деревне. И сейчас, когда в жизнь и быт вошли атомная энергия и ракетная авиация, я вспоминаю доколхозный сельский уклад. Тогда многое из того, что сегодня стало обыденным, было покрыто для крестьянина таинственностью, вызывало сомнение. Дело иногда доходило до смешного.

Однажды, летом 1928 года, комсомольцы установили в избе-читальне детекторный радиоприёмник. Слушать разговоры и песни «из воздуха» созвали весь аул. Сотни крестьян собрались во дворе. Большую «чёрную тарелку» вынесли и повесили на стену, и она заговорила: «Алло! Алло! Говорит Уфа...» Толпа сразу загудела. Многие не поверили в чудо: обследовали шкафы, обшарили углы в избе-читальне, искали того, кто говорил. Потом «тарелка» запела женским голосом.

Споры были очень большие. В конце концов решили послать двух человек в Уфу, чтобы оттуда они сами говорили, назвав сначала свои имена. Так и было сделано. Ровно через два дня в тот же час наши два односельчанина передавали по уфимскому радио приветы всем аульчанам и рассказали о городских новостях. Только тогда был положен конец спорам о сверхъестественности радио.

Что касается старого крестьянина Зиятина, то он вообще ни во что не верил. Рассказали ему однажды о летающей машине — самолёте, он только рукой махнул: мол, слышали, бывало, сказку. Через некоторое время над аулом пролетел самолёт, и Зиятин своими глазами увидел его. Но и тогда он невозмутимо сказал: «Конечно, выдумают, когда сапоги подорожали». Люди такого уронастроения в нашей стране теперь стали музейной редкостью.

Сколько труда положила партия, чтобы переустроить основы жизни народа и страны. Велики наши победы на фронте хозяйственного и культурного строительства. Одним из прекрасных завоеваний Советской власти и партии является также то, что люди нашей страны окончательно поверили в себя, в свои силы, в своё великое историческое дело.

...В дни XX съезда я сидел рядом с колхозником из Фёдоровского района, делегатом Бухарметовым. Ему больше пятидесяти лет. До коллективизации он был батраком. С неописуемым восторгом он слушал доклады и выступления, потому что всё касалось лично его, его колхоза, его страны, искренне сокрушался, когда узнавал о недостатках, о неиспользованных резервах, о бездушии и бюрократизме отдельных руководителей.

— Да,— говорил он,— мы научились пахать землю без огрехов, а в больших делах наших, делах гражданской чести, без огрехов не обходимся. Иной начальник сидит во главе дела и не шевелит мозгами. О таких ведь товарищ Хрущёв сказал: «Сидит такой заскорузлый работник и рассуждает: «...Пусть думают наверху, пусть думает начальство». Как же это так? Если только начальство будет думать за меня, например, за заведующего молочной фермой, ради чего же тогда кормить меня хлебом?..

В другой раз, продолжая, видимо, развивать ту же свою мысль, он рассуждал:

— Вот мы получили у себя в колхозе проект директив ЦК КПСС по шестой пятилетке, и ведь никто из колхозников не сказал же, что это, мол, — дело руководителей или дело ЦК, а мы люди маленькие. Нет, мы изучили этот документ, все вместе обсудили его, одобрили и внесли свои предложения.

Однажды, после вечернего заседания, мы вместе с Бухарметовым шли в гостиницу. Холодный ветер резко бил в лицо, мела позёмка. Мой спутник озабоченно молчал. Когда пришли в гостиницу, он повёл меня в почтовое отделение и продиктовал телеграмму секретарю своей колхозной парторганизации: «Я не скоро вернусь, прошу тебя, чтобы твои глаза и уши всегда были на ферме. Делегатский привет!»

Такие люди, как Бухарметов, — а их у нас миллионы — скромно и прилежно делают своё дело, не кичатся своими успехами и заслугами; в то же время они умеют через свой участок работы видеть большие государственные масштабы. Они по-хозяйски относятся к добру колхоза, завода, страны. Воспитание у миллионов рядовых тружеников гордого чувства хозяина по отношению к своей стране — это результат многолетней работы партии.

Мне крепко запомнилось одно замечание Н. С. Хрущёва на съезде. Перед началом каждого заседания, когда выходили члены президиума съезда, весь зал (вероятно, по старой привычке) встречал их стоя. Эта церемония повторялась раза три. Перед началом очередного заседания Никита Сергеевич подошёл к микрофону и сказал примерно так:

— Товарищи, вы хозяева партии, хозяева съезда, как-то неудобно, когда вы нас встречаете стоя...

Эта атмосфера задушевности, простоты и непосредственности царила во всём, во всей работе съезда. Об этом и хочется рассказать.

Ясное утро

14 февраля 1956 года — день открытия исторического XX съезда Коммунистической партии Советского Союза. Ясное, морозное утро. Часы на Спасской башне показывают девять. Ещё целый час до начала работы съезда. Но делегаты непрерывным потоком идут в Большой Кремлёвский дворец. Среди посланцев партии — люди разных национальностей, профессий и возрастов. Рядом с теми, кому выпала трудная, но счастливая доля бороться и работать вместе с нашим бессмертным вождём Лениным, шагают коммунисты последующих поколений, путь которых также отмечен большими трудовыми и ратными подвигами.

Всякий раз, когда вхожу в Кремль, я испытываю радостное волнение. Здесь — центр моей державы. Здесь жил и работал Владимир Ильич Ленин. От этой мысли становится теплее.

Левее Спасских ворот стоит моя старая знакомая — рябина с красными мёрзлыми кистями. Я её впервые увидел более трёх лет назад, в дни XIX съезда нашей партии. Меня обрадовало тогда, что здесь, в Кремле, простая рябина из русских лесов чувствует себя как дома и красуется в своём осеннем убранстве. Я о ней даже стихи написал. Потому что видел в этой рябине что-то очень близкое и родное мне, рядовому коммунисту, посланному сюда участвовать в решении больших партийных и государственных дел...

Несмотря на ранний час, тут многолюдно. Кроме делегатов, по Кремлю ходят многочисленные группы экскурсантов. Кремлёвские ворота открыты теперь для народа.

Над Москвой в морозном тумане поднимается солнце. Мирный город объят будничным шумом труда. Радостно сознавать, что наш съезд собрался в такое время, когда на всём земном шаре нет войны. Пусть же будет так, что детей далёких и близких стран никогда не разбудят взрывы бомб и крики испуганных матерей. Пусть их будит само восходящее солнце, приветствуя: «Мир вам, дети мои!»

Я сижу в зале заседаний, смотрю на спокойные и решительные лица моих соотечественников и вместе с ними аплодирую словам докладчика: «...Фатальной неизбежности войн нет... Чем активнее народы будут защищать мир, тем больше гарантий, что новой войне не бывать».

Всю жизнь вместе

Среди зарубежных гостей немало всемирно известных, славных руководителей мирового рабочего движения. Многих я знаю в лицо по XIX съезду нашей партии. У некоторых за эти годы ещё больше прибавилось седины, а иных, кажется, время почти не тронуло.

Тут, в Кремле, я встретился с генеральным секретарём Партии трудящихся Вьетнама товарищем Чыонг Тинем. Всего полтора месяца назад он пожелал нам, работникам советского искусства, посетившим ДРВ, счастливого пути. Мы увезли тогда с собой великое чувство братства к чудесному вьетнамскому народу и горячую любовь к этой прекрасной молодой стране. Поэтому так было приятно мне сказать товарищу Чыонг Тиню: «Добро пожаловать!» Мы долго жмём друг другу руки. Он повторяет по-русски: «Хорошо, очень хорошо!»

У нас в запасе всего несколько русских и вьетнамских слов для взаимного общения: «товарищ», «коммунист», «привет» — и, пожалуй, всё. Но, тем не менее, друг другу мы о многом успели рассказать и узнать многое. Действительно, как легко можно объясниться с истинными друзьями даже без знания языка.

На съезд собрались представители великой разноплеменной семьи коммунистов нашей большой родной планеты, коммунистов Севера и Юга, Запада и Востока. Что может быть сильнее и красивее этой семьи?!

Делегаты со всех концов страны. Но даже при первой встрече не было такого ощущения, что тебя окружают незнакомые люди. А постоянное общение в течение одиннадцати дней, тёплые рукопожатия и беседы и, главное, то, что на съезде царил атмосфера сплочённости и единодушия, что всех нас волнует одно, общее чувство — чувство огромной гордости за нашу Родину, за партию, — всё это по-настоящему сблизило и породнило нас. Порой казалось, что со всеми, кто сидит в зале Большого Кремлёвского дворца, ты давно знаком лично, что ты всю жизнь шёл вместе с ними, что им доподлинно известны все твои радости и печали.

А ведь я с ними вправду знаком, знаком всю жизнь. Вот в президиуме сидят руководители Коммунистической партии и Советского правительства. В перерывах между заседаниями они часто выходят в Георгиевский зал, беседуют с делегатами, расспрашивают о жите-бытье, шутят, смеются, фотографируются вместе с ними. Многих делегатов они знают лично. Что же касается нас, то мы все их знаем давно, мы с ними шли с самого начала нашего большого пути, прошли по дорогам довоенных пятилеток, по дорогам минувшей тяжёлой и победной войны, идём сегодня по пути коммунистического строительства. Наш путь непроторённый, нелёгкий. Путь к счастью никогда не бывает лёгким, но он всегда бывает радостным.

В один из перерывов товарищ из Белоруссии издала показал мне председателя знаменитого белорусского колхоза «Рассвет», Кирилла Прокофьевича Орловского. Я о нём слышал и раньше, знал, что под его руководством ранее отсталый колхоз стал ныне одним из передовых и получил 16 миллионов рублей дохода. Кирилл Орловский был прославленным командиром во время Великой Отечественной войны. За доблесть и мужество ему присвоено звание Героя Советского Союза. На войне он потерял руку, вышел из армейского строя, но его большевистская воля не была сломлена. Он остался в общем строю строителей коммунизма. В отчётном докладе ЦК очень тепло говорилось о Кирилле Прокофьевиче — образце настоящего патриота-коммуниста.

Московская ткачиха Рожнёва или азербайджанская колхозница Багирова, башкирский нефтяной мастер Сидоренко или колхозный учёный Мальцев, академик Курчатов или ленинградский поэт Прокофьев, с которыми я здесь ежедневно встречался, — они мои давнишние знакомые по их славным трудовым делам.

Когда я в зале встречаю маршала Малиновского, то невольно вспоминаю весну 1944 года на юге Украины. Товарищ Малиновский тогда командовал 3-м Украинским фронтом. По непролазным дорогам и полям, усталым разбитой или брошенной фашистской боевой техникой, вёл он наши соединения на Никополь, Николаев, Одессу. Тогда мы завоевывали победу и мир, а теперь стоим на страже их.

Через тринадцать лет тут же, на съезде, мы встретились с моим боевым товарищем, бывшим офицером Нурутдиновым. Он теперь на партийной работе в своём родном Узбекистане.

Делегаты съезда — это верные друзья, испытанные спутники на великом и победном пути к вершинам человеческого счастья и расцвета. Согретые чувством единой семьи, мы крепко жмём друг другу руки, прямо и с любовью смотрим друг другу в глаза, слышим биение сердца друг друга.

Забота о Родине и человеке

В Большом Кремлёвском дворце в дни съезда вновь и вновь оживали перед нами величественные картины минувшего пятилетия. В ещё более грандиозных масштабах встала панорама шестой пятилетки.

Двадцатый съезд партии был своеобразной перекличкой всех братских республик Советской отчизны. К этой перекличке присоединились голоса стран народной демократии. Делегаты из Москвы и Киева, с Волги и Урала, Дальнего Востока и берегов Прута, с Крайнего Севера и Крайнего Юга рапортовали съезду:

— Строительство коммунизма идёт успешно!

Им вторили гости из Пекина и Варшавы, Праги и Софии, Бухареста и Тираны, Будапешта и Берлина, Пхеньяна, Улан-Батора и Ханоя:

— Строительство социализма идёт успешно!

Отчётливо были слышны голоса народов Запада и пробуждённого Востока, решительно отстаивающих свою свободу, мир и демократию.

Наряду с крупными победами в области промышленности, сельского хозяйства и культурного строительства минувшая пятилетка славна ещё тем, что она положила начало применению атомной энергии в мирных целях. Этим доказано ещё раз, что из тех трав, которые служат Злодейству для изготовления яда, Добродетель умеет делать целебные средства. Благородная инициатива нашей страны, показ делом навсегда останутся в памяти человечества.

Новый пятилетний план открывает перед советским народом новые широкие перспективы. Наша промышленность за шестую пятилетку увеличит объём продукции примерно на 65 процентов по сравнению с 1955 годом, а годовой сбор зерна дойдёт до 11 миллиардов пудов.

Каждый человек оглядывает мир сперва из окна своего дома. Я на новое пятилетие смотрю прежде всего «из окна» нашей Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. Это пятилетие для неё — новые мощные нефтяные промыслы, новые железнодорожные магистрали Магнитогорск—Стерлитамак—Абдулино, Миасс—Учалы, мощная ГЭС на реке Уфе, великолепный железобетонный мост через нашу полноводную реку Белую, новое здание национального драматического театра в столице республики — Уфе, сотни новых благоустроенных жилых домов, промышленных и общественных сооружений во всех городах и многое другое. Ещё больше увеличится богатство колхозов и повысится жизненный уровень колхозников.

А ведь наша республика лишь небольшая часть великой страны Советов. Недавно я ездил в Забайкалье. По пути туда я пересек почти все сибирские реки, на берегах которых идут и ещё более развернутся в новом пятилетии строительные работы. Эти реки должны поделиться своими силами с людьми. В просторах Сибири возникнет много новых промышленных предприятий. От Белого до Чёрного моря, от Карпат до Сахалина — по всей нашей земле — шестая пятилетка ознаменуется небывалым трудовым подъёмом людей, их неисчерпаемым вдохновением.

Новый пятилетний план предусматривает сокращение продолжительности рабочего дня, повышение реальной зарплаты рабочих на 30 процентов, увеличение доходов колхозников на 40 процентов, повышение зарплаты низкооплачиваемым рабочим и служащим, увеличение пенсии трудящимся, строительство домов для престарелых граждан, отмену платы за обучение и целый ряд мероприятий по облегчению труда и быта женщин, по воспитанию подрастающего поколения. В Резолюции съезда отмечена необходимость решительного усиления внимания к повседневным бытовым нуждам населения.

Когда с кремлёвской трибуны говорилось обо всём этом, я живо представлял себе радостные лица знакомых мне тружеников, матерей и детей. Как обрадуются пенсионеры Борковские, многодетная мать, колхозница Гадила и миллионы других, узнав о новых заботах нашей партии, нашего правительства. Советские граждане всех возрастов — старики и дети, женщины и мужчины, юноши и инвалиды, — все окружены вниманием Советского правительства и партии коммунистов.

Задачи по крутому подъёму промышленности, сельского хозяйства, жизненного и культурного уровня нашего народа поистине огромны, и они нележки. «Было бы неправильно думать, — говорил Н. А. Булганин, — что раз задачи поставлены и разъяснены, то всё пойдёт само собой, будет решаться просто и легко. В жизни так не бывает. При осуществлении плана возникает немало трудностей. Но нет никакого сомнения в том, что мы сумеем эти трудности преодолеть и с честью справиться с задачами, поставленными партией. Для этого мы располагаем всеми условиями и возможностями».

Двадцатый съезд прошёл в атмосфере несокрушимого единства рядов партии, единства партии и народа. На нём были продемонстрированы подлинная партийная демократия, торжество ленинских принципов партийного руководства.



ОТКЛЫКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

ТОЛЬКО О ПОЭЗИИ

Как рассказать о журнале поэтов, чьи произведения, скажем об этом прямо, ещё не известны советским читателям? Мы долго ломали голову над этим вопросом, не находя приемлемого решения. Помощь и совет пришли неожиданно со страниц самого журнала.

Дело в том, что известный бельгийский поэт Жео Норж, опубликовавший как раз в этом номере статью о французском поэте и страстном пропагандисте поэзии на французском языке Пьере Сегере, чувствовал себя, взявшись за перо, примерно так же. «Как поступить? — писал он. — Следовало бы сказать: Пьер Сегер родился в тысяча девятьсот таком-то году... Его детство прошло так-то и так-то... То-то и то-то определило у него вкус к поэзии...» И вот, как справедливо замечает Жео Норж, «роза уже начинает сохнуть в гербарии».

Путь, от которого отказался бельгийский поэт, создавая литературный портрет Пьера Сегера, для нас столь же неприемлем. Мы тоже не можем писать: «Журнал де поэт» основан 26 лет назад... Он ставит своей задачей знакомить с современной бельгийской и зарубежной поэзией... В рецензируемом нами номере большое место отведено творчеству Армана Бернье, Луи Гийома, напечатаны стихи Мело Дю Ди, испанского поэта Леопольдо де Луиса...» Если бы мы встали на этот путь, то и нам через две-три фразы с грустью пришлось бы признать, что «роза начинает сохнуть в гербарии». Вместо рассказа о журнале, вместо (на худой конец) его описания мы предложили бы читателю его опись.

Постараемся по возможности избежать этого и последуем примеру Жео Норжа, который, рассказывая о Пьере Сегере-поэте, обратился прежде всего к его поэзии, а редакция журнала, придя на помощь автору, напечатала на соседней странице большую подборку стихов французского поэта. Мы хотим говорить о творчестве некоторых бельгийских поэтов, близких к рецензируемому нами журналу, и поэтому предлагаем вниманию читателей несколько их стихотворений в нашем переводе.

АРМАН БЕРНЬЕ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПЛОЩАДИ РОЖЬЕ

В твоей толпе, о город мой,
Я безымянная частица.
Я рыба в стае рыб морских.
Куда влечёт поток? Иду, не зная.
О разум мой, толпа людская
Сильней всех доводов твоих.

Иду. А ты, живой поток,
Скажи, ты мне б ответить мог,
Какой тебя созвал набат?
Где проломить ты хочешь брешь?
Что впереди? Мятаж?! Пускай мятеж,
Я твой и не могу итти назад.

Толпа! Когда вскипаешь ты,
Твои меняются черты.
И всё в тебе чудовищно и грозно.

Бельгия

«Журнал де поэт» («Журнал поэтов»), ежемесячник поэтического творчества и информации. Февраль. 1956. Издательство «Дом поэта». Брюссель. Главные редакторы Пьер Луи Флуэ и Артур Оло.

★

Я погружаюсь в твой водоворот.
Пусть буря грянет! Молния сверкнёт!
Пусть станет мир иным, пока не поздно.

Толпа, таящая в себе такой заряд,
Иди вперёд. Грядущего заря
Встаёт под крики звёзд, трепещущих от жара
Один — ничто! Мы — Сумма, перед ней,
Перед великою рекой людей,
И небо, побледнев, уже не раз дрожало.

МОРИС КАРЕМ

ДОБРОТА

Если яблоко только одно,
Не наполнит корзины оно.
Если яблоня только одна,
Не расплещется садом она.
Но один человек, если он
Добротой души наделён,
Так сверкающим светом богат.
Как плодами усыпанный сад.

ЛУИ ГИЙОМ

ВСЁ

Не всё в орудии,—
Рука должна держать.

И в разуме не всё,—
Пускай не дремлет сердце!

А сердцу самому
Необходима кровь,
А кровь, чтоб сильной стать,
Пьёт воздух.

Орудья дороги,
Но воздух есть везде,
Достаточно дышать всей грудью
И жить.

Но жизнь ещё не всё.

МЕЛО ДЮ ДИ

ЦЕНА ТЕНИ

Всё продаётся, господа,
Над миром властвует реклама,
И лишь мечтатели упрямо
Таят в душе клочок стыда.

Они пронесут сквозь года
Огонь, храня его от срама,
Для счастья их не нужно хлама
Похвал. Их счастье — правота.

Забуты суетой презренной,
Они живут в своей вселенной,
Им дан величия секрет.

Так в жажде истинных решений
Всё заплатить готов поэт
За тень! А что дешевле тени?!

Четыре стихотворения четырёх разных поэтов. Конечно, было бы более чем рискованно делать, основываясь на этих четырёх примерах, какие-либо обобщения, касающиеся бельгийской поэзии в целом или даже творчества процитированных авторов. Ведь, за исключением стихов Мориса Карема, мы руководствовались в своём выборе

только тем обстоятельством, что они помещены в разбираемом нами номере «Журналь де поэт». И возможно, что каждый из поэтов, стихи которых мы процитировали, выбрал бы совсем иное стихотворение, желая завязать своё первое знакомство с советским читателем.

Как знать, не пожелал ли бы Арман Бернье быть представленным советскому читателю отрывком из своей поэмы «Семья человеческая», вышедшей в октябре 1949 года. Автор предпослал ей посвящение, которое близко сердцу каждого честного человека:

Я посвящаю эту Книгу Любви
 Людям Будущего, чтобы они не знали больше войны,
 Людям Настоящего, чтобы они были людьми доброй воли.

Эта поэма написана пером поэта, знающего, что такое война, поэта, сражавшегося за освобождение своей родины в отрядах бельгийского Сопротивления, поэта, озарённого лучами большой надежды.

...У хлеба станет вкус свободы нашей,
 Вкус радости и света:
 Под тонкой корочкой услышит каждый
 В счастливых отзвуках звенящий трепет лета.

«Семья человеческая» — это песня о солидарности людей. И, насколько мы можем судить, чувство единства выражено в поэме в более мягких, более гармоничных тонах, нежели в стихотворении «Демонстрация на площади Рожье».

Если мы ещё позволили себе предположить, что Арман Бернье пожелал бы быть представленным советским читателям прежде всего своей поэмой «Семья человеческая», то в отношении Мориса Карема мы затрудняемся высказать какие бы то ни было предположения. Поистине ему нелегко было бы сделать выбор, даже если бы он захотел ограничиться только теми пятью сборниками стихов, которые в разное время были удостоены различных литературных премий.

В чём секрет популярности Мориса Карема в Бельгии? Прежде всего в исключительном мастерстве владения словом, в простоте и образности его поэзии. В отличие от многих современных западных поэтов, Морис Карем создаёт стихотворения, классически отточенные по форме. В них нередко всего четыре—восемь строк, но заложенная в стихотворении мысль, выраженное в нём чувство ничего не утрачивают, а только выигрывают от этой предельной экономности в отборе художественных средств. Бельгийский критик Фернан Лефевр, характеризуя творческую манеру Мориса Карема, писал, что «он служит легко находимой мишенью для тех, кто не признаёт иной поэзии, кроме «космической» или «мистической», и не знает или не хочет знать, что богатство любви требует богатства простоты». Однако именно это «богатство простоты» производит такое большое впечатление на читателей Мориса Карема, именно благодаря ей его стихи надолго запечатлеваются в памяти.

Морис Карем — лирический поэт, он остаётся им и в маленьком стихотворении и в своей большой поэме «Мать». Одним из крупных достижений поэта является его цикл стихотворений «Жена», из которого нам хочется привести несколько строк:

Люблю тебя, люблю, тебя избрал женой
 За цвет твоей души, наивный и живой,
 За сердце, что нежней, и мягче, и теплей,
 Чем скрытое от глаз гнездо среди ветвей.

Мир поэзии Мориса Карема не очень широк, но, когда поэт обращается к жизни простых людей своей родины, он умеет, видя в ней и радость и горе, создать проникновенные и, как всегда, отточенные по форме стихи. Так, например, в четырёх строках он рисует сцену, которая напомним нашим советским читателям картины дореволюционных русских художников, нередко обращавшихся к сюжету «За недоимки»:

Пошли с молотка и собака, и цепь,
 И старый буфет, и корова,
 Не пошла с молотка только скорбь на лице
 У крестьян, лишившихся крова.

Как мы уже сказали, в февральском номере «Журнал де поэт» не были опубликованы новые стихотворения Мориса Карема, но его поэма «Мать», написанная в 1935 году, значится в рубрике книжных новинок. Это её седьмое издание, что является своеобразным рекордом для Бельгии. Вот почему, говоря о бельгийской поэзии, мы не могли не остановиться на стихах Карема, творчество которого весьма интересно и заслуживает большого внимания.

Луи Гийом представляется нам поэтом, по своему методу противоположным Морису Карему. И не только потому, что он пишет преимущественно так называемым «свободным стихом». Нет, сами творческие поиски поэта кажутся нам направленными совсем в иную или, вернее сказать, совсем в иные стороны, так как в поэзии Гийома скрещивается, на наш взгляд, несколько направлений. «Одиночество, которое он разделяет с другими людьми,— пишет о Луи Гийоме в «Журнал де поэт» Пьер Менанто,— выливается в порыв братского сочувствия». «Разделённое одиночество» — сочетание этих двух слов скрывает в себе внутреннее противоречие. И, однако, действительно именно это внутреннее противоречие и улавливается в стихах Гийома. Оно менее заметно в приведённом нами стихотворении «Всё», отчётливее оно ощущается в стихах «Ганс» и «Бедность». В последнем из них поэт говорит, обращаясь к другому поэту:

Единственная реальность
Спрятана в глубине сердца.
Лишь она остаётся богатой.
И о ней думаешь ты каждый день.
Не говоря ничего.

О брат, мы одной с тобой крови.
Нет больше преград.
Никто не может тебе помешать
Звать в молчанье.
Не двигайся! Ты уходишь.

О брат всемогущий,
Ты умеешь мечтать,
Закрой глаза, чтобы видеть
Горизонт, который вливается
В твою темноту.

В этом стихотворении всё проникнуто противоречием: «звать в молчанье», «не двигайся! Ты уходишь», «закрой глаза, чтобы видеть». Всякое противоречие таит в себе возможность разрешения. Найти его и художественно выразить бывает нелегко и непросто. Это прекрасно знал такой поэт, как Поль Элюар, прошедший путь «От горизонта одного к горизонту всех». Подобно Элюару, мы усматриваем высокое назначение поэзии в том, чтобы видеть, итти, звать. Может ли она выполнить это назначение, закрыв глаза, не двигаясь, в молчанье?! И разве между внутренним духовным миром поэта и всем многообразием окружающей его жизни не существует такой же органической связи, как между сердцем и кровью, кровью и воздухом, о которой сказано в стихотворении Гийома «Всё»? И разве, наконец, был бы возможен сам рецензируемый нами журнал и существующая в Брюсселе «Международная библиотека поэзии», если бы по самой своей природе и иногда даже вопреки своей воле поэты не были бы самыми яростными разрушителями одиночества?

Мысли, близкие к высказанным выше о Луи Гийоме, вызывает у нас и стихотворение Мело Дю Ди «Цена тени». И здесь, разделяя протест поэта против мира, где всё продаётся, мы не можем согласиться с его призывом к бегству от жизни. «Своя вселенная мечтателя» — это страна, «откуда никто не возвращался», но потерпев крушения, если только, отправляясь в путь, он не проверил, насколько его летательный аппарат надёжен и прочен применительно к условиям обычной действительности. И поэзия — это ключ, открывающий мир, а не запирающий человека в себе самом.

В справедливости такой оценки роли поэзии в жизни людей мы ещё раз утвердились, читая «Журнал де поэт». Она нисколько не поколеблена тем, что на страницах журнала мы встретились с отдельными стихами, в которых выражена другая точка зрения на роль и призвание поэзии. Ведь и эти стихотворения не некие абстрактные

концентраты одиночества и молчания, но выражение определённых чувств и мыслей, а то, что выражено, перестаёт быть достоянием только автора, соединяет его с другими людьми (вызывая согласие или несогласие), а значит, и раскрывает перед этими другими людьми нечто новое, будит мысли, споры.

...Мы испытывали немалые затруднения, начиная эту статью, а теперь, приближаясь к концу, сообщив читателю некоторые сведения о «Журнале де поэт» и рассказав немного о творчестве отдельных бельгийских писателей, испытываем не меньшие трудности и даже угрызения совести. Хорошо критику, который может закончить свой разбор книги, поэмы, журнала определёнными выводами, оценками, пожеланиями авторам. Мы не считаем себя вправе сделать полностью ни первого, ни второго, ни третьего. Слишком невелики наши познания в бельгийской поэзии, с одной стороны, и, с другой стороны, далеко не всё, что интересно в «Журнале де поэт», нам удалось охватить. Мы совсем не коснулись творчества иностранных поэтов, представленных в журнале. А совершенно ясно, что редакция видит одну из своих основных задач в укреплении связей между поэтами разных стран. Однако мы надеемся, что в этом отношении мы не погрешили против духа рецензируемого журнала, посвятив целиком всю нашу статью только «хозяевам»,— ведь на страницах «Нового мира» они зарубежные гости. И поскольку мы пригласили их сюда, не заручившись их предварительным согласием, а с отдельными из них вступили к тому же в полемику, рискуя тем самым оставить их в некоторой «обиде», то нам не хотелось, чтобы они чувствовали себя ещё и в «тесноте».

Н. РАЗГОВОРОВ.

ОДЫ БИЗНЕСМЕНУ

США

«Сатердей ревью» — один из ведущих органов американской печати. Он оказывает немалое влияние на ход литературного процесса в США. Несмотря на сравнительно небольшой объём — пятьдесят—шестьдесят страниц, журнал даёт широкую картину американской литературной жизни.

«Сатердей ревью» («Субботнее обозрение»), критико-биографический еженедельник. № 3. 1956. Год издания 33-й. Нью-Йорк. Редактор Норман Казенс.

★

Каждый номер «Сатердей ревью» содержит самые разнообразные материалы — статьи и рецензии, короткие заметки и книжную рекламу, литературные викторины и кроссворды. Широко ведутся литературные дискуссии; много места занимают информации о смежных областях искусства — театре, кино, о телевидении и радио.

Номер журнала, о котором идёт речь,— не обычный. Его авторы — представители крупнейших американских корпораций, специалисты по проблемам «большого бизнеса». На обложке мы читаем: «Американское процветание — анализ и предсказания». В статьях и высказываниях проводится основная идея — «большой бизнес» благовиден для Америки, для американского народа и для народов других стран. Бизнесмен — в противоположность укоренившемуся (именно так и сказано) и ложному (как полагают авторы статей) мнению — вовсе не чудовище с рогами и копытами, а положительный герой американской жизни.

Весьма точно сформулирована и другая задача номера: коммунизм завоёвывал души человеческие, надо их отвоёвывать обратно,— так пишет д-р Куртни Браун, декан коммерческого факультета Колумбийского университета. Он сетует на то, что американские идеологи не умеют объяснить ни в США, ни за границей, что американский бизнес коренным образом изменился и надо перестать оценивать его по Марксу, ибо это «выгодно России и очень непохвально для нас». Автор утверждает, что ни конфликтов между трудом и капиталом, ни других классовых конфликтов в США нет и в помине.

Сами по себе такого рода утверждения отнюдь не оригинальны. Но почему эти вопросы встали на страницах журнала, обычно занятого литературными спорами и эстетическими проблемами? Ведь в США есть немало изданий, специально занимающихся

бизнесом, имеются и такие журналы, как «Лайф», «Тайм», «Кольерс», где эти темы также гораздо более к месту. Почему их поднял чисто литературный «Сатердей ревью»?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо оглянуться лет на десять назад.

В конце войны и в первые послевоенные годы ведущие буржуазные критики выступили с призывом «оздоровить» литературу, прекратить критику действительности и создать «утверждающие» произведения. Главный орган «большого бизнеса», журнал «Форчун», весьма определённо пояснил, что утверждать надо «большой бизнес» и его представителей. Утверждать всеми средствами, в том числе и средствами искусства. Автор программной статьи по этому вопросу в «Форчун», Чемберлин, потребовал пересмотреть американскую историю и обелить финансистов и промышленников, которых якобы оклеветали писатели-реалисты — Фрэнк Норрис, Синклер Льюис, Теодор Драйзер, Эптон Синклер и другие. Начался поход реакционной критики против американского реализма, за искажённое, приукрашенное отражение американской действительности. Но ложь никогда не была благодарной почвой для искусства. Старания этих критиков были тщетными. Крупные писатели США, придерживающиеся самых различных политических взглядов, не создали за минувшее десятилетие книг, которые воспевали бы рыцарей «большого бизнеса».

Нажим на писателей продолжался. Осенью прошлого года в журнале «Лайф» появилась грозная статья «Требуется: американский роман». Нарисовав рекламное американское просперити, автор статьи восклицает: «И несмотря на это, в Соединённых Штатах всё ещё создаётся литература, которая производит впечатление творений безработных гомосексуалистов, живущих на городской мусорной свалке в ожидании свободного места в богадельне!» Автора, в частности, очень беспокоит то «нелестное мнение об Америке», которое создают подобные романы за границей.

Автор предлагает обратиться к творчеству Толстого и Достоевского, чтобы проникнуться духом утверждения жизни. Но он также находит примеры и в современной литературе США, ссылаясь на два бестселлера 1955 года — «Человек в сером фланелевом костюме» Слоуна Уилсона и «Марджори Морнингстар» Германа Вука.

Уилсон рассказывает историю вернувшегося с войны Тома Рата. Рат служит в одной из фирм, у него есть полный ассортимент американского просперити — дом, машина, телевизор, небольшое наследство. Но он недоволен своим материальным положением. Ему представляется возможность увеличить доход почти в десять раз, перейдя на должность крупного чиновника в радиовещательную корпорацию. Но большие деньги влекут, оказывается, за собой и большую ответственность, трату нервов, постоянную занятость (здесь как раз и выступает «положительный бизнесмен», глава корпорации, не имеющий времени даже для семейной жизни), и Рат отказывается от заманчивого места.

Другой боевик — «Марджори Морнингстар» — сделан хитрее, тоньше. Молодая девушка из патриархальной еврейской семьи Морнингштернов хочет быть актрисой. Она ненавидит своё окружение и стыдится его. На её пути встречается и подстрекатель к «бунту» — режиссёр, человек якобы прогрессивных взглядов. Однако «бунт» быстро кончается — Марджори выходит замуж, становится благопристойной матроной. Прогрессивный критик Силлен справедливо указывает на реакционный характер этого псевдоутверждения жизни и псевдобунта; это «не столько бунт, сколько путч, цель которого — обезглавить поступательное движение литературы».

Художественный уровень обеих книг чрезвычайно низок. Это пустячки, сделанные на потребу дня, не вызывающие и не могущие вызвать каких-либо серьёзных мыслей и чувств. Именно эти книги «Лайф» и поднимает на щит, как образцы «утверждающей» литературы.

Статья в «Лайф» вызвала бурную реакцию. Литераторы резко и довольно единодушно выступили против этой попытки заставить литературу подкрашивать американскую действительность. Мы познакомим наших читателей с некоторыми высказываниями. Назвав статью «Лайф» «бездной глупости», критик журнала «Нью-Йорк таймс Бук ревью» разъясняет: «Лайф» не понимает, что надо оставить писателей в покое, не то вообще не будет литературы; писатели доказали, что они лучшие наши послы, наш самый популярный предмет экспорта... Потребуй литературу определенного типа, и ты получишь определённого типа посредственность...»

Максуэлл Гейсмар в еженедельнике «Нейшен», приводя цитату из «Лайф» — «Невероятные достижения наших дней — это материал для саги», иронически замечает: «Да, так оно и есть, и можно будет только приветствовать новое поколение романистов, которые захотят разобратся в таких явлениях, как маккартизм, как благо рожденные эквиваленты никсонизма, как присяги в «лояльности» и увольнения с работы по соображениям «бдительности», как огромные расхищения наших естественных богатств или слияние корпораций и рост прибылей при одновременном разорении мелких вкладчиков и фермеров, как враждебность Азии и отчуждение от нас Европы...» Писатель Роберт Пенн Уоррен писал: «Настоящий роман, которого мы все ждём, будет не менее, а более критичен, чем всё то, что мы читаем сегодня...»

Весьма ясно заканчивается и статья в еженедельнике «Репортер»: «Роман о большом американском бизнесе ещё не написан, потому что великий американский бизнесмен, изображения которого ждут от писателей, не существует в жизни».

Итак, лобовая атака на писателей, предпринятая «Лайф», потерпела явное поражение. Но «Сатердей ревью» пытается прибегнуть к обходным манёврам с целью окрестить порося в караса.

В редакционной статье прямо говорится, что задача этого номера — перебросить мост между вдумчивыми критиками «большого бизнеса» и теми просвещёнными бизнесменами, которые характерны для нового периода. Именно для этого доказывается стабильность современного процветания. Именно для этого утверждается, что больше не будет кризисов (страшная тень краха двадцать девятого года — тоже после «бума» — висит над американцами, как дамоклов меч). Именно для этого настойчиво проводится мысль — главное в деятельности бизнесменов не прибыли (прибыли лишь средство, а не цель), а общественное благо.

Пьедестал для памятника бизнесмену возводится упорно и настойчиво. «Сатердей ревью» вводит у себя нечто вроде рубрики под названием: «Бизнесмен года». Это, так сказать, образец добродетелей, пример для подражания. В 1956 году — это Генри Форд-второй. «Негодяй эпохи кризиса стал героем эпохи процветания», — сообщается в статье.

Каковы же главные заслуги Форда? Оказывается, в соответствии с духом времени он начал превращать корпорацию из «семейной собственности» в «общественную». Речь идёт просто-напросто о продаже акций компании Форда. Второе благодеяние: вклад 500 миллионов долларов — крупнейший в истории американского бизнеса вклад — в так называемый фордовский фонд, тратящий деньги на университеты, школы и т. д. Ну что ж, со времён Медичи капиталистам необходимы были «представительские расходы»! Меняются лишь формы расходов. Мистер Форд поражает только цифрами, в чём нет ничего удивительного: цифры суть проценты от огромных прибылей... Кстати, в числе прочих «культурных» учреждений «Фонд Форда» несколько лет содержал так называемое «чеховское издательство», публиковавшее стряпню «перемещённых» лиц для разжигания ненависти к СССР. В конце 1955 года пришлось закрыть это издательство, хотя фордовский фонд поспешил заявить, что деятельностью его хозяева довольны... Прямо скажем, Медичи тратили свои капиталы с большей пользой для Флоренции...

Так вот Форд-второй и представлен «Сатердей ревью» как прототип, как жизненный материал: смотрите, американские писатели, и отражайте в своих произведениях! Хватит создавать Бэббитов и Каупервудов!

Право, очень жаль, что редакторы «Сатердей ревью» не знают советской литературы, им было бы очень полезно почитать стихи Маяковского — когда-то он иронически просил Форда-первого отдать свои миллионы обществу, обещая при этом:

Повесим ваш портретик.
Монумент
и то бы
вылепили с вас.
Кланялись бы детки,
вас
случайно встретив.
Мистер Форд —
отдайте!

Но реалистически заканчивал:

Даст он...

Чёрта с два!

Тональность номера мажорная. Руководители и идеологи крупных корпораций наперебой доказывают, что кризиса не будет, что «интересы фирм и общества совпадают», что двери «большого бизнеса» открыты для всех... В книге Уорнера и Абеглена «Руководители большого бизнеса в Америке» даются подробные сведения о 8 562 крупнейших американских бизнесменах — их происхождение, образование, биографии и т. д.; автор рецензии на эту книгу утверждает, что сын рабочего или фермера «может стать президентом «Дженерал моторс», как, впрочем, и президентом Соединённых Штатов». Правда, приведённые в этой же рецензии цифры противоречат его утверждению. Выясняется, например, что 52 процента руководителей промышленно-финансовой верхушки поднялись к власти по прямой, так сказать, наследственной линии...

И, однако, сквозь бравурный тон, сквозь взлетающие вверх кривые диаграмм прорываются тревожные ноты. Эта тревога проявляется и в том, что автор другой статьи, рассказывая о подготовке кадров для руководства промышленностью, замечает, что в СССР выпускают больше инженеров, чем в США; и в том, что в рекомендательном списке литературы для руководителей корпораций, опубликованном в этом номере, есть и такая книга, как... «Советские специалисты, — их образование, подготовка, выдвижение». А в аннотации говорится: «Полный и прекрасно документированный обзор огромного прогресса, достигнутого в России и в области подготовки кадров за последние 25 лет».

Но яснее всего эта тревога проявляется в статье Лео Черна, директора Американского исследовательского института. Статья называется: «Просперити — это не панацея». Автор также восторженно пишет о послевоенном буме. Но он выдвигает и ряд сложных, спорных, трудно разрешимых проблем: «...планирование — страшное слово «нового курса» — стало неизбежным для всего общества». Главное же, что необходимо и чего не может найти автор, — это цель, смысл, идея, притягательная для американцев и других людей мира. «Мы ищем философию, которая помогла бы нам найти удовлетворение в нашей деятельности». Отсюда, как утверждает автор, и многочисленные, пока безуспешные попытки вернуться к вере отцов. Можно только посочувствовать мистеру Черну — трудно, очень трудно представить золотого тельца, как предмет поклонения. Это задача крайне неблагодарная.

Повидимому, и в самой редакции «Сатердей ревью» это чувствуют. По крайней мере выступления одного из членов редакции — писателя Джона Стейнбека — на страницах журнала позволяют предполагать, что американские писатели ищут духовные ценности отнюдь не в мире «большого бизнеса». В одном из своих выступлений Стейнбек предлагал выдвигать и утверждать голосованием в ООН тех людей, которые принесли человечеству наибольшее благо. О составе названных Стейнбеком лиц можно спорить — и в ООН кандидатура генерала Маршалла как благодетеля могла бы вызвать известные возражения. Но само направление мысли Стейнбека весьма определённно: Альберт Эйнштейн, доктор Салк (открывший вакцину против полиомиелита), композитор Сибелиус — вот, по мнению Стейнбека, люди, достойные подражания, почестей. А ведь знамениты они отнюдь не своими доходами. В другой статье Стейнбек размышляет о том, почему образ Жанны д'Арк обладает такой притягательной силой для писателей. И здесь речь идёт о ценностях иного порядка, чем у Генри Форда-второго...

Много, очень много сил, чернил и бумаги было затрачено в США, чтобы обелить, освятить, окружить ореолом непорочности людей, делающих деньги. Но большая американская литература никогда не принимала в этом участия. Американская реалистическая литература прошлого выросла как литература антикапиталистического протеста. Марк Твен названием одного из своих первых романов определил целую эпоху американской истории и выразил своё отношение — отношение большого писателя к миру стяжателей: «Позолоченный век...». Тогда тоже было очередное «просперити» и тоже призывали к созданию «положительных бизнесменов»...

Р. ОРЛОВА.

ВЕСТИ ИЗ ТОРОНТО

Канада

Долгий путь проделал этот небольшой по формату журнал в коричневой с белым обложке, прежде чем попал в Москву. Канада... В памяти всплывают строки из учебников географии, прочитанные в детстве книги Сетон-Томпсона, капитана Мэриета. И, наконец, книги о сегодняшнем дне Канады писателя и борца за мир Дайсона Картера. И всё же мы знаем об этой стране очень мало.

С тем большим интересом раскрыли мы пришедший из Торонто журнал. И он не обманул наших ожиданий. Читая его, получаешь живое представление о том, что волнует и занимает людей доброй воли в далёкой Канаде,— и тех, кто живёт в больших городах, и обитателей маленьких посёлков.

«Нью Фронтис» чётко определил свои задачи и, несомненно, нашёл своё место в канадской жизни. Передовая статья последнего полученного нами номера представляет собой как бы обозрение четырёхлетнего пути журнала. Он был создан в самый разгар «холодной войны», когда реакционные круги США разрабатывали и частично осуществляли план не только полного экономического подчинения Канады, но и максимальной «американизации» её культурной жизни.

«В нашем первом номере, вышедшем зимой 1952 года,— говорится в передовой,— мы поставили перед собой цели, которые надеемся хотя бы отчасти претворить в жизнь. Мы обязались занять своё место во всемирном движении за мир.. Мы обещали дать канадцам картину... их истории, их современной жизни, их надежд на будущее».

Напомним, что «Нью Фронтис» с самого начала выступал против всяких попыток подчинить культурную жизнь страны реакционным влияниям, идущим из США, против всяких тенденций к «растворению» самобытности канадской культуры в разного рода «теориях» космополитического толка, передовая журнала подчёркивает: «В то же время мы протянули дружескую руку народу США, как и народам других стран».

Своеобразным отчётом журнала за истекшие годы служит и перечень опубликованных за это время материалов. На страницах четырнадцати номеров выступило свыше ста канадских авторов. Печатали он и произведения писателей из других стран: молодого писателя с Советской Чукотки Рытхеу, Назыма Хикмета, китайского поэта Мао Дуня и индийца Али Сардара Джафри. Характерно, что и многие стихи канадских поэтов, напечатанные в журнале, посвящены интернациональной теме. В их числе стихи о Мицкевиче и о Гарсиа Лорке, о китайской девушке и об Этели и Джулнусе Розенбергах. Героем одного из стихотворений является ставший ныне полубогемной фигурой канадский хирург Норман Бетьюн, в тридцатых годах поехавший в Китай для оказания помощи бойцам Мас Цзэ-дуна и умерший на боевом посту.

Журнал чутко откликается на происходящие в мире события, и это помогает ему ярче раскрывать жизнь своего народа, рассматривать животрепещущие вопросы современной жизни во всей широте, во всём их значении. Даже подробно рассказывая (в своём последнем номере) об археологических раскопках в провинции Онтарио или о каких-нибудь других чисто местных событиях, журнал не допускает и налёта провинциализма. Характерно, что, сообщая о находках, проливающих свет на быт кочевых охотничьих племён, живших тысячелетие назад, журнал умно использует малейшую возможность, чтобы разъяснить и распространить среди своих читателей материалистический взгляд на историю, и попутно развенчивает экзотические легенды колонизаторов о «краснокожих дикарях». «Немало писалось вздора,— говорит журнал,— о «благородных дикарях» или о «краснокожих дьяволах». Археология показывает... что люди, населявшие нашу страну в раннюю эпоху, были такими же людьми, как и все, со своими достоинствами и недостатками... и что жили они в постоянной борьбе с окружающей природной средой... Их потомки могут гордиться своей внушающей почтению древностью, и мы правильно поступим, если будем помнить, что из этих корней выросла наша страна».

С большим уважением пишет журнал о канадских учёных-археологах, многие из которых без всякой официальной поддержки, на свои собственные скромные средства

«Нью Фронтис» («Новые границы»), ежеквартальный журнал. № 4. 1956. Год издания 4-й. Издатель Маргарет Фэрли. Торонто. Председатель редакционного совета Виктор Хопвуд.

★

проводят научные изыскания и раскопки. Их исследования, отмечает журнал, показали, что уже в эпоху римского императора Клавдия (в начале нашей эры) у индейцев, населявших территорию нынешней Канады, существовала своя цивилизация.

Журнал нередко пишет и о более близком прошлом страны. Но он вовсе не похож на те ещё в изобилии существующие на Западе издания, которые, погружаясь в романтику прошлого, стремятся увести читателей подальше от современности. Современная тема пронизывает все разделы журнала — и художественный, и публицистический, и хронику культурной жизни.

Рассказ Пегги Бэйрнс «Представление» затрагивает тему расовой дискриминации негров. В нём показано, какую моральную травму причиняет негритянской молодёжи этот варварский пережиток, даже не достигая своих «крайних форм», о которых напоминает напечатанное в журнале стихотворение «Эммет Тилл» американской поэтессы Марты Миллет. Поэтесса посвятила свои стихи памяти негритянского мальчика, подвергнутого в 1955 году суду Линча в США (убийцы были оправданы).

Один из старейших поэтов Канады, чьё 75-летие недавно широко отмечалось на его родине, Уилсон Макдональд, посвящает большое стихотворение «невоспетым солдатам мира» — людям труда, несущим жизнь земле. С мотивами этого полного настоящего чувства стихотворения перекликаются стихи канадских поэтов Акорна и Натто о героях и жертвах народной борьбы за свободу.

Обращаясь к литературному прошлому своей страны, журнал перепечатывает сатирические стихи Стьюарта, высмеивавшие поездку одного из канадских деятелей начала века в Вашингтон «на поклон к дяде Сэму». В журнале опубликованы также статья о Мицкевиче и перевод его стихов. Завершается художественный раздел журнала текстом и нотами специально написанной для данного номера песни. Заметим, кстати, что песни, в том числе и песни Французской Канады, публикуются из номера в номер. Журнал печатал на своих страницах рассказы известного канадского писателя, пишущего на французском языке, — Жана Жюля Ришара, а также статью о его творчестве.

Значению культурных связей в деле сближения народов и разрядки международной напряжённости посвящена статья канадского публициста Джона Бойда, называющего «благоприятным предзнаменованием» растущий интерес самых широких кругов на Западе к культурным достижениям Советского Союза и стран народной демократии. Горячо ратуя за расширение культурных контактов, журнал отмечает, что этому ещё в немалой степени препятствуют искусственно воздвигаемые в западных странах барьеры, и с полным основанием подчёркивает, что существование таких барьеров выгодно лишь тем, «кто хочет войны».

«До сих пор,— говорится в статье,— мы всё ещё отрезаны от половины мира... Ещё немногие канадцы знакомы с вдохновляющими произведениями таких великих писателей, как Пушкин и Лермонтов, Шевченко и Франко, Петефи, Мицкевич, Словацкий, Негош и Прерадович, Ян Неруда и Немцова, Ботев и Вазов... В наших школьных учебниках истории большая часть материалов посвящена Западной Европе... Нашим студентам почти ничего не сообщается о вкладе славянских и других народов Восточной Европы в развитие мировой науки». Журнал при этом справедливо замечает, что несомненный интерес для других стран могут представить достижения молодой канадской культуры, называя в этой связи Сетон-Томпсона, Паулин Джонсон, Стивена Ликока и других. Высказывая надежду, что Канаду в ближайшее время смогут посетить представители искусства и науки из СССР, европейских стран народной демократии, из Китая, Индии, из Африки, журнал выражает уверенность, что «они смогут узнать наш народ, наше доброе канадское гостеприимство и дружбу».

За последнее время культурные связи между СССР и Канадой несколько расширились. В Канаде побывали советская сельскохозяйственная делегация, известные учёные и артисты. В СССР приезжали канадские художники, общественные и государственные деятели. Проводились встречи советских и канадских спортсменов. После посещения СССР канадским министром иностранных дел была достигнута договорённость об улучшении сотрудничества двух стран в области культуры, науки и техники. Но всё же, как видно из публикуемых «Нью Фронтирс» материалов, в Канаде ещё действуют те силы, которые стремятся не к улучшению, а к ухудшению международных отношений, не к расширению, а к ликвидации культурных связей между Западом и Во-

стоком. Выступая против тех, кто заинтересован в продолжении «холодной войны», журнал иллюстрирует их непрекращающуюся активность характерным примером: «В дни, когда у всех канадцев был ещё в памяти визит доброй воли в СССР, нанесённый министром иностранных дел», канадское телевидение организовало антисоветскую передачу, представлявшую собой выпад в духе «холодной войны против советского образа жизни».

Журнал подчёркивает в этой связи, что канадское радио и телевидение «подвергаются всякого рода давлению со стороны тех, кто хотел бы навесить ярлык с ценой буквально на всё, включая волны эфира».

К сожалению, в Канаде не перевелись приезжие и доморощенные «теоретики», пытающиеся с помощью довольно неубедительных доводов доказать «неполноценность» канадской культуры и обосновать необходимость равнения на американские образцы. Полемизируя с такого рода «теоретиком», неким профессором, выступавшим перед канадскими учителями, «Нью Фронтирс» в одном из своих прошлогодних номеров писал о праве канадского народа гордиться своими достижениями в области науки, литературы, искусства, спорта, отмечая при этом роль индейцев в формировании канадской национальной культуры.

Нельзя не видеть, что планы «американизации» канадской культурной жизни тесно связаны с планами закабаления канадской экономики, разрабатываемыми и осуществляемыми определёнными американскими кругами. «Старые методы прямого военного и политического вмешательства (со стороны США), — пишет журнал, — приняли видоизменённую форму массированного экономического проникновения, причём особое внимание уделяется решающим областям канадской экономики и усиливается стремление привлечь Канаду к соучастию в американской политике». Разбирая одну из книг по истории Канады, журнал отмечает, что собранные в ней факты «рассеивают какие бы то ни было иллюзии насчёт дружественного характера американских намерений в прошлом».

Другие статьи и заметки номера свидетельствуют о том, что за последнее время значительно активизировались здоровые силы канадской интеллигенции. Так, из статьи издательницы журнала Маргарет Фэрли¹ мы узнаём, что в 1955 году — впервые в истории Канады — в городе Кингстоне состоялась конференция канадских писателей, пишущих на английском языке. «Клубы поэтов, группы рассказчиков, отделения Ассоциации авторов собирались и раньше, — пишет автор статьи. — Но чем-то совершенно новым для поэтов, романистов, издателей и библиотекарей Канады явилась эта конференция, на которую они собрались, чтобы выработать коллективное мнение по насущным вопросам современной литературной жизни в стране». Литераторы Канады на своей четырёхдневной встрече говорили о роли писателя, о его связи с читателями, о том, что в школьном преподавании должно уделяться больше внимания и места канадской литературе. Они выступали против того, чтобы «фабриканты автомобилей и мыловаренные компании» контролировали радиопередачи о канадской поэзии.

Несомненный интерес представляет также публикуемая журналом статья о растущем интересе народных масс Канады к литературе и искусству. Так, в конце прошлого года 125 делегатов от 25 тысяч электриков и машиностроителей на своём съезде обсуждали вопрос о состоянии культуры в Канаде и высказывались за «развитие канадской культурной жизни во всех её проявлениях».

«Нью Фронтирс» вступил в пятый год своего существования. Говоря о своих планах на этот год, редакция заявляет о своём намерении ещё более полно отражать жизнь канадцев, «их надежды на мирную жизнь... поощрять и поддерживать культурный обмен с другими странами — в духе Женевы».

Выполнение этой благородной миссии, несомненно, принесёт новые успехи журналу канадских друзей мира.

Вл. РУБИН.

¹ В своём приветствии г-же Фэрли в связи с её 70-летием редакционный совет журнала отмечает её «патристические заслуги в развитии канадской культуры и укреплении её связей с культурой других народов».

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ТУРКОВ

★

ОКЕАН НА КАРТЕ ПОЭЗИИ

В письме к А. М. Горькому от 31 июля 1919 года, обрисовав политическую ситуацию («Страна живет лихорадкой борьбы против буржуазии всего мира», «За первую Советскую республику — первые удары отовсюду»), В. И. Ленин писал:

«Тут жить надо либо активным политиком, а если не лежит к политике душа, то как художнику наблюдать, как строят жизнь по-новому там, где нет центра бешеной атаки на столицу, бешеной борьбы с заговорами, бешеной злобы столичной интеллигенции, в деревне или на провинциальной фабрике (или на фронте). Там легко простым наблюдением отделить разложение старого от ростков нового».

По характеру своего дарования, по своему поэтическому темпераменту Владимир Маяковский мог избрать из этих двух путей, открытых художнику, только первый: жить активным политиком.

Ещё в дооктябрьскую пору Горький как-то сказал: «Маяковский ищет слиянью с народными массами и своё «я» понимает только как символ массы, до дна поднятой и взволнованной войной».

Революция сняла с поэзии Маяковского цензурные путы, революция предоставила ему такую аудиторию, о которой он прежде и мечтать не мог. Помимо своей исторической значимости, она оказалась крупнейшим, определяющим фактом творческой биографии поэта.

Это сообщило его отношению к ней неповторимо трогательный (как ни покажется странным это слово, применённое к Маяковскому!), почти интимный оттенок:

Мне б хотелось
про Октябрь сказать,
не в колокол
названивая,

не словами,
украшающими
тёпленький уют,—
дать бы
революции
такие же названия,
как любимым
в первый день дают!

Или вот: любуясь безбрежьем Атлантического океана, поэт делится с нами возникающими мыслями и чувствами:

Волны
будоражить
мастера: —
детство выплеснут;
другому —
голос милой.
Ну, а мне б
опять
знамёна простирать.
Вон пошло,
затарашело,
загромило.

Маяковский обладал бесстрашием подлинного реалиста, пылкостью к происходившему на его глазах историческому процессу, готовностью смело исследовать жизнь и обнародовать свои художественные выводы.

Он видел в строительстве социализма «чернорабочий, ежедневный подвиг», а не увеселительную прогулку в чудодейственной машине времени со щедрыми командировочными в кармане, которая соблазняла Победоносикова. Он понимал, что великое дело, творимое в нашей стране, это трудная ноша, а не праздничный транспарант:

Нами
через пропасть
прямо к коммунизму
перекинут мост,
длиною —
во сто лет.

Что ж,
 с мостицы с этого
 глядим с презреньем вниз мы?
 Кверху нос задрали?
 Загордились?
 Нет.

Мы
 ничьей башки
 мостами не морочим.
 Что такое мост?
 Приспособленье для простуд.
 Тоже...
 без домов
 не проживёте очень
 на одном
 таком
 возвышенном мосту.

С поразительной силой сочетаются в этих строках и революционный пафос, и трезвое сознание всей трудности начатой «работы адовой», и суровое предостережение против любого самовосхваления.

В стихотворении «Разговор с товарищем Лениным» поэт, спеша обрадовать Владимира Ильича достигнутыми успехами, тут же перебивает себя:

А рядом с этим,
 конечно,
 много
 много,
 разной
 драни и ерунды.
 Устаёшь
 отбиваться и отгрызаться.
 Многие
 без вас
 отбились от рук.
 Очень
 много
 разных мерзавцев
 ходят
 по нашей земле
 и вокруг.

«Мы их всех, конечно, скрутим», — твёрдо заявляет поэт, но честно, без утайки признаётся, что это «ужасно трудно». Он начинал этот разговор с желанием «итти, приветствовать, рапортовать». Но, докладывая Ленину, он меньше всего упирает на успехи: он, как говорят в армии, докладывает обстановку — с беспощадной откровенностью и правдивостью. Он докладывает Ленину по-ленински.

Ведь это Ленин писал в ответ на победные релиаии:

«Крайне странно, что Вы посылаете только хвастливые телеграммы о будущих победах».

«Ручаетесь ли, что не преувеличены приписываемые вам сообщения о разложении колчаковцев и массовом переходе их к нам?»

«Очень рад Вашему сообщению, что скоро ожидаете полного разгрома Деникина, но боюсь чрезмерного Вашего оптимизма».

«Получив Гусева и Вашу восторженные телеграммы, боюсь чрезмерного оптимизма».

Горячего сторонника нашла в Маяковском ленинская программа борьбы с бюрократизмом, с оказыванием живого революционного дела, с чинопочитанием и вождизмом.

Как характерно, что даже в поэме о Ленине Маяковский считает нужным встать против возможности подобных взглядов:

Рассияют головою венчик,
 я тревожусь,
 не закрыли чтоб
 настоящий,
 мудрый,
 человеческий,
 ленинский
 огромный лоб.
 Я боюсь,
 чтоб шествия
 и мавзолей,
 поклонений
 установленный статут
 не залили б
 приторным елеем
 ленинскую
 простоту.
 За него дрожу,
 как за зеницу глаза,
 чтоб конфетной
 не был
 красотой оболган.

 Неужели
 про Ленина тоже:
 «вождь
 милостью божьей»?!
 Если б
 был он
 царствен и божествен,
 я б
 от ярости
 себя не поберёг,
 я бы
 стал бы
 в перекоре шествий,
 поклонениям
 и толпам поперёк.

Эти строки дышат огромной любовью к Ленину. Снова и снова с суровой нежностью и с непреходящей болью утраты вглядывается поэт в ленинские черты, и во имя этой любви отстаивает он от ретивых иконописцев именно «человечий, ленинский» облик. Это было протестом против самого страшного покушения на Ленина, на самую душу ленинизма.

Один из писавших о Маяковском усматривал главную особенность его поэтики в том, что это — раскрытие средствами стиха широты жизненных связей, диалектики жизни. Это, пожалуй, верно. Но в чём причина того, что поэтика Маяковского именно такова? Не в том ли, что поэзия Маяковского отражала сложность и напряжённость переживаний многомиллионных масс, разбуженных к подлинной жизни революцией, непрерывное обогащение духовной жизни освобождённого человека?

Лирический герой Маяковского с его жадным любопытством к тому, что делается в Житомире и Детройте, в Париже и Новочеркасске, с его готовностью вмешаться во всё, начиная с ухабов на Мясницкой вплоть до Генуэзской конференции, во многом олицетворяет рвущуюся наружу энергию, любознательность, природный ум простого, рядового человека с его недюжинными задатками.

Своеобразие содержания привело к своеобразию формы.

Рассказывающий о «весне человечества» стих Маяковского и сам звучит, «будто бы весна — свободно и раскованно».

В афишах публичных выступлений Маяковского после названий стихов, которые будут прочитаны, обычно значилось: «Разговор-доклад». Определяя так «жанр» своих импровизированных речей, поэт мог бы первой части вечера дать не менее подходящее название — «разговор-стихи». Ибо стихи Маяковского послереволюционной поры — это и впрямь разговор с читателем, читателем-другом, чьи интересы по преимуществу совпадают с интересами самого поэта.

В романе Б. Горбатова «Донбасс», в первых его главах, повествующих о самом начале тридцатых годов, ещё сохранявших многое из специфического колорита двадцатых, даётся такая характеристика одному из комсомольцев: «У него была симпатичная, истинно комсомольская черта: всё принимать близко к сердцу. Для него не было далёких стран и чужих дел. Всё было своё, кровное: и хлебозаготовки в Сибири, и урожай хлопка в Узбекистане, и казнь коммунистов в Италии. Разгром стачки рурских горняков он переживал, как личную драму».

Вот он, истинный ценитель стихов великого революционного поэта, такой похожий на самого автора их!

Бесспорно, что подобный читатель был создан самим временем, в какой-то мере поэзией Маяковского, и в то же время он

оказал и на неё самое обратное воздействие, своей реакцией, своим восторженным отношением укрепив в поэзии Маяковского её особые черты.

Было бы неверно изображать послереволюционный путь Маяковского усыпанным розами. Какне уж тут розы! Непрекращающиеся диспуты о новом, революционном искусстве, эти жаркие схватки, участники которых зачастую впадали в крайности и в полемические излишества. Азрт журнальных боёв, парирование неизменных выпадов озлобленных мещан на поэтических вечерах. Болезненные ушибы от столкновений с живучими остатками прошлого, с буржуазными перерожденцами, «карьеристами, бюрократами, перестраховщиками. И — постоянные муки слова, усугубленные ходячим мнением о «непонятности» его стихов.

Существует устойчивое мнение, будто поэзия Маяковского исчерпывается политическими, а зачастую плакатными темами и что будто бы её «мозолистым рукам», которым столько пришлось «строить и мечь в сплошной лихорадке буден», не под силу ювелирное искусство передачи тонких, интимных, скрытых человеческих переживаний.

Издавна существовавшее недоверие к «политике» как к делу извилистому и запутанному обусловило скептическое отношение определённых слоёв читателей к поэту, для которого «эта самая» — а на деле совершенно другая, порождённая образованием нового, социалистического государства! — политика стала предметом главного, преобладающего интереса.

Стихи его даже на сугубо, казалось бы, «официальную» тему являлись выражением его поэтического взгляда на мир, его личной исповедью, в то время как по неписанным законам личность, казалось бы, наиболее смело, свободно и самостоятельно должна была выразить себя именно в личной сфере, которая воспринималась только как изолированный мир интимных чувств.

Маяковский всем сердцем ощутил: особое величие исторического рубежа Великого Октября в том, что он разрушал перегородку между личным и общим, и залог общей победы, победы всех, победы коммунизма, заключается в том, чтобы разбудить дремлющие силы каждой отдельной личности, что равносильно высвобождению внутриядерной энергии атома.

Тысячи и тысячи обстоятельств, когда радостных, а когда и трагических, вызывали «второе рождение» людей — рождение к активному, деятельному, коммунистическому участию в жизни.

В этом, в частности, оправдание такого, на первый взгляд, неуместного ощущения, которое испытывает лирический герой поэмы «Владимир Ильич Ленин» у гроба вождя, когда он «как будто минуту один на один остался с огромной единственной правдой».

В предшествующем описании звучат скорбные такты траурных маршей, и всё увиденное словно бы расплывалось временами от навёртывающихся слёз:

Что увидишь?!
Только лоб его лишь,
и Надежда Константиновна
в тумане
за...

Подступивший к горлу комок не даёт закончить... Но проходит секунда, другая, и слышатся удивительные слова:

Я счастлив.
Звенящего марша вода
относит
тело моё невесомое.
Я знаю —
отныне
и навсегда
во мне
минута
эта вот самая.
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слёзы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени—
класс!

Словно бы безнадежно отягощённое траурной каймой знамя вдруг гордо распрямило своё красное полотнище навстречу всем ветрам.

Так «стала величайшим коммунистом-организатором даже сама Ильичёва смерть».

Только привычным желанием наглухо отгородить личное от общественного можно объяснить — но не оправдать! — попытку отказать Маяковскому в умении передать самые тончайшие человеческие переживания. Ведь вся глава, посвящённая смерти и похоронам Ильича, читается с тем чув-

ством, какое вызывает пронизательность поэта, угадавшего самые, казалось бы, сокровенные движения твоей души.

Лиризм Маяковского обнял множество явлений и сторон жизни, которые до него никак не воспринимались как предмет поэзии, а подчас и не могли входить в круг интересов поэтической личности, так как были порождены революцией и борьбой за новый уклад жизни.

Поэтому, несмотря на всё многообразие своего творчества, Маяковский ощущал себя в «непролазном долгу» «перед бродвейской лампионией, перед вами, багдадские небеса, перед Красной Армией, перед вишнями Японии — перед всем, про что не успел написать».

Долг наш—
реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
у бурь в кипеньи.

Есть у Маяковского строки, которые столько раз цитировались, что мы подчас скользим по ним привычно беглым взглядом, не проникаясь всей их силой и красотой. Таковы две только что приведённые.

Какое гордое, самоотверженное, по-своему романтическое чувство поэтического призвания выразилось в них! И, кстати, как выразилось: настойчиво и как-то призывно, впрямь как голос корабельной сирены, возникает в стихе повторяющийся звук («реветь медногорлой сиреной») и тут же сталкивается с другим, отдающим мёртвой тишиной и унылым, засасывающим спокойствием («в тумане мещанья»), а потом попадает словно в водоворот звуков («у бурь в кипеньи»), когда самые слова вызывают почти осязаемый образ зыгравшей непогоды.

Этот бурный мир больших страстей и мыслей, движущих миллионами людей, породил новые чувства, подвергал переплавке то, что казалось извечным и неизменным, освещал иным, беспощадно ясным светом привычные представления о личном счастье:

Что толку—
тебе
одному
удалось бы?!
(«Про это»)

И, рассказывая Пушкину о том, что «битвы революций посерьёзнее «Полтавы», и любовь пограндиознее онегинской любви»,

Маяковский вовсе не преувеличивал, не «задирался» в полемике со «старомозгими» пушкинистами. Он и в самом деле говорил о новом, неведомом собеседнику.

Ведь почему он, как это запечатлено в «Письме товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», замечает своей парижской собеседнице:

Вы
к Москве
порвали нить.
Годы —
расстояние.
Как бы
вам бы
объяснить
это состояние.

Потому что, как убеждён Маяковский, отчуждённость героини стихотворения от полноводного течения жизни «страны-подростка» породит непонимание и той любви, которая живёт в сердце поэта, и слов, ею продиктованных:

И вот
с какой-то
грошовой столовой,
когда
докипело это,
из зева
до звёзд
взвивается слово
золоторождённой кометой.
Распластан
хвост
небесам на треть,
блестит
и горит оперенье его,
чтоб двум влюблённым
на звёзды смотреть
из ихней
беседки сиреневой.
Чтоб подымать
и вести
и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.

Так грандиозно разрастается та любовь, которую воспевает Маяковский. Ей уже тесно рядышком с двумя влюблёнными в милой «ихней беседке сиреневой», она рвётся в мир, как в бой, пронизывая и окрыляя собой всё, что делает человек, придавая ему новые силы и вселяя в него то благородное творческое беспокойство, по сравнению с которым смешно и убого выглядят обывательские заботы о ненарушимости семейного счастья:

Любить —
это с простынь,
бессонницей рванных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Ивановны,
считая
своим
соперником.

Недавно ставшее достоянием советских читателей стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой» продолжает начатый в «Письме товарищу Кострову...» разговор и снова свидетельствует о нерасторжимости в творчестве Маяковского «общественных» и «личных» мотивов.

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне,
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.

Таков заповесть стиха, обнажённо и подчёркнуто выдающий пафос поэта.

«Письмо» чрезвычайно драматично. Снова, как в поэме «Про это», конфликт, в который вступают «он» и «она», предстаёт гигантским, гиперболизированным:

Пять часов,
и с этих пор
стих
людей
дремучий бор,
вымер
город заселённый,
слышу лишь
свисточный спор
поездов до Барселоны.

(Сравним строки из поэмы: «Застыли докладчики всех заседаний, не могут закончить начатый жест. Как были, рот разинув, сюда они смотрят... Будто в себя — в меня смотрясь, ждали смертельной любви поединок. Окаменели сиренные рокоты. Колёс и шагов суматоха не вертит... Москва — за Москвой поля примолкли. Моря — за морями горы стройны».)

Подобная гиперболичность обусловлена не только силой самого чувства, но в первую очередь тем, что речь идёт не о простой любовной размолвке, над которой, при всей её серьёзности и болезненности, можно и должно возвыситься, одержать верх:

В чёрном небе
 молний поступь,
 гром
 ругнѣй
 в небесной драме,—
 не гроза,
 а это
 просто
 ревность двигает горами.
 Глупых слов
 не верь сырью,
 не пугайся
 этой тряски,—
 я взнуздаю,
 я смирю
 чувства
 отпрысков дворянских.

Заметьте, что даже первая, мрачная картина пробуждения когтистого «ревности медведя» не лишена иронического оттенка: гром уподобляется ругани, и благодаря этому возвышенная «небесная драма» оказывается донельзя скомпрометированной своим родством с обиходной, семейной.

Ревность,
 жѣны,
 слѣзы...
 ну их! —
 вспухнут веки,
 в пору Вию.
 Я не сам,
 а я
 ревную
 за Советскую Россию.

Глубокий разлад, о котором говорится в «Письме», вызван не обычной ревностью, ослепляющей, мешающей видеть что бы то ни было («вспухнут веки, в пору Вию»); поэт чувствует в себе силы «взнуздавать» её.

Беда в другом: «годы — расстояние» сделали своё дело. Героиня стихотворения склонна продолжать существовать (я намеренно не говорю «жить») вдали от родины, которая отпугивает её неустроенностью и неприглядностью многих сторон жизни, хотя Маяковский справедливо возражает: «Что же, мы не виноваты — ста миллионам было плохо».

И вот протянутые поэтом руки медленно опускаются, не встретив ответного порыва...

Не хочешь?
 Оставайся и зимой,
 и это
 оскорбление
 на общий счёт нанижем.
 Я всё равно
 тебя
 когда-нибудь возьму —
 одну
 или вдвоём с Парижем.

Что в этих строках — непримиримость, упрямство, насмешливая уверенность в том, что нельзя долго выжить вдалеке от родины, и какой Родины (если, конечно, ты сам настоящий человек)? Могучая надежда на то, что большая любовь в силах совершить ещё один подвиг — заставить изверившуюся женщину взглянуть на мир по-новому? Или, наконец, поддразнивание той, что думает, будто нашла тихую заводь, недоступную революционным бурям? Пожалуй, и то, и другое, и третье...

Вспоминается, как, основываясь на полемическом самоопределении Маяковского как «агитатора, горлана-главаря», некоторые критики утверждали, будто после поэмы «Про это» возвращение к теме «драматически осложнённого интимного чувства» означало бы движение вспять и что поэтому вообще в творчестве Маяковского тема любви, мол, постепенно затухала.

Публикация «Письма Татьяне Яковлевой», относящегося к последним годам жизни поэта, убедительно опровергает эти вульгаризаторские измышления.

Хочется остановиться на некоторых положениях, высказанных недавно в США известным филологом, профессором славянских языков и литератур Рومانом Якобсоном. Он считает, что в пьесе «Клоп», сценарии «Позабудь про камин» и в «Размышлениях о Молчанове Иване и о поэзии» Маяковский пародировал некоторые мотивы своих более ранних произведений («Про это» и др.), и даже предполагает, что «цензура, которой подвергал себя сам поэт», пыталась заглушить «новый всплеск лирики» (имеются в виду оба «Письма», причём автографы этих стихотворений, которыми располагал Р. Якобсон, отличаются от хранящихся в Государственной библиотеке-музее В. В. Маяковского лишь несколькими незначительными разночтениями). В доказательство последнего Р. Якобсон приводит слова, сказанные Маяковским незадолго до смерти:

«...поэт не тот, кто ходит кучерявым барашком и блеет на лирические любовные темы, но поэт тот, кто в нашей обострённой классовой борьбе отдаёт своё перо в арсенал вооружения пролетариата...»

Но ведь борьба против лирического мелководья вовсе не означает отрицания лирики вообще! И усматривать в разящей насмешке Маяковского над идейным убожеством стихов Молчанова переоценку глубочайшей по содержанию поэмы «Про это» —

значит обманываться самому и вводить в заблуждение неискущённых в советской литературе читателей бюллетеня библиотеки Гарвардского университета, где была опубликована статья Р. Якобсона «Неизданный Маяковский».

Нам неизвестны причины, по которым поэт в своё время не опубликовал «Письмо Татьяне Яковлевой». Думается, что они интимного свойства. Во всяком случае, что касается «внутренней цензуры» Маяковского, то, даже если допустить её существование, она сводилась к нежеланию «нюющее делать» и вряд ли могла бы найти для себя поживу в таком мужественном и насквозь пронизанном политикой стихотворении, как «Письмо Татьяне Яковлевой».

Приводимые Р. Якобсоном аргументы призваны подкрепить его основную мысль — о разделении творчества Маяковского на периодически сменяющие друг друга «лирические» и «социальные» этапы.

Говоря о лирике, Р. Якобсон имеет в виду только любовную лирику. Подобное сужение этого термина, при котором, скажем, пушкинское «Вновь я посетил...» тоже окажется «не лирикой», отказывает в праве называться лирикой и такому, например, стихотворению, как «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» с его глубоко личным авторским восприятием судьбы своего знакомого, того самого, который ночь «напролёт болтал о Ромке Якобсоне».

Право же, нельзя брать с лирики подлипки о невыезде за пределы любовной темы, если не хочешь сделать её анемичной узницей девических альбомов!

И, конечно же, лирика Маяковского меньше всего укладывается на прокрустово ложе устарелых представлений, так же как поэмы Маяковского, одни из которых Р. Якобсон относит к «лирическим», дру-

гие — к «социально-политическим» или просто «политическим», на самом деле вовсе не поддаются такой упрощённой классификации.

Лирическая поэма «Облако в штанах» насквозь пронизана социально-политическими мотивами, и, наоборот, в «политической» поэме «Хорошо!», явившейся, по мнению Р. Якобсона, результатом того, что поэт стал «на горло собственной песне», страстная любовь к революции, к «земле молодости» нисколько не мешает проявлению глубоко интимного чувства к женщине с «глазами-небесами». Напротив, глубокую цельность придаёт всему облику героя поэмы его самоотверженное отношение и к своей земле, которую он «завоевал и полуживую вынырчил», и к любимой: ведь и её он тоже «выходил» своими ласковыми заботами. И не сказать про этот драгоценный органический сплав темы «личной и мелкой» с «громадьём» эпических картин свершения революции, её «бед, побед и буден» — значит не передать самого главного в поэзии Маяковского.

Ведь и «Письмо Татьяне Яковлевой», которое Р. Якобсон противопоставляет «политическим» произведениям Маяковского и считает написанным как бы в противовес им, на самом деле находится в теснейшем родстве с «Хорошо!» по этому ощущению своего кровного единства с «землёю, с которою вместе мёрз... с которой вдвоём голодал».

«Океан Маяковского на карте поэзии», — сказал один из чешских писателей. Представление об океане вбирает в себя множество картин, красок, оттенков. Таков Маяковский. Иначе и быть не могло, ибо сам он был порождением другого великого океана — Революции.



ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

г. Сталинабад,
ул. Орджоникидзе, д. 36, кв. 4
Е. К. Лопатиной

ПО ПОВОДУ ДВУХ РАССКАЗОВ

Уважаемая товарищ Лопатина!

В альманахе «Литературный Таджикистан», в шестой книжке за прошлый год, я прочёл два Ваших небольших рассказа: «О друзьях-товарищах» и «Тяжёлый характер». Достоинства этих рассказов, а они несомненны, заслуживают того, чтобы на них было указано широкому кругу читателей, и я с удовольствием использую для этой цели возможность, предоставленную «Новым миром». Но и слабости Ваших рассказов могут явиться, мне кажется, предметом небесплодного разговора. Конечно, двух небольших рассказов, прочитанных мной, недостаточно для исчерпывающего суждения о характере Ваших литературных данных. Предполагаю, впрочем, что написано Вами покамест не так уж много, что Вы находитесь, как говорится, в начале своего литературного пути. И, может быть, для Вас также представляют некоторый интерес те мысли, что появились у меня при чтении Ваших рассказов.

Прежде всего несколько слов о том, чем Вы сильны, что придаёт Вашим вещам и особенно рассказу «О друзьях-товарищах» убедительность, достоверность. Вы, товарищ Лопатина, обладаете важным, безусловно необходимым литератору даром наблюдательности, умением видеть жизнь, людей... И более того — умением правильно понимать ту внутреннюю, скрытую от глаз наблюдателя жизнь человека, изображение которой так драгоценно в литературе. Мне кажется, что именно это умение правдиво, без прикрас видеть действительность и позволило Вам в рассказе «О друзьях-товарищах» точно показать довольно сложный психологический конфликт, связавший Ваших героев. Один из них, Дремнов, отбыв заключение в тюрьме, приезжает в дом к другу своего детства Антону Антоновичу, не зная о том, что Антон Антонович как партийный следователь должен разбирать его дело.

Вашей серьёзной удачей является образ Дремнова, человека не слишком счастливой судьбы, перенёсшего большую жизненную передерягу, но сберёгшего веру в людей и пронёсшего через все испытания свою душевную чистоту.

Мне нравится также общий тон этого рассказа — участливый, гуманный; мне нравится, что рассказ учит доверию к людям, учит, повторяю, ничего не приукрашивая, без сентиментальности и риторики. Хорош эпизод, в котором Дремнов рассказывает детям Антона Антоновича, подозревающего Дремнова в желании использовать с корыстной целью их старое знакомство, сказку. Вы тонко изображаете здесь, как подозрительность питает себя самоё, как из одной только подозрительности возникает осуждение. Оставшись верной правде характеров, взятых Вами, Вы коснулись здесь огромной, очень важной темы. Разумеется, Вы покамест только коснулись её в своём небольшом рассказе... Но он будит мысль читателя, он возбуждает активную заинтересованность в судьбах Ваших героев. И всё это происходит только потому, что Вы изобразили действительность так, как её увидели, поняли, почувствовали, без предвзятости и шаблона.

Если Вам доведётся ещё раз вернуться к Вашим «Друзьям-товарищам» (быть может, готовя сборник рассказов), я советую убрать стилистические красоты, вроде: «У незнакомца были необычные, по-детски ясные глаза того редко встречающегося чисто голубого цвета, какой бывает лишь у лесных озёр (?), да ещё у полей цветущего льна». Хорошо бы также очистить язык рассказа от попадающихся иногда газетно-канцелярских штампов. Перечтите Ваше описание деятельности Антона Антоновича,

и Вы сами без труда их обнаружите. А в общем, рассказ «О друзьях-товарищах» написан с той ясностью и простотой, которые обычно «подсказываются» автору ясным видением «объекта» изображения.

Гораздо основательнее Вам пришлось бы потрудиться для сборника над вторым рассказом — «Тяжёлый характер», хотя стилистически он выглядит чище, глаже. Рассказ этот много хуже первого, и хуже потому, что в нём меньше правды, живых наблюдений, точных подробностей. А там, где их нет, неизбежно появляются фальшь и выдумка.

Я хочу, чтобы Вы меня правильно поняли. Без выдумки в широком смысле, без вымысла нет, повидимому, художественной литературы. Но в реалистическом искусстве вымысел опирается на действительность, он помогает лучше познать её. Поэтому в ином «выдуманном», фантастическом по жанру, по приёмам произведении бывает больше реализма, чем в бытовом или психологическом по внешним признакам, но противоречащем правде жизни романе. А выдумка, о которой ниже пойдёт речь, имеет мало общего с художественным вымыслом.

В рассказе «Тяжёлый характер» Вы попытались изобразить малосимпатичного человека, преследующего в своей общественной деятельности благородные цели. Причём отрицательные черты характера Вашего героя, инженера Тулякова, Вы сумели показать достаточно красочно. Легко себе представить, что такой Туляков, с его мелочностью, педантизмом, с его утомительными поучениями, с его манерой долго разглагольствовать о пустяках, о щепотке соли или коробке спичек, может превратиться в настоящее бедствие для всех, кто с ним близок. Не любят Тулякова и на работе, не любят за формализм, за буквоедство. И вот оказывается, что Туляков, в противоположность распространённому о нём мнению, является человеком по-своему замечательным, передовым. Даже жена его, прожившая с ним целую жизнь, случайно, к большому своему удивлению, узнаёт, что сухость её супруга — не что иное, как сдержанность, а его педантизм — чуть ли не подвижничество. Всё это раскрылось ей после того, как она нечаянно познакомилась с содержанием его записной книжки.

Мне представляется, что в поисках большей сюжетной остроты Вы утратили в рассказе «Тяжёлый характер» главное — верность жизни. История инженера Тулякова кажется мне неудачно выдуманной, поверить в неё трудно...

Трудно поверить в неравнодушие Тулякова после того, как он в течение десятилетий оставался таким бездушным, таким непростительно невнимательным к своей жене, к детям. И непонятно, почему он так тщательно законспирировался от них.

Трудно поверить, что за многие годы совместной жизни жена Тулякова так и не заприметила ни разу, что заботы её мужа не ограничиваются ежевечерними подсчётами семейных расходов.

Вообще невозможно верить в эту семью, члены которой видят только то, на что указывает автор рассказа, и не замечают того, в чём автор не заинтересован. Стремясь, как видно, придать своему рассказу занимательность, Вы пошли на нарушение правдоподобия, допустили психологические ошибки. И последствия их сказались печальным образом. В конце рассказа появляются уже и сентиментальность и литературные банальности. Вот как заканчивается Ваш «Тяжёлый характер»: «...Агриппина Климентьевна долго разглядывала книжку. Потом неслышными шагами вошла в комнату Никандра Михайловича, с каким-то новым выражением (!) взгляделась в спокойное, строгое (!) даже во сне лицо мужа. Агриппине Климентьевне вдруг (!) захотелось погладить его по голове — как давно когда-то в молодости (!), и в то же время совсем иначе — нежно, по-матерински. Но она сдержалась и только осторожно поправила клетчатый плед...» и т. д. Как всё это слащаво и как не свежо.

Мне хочется, товарищ Лопатина, чтобы Вы больше доверяли себе, своему умению видеть и понимать людей. Вы показали это умение в рассказе «О друзьях-товарищах». И Вас с неизбежностью подстерегла неудача там, где Вы пренебрегли этим своим умением. Как видите, и неудача и удача Ваши говорят об одном: о том, что важнейшим условием художественности является верность правде.

Георгий БЕРЕЗКО.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

З. Кедрина. Свидетельство дружбы. — **З. Паперный.** Прошлое — с нами. — **М. Щеглов.** Рассказы Норы Адамян. — **Г. Койранская.** Образы минувших лет. — Проф. **Н. Степанов.** Искусство композиции у Пушкина. — **Н. Капиева.** Книга о певце Адыгеи. — **Ал. Исбах.** Трагедия социального одиночества.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Елкин. Поэзия борьбы. — **В. Шкловский.** «О разнообразии мира». — Академик **М. Тихомиров.** Первый русский букварь. — Кандидаты исторических наук **А. Варшавский** и **А. Данилов.** Новая книга о Грановском. — Кандидат исторических наук **Е. Гневушева.** Путешествие по Индонезии. — **Л. Овалов.** Вчерашние «дикари».

Литература и искусство

Свидетельство дружбы

В книге В. Кожевникова «Тысяча цзиней» семнадцать рассказов и пятнадцать очерков, и когда вы прочтёте её всю, вам покажется, что вы сами побывали в Китае, сами сражались плечом к плечу с солдатами Народной армии за свободу великого народа, строили мосты и дороги, боролись за подъём производительности труда на народных предприятиях, любовались знаменитой стеной Девяти драконов, — словом, жили богатой и полнокровной жизнью прекрасного, мужественного народа, познакомились с множеством замечательных людей: мужчин и женщин, юношей и девушек, стариков и детей.

Книга эта — свидетельство истинной дружбы к великому народу-труженику. Дружба выражается не просто в сюжете такого, скажем, «с натуры» написанного рассказа, как «Великая сила», где изображается участие русских специалистов в большой китайской стройке, а прежде всего в проникновенном и любовном изображении черт национального характера многочисленных героев книги.

В. Кожевников. Тысяча цзиней. Рассказы и очерки. Редактор В. Катинов. 362 стр. «Советский писатель». М. 1955.

Они очень разные: могучий и до робости застенчивый солдат Народной армии Фу Чу-шань с непреклонно твёрдым характером и безграничной творческой изобретательностью; суровая и властная «хозяйка», лодочница Сян с квадратным лицом, жилистым телом и большой нежной душой; терпеливый и внимательный парторг машиностроительного завода Линь Мин; нерешительный, легкоранимый инженер Фань; маленькая Ли Гуан-чжэнь, самозабвенно преданная своей работе; горячий, настойчивый и тонко наблюдательный Чень Шу-шен и его мужественная жена Юй Лань; талантливый художник-самородок Линь Го-тай, сумевший, когда это понадобилось народу, сделать своим призванием военное дело; аскетически суровый Чен, подчинивший всю свою жизнь партийному долгу, сохранивший в себе наивное прямодушие юности, доброту; изящная, нежная вдова Лян, сочетающая извечную робость угнетённой в прошлом женщины с суровой требовательностью заводской активистки.

Эти и многие-многие другие, живые до осязательности люди, населяющие книгу Вадима Кожевникова, отличаются богатым многообразием характеров и вместе с тем

общими чертами: героизмом в борьбе, самоотверженностью в труде, верностью в любви и дружбе, преданностью долгу. При этом герои книги — люди, живущие в самобытной и точно воспроизведённой среде, порождающей особый склад их психики.

Как яркое типическое воплощение характера негибачего в своём мужестве народа встаёт перед читателем фигура коммуниста Цзинь Чуань-фаня, которого «враги прибили гвоздями к доске и водили по деревне для устрашения населения. Цзинь Чуань-фань шёл с улыбкой и говорил крестьянам: «Смотрите, враги распяли меня, как христианского Иисуса. Но я не Иисус. Думайте о том, как нужно обращаться с врагом!»

Национальный характер великого народа раскрывается перед читателем «Тысячи цзиней» во множестве своих характерных чёрточек и черт.

Вот ночью, в ливень, к Фу Чу-шаню приходит секретарь волостного комитета. «Выжав мокрую одежду, он снова надел её, застегнул китель на все пуговицы и сказал...» Это маленькая, казалось бы незначительная, деталь, а в ней характер человека из народа, веками привыкшего в суровой обстановке своей жизни неуклонно, не смотря ни на что, выполнять свой долг, сохраняя при этом внешнюю подтянутость, как выражение внутреннего достоинства.

Когда мы узнаём, что молодая работница Ли Гуан-чжэнь работала «так самозабвенно, что никогда не слышала звука гудка, означающего перерыв или конец работы», мы можем сказать, что так же работают многие люди, увлечённые своим трудом. Но мы различаем своеобразие характера героини, когда читаем, что, заповор деталь, Ли Гуан-чжэнь закричала, как тяжело раненный человек, и никакие утешения товарищей не могли ослабить её острого ощущения вины перед народным предприятием. Она «купила на рынке у торговца металлическими изделиями подходящий кусок металла, обточила его в обеденный перерыв и тихонько отнесла в заводскую кладовую». Это характер женщины, которая ещё застала режим феодального Китая, «с семи лет... работала в свинарнике помещика У и ела то, что ели свиньи», которая пятнадцати лет спустилась в шахту помещика, а затем была продана им на шелкоткальную фабрику, женщины, которая умирала с голоду при японской оккупации и, если бы не умела работать за троих и питаться корнями растений, не дожила бы до дня освобождения.

Суровая и славная история талантливого, выносливого и доблестного народа отражена на девяти страничках рассказа, посвящённого рационализаторскому предложению рядовой работницы Ли Гуан-чжэнь. И эта большая ёмкость малой формы — свидетельство художнического мастерства Вадима Кожевникова. В основе этого мастерства — глубокое знание действительности. Экономная, предельно ёмкая деталь — вот что даёт писателю возможность сказать столь многое в немногих словах. Именно это умение пользоваться деталью позволило Вадиму Кожевникову в небольшом рассказе «Лодчницы Жемчужной реки» создать пять своеобразных и ярких женских характеров, раскрыть пять человеческих судеб, отражающих в себе великую судьбу народа.

По характеру своему эти детали различны. Здесь и пейзаж, в котором вы находите не только яркую картину своеобразной природы, но и общественно-экономическую основу жизни посёлка (начало рассказа «Тысяча цзиней»). Здесь и психологически острый жест, в который вложена социальная и личная характеристика персонажа. Такими выразительными жестами богат рассказ «Лодчницы Жемчужной реки».

Иногда выразительность детали определяется у В. Кожевникова тем, что в ней он только намекает на уже известный читателю образец. Например, наружность вдовы Лян напоминает рисунок на китайских картинах, вазах, веерах, и мы на основании буквально нескольких слов отчётливо представляем себе эту женщину: «У неё круглое лицо с припухшими веками; в гладко зачёсанных волосах — веточка жасмина». Другую героиню он характеризует также в духе китайского рисунка, но она уже иная, и мы как бы въяве видим её своеобразное «маленькое округлое лицо с изогнутыми к вискам тонкими бровями и нежно-розовыми, как две апельсиновые дольки, полными губами». Чёрная просторная куртка, ожерелье из медной проволоки, свешивающееся с тонкой шеи женщины, — все эти маленькие точные приметы создают зримую реалистическую полноту образа.

Обращаясь ко второй половине книги, озаглавленной «Очерки», мы находим подтверждение того, что мастерство детали, создающее стиль автора «Тысячи цзиней», опирается на множество живых фактов и подробностей... Так, в очерке «Такими гор-

дится народ» в образе Ли Фун-лена есть черты, определившие характеры таких героинь рассказов сборника, как Ли Гуанчжэнь или вдова Лян, есть здесь десятки и сотни фактов, сведений, наблюдений и размышлений, ставших как бы заготовками для рассказов. Но порой фактический материал столь густо спрессован, что очерк уже перестаёт быть очерком, становится газетной статьёй и даже местами переходит в фактографическую запись («В великом народном Китае», например). Это, бесспорно, недостаток сборника. Иной же раз деление на «рассказы» и «очерки» начинает казаться условным. Непонятно, например, почему «Капитан Сюй Фын-цзао» помещён в рассказах, а «Такими гордится народ» — в очерках. Если эти две вещи и отличаются по

своим изобразительным принципам, то вторая — богаче и шире. Но не эти недостатки решают общую направленность книги.

Мы верим Вадиму Кожевникову, когда он говорит: «Стена Девяти драконов — действительно дивный памятник искусства и мастерства китайского народа. Но перед моими глазами всё время всплывали смущённые, радостные лица Чена и Лян, я не переставал думать о них... Я думал о скромной, чистой духовной красоте людей нового Китая».

Автор узнал, понял и полюбил своих героев и помог нам приобщиться к их замечательной жизни, укрепляя чувство братской дружбы, связывающее нас с великим китайским народом.

З. КЕДРИНА.

★

Прошлое — с нами

О повести в стихах Ярослава Смелякова «Строгая любовь» окончательно судить ещё рано. Опубликованы пока лишь отдельные главы из неё. Но уже сейчас определилось главное в произведении.

Далёкая пора первой пятилетки, первых строек, непримиримых споров и схваток со старым миром, стихов Маяковского, красных книжиц МОПРа, плакатов с узником, машущим из-за железной решётки, «Синей блузы», простое и великое время, — вот тема стихотворной повести. И, пожалуй, даже больше, чем тема, а то, что определяет дух произведения, его внутренний лирический жар, любовь, волнение, симпатии автора. Герои повести — комсомольцы школы заводского ученичества имени Ильича, неказисто одетые, в поношенных кожаных бушлатах да овчинах, пылко презирающие домашний уют и прочие «старорежимные привычки».

Автор не идеализирует своих героев, не стремится их приподнять, приукрасить. Такое стремление всегда рождается от недоверия: а будет ли герой достаточно хорош сам по себе, а не надо ли ещё добавить что-нибудь этакое, чтобы уж не оставалось никаких сомнений в его сто-процентной положительности. Герои повести хороши именно сами по себе, показаны такими, какие они есть. Талантливый и чуткий поэт хорошо понимает, как не-

уместен парадный, риторически-звонкий стиль для рассказа о людях, чуждых всему показному, декоративному, бутафорскому, о людях, полных духа ленинской простоты и прямоты.

Смеляков стремится воссоздать минувшее в его характерности: и неостывающий энтузиазм, готовность жертвовать собой ради дела революции, и будничная, без фраз, повседневная геронка, и аскетизм, самоотречение, которое в столкновении с жизнью утрачивает свою прямолинейность и односторонность.

Погружаясь в далёкое время, автор не растворяется в нём без остатка. Он выступает как представитель настоящего, судит о героях, опираясь на огромный опыт всех последующих лет. В свете нашей современности становится ясным то, что раньше ещё требовало решения. О многом сам автор говорит с улыбкой. Вот, например, как рассказывает он о презрении героев к мещанскому духу:

В поющих клетках всей земли —
как обличённые злодейки, —
когда по городу мы шли,
пугливо жались канарейки.

Когда в отцовских сапогах
шли по заставе дети стали,
все фикусы в своих горшках,
как души грешников, дрожали.

И забивались в тайнички,
лица блаженного покоя,
запечной лирики сверчки
и тараканы домостроя.

Я. Смеляков. Строгая любовь. Главы из повести в стихах. Октябрь № 12 за 1955 год.

Здесь очень сложная интонация повествования. Автору дорога неподкупная душевная строгость героев, их презрение к «блаженному покою». И вместе с тем он, человек пятидесятих годов, духовно старше своих героев и кое в чём относится к ним с тем ласковым, добрым юмором, с каким иногда разговаривают с младшими. Ему понятна известная наивность их отказа от всяких благ, недоверия, с которым они относились к красоте, личному счастью. Но главное для него не то, в чём они кажутся «устаревшими», а в том, в чём они остаются молодыми, в чём они необходимы нам сегодня. Да, они нужны нам — комсомольцы-фезеушники, — нужны своим горением, простотой, бескорыстностью, своим презрением к невзгодам, романтикой молодости, сливающейся с романтикой революции. Они дышали воздухом революции, не мыслили себя вне её. Пусть они кое в чём заблуждались. Но насколько же выше их самоотречение во имя общего дела, чем слепая забота о маленьком благополучии, фальшиво прикрываемая пустовато-красивой фразой. И хотя автор признаётся:

Во мне теперь в помине нет
непримиримости тогдашней —
сажусь с женою за обед,
вдыхаю пар лапши домашней.

Давно покинул я чердак
и безо всяких колебаний
валюсь под липами в гамак
или валяюсь на диване, —

но те отрекавшиеся от всего этого герои для него всё равно свои, родные, они несравненно ближе, чем те, для кого главное в жизни — комфорт, «блаженный покой». И поэтому так естественно переходят стихи поэта о том, что в нём нет «непримиримости тогдашней», в самое гневное, самое непримиримое разоблачение мещанства сегодняшнего:

Но я встречал в иных домах
под сенью вывески советской
такой чиновничий размах,
такой бонтон великосветский,

такой мещанский разворот,
такую бешеную хватку,
что даже оторопь берёт,
хоть я неробкого десятка.

В передних, тёмных и больших,
на вешалках, стоящих крепко,
среди бобровых шапок их
мне некуда пристроить кепку.

То время, которому посвящена «Строгая любовь», — это не просто предмет лирических воспоминаний. Оно живёт в нас, это время, оно наше достояние, неразменное наше богатство — вот что хочет сказать Я. Смеляков своей повестью. Это время как безошибочный камертон, помогающий различить фальшь. Пройденное не проходит бесследно, не теряется, не исчезает. Пройденное, пережитое остаётся с нами, в нас, в памяти сердца.

Первый признак конъюнктурщика — лёгкость и быстрота смены убеждений. То, что было вчера, сегодня им уже сбрасывается со счётов. Его мозг как отрывной календарь, как грифельная доска. Получая новую установку, он словно влажной тряпкой стирает всё, что было запечатлено в сознании раньше. У него нет ничего постоянного, ничего дорогого.

Характерно, например, что Победоносиков в «Бане» Маяковского говорит Поле: «Сейчас не то время, когда достаточно было идти в разведку рядом и спать под одной шинелью». Он смеётся над Полей, не умеющей «диалектически лавировать». Минувшее время для него не существует, за душой у него только то, что «на данном отрезке времени».

Повесть в стихах «Строгая любовь» борется с подобным конъюнктурно-победоносиковским отношением к революционному прошлому, призывает помнить о нём, о наших традициях, рождённых Октябрём.

Лирическая тема непреходящего прошлого связана в повести с авторскими раздумьями о жизни, которая шире схем, о любви, о весне, что врывается на заставу, в рабочие цехи. Звучит здесь радостная мысль о том, что чем больше развивается наше общество, тем меньше остаётся догм, попыток отгородиться от жизни частоколом заученных фраз. Вместе с тем ясно слышится и грустная нота — автор говорит о своей пронёсшейся юности, о прошедшей поре любви. Найдутся, быть может, непромокаемые бодрячки, которым покажутся неуместными подобные «настроения». Но сколько подкупающей искренности, человечности в этих стихах и, главное, какая это добрая, благородная печаль: она не отгораживает человека от других, не мутит сердца завистью, она слита с его доброжелательностью к людям, к молодому поколению. И право же, — может быть, такое сопоставление покажется преувеличенным, неоправданным, — что-то

родственное пушкинским стихам «Брожу ли я вдоль улиц шумных» чудится в стихах Ярослава Смелякова о свиданиях влюблённых, о телефонной будке, откуда герой Яшка вызывает свою подругу.

...О узенькая будка автомата,
встань предо мной среди этих строгих строк,
весь в номерах, фамилиях и датах
общенья душ фанерный уголок!

Укромная обитель телефона
от уличной толпы недалеке
и очередь снабженцев и влюблённых
с блестящими монетками в руке.

Не раз и я, как возле двери рая,
среди аптечных банок и зеркал,
заветный номер молча повторяя,
в той очереди маленькой стоял.

Идут года и кажутся веками;
давно я стал иною страстью жить,
и поздними влюблёнными звонками
мне некого и незачем будить.

Под звёздами вечерними России —
настала их волшебная пора! —
вбегают в будку юноши другие,
другие повторяя номера.

У автомата по пути помешкав,
припоминая молодость свою,
я счастье их не омрачу усмешкой,
а только так, без дела, постою.

В чём секрет поэтического обаяния этих строк? В том ли, как точно нарисована эта скромная узенькая телефонная «обитель», где вдруг после гудков возникает живой голос любимой и ты уже не один, вы вдвоём в этой маленькой будке? Или в том, как живо встают перед поэтом его юность, его любовь, его «поздние влюблённые звонки»? Или в той человечности, доброте, с какой он встречает приход нового поколения? Или в том, как напевно звучит стих и, словно волны, набегает строка за строкой?

...вбегают в будку юноши другие,
другие повторяя номера.

В обыкновенной прозаической речи такое повторение слова не замечается, а здесь оно подчёркивает мерный и плавный ритм, мелодию стиха, становящегося музыкой.

Читая повесть в стихах Я. Смелякова, не раз думаешь о выразительности поэтического языка, у которого свои законы, свой строй и тональность. Поэтому стихи так трудно переводить, поэтому они и не поддаются простому, пускай даже самому точному и правильному пересказу.

В том-то и сила поэзии, что она умеет в нескольких строках воссоздать образ времени. Поэт говорит о поколении своих героев:

Те мальчики храбрые, что не успели
пройти — на погибель буржуам всех стран! —
в простреленном шлеме, в пробитой шинели,
в литавры стуча и гремя в барабан, —

и сразу же перед нами встают годы, полные неостывших воспоминаний о гражданской войне, когда юноши грезили о шлемах и шинелях защитников Родины, как молодые рыцари — о щитах и мечах. И как подходит этой романтической мечте звучание строк, их ритмический строй, передающий походный шаг и дробь барабана:

в простреленном шлеме, в пробитой шинели,
в литавры стуча и гремя в барабан.

А вот рассказ о том, как мечтающий о боях и сражениях Яшка ходил в районный тир:

Он слал за ударом удар неизменно
не в заячий бег, не в тигриный прыжок,
а только в железный моноколь Чемберлена,
в измятый свинцом ненавистный кружок.

И лорд, обречённо торчащий в подвале,
бледнел от цилиндра до воротничка,
когда, как возмездье, пред ним возникали
бушлат и тельняшка того паренька.

И снова мы чувствуем атмосферу времени, и сами вспоминаем тир, вроде этого, и мысленно улыбаемся, представляя себе мишень, бледнеющую перед суровым пареньком.

Этот Яшка, суровый, правильный, ортодоксальный, признающий только братство и ненависть, вдруг, оказывается, сам сражён, ранен и полонён любовью. Автор описывает, как Яшка и Лизка, забыв обо всём, что им предписывала их непримиримая философия, отбросив «заключая правил и цитат», растерянные, садятся на скамейку, — и опять мы убеждаемся, что обо всём этом рассказывает поэт:

И в ображённой липовой аллее
(актив Москвы, шуми и протестуй!),
идя на всё и всё-таки робея,
он ей нанёс свой первый поцелуй...

С удивительной точностью передаёт одно только слово «нанёс» внутреннее состояние Яшки — его беспомощность, измученность и затем вдруг мрачную реши-

мость, с какой он «наносит», как вызов, как удар, свой первый поцелуй.

Я. Смеляков умеет писать просто и красиво, без всякой манерности. Он свободно переходит с обыденной речи о житейских делах к песенно-приподнятому, романтическому повествованию с быстрым и вольным ритмом. Это особенно заметно, когда поэт говорит об отце Зинки, изображённом на карточке, — таким увидели его зинкины строгие друзья:

Он стоял, как приказ, прямой...
Ах, как гордо она надета,
та будёновка со звездой,
освещающей полпланеты!

Смерть и слава молчат в клинике.
Дым и песня летят вдогонку...

Радуюсь поэтическому таланту автора, мы радуемся не только этому, но чему-то большему. Нас подкупает его умение раскрыть поэзию той далёкой поры, когда советские люди ещё впервые решали многие вопросы бытия и быта, передать тепло и пафос их жизни; покоряет свобода, естественность, с которой Я. Смеляков воссоздаёт то и далёкое и близкое нам время с его характерными приметам и особенностями, с его жарким горением и строгой любовью.

3. ПАПЕРНЫЙ.

★

Рассказы Норы Адамян

Некоторые из рассказов Норы Адамян, собранные теперь в книжке «Начало жизни», уже обратили на себя внимание читателей. При всей скромности их проблематики, рассказы эти привлекали художественной самостоятельностью, своеобразием колорита, той серьёзностью, благодаря которой знакомые, а иногда набившие оскомину ситуации становятся интересными вновь.

Рассказы, известные нам по журнальным публикациям («Трудная встреча», «Перевал»), остаются, на наш взгляд, самыми интересными в рецензируемом сборнике. Убеждаешься, однако, что талант Норы Адамян способен порой и обманывать надежды читателя: есть в сборнике и слабые и совсем слабые произведения.

Если можно говорить об общей теме книги, содержащей ряд самостоятельных произведений, то темой сборника рассказов Норы Адамян является столкновение хорошего и плохого, человеческого и пошлого, нового и ветхозаветного в той области жизни, которая называется «личной», хотя она во многом давно перестала быть таковой, ибо судится у нас судом общественным и мерится мерой общественного идеала. Тема эта проверяется писательницей в основном на примерах из жизни женщины, когда ей приходится бороться за выход из узколичного мирка в большую жизнь или отстаивать своё достоинство в борьбе с эгоизмом и косностью. Героиня Норы Адамян — женщина, наша современница, самостоятельно

достигающая жизненного успеха и обладающая подчас силой победить даже горе обманутой любви и одиночества.

Директор Седа Александровна из рассказа «Трудная встреча», после многих лет встретившаяся с человеком, который когда-то бросил её, и вынесшая ему теперь свой суд, инженер Тамара Сергеевна, героиня рассказа «Начало жизни», вырвавшаяся из мещанского патриархального плена на самостоятельную жизненную дорогу, колхозная библиотекарьша Ануш, сумевшая, несмотря на недоверие к ней, к женщине, организовать односельчан на борьбу с оставанием колхоза, — все эти и другие персонажи из рассказов Норы Адамян взяты в такой момент их жизни, когда им приходится делать некий выбор между «традиционной» женской слабостью, несамостоятельностью и — решимостью совершить резко меняющий течение их жизни сильный поступок, отстоять право на своё счастье.

Большинство рассказов сборника — вариации на одну тему, и по существу главным образом этой книги должна была бы стать героиня рассказа «Хозяйка», женщина — хозяйка своей судьбы, своей любви, оспаривающая право решать что-нибудь помимо и за неё. Впрочем, надо сказать, что как раз в этом «краеугольном» для сборника рассказе, как и в некоторых других, эта тема решается чересчур торжественно и в то же время очень наивно. Героиня рассказа «Хозяйка» — женщина-инженер, занимающая немалый пост по своему ведомству, передовой работник — ежегодно приглашается на торжественное заседание в Большой театр. О том, как выросла у нас роль жен-

Нора Адамян. Начало жизни. Рассказы. Редактор В. Вилкова. 215 стр. «Советский писатель». М. 1955.

щины в общественной жизни, говорит тот факт, что муж героини, так сказать, глава семьи, на это праздничное заседание приглашением не удостоен. И при этом он будто бы крайне раздосадован этим обстоятельством... По-человечески его можно было понять: вечер ожидается интересный, но вот как об этом пишет Нора Адамян: «Фёдор был не в духе. Сам поехал с ней, а всю дорогу в машине не разговаривал и что-то напевал про себя: верный признак нарушенного душевного равновесия. Да ведь можно понять человека! Жена едет на торжественное заседание, а мужу нужно на завод, на работу... Ничего не поделаешь! Жизнь сложилась так, что её мужу иногда приходилось оставаться у порога дверей, в которые она входила. И до сих пор ему не легко бывало смириться с этим». Всё это было бы очень мило, если бы не слишком явное тщеславие, звучащее в этих словах, тщеславие, которое сразу выдаёт с головой его обладательницу и придаёт всей ситуации несколько показной характер.

Если же говорить о том, насколько художественно, с тонким чувством психологической детали может Нора Адамян рассказывать о сложном состоянии женской души, дерзающей на трудный жизненный шаг, который решает её судьбу и утверждает её человеческое достоинство, то как пример мы привели бы уже упомянутый нами отличный рассказ «Трудная встреча».

Учёный-цветовод Седа Александровна после долгих лет разлуки встречает ничтожного человека, которого она когда-то любила и который оставил её. За это время у Седы Александровны выросла дочь, которая не знает своего отца, как и он не догадывается о своём отцовстве. Писательница очень точно изобразила фигуру пошлого красная и себялюбца Каро Леоновича, даровитого трутня, способного внешним блеском увлечь неопытное сердце. Очень драматична ситуация, изображённая в рассказе: эта маленькая девочка-подросток, беззаветно увлечённая новым знакомым, умеющим так весело шутить и легко рассказывать, и мать, взволнованная и неизжитым чувством близости и гораздо более глубоким презрением к обманувшему её человеку, страдающая оттого, что дочь так легко и незащищённо верит недостойному этой веры отцу. Рассказ посвящён тому, как терпит крах это живое очарование. Надолго запоминается финал рассказа, когда избалованный Седой Александровной

в невыносимой для честного детского сердца лжи, раскрывшийся во всей своей «преlestи» Каро Леонович поспешно покидает сцену... И тут в одной грустной-грустной детали высказывается его глубочайшее и оскорбительное равнодушие ко всему: к цветам, которыми он любовался, к мыслям, которые он цитировал, к славной девочке — его дочери, с которой он только что мило играл, словом, ко всему, кроме себя самого, кроме впечатления от себя самого: «Кивком головы Каро Леонович попрощался со старым бухгалтером и, не заметив протянутой марочкой руки, торопливо влез в машину. Маленькая смуглая ручка — по форме пальцев и по рисунку ногтей точный слепок с его собственной руки — повисла в воздухе и упала на спящее полотно платья...» Вот так, бывает, «не большой горой, а соломинкой» в искусстве решаются сложные вещи, и насколько эта деталь одухотворённее, дороже, чем вся напыщенность женщины-«хозяйки» из одноимённого рассказа — «спокойной, сероглазой... с тремя орденами на синем шёлке платья», победившей все искушения, все страсти.

Из сопоставления этих двух рассказов видны все контрасты книжки. Рядом с интересным рассказом «Перевал», в котором есть и живые люди, поэтическое настроение, и юмор, и ряд характерных «дорожных» зарисовок, мы читаем скучный рассказ «Судьба Ануш», в котором отдельные художественные чёрточки лишь оттеняют сугубо описательный, информационный характер вещи. И в соседстве с интересным рассказом «Золотая масть», в котором хозяйственная затея председателя колхоза Оганеса — устроить конеферму в колхозе — пронизана романтической мечтой о прекрасных табунах «золотой масти», пасущихся на родных лугах, мы наталкиваемся на маловыразительный, довольно дидактический рассказ «Врач из Заревшана».

Повидимому, в творчестве Норы Адамян ещё не отделились две тенденции: одна — животорная, заставляющая писательницу воплощать важную ей мысль и чувство в какой-либо художественной сцене, в художественных деталях и опосредствованиях, и другая тенденция — прямой передачи ряда фактов, поверхностного описания, плакатных контрастов хорошего и дурного.

Об одном и том же — о мужестве и решимости женщины, делающей важный для себя шаг, воинственно выступающей против

пошлости или косности.— Нора Адамян может рассказать в очень чуткой и тонко обрисованной художественной сцене и рассказать об этом прямолинейно, так сказать, без околичностей. Но не нужно пренебрегать так называемыми околичностями в искусстве!

Достоинством рассказов Норы Адамян является тёплое нравственное чувство, которым они проникнуты. Это и отношение к любви, как к делу серьёзному и душевно ответственному, и постоянно бросаемый взгляд на детей, как на прямой отпечаток нашей правоты или неправоты, нашего зла и нашего добра... Но порой — и это нужно чувствовать писательнице — высокая нравственность переходит в её рассказах в некую «душеспасительность», например, в эпизоде из рассказа «Хозяйка», героиня которого стойко отказывается от счастья с человеком, которого она любила «молодой неутолённой любовью», лишь на основе суждения о «личном» и «общественном».

Также хотелось бы, чтобы писательница о вещах, вызывающих умиление и радость, говорила иначе, чем так: «маленькое тельце, обёрнутое в розовенькое одеяльце». Подобные «сюсюкающие» обороты хоть редко, но встречаются в книге.

Чисто внешним недостатком рассказов Норы Адамян является их композиционная схожесть. В большинстве из них берётся какая-либо ситуация в настоящий момент, а содержанием рассказа являются воспоминания о том, как герой или героиня достигли этого настоящего. Это несколько однообразит сборник.

Рассказы Норы Адамян во многом ещё несовершенно. Но в них есть очень радующие черты подлинной художественности, серьёзность чувства, собственное отношение к вещам и своеобразный колорит — всё то, что обещает дальнейшее движение и рост молодой талантливой писательницы.

М. ЩЕГЛОВ.

★

Образы минувших лет

Читая эту повесть, словно ощущаешь аромат осенних увядающих трав, запахи свежеспаванной земли, словно чувствуешь беспокойный, мятущийся дух предреволюционной русской деревни и видишь людей её: и тех, кто с надеждой и радостью ожидает приближения бури, и тех, кто пока ещё осторожно прислушивается к словам заезжего питерского рабочего или вернувшегося с фронта солдата, и, наконец, тех, в ком сгущающееся предгрозы будит смешанные чувства враждебности и испуга.

Обратившись к теме предреволюционной деревни, которая уже не раз привлекала наших писателей, В. Смирнов раскрывает её свежо, по-своему. Всё, что было пережито, увидено им самим, ожило, зажглось, заиграло; и это своё, особое, поэтическое видение мира окрасило повесть в светлые, тёплые тона.

Вторая книга «Открытия мира» (часть первая) охватывает всего лишь около двух суток. Но короткий отрезок времени писатель сумел насытить событиями, многие из которых носят острый, драматический характер.

Все сюжетные линии помогают автору раскрыть моральную силу, душевную красоту и богатство русского человека, которого не могут сломить никакие невзгоды, который верит в своё светлое будущее и стремится к нему. Большая, неуёмная любовь к людям согревает повесть и придаёт ей поэтическую пленительность.

Главный герой повести, крестьянский мальчик Шурка, — отчаянная голова, первый среди деревенских ребят выдумщик и заводила — любит иногда и помечтать и унести мысли в прошлое. Размышления и воспоминания Шурки расширяют наше представление о времени, людях, событиях, знакомят не только с тем, что было или есть, но и дают почувствовать, что могло бы быть или будет.

И в первой и во второй книге повести открытие мира дано глазами ребёнка. Приём не новый в нашей литературе, но не ставший от этого более лёгким. Детское непосредственное видение мира сталкивается в повести В. Смирнова с реальной и жестокой действительностью. Мир взрослых оказывается совсем не таким, каким рисовался он в воображении юного героя. Бесправное положение часто вынуждает взрослых молчать в ответ на оскорбления со стороны богатых, вынуждает делать

В. Смирнов. Открытие мира. Повесть, книга вторая, часть первая. «Звезда» № 1 за 1955 год.

и говорить совсем не то, чего ждёт от них взыскующий справедливости мальчик. Таким образом, в лирическую повесть о маленьком герое органически вплетаются мотивы большого социального звучания, мотивы порой драматические.

Шурка не просто наблюдает и откладывает в памяти всё увиденное. Он размышляет. И в размышлениях этих детская наивность сочетается с какой-то взрослой трезвостью. Шурка—в том переходном возрасте, когда ребёнок не отошёл ещё от непосредственной свежести впечатлений, и отсюда наивные, но яркие, порой сказочные картины, возникающие в его воображении по любимым, иногда и незаметным для взрослых, поводам. Так, стоило ему увидеть железный крестик на груди вернувшегося на побывку солдата—и мальчик уже представил себя на поле брани и немедленно собрался на позиции «лупить германцев»... Но окружающая большая и суровая жизнь властно вторгается в мирок детских мечтаний, взваливает на шуркины плечи тяжёлые заботы (особенно после смерти отца) и рождает в нём недетскую рассудительность.

Мысли Шурки во многом способствуют ощущению поэтичности повести, созданию атмосферы нравственности, чистоты и многому из того, что мы видим глазами мальчика, придают большой, обобщающий смысл.

Вот приехали в деревню усатый военный и писарь. Они собрали народ на сход: из оставшихся в деревне мужиков надо выделить людей на рытьё окопов. Крестьяне взбунтовались.

И тут Шурка терпит одно из самых сильных за всю его короткую жизнь потрясений. Когда зашумел сход, учитель, олицетворявший для Шурки мудрость, справедливость и доброту, вместо того чтобы постоять за правду и заступиться за мужиков, растерянно вздёрнул плечами, попятился, повернулся сутулой спиной к народу и пошёл прочь.

«Неужели он испугался писаря и усатого? Да разве может бояться он, свет и правда, Григорий Евгеньевич, всемогущий, как бог!

Шурка изумлённо и жалобно проводил взглядом учителя, пока тот не скрылся за избамн. «Почему? Почему?» — стучало и разрывалось сердце».

В этой сцене мы не только свидетели горестного недоумения Шурки. Учитель не

оправдал надежд ребёнка и вот этих мужиков и баб, жаждающих, как солнышка в ненастье, справедливого слова. Как лаконична эта деталь и как глубока она по психологическому и социальному содержанию. Благожелательный либерализм, мягкотелость учителя, стремящегося всё устроить «мирком да ладком», мешают ему в решительную минуту вступить за односельчан, хотя он хорошо знает их нужды и печали и даже искренне болеет за них душой. О многом говорит растерянная, ссутулившаяся фигура, уходящая от народа!

Мальчик постепенно понимает, что мир, в котором он живёт и который постоянно открывается для него с какой-то новой своей стороны, устроен плохо, что надо и можно жить иначе — лучше, чище. Но как прийти к этому? Он уже не верит в «счастливую палочку», о которой услышал от бабушки Матрёны, и презирает себя за то, что когда-то возлагал на эту палочку большие надежды. За два года, отделяющие нас от событий первой книги, Шурка не только вырос, возмужал, он многое понял, о многом стал догадываться. Вот он услышал от пастуха-мечтателя о «праведной книге» и решил, что всё счастье людское именно в этой книге. Но где она? Почему люди не могут найти её? Шурка не знает. Однако надежда на то светлое, лучшее, что обязательно придёт, постоянно теплится в душе мальчика, и огонёк этот как бы освещает всё происходящее в книге.

В повести есть образ человека, призванного нести крестьянам правду, звать на борьбу с угнетателями. Это рабочий, питерец Прохор, которого выгнали из города нужда и чехотка.

Но образ Прохора написан несколько вяло. Ему явно не по силам та роль, которую писатель возлагает на него. Рассуждениям, преобладающим в характеристике образа Прохора, недостаёт ощущения непосредственности, они слишком рассудочны. Причём в них нет-нет да и проскользнет нотка обречённости, связанная, правда, с его болезнью, но, тем не менее, придающая облику Прохора какие-то минорные тона.

Особенно проигрывает образ Прохора рядом с типами крестьян — неповторимых, особенных, наделённых автором такими живыми чертами, которые заставляют верить в их реальное существование.

Мы знакомы по первой книге со степенным, умным, понимающим жизнь и болеющим душой за обездоленных мужиков Никитой Аладыным; удивлял нас своей наивностью и какой-то первозданной мудростью пастух Сморок, мы помним и отца Шурки, стремящегося выйти в люди, одеться пофорсистой, но несчастного человека, от вечных неудач потерявшего веру во всё хорошее. Немало места автор отвёл кулаку Устину Быкову. Он, бывает, и заигрывает с крестьянами, но, как говорится, мягко стелет, да жёстко спат.

Многие из героев первой книги продолжают жить и на страницах второй книги повести, хотя иные из них полегли уже где-то в Карпатах, как муж Марьи Бубенец или отец Шурки, о судьбе которого долгие не было ничего известно. А вот Ваня Дух неожиданно вернулся в деревню, хотя и без левой руки. Уходил на войну таким же нищим, как и все, а приехал — купил лошадь, выпросил у управляющего полосу пустующей барской земли, запахал её. Правда, делал он всё как-то крадучись, пряча глаза от односельчан, будто знал за собой какой-то грешок. Однако по всему видно, что вырастет из него крепкий кулак, кулак, так сказать, новой закваски; такой, пожалуй, похлеще будет Устина Быкова.

Характеры героев повести особенно ярко проявляются в труде. За правдивым и вдохновенным изображением крестьянского труда лежит глубокое знание жизни и быта крестьян, сердечная любовь к ним.

Взять хотя бы великолепно написанную сцену сенокоса или небольшую главку «Молотьба» — одну из лучших по своей поэтичности в повести. Здесь всё зримо, всё ощутимо, как на полотнах Сурикова, где нет безликой толпы, а есть самые различные люди, каждый со своей судьбой, своим характером, со своими повадками... Как раскрываются образы женщин, участвующих в молотьбе! Труд на миру словно омолодил их. Всё кипит в их руках, делается легко и споро.

Писателю дорог и близок образ крестьянки. Он любит ловкую и статную Солиной молодухой, слегка подшучивает над озорной и горластой, но в сущности доброй, мастерицей на все руки, Марьей Бубенец. Но подлинная жемчужина повести — образ матери Шурки, Пелагеи. Ещё в первом своём крупном произведении — в повести «Сыновья» — В. Смирнов поразил

глубоким знанием женской души, проникновенным отношением к труженице-матери. Её Анна Стукова — вдова, вырастившая двух прекрасных сыновей, — запоминается надолго. Пелагея в какой-то мере напоминает Анну. Та же беззаветная любовь к детям, желание отдать себя всю ради их пользы, то же трудолюбие и горячая жажда жизни, стремление ко всему светлому. Но в конце повести «Сыновья» в образ Анны вкрасилась риторичность. К образу Пелагеи нельзя предъявить такого упрека. Весь он словно пронизан светом; в нём словно бы угадываешь то вечно женственное, что дало жизнь всему прекрасному на земле. Нужда, непосильная мужская работа не сломили её жизнерадостной натуры. Чуть стало повеселее на душе, она и песню споёт и посмётся с бабами. Найдёт в себе силы такая женщина и горе перенести без криков и стонов.

Пришло известие, что убили на войне шуркиного отца. Казалось, не поднять теперь головы, окаменело сердце и не будет сил заняться привычным хозяйским делом. Но прошла лишь ночь, а поутру, проснувшись, увидел Шурка, что всё шло своим обычным заведённым порядком: прибрано в избе, топится печь, лишь пустая сковорода, которую мать, вместо того чтобы поставить на угли, задумавшись, неподвижно держала в руках, говорила о её глубоком горе. Шурка решил, что теперь, когда нет отца, ему нельзя идти в школу, должен он помогать матери по хозяйству.

«Она взяла его голову сильными тёплыми руками, прижала к себе и долго не отпускала.

— И думать так не смей, — горячо шепнула она. — Жив отец. Слышишь? Сердцем чую... Жив!»

Предельный лаконизм в описании, но не та сухая скоропись, которая ведёт к обеднению изображаемого, а лаконизм, с наибольшей ясностью передающий смысл, идею, сочетается у автора с умением находить тонкие, порой трудно уловимые, но психологически глубокние детали для характеристики образа.

В повести В. Смирнова много персонажей, но каждый говорит только так, как и должен говорить соответственно своему характеру, облику, положению.

Сама авторская речь — ясная, непринуждённая, простая. В повести много щедрых и красочных описаний волжской природы.

Пейзаж у автора всегда «к месту», он не существует сам по себе, а, как и всё у В. Смирнова, тесно связан с событиями, действиями, переживаниями и настроениями людей.

Вот Шурка, наслушавшись разговоров о войне вернувшегося с фронта Матвея Сибиряка, выходит на улицу:

«Высоко над головой, зацепившись за макушку синей громадной ёлки, что росла у риги, неподвижно и ослепительно висела в небе луна, подобно круглому, кованному из серебра щиту с вмятинами и царапинами, побывавшему в сражениях с половцами и татарами. Богатырскими золочёными шлемами высились скирды хлеба. Как крепости с башнями и бойницами, готовыми к отпору, поднимались амбары и саран, отбрасывая по дымчато-голубой траве ко-

сье, во всё гумно, тени, словно глубокие рвы, полные тёмной воды...»

Дочитана последняя страница повести, а жаль расставаться и с бойким, смыслённым Шуркой, и с пленительной Пелагеей, и с отчаянной Катькой-Растрёпой с её торчащими во все стороны, как медная проволока, волосами.

Герои книги стали близки и дороги сердцу читателя, будто он побывал среди них. Мы, как наяву, увидели русскую деревню, уже овеванную свежим ветром приближающейся революции. И в том, как писатель воскресил перед нами деревню той поры, как оживил её, населил людьми, наполнил красками, звуками, запахами, сказалась зрелость писателя и сила его своеобразного таланта.

Г. КОИРАНСКАЯ.

★

Искусство композиции у Пушкина

Исследование Д. Благого, посвящённое вопросам мастерства Пушкина, одновременно и уже и шире своего заглавия. Уже потому, что в основном оно касается лишь одной стороны мастерства Пушкина — вопросов композиции его произведений. Шире — так как, анализируя композицию, автор книги рассматривает её не изолированно, а вместе со всем идейным содержанием произведения.

Книга «Мастерство Пушкина» делится на две части. В первой из них, называющейся «Вдохновенный труд», сведены воедино высказывания Пушкина о творческом труде.

Поставив эпиграфом к этому разделу слова поэта «Я знал и труд и вдохновенье», Д. Благой показывает на большом и убедительном материале, что основным условием художественного мастерства в представлении Пушкина является сочетание упорного и взыскательного труда с вдохновением, поэтическим ясновидением. Не форма сама по себе, а «идея», содержание, подчёркивает Д. Благой, являлись для поэта целью творчества. Не «гладкие стишки», как писал сам Пушкин, а «глубокие чувства» и «поэтические мысли» только и заслуживают названия поэзии. Пушкин требовал, чтобы поэт выражал передовое об-

щественное сознание своего времени, имел бы «сумму идей» «гораздо позначительнее, чем... обыкновенно водится». Но эту «сумму идей» поэт должен передать вдохновенно, на поэтическом языке искусства, овладев безупречным мастерством формы.

Выделяя в высказываниях Пушкина требование ясности, стройности и простоты как основы совершенства художественного произведения, Д. Благой справедливо отмечает, что «прелесть нагой простоты» подсказана была поэту великими образцами античного искусства, совершенной гармонией древнегреческой скульптуры. Борьба Пушкина за «благородную простоту» тесно связана с его стремлением к максимальной лапидарности, сжатости формы при её насыщенной большим содержанием. Достаточно напомнить один из приводимых Д. Благом примеров: в гениальном «Медном всаднике» всего лишь 465 стихов, в «Мозартте и Сальери» — 231 стих! Д. Благой верно отмечает, что «в своей художественной прозе Пушкин идёт прямым, как стрела, путём, не сбываясь под влиянием всякого рода ассоциаций, внезапных наплывов чувств, капризной игры художественного воображения на какие бы то ни было побочные пути, попутные боковые тропинки».

Думается, однако, что для того, чтобы раскрыть «секрет» простоты и лаконичности пушкинских произведений, необходимо учитывать и отношение поэта к слову, раскрыть необычайную смысловую ёмкость

Д. Б л а г о й. Мастерство Пушкина. Редактор А. Западов. 268 стр. «Советский писатель». М. 1955.

его словаря, точность и вместе с тем многоплановость словесной структуры его вещей.

Значительный интерес представляет раздел, посвящённый планам пушкинских произведений. Д. Благой показывает, какую большую роль играют в творчестве поэта предварительные планы и прозаические программы для создания поэтических произведений и поэм.

Главенствующее место в книге занимает второй раздел — «Пушкин — мастер композиции». В нём автор на анализе наиболее значительных произведений Пушкина раскрывает один из важнейших принципов художественного мастерства писателя.

Вопросы композиции художественных произведений неоднократно рассматривались как в русской, так и в западной научной литературе. В ряде работ выяснялась роль композиции в романе, лирическом стихотворении, вопросы сюжетного построения. Однако в подавляющем большинстве случаев эти вопросы решались в отрыве от идейного содержания, композиция рассматривалась как некое самостоятельное начало, определяемое своими имманентными закономерностями. Так, например, композиция пушкинской новеллы «Выстрел» сводилась к чисто графическому, абстрактному чертежу. Заслуга автора рецензируемой книги в том, что он сумел преодолеть это формалистическое и схематическое представление о композиции, понимая под ней не только внешнее построение и распределение формальных элементов, но и их органическое единство с содержанием, с «идеей» произведения: «...самая замечательная особенность художественного мастерства Пушкина, — отмечает Д. Благой, — состоит не только в том, что его создания являют собой единственные в своём роде — по стройности, гармоничности, соразмерности частей, мудрой, подлинно классической простоте целого — образцы словесной архитектуры. Композиция каждого художественного произведения Пушкина обычно и глубоко содержательна, гармонически соответствует лежащему в его основе идейному замыслу и тем самым способствует наиболее полному, художественно впечатляющему раскрытию этого замысла».

Эта мысль полностью определяет и тот анализ композиции ряда важнейших произведений Пушкина. — «Цыган», «Борис Годунов», «маленьких трагедий», «Евгения Онегина», «Полтавы», «Медного всадника», «Выстрела», «Станционного смотрителя»,

«Капитанской дочки», — который и составляет основное содержание книги.

Примером единства идеи и композиции может служить блестящий анализ «Медного всадника». Пушкин, откликаясь сердцем великого гуманиста на страдания «бедного Евгения», в то же время всем разумом художника-мыслителя признаёт историческую закономерность, «законность» дела Петра. Из этого идеологического конфликта вырастает и построение пушкинской поэмы, основанное на параллелизме образов Медного всадника и Евгения.

В качестве примера можно привести также анализ идейной и композиционной соотносённости в «Борисе Годунове». Д. Благой устанавливает внутренний ритм драмы, закономерность, казалось бы, разрозненных сцен, на которые распадается «Борис Годунов», убедительно показывает, как путём композиционного выделения подчёркнута Пушкиным роль народа. Детальное рассмотрение композиции «Бориса Годунова» свидетельствует, что глубоко продумана и закончена, предельно совершенна не только вся трагедия в целом, но и каждая сцена её в отдельности.

В тончайшем анализе Д. Благой композиции «Скупого рыцаря» раскрывается не только сюжетная напряжённость произведения, но и социально-философский смысл роковой страсти к накоплению, наступление нового «ужасного века». Пушкин здесь, как показывает Д. Благой, перекликается с позднейшими высказываниями К. Маркса о власти «злата», изуродовавшего человеческую природу.

Не менее убедительным и мастерским представляется анализ композиции новеллы «Выстрел». О «Выстреле» сложилось мнение как о повести традиционно-романтической, рассчитанной на внешнюю занимательность. Д. Благой показывает, как каждый сюжетный поворот, каждый композиционный приём служит раскрытию характера центрального героя повести, углубляет её идейный смысл. Самое ведение повествования от лица трёх рассказчиков — подполковника И. Л. П., Сильвио, графа — даёт возможность представить образы героев повести в многостороннем освещении. Чёткость расположения частей и эпизодов новеллы, даже отдельных деталей её, способствует контрастному выявлению двух противоположных характеров — Сильвио и графа, выделяя внутреннее благородство поведения Сильвио в отличие от

малодушия его противника. Эпилог повести — гибель Сильвио в одном из самых героических эпизодов греческого восстания 1821 года, в сражении под Скулянами — до конца раскрывает силу и благородство Сильвио, являясь последним мастерским штрихом в композиции новеллы.

Гоголь, говоря о совершенстве поэзии Пушкина, писал, что достоинства, отличающие Пушкина от других поэтов, «заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означать весь предмет». Именно это искусство «немногими чертами означать весь предмет» и есть во многом искусство композиции, которое столь наглядно и с подлинным проникновением в мастерство Пушкина рисует Д. Благой, когда говорит о завершенности, стройной соотнесённости и соразмерности частей, симметрическом соответствии начала и конца или отдельных компонентов внутри произведения.

Но всё же, как мне кажется, при анализе пушкинской композиции автор несколько преувеличил принцип симметрии и повторности. Так, говоря о композиции «Цыган», автор книги находит в ней «прямо-таки «математический» расчёт». Считая, что композиционным «центром» поэмы является песня Земфиры, включённая в самую середину поэмы, Д. Благой говорит, что всё происходящее далее представляет собой как бы драматическую реализацию, инсценировку этой песни. Точно так же и отдельные фрагменты поэмы расположены, по его мнению, в определённом гармонически симметричном порядке.

В «Борисе Годунове», анализ которого в целом интересен и содержателен, как мне представляется, чрезмерно подчеркнута роль симметрии. Д. Благой говорит о симметричности сцен («...четвёртая сцена от начала и соответственно четвёртая сцена от конца симметрично и вместе с тем контрастно обрамляют трагедию царя...»), предлагает определить композицию «Бориса Годунова» в целом как «приём тройного обрамления», как бы три вписанных друг в друга концентрических «круга»: «круг» народа, «круг» Бориса, «круг» Самозванца. Неизменное стремление к симметрии видит автор и в «Пире во время чумы» и в «Моцарте и Сальери» и т. д.

Однако далеко не всегда пушкинская композиция определяется повторами и симметрией. Драматизм конфликта во многих случаях осуществляется иными принципами,

в иных композиционных формах. В романтических поэмах Пушкина, в «Евгении Онегине», в «Борисе Годунове», в «Пиковой даме» есть не только округляющая симметрия, но и драматическое столкновение контрастов, трагическая напряжённость действия и соответствующая ему композиционная структура, не укладывающаяся в понятие симметрии. В творчестве Пушкина гармоническое начало античного искусства уже сочеталось с драматизмом тех социальных и психологических противоречий, которые принесены были новой эпохой, противоречивостью новых социальных отношений. Это сказалось и в композиции, в художественной и идейной архитектонике его произведений.

Ограничение исследования композиции принципом симметрии особенно недостаточно при анализе «Евгения Онегина». Правда, при этом Д. Благой оговаривается, что симметричная фабульная схема, на которой построены взаимоотношения между четырьмя основными персонажами, могла бы выглядеть как «не слишком хитрый литературный приём», и указывает, что Пушкин наполнил её большим жизненным содержанием. Но всё же такое понимание композиции романа мне представляется недостаточным. Ведь сам поэт во вступлении к роману писал:

Прямо собранье пёстрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав...

Конечно, роман Пушкина не являлся «небрежным плодом» его «забав», но, подчёркивая эту «небрежность», говоря о том, что «даль свободного романа» он вначале ещё неясно различал, Пушкин хотел отметить этим своеобразие его композиции, её «свободу», а отнюдь не её «симметрию». Огромное значение для построения романа имеет сочетание лирического, автобиографического начала с эпическим повествованием, чем прежде всего и определяется его композиция и внутренняя архитектоника.

Однако эти замечания отнюдь не мешают видеть достоинства глубокого и тонкого анализа, который впервые предложен Д. Благой, не колеблют его основного вывода, вытекающего из наблюдений над композицией ряда произведений Пушкина, — о стремлении писателя к гармоническому пластическому равновесию и завершенности всех частей и компонентов своих произведе-

ний. Величайшее композиционное мастерство Пушкина, как подчёркивает Д. Благой, «при выработанности ряда основных приёмов лишено вместе с тем каких-либо навсегда установленных формальных схем и шаблонов, а, наоборот, всецело определяется данным идейным заданием...» Этот вывод является и внутренним лейтмотивом книги, критерием, с которым подходит автор к пушкинским произведениям, находя в каждом из них всё новое и новое своеобразие композиционных приёмов, соответствующих содержанию данного произведения.

Это и делает книгу Д. Благого не дидактическим пособием, не суммой рецептов, которые якобы можно применить как некие

испытанные средства; а проникновенным и ярким исследованием эстетических принципов Пушкина, законов поэтического совершенства его произведений, неотрывного от всего идейного богатства его творчества. В этом основное достоинство книги о мастерстве Пушкина, которая, несомненно, с живым интересом будет прочтена самым широким кругом читателей, а отнюдь не только специалистами. Этому в немалой мере будет способствовать и то, что исследование Д. Благого написано с подлинной влюблённостью в мастерство Пушкина и с изящной завершёностью стилевой манеры.

Проф. Н. СТЕПАНОВ.

★

Книга о певце Адыгеи

Старые народные певцы Кавказа! Сулейман Стальский и Гамзат Цадаса в Дагестане, Бекмурза Пачев в Кабарде, Цуг Теучеж в Адыгее... Братья по духу, по жизненной судьбе, они были и совестью народа и его воителями. Все они добрую (а то и большую) половину своей жизни прожили в прошлом веке. Все они вышли из глубочайших недр трудового люда и были певцами в прямом смысле этого слова — слагателями изустной народной поэзии. После Октября они по праву встали у истоков рождения советской поэзии. Зачастую неграмотные, подобно Стальскому или Теучежу, но мудрые, они, словно за руки взяв, соединили древнюю устную поэзию своих национальностей с молодой, письменной, советской. У них не только общая судьба, но во многом и общая тема...

Удивительная деятельность народных певцов ещё не нашла у нас своего глубокого исследователя. Правда, появилась любовно написанная книга К. Зелинского о Джамбуле. Но до сих пор нет достойного, полного труда о Сулеймане Стальском, о Цадасе... И тем отраднее отметить, что дело всё же делается. О жизни и творчестве Бекмурзы Пачева рассказал в своём очерке-портрете «Чудесный самородок» кабардинский прозаик и литературовед Хачим Теунов, автор появившегося совсем недавно серьёзного исследования «Литература и писатели Кабарды». Монографию о

Цуге Теучеже написал адыгейский критик Д. Костанов.

Творчество Теучежа Д. Костанов изучает много лет. В своё время он постоянно общался с певцом, был близок к его работе. В очерке чувствуется свободное владение материалом и то доброе пристрастие к предмету исследования, без которого немыслима творческая работа критика. Книга, о которой идёт речь, — второе издание очерка, и, сравнивая её с первым, видишь рост Д. Костанова, как литературоведа. Она не просто обширнее, детальнее. Яснее мысль, глубже ряд теоретических положений, тоньше оценки, выводы.

Основная удача книги — живость характеристики поэта. Д. Костанов, нередко прибегая и к средствам художественного письма, воссоздаёт облик старого певца, плоть от плоти народа, связанного с народом во всём — от будничных житейских забот до великих дерзаний, битв и побед. Облик благородный и типический! Убедительно и не декларативно поэтому раскрывается и демократическая устремлённость творчества Теучежа и воспитательное воздействие его слова.

Жизнь Теучежа, его творческий путь, его поэтический рост прослежены на фоне исторических судеб адыгейского народа, на фоне того нового, что принесла адыгам революция. Поэт как воитель за идеи партии и благо народа, как живое воплощение морали и этики народных масс — таким предстаёт перед читателем Цуг Теучеж.

Д. Костанов. Цуг Теучеж. Критико-биографический очерк. Редактор А. Кожемякин. 120 стр. Майкоп. 1955.

На ряде убедительных примеров раскрывает Д. Костанов качественное тематическое и жанровое отличие ранних песен Цуга от его произведений последних лет, в частности от таких новаторских работ, как историческая поэма «Восстание бжедугов».

Пишет Д. Костанов также и о тематическом и жанровом своеобразии адыгейского фольклора, правильно усматривая в нём ту основу, на которой и должен строиться рассказ о художественных особенностях поэзии Теучежа, о его языке, о форме его стиха, о его метафорах. К сожалению, как раз этот, столь насыщенный необходимыми в критической работе рассказ мало удался автору. Нет в монографии ясного определения основ адыгейского стиха. Нет живых примеров языкового, ритмического своеобразия поэзии Цуга, его новаторства. Обо всём этом говорится, но слишком уж бегло и перечислительно. (Так, подробно анализируя идеи, события, характеры поэм «Восстание бжедугов» и «Мафоко Урысбий», Д. Костанов в первом случае ограничивается замечанием: «Язык поэмы прост и ясен и, вместе с тем, насыщен образностью», во втором — «Язык очень яркий и образный».) Это тем более обидно, что у автора есть огромное преимущество: он может судить не по подстрочнику или художественному переводу, как это нередко бывает с нашими критиками, пишущими о национальных литературах, а по оригиналу, с полным знанием

особенностей и красот его поэтического языка.

Если Д. Костанов много внимания уделил анализу взаимосвязи поэта с народом, то значительно меньше, чем следовало бы, он говорит о литературном процессе. Основные этапы становления и роста адыгейской литературы лишь намечены пунктиром. Ни влияние Теучежа на молодую литературу Адыгеи, ни связь его творчества с творчеством его современников и последующего поколения поэтов с достаточной убедительностью не раскрыты.

Автор книги мог бы значительно обогатить свой очерк, привлекая для анализа и сравнения также факты из жизни братских литератур Кавказа и уж непременно из столь близкой, родственной по языку кабардинской литературы. А это не сделано, к сожалению, даже там, где такие сопоставления сами собой напрашиваются (например, исторические поэмы Теучежа и исторический роман в стихах кабардинского поэта Али Шогенцукова «Камбот и Ляца»).

И всё же работа Д. Костанова, пусть не «всеобъемлющая», не лишённая слабостей и пробелов, радует. Она удалась в основном — в воссоздании живого облика народного певца.

Вслед за развитием художественной прозы у народов Кавказа формируется и родное литературоведение. Факт отрядный и знаменательный.

Н. КАПИЕВА.

★

Трагедия социального одиночества

Роже Вайян принадлежит к числу тех французских писателей, которые глубоко и смело показывают в своих произведениях жизнь современной Франции. Рассматривая интересный и сложный творческий путь Роже Вайяна, мы как бы находим своеобразный ответ на статью Горького «Равнодушие не должно иметь места» (1932) — статью, обращённую к западноевропейским писателям. Горький в этой статье, осуждая равнодушие европейской буржуазной литературы к жизни трудового человечества, говорил о том, что «это равнодушие не должно иметь места

в эпоху, когда так грандиозно разыгрывается в Европе трагедия разрушения вековых её социальных устоев, а в Союзе Советов — мощно растёт эпос творчества новых форм жизни». Горький ставил перед европейскими писателями целый ряд важных и сложных тем. Горький говорил о том, что если европейская буржуазная литература ещё не может показать рабочего героя, то она вполне может показать отрицательных «героев» буржуазного мира: банкира, взорванного кризисом капитализма; интеллигента, который, сознавая неизбежность столкновения капитала и труда, продолжает, насилуя свою совесть и разум, служить больному разбойнику (капиталисту); сластолюбивую женщину, анархизированную бесстыдством буржуазной жизни и,

Roger Vailland. 325 000 francs. Roman. P. 263. Correa Buchet/Chastée. Paris. 1955 (Роже Вайян. 325 000 франков. Роман. 263 стр. Париж. 1955).

в свою очередь, анархизирующую всё вокруг неё. «Жизнь,— говорил Горький,— непрерывно создаёт множество новых тем для трагических романов и для больших драм и трагикомедий, жизнь требует нового Бальзака, но приходит Марсель Пруст и вполголоса рассказывает длиннейший, скучный сон человека без плоти и крови, человека, который живёт вне действительности».

Роже Вайян, продолжая лучшие традиции французской реалистической литературы, традиции Бальзака и Стендаля, осудил и в своих эстетических воззрениях и в своей художественной практике творческий метод Марселя Пруста. Его герой живёт в реальной действительности, в самых сложных и интересных соприкосновениях с ней.

Однако Роже Вайян в своих более поздних произведениях — не только обличитель. Он не только показывает тех отрицательных героев, о которых писал Горький. Пришедший своим путём к коммунизму, Вайян ставит своей задачей показ положительных героев современной послевоенной Франции, героев-борцов. Совсем недавно в статье, раскрывающей творческую лабораторию писателя, Вайян рассказал о том, как он изучал рабочий мир Франции для того, чтобы написать свой роман «Пьеретта Амабль», изучал не как случайный турист, а как писатель-коммунист, органически связавший свою судьбу с судьбой французского рабочего класса и его партии, сам участвуя в жизни и борьбе народа.

Выступая на Втором Всесоюзном съезде советских писателей, Луи Арагон утверждал, что «социалистический реализм возможен и в капиталистической стране, если только художник, писатель воспринял идеологию восходящего рабочего класса, умеет, видя перспективу социализма, создавать реалистическое искусство, основанное на историческом, научном познании своего собственного народа, своей нации».

Роже Вайян является одним из тех писателей, о которых говорил Арагон. Вайян — реалист. Он резко борется против позы, против декламации, против показа жизни, приукрашенной и обеднённой, против натуралистической фиксации случайно взятых фактов, без углубления в самую сущность действительности. Реальную действительность он показывает в движении, в конфликтах, в столкновениях. Характеры Вайяна типичны и в то же время не абстрактны, даны со всеми присущими им индивидуаль-

ными чертами и в портрете и в речи. Язык Вайяна скуп, лаконичен. Однако он рассказывает о многом и самом существенном. Иногда одна выразительная, точная деталь заменяет у писателя многословную характеристику. Своеобразие и талант Вайяна признают и критики буржуазной прессы. «Как Стендаль, Вайян захватывает и волнует своего читателя», — пишет в «Монд» Эмиль Анрио.

Близость стиля Вайяна к стилю Стендаля несомненна. Она ощущается и в романе «Пьеретта Амабль», романе, высококачественном по своему существу, без малейшей примеси грубой, оголённой тенденциозности. Яркие бытовые детали никогда не создают у Вайяна ощущения приращенности, приземлённости, бытовщины в описаниях. Вайян умеет раскрыть большое в малом. Он показывает жизнь партии в конкретных поступках рядовых коммунистов, рядовых героев; жизнь низовой партийной ячейки Вайян рисует без малейшего налёта лакировки и декламации, в то же время не засоряя своих страниц натуралистическими деталями.

Ещё более остро, но в ином ракурсе ставится Вайяном вопрос об условиях человеческого существования в современной Франции в последнем его романе «325 000 франков».

В новой книге Вайяна нет героев-борцов. Основной персонаж романа, Бернар Бюзар, молодой рабочий, велосипедист, спортсмен, всю свою недюжинную волю, всю свою силу и выдержку концентрирует не на участии в борьбе рабочего класса, а на том, чтобы пробиться самому, чтобы найти своё маленькое место под солнцем. Сюжет романа внешне не сложен. Бюзар любит молодую работницу-белошвейку Мари-Жанну Лемерсье. Он мечтает жениться на ней. Но для того, чтобы создать семью, семейный уют, необходимы деньги. Бюзар хочет купить ресторан, стать маленьким предпринимателем и на этой основе построить своё семейное счастье. Для покупки ресторана не хватает трёхсот двадцати пяти тысяч франков. И вот Бюзар поступает на предприятие, изготовляющее изделия из пластмассы, соглашается на самые кабальные условия, чтобы быстрее заработать эти недостающие франки. Вместе со своим другом он выполняет работу троих рабочих. Сто восемьдесят семь дней (всё точно рассчитано у него) одуряющей, отупляющей, автоматической работы.

Победа близка. Осталось пятьдесят дней, тридцать дней, десять дней, два дня... В одну из последних смен не выдержавший усталости Бюзар в полусонном состоянии не соблюдает необходимых правил безопасности. Авария. Машина отгрызает руку рабочего.

В новой книге Вайяна нет развёрнутого показа борьбы классов, и, однако, мы всё время чувствуем эту борьбу в трагической судьбе Бернара Бюзара. Во имя личного маленького благополучия он отрывается от массы, от коллектива. Он борется за своё счастье в одиночку. С предельной остротой и лаконизмом показывает Вайян «автоматизацию» человека. Здесь нет сложной символики романов Эмиля Золя, нет открытой чёрной пасти шахты Ворё («Жерминаль»), которая проглатывает рабочих. И в то же время что-то сродни этой шахте и анимизированным машинам Эмиля Золя в том, как показывает Вайян подчинение человека машине. Машина казалась Бюзару сначала добродушным животным, которое покупало ему свободу и любовь. Постепенно это добродушное животное подчиняет себе Бюзара и в конце концов губит его. Человек стачовится рабом машины. Машина засасывает его. Взаимоотношения между человеком и машиной напоминают яркие кадры из фильма Чаплина «Новые времена», хотя здесь и нет чаплинского гротеска.

Очень остро показывает Вайян конфликт между личным и общественным. Во имя своей маленькой цели Бюзар хочет поставить себя вне классовой борьбы, вне политики. Он говорит секретарю профессиональной организации коммунисту Шателю: «Я хочу жить сегодня». Он обрывает Шателю, пытающегося раскрыть ему глаза на сущность той борьбы, которая происходит на фабрике: «Зачем громкие слова, вы не на собрании». На фабрике, где работает Бюзар, назревает забастовка. Коммунисты борются за повышение заработной платы. Хозяйин фабрики Жюль Морель вступает в соглашение с американцами. Но Бюзара это не интересует. Забастовка назревает, когда до окончания его работы осталось всего тринадцать дней. И если бы забастовка состоялась, он стал бы штрейкбрехером, он всё равно боролся бы за свои франки и оставался на работе. Такова трагическая логика его поведения. Вайян с большой убедительностью показывает это одиночество молодого рабочего, отгораживающего себя от политики, ничего не чи-

тающего, ничем не интересующегося, кроме спорта и своей любви. Вайян пишет о том, как Бюзар старался быть в стороне от жизни своего города, где когда-то боролись за Сакко и Ванцетти, откуда шли защищать Испанию, где стены были покрыты надписями против генерала Риджуэя.

Однако, как говорит Шателю, одному сейчас невозможно сделать свою революцию. Мы видим в романе, как постепенно выхолащиваются у Бюзара человеческие чувства, как выхолащивается сама любовь. Мы являемся свидетелями страшного внутреннего опустошения живого, сильного, энергичного, жизнерадостного человека.

Видя показанные Вайяном моральную опустошённость и поражение Бюзара, мы ощущаем железную закономерность социальных условий. Нет, убедительно говорит роман всей системой своих образов, всей логикой изображённых в нём событий, в одиночку не добудешь счастья. Жизнь, счастье, расцвет человеческой личности возможны только в общем строю, только в общей борьбе.

Последняя глава романа показывает нам Бюзара уже в новой обстановке. Потеряна рука. Но ресторан (хотя и не тот, который был намечен раньше) куплен. Для покупки ресторана понадобились новые средства, их добыла Мари-Жанна. Бюзар, не зная о том, что эти деньги пожертвовал его напарник Брессан, ревнует свою жену, думая, что она во имя этих денег продалась его хозяйну Морелю. Бюзар совсем перестаёт работать, пьёт, играет в карты, грубо обращается и с женой и с посетителями ресторана, падает на дно. Его засасывает тряпина, из которой, кажется, уже нет выхода. В конце концов он продаёт ресторан, поступает на завод, живёт на пенсию и небольшую зарплату.

«Живём неплохо», — как говорит его тёща мадам Лемерсье. Но мы, читатели романа, вместе с Шателем и его друзьями знаем, что это не так, знаем, чего стоит эта тяжёлая, неудавшаяся жизнь одиночки Бюзара, где подавлены все мысли, где растоптаны все чувства, где человек остался за пределами своего класса. Интересную роль в романе играет образ самого автора и его жены. Вводя себя в роман, Роже Вайян продолжает ту же линию, что и в «Пьеретте Амабль». И здесь автор не идентичен своему «я» в романе. Он один из персонажей, один из друзей Шателю. Он нигде не выступает как резонёр и ментор. Его глубоко

волнуют судьбы главных действующих лиц, его мысли, его слова являются выражением чувств и переживаний глубокого, чуткого человека, широко осмысливающего всё происходящее.

Член ЦК Французской коммунистической партии, писатель и философ Роже Гароди, анализируя работу прогрессивных писателей Франции, говорил: «Этим писателям стало ясно, что правильное отображение действительности в художественном произведении возможно только с позиции литератора, сознающего свою ответственность за победу определённых исторических сил.

Это значит, что натуралистическое представление о зеркале, которое писатель безучастно наводит на окружающее на протяжении своего пути, полностью опровергнуто. Писатель сам выбирает участок, на который он наводит своё зеркало, и выбирает его, руководствуясь определённым освещением». Роже Вайян в своём новом романе выбрал нелёгкий участок. Раскрыв трагедию Бернара Бюзара, он показал всю порочность и трагизм избранного его героем пути социального одиночества.

Ал. ИСБАХ.

★

Политика и наука

Поэзия борьбы

Нет лучшего учебника жизни для юных строителей коммунизма, чем история нашей партии, история деятельности первого поколения большевиков, соратников и друзей великого Ленина. Тем не менее за последнее время почти не выходило у нас книг о подвиге тех, кто вместе с Владимиром Ильичём создавал партию, в борьбе с бесчисленными врагами отстаивал идейную чистоту марксизма. Поэтому особенно нужно приветствовать выход в свет воспоминаний старейшего коммуниста Михаила Степановича Ольминского (М. Александрова). Книга «В тюрьме» принадлежит к тем ярким человеческим документам, мимо которых нельзя пройти равнодушно.

Вся жизнь Ольминского неразрывно связана с историей нашей революции, советского общества, большевистской печати. Ещё студентом начал Ольминский свою революционную деятельность в рядах народовольцев. Но вскоре молодой подпольщик порывает с ними. Возглавляемая Ольминским группа «Народной воли» требует сближения с ленинским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса».

В 1894 году Ольминского арестовывают за революционную деятельность, заключают на три года в тюрьму, а затем высылают на поселение в Якутию. Отбыв срок заключения, Ольминский уехал за границу к Ленину.

Надвигалась революционная буря 1905 го-

да, а партия по вине раскольнической деятельности меньшевиков не была сцементирована, раздиралась разными спорами. Ольминскому не понадобилось много времени, чтобы разобраться в существе разногласий на II съезде. И вот одна за другой, вызывая неистовую ярость меньшевиков, выходят подписанные псевдонимом «Галёрка» страстные статьи и брошюры Ольминского. Он защищает ленинскую политику, тактику большинства. Созданная Лениным газета «Вперёд» стала трибуной, с которой не раз раздавался гневный голос «Галёрки», клеймившего отщепенцев, оппортунистов всех мастей и рангов.

На всех важнейших поворотах величественного пути к Октябрю, работая членом редколлегий «Пролетария», «Новой жизни», «Вестника жизни», активно сотрудничая в газетах «Звезда» и «Правда», в журнале «Просвещение», или находясь на передовой линии культурного строительства после 1917 года, Ольминский шёл рядом с Лениным как вернейший его соратник, как солдат в бою, нанося и принимая удары, отдавая весь свой талант, всю страсть своего сердца священному делу партии.

Книга «В тюрьме» — волнующий рассказ революционера о первом жестоком испытании, которое выпало на его долю. Царские тюремщики прежде всего хотели сломить волю заключённых. Этому служило всё — мрачные одиночки и лишение всякой осмысленной работы, мелочные, гнусные придирки, издевательские допросы, наглые провокации. Нужно было иметь большое мужество, волю, запас нерастраченных думев-

М. Ольминский (М. Александров). В тюрьме (1896—1898). Редактор З. Конозалова. 168 стр. «Молодая гвардия». М. 1956.

ных сил, чтобы не сойти с ума в каменном мешке, не сдаться, выстоять до конца.

С гневом вспоминает Ольминский об отвратительной охоте охранников за человеческими душами. В день коронации царя была устроена провокация: заключённым предлагалось подать прошение «на высочайшее имя» о сокращении сроков заключения. И, стиснув зубы от огромного душевного напряжения, узник отказывается от милости, которую можно купить только ценой предательства: «...тогда стало ясно, что прошение это должно служить департаменту полиции для отделения раскаивающихся и случайных от нераскаянных и убеждённых. Таким образом, подача прошения была бы актом предательства по отношению к товарищам». С презрением думает Ольминский об отщепенцах, о тех, «которые смотрели на дело по-обывательски: они до конца не могли понять, как это человек отказывается от сокращения срока из-за пустой, как им казалось, формальности». Как много говорят эти слова о кристально-чистом духовном облике, о верности ленинизму друзей и соратников Ленин!

Каждый день, каждый час пребывания в тюрьме был наполнен непрекращающейся борьбой подпольщика с могущественной полицейской машиной, в которой, как думали её руководители, было предусмотрено всё и которая ломалась всякий раз, как только сталкивалась со сталью большевистского характера.

Едва переступив порог тюрьмы, Ольминский заставляет жандармов разговаривать с собой на вы. Первая, но важная победа. И так день за днём: сегодня удалось нарушить тюремный распорядок, завтра — получить передачу с запрещёнными уставами книгами, послезавтра — связаться с товарищем по заключению.

«Тюрьма хочет задушить меня, — писал Ольминский, — так нет же! Назло тюремщикам... Я насмеюсь над ними, я уйду от них. Моей насмешкой будет мир души моей, взятый с бою. Я уйду только к окну, но буду далеко от вас. Смотрите: даже тюремный двор шепчет сегодня о жизни, любви и молодости...

А будущее, где ты? Берег за дальним туманом. И всё-таки тюрьма живёт только будущим, только мыслью о воле».

Не омертвела светлая и беспокойная

душа подпольщика. Она, как и на воле, распахивалась перед всем прекрасным, перед каждым дыханием жизни, проникающим сквозь толщу стен казематов. И блеск белых ночей над Невой, и первая весенняя капель, и стая облаков, пролетевшая высоко в небе, и случайно попавший в камеру цветок гиацинта, и голуби, берущие хлеб из рук заключённых, и страстные строки Пушкина, оживающие в памяти, — всё находило живой отклик в сердце узника. Только люди, так горячо, так могуче любящие жизнь, могут беззаветно бороться за её преобразование.

Скромно, в суровых тонах и красках рассказывает Ольминский о тюремных буднях, о том, как, незаметно пристроившись к столу в камере, он делает наброски «Шедрина словаря». Ему не приходит и мысль о том, что он совершает нечто не совсем обыкновенное. В его представлении это обычная норма поведения революционера. И в этой скромности, соединённой с подлинным героизмом, так много от облика самого Владимира Ильича, от его стиля жизни и работы.

«А что теперь поётся на воле? — думает Ольминский в камере. — Сказалось ли лучшее время в новых песнях? Вошла ли в свежую песню неиссякаемая вера, чтобы сердце от неё замирало, чтобы жажда света, воли и подвигов охватывала всего человека? Грянь громче, свободная песня! Долети к нам через каменную ограду, разбей железные решётки.

Придёт и наше время: и перед нами раскроются цепкие двери тюрьмы. Вокруг будут люди. Человеческое слово привет перестанет быть преступлением».

Идя на поселение, Ольминский думал о переменах в политической жизни, о новых течениях в общественной борьбе. Лишь одно беспокоило его: не отстал ли он, скоро ли сумеет разобраться в событиях и снова занять место в строю? Опасения были напрасными: Ольминский вышел из тюрьмы ещё более закалённым воином революции.

Верности делу партии, стойкости и мужеству в борьбе учил нашу молодёжь страстная книга Ольминского. Будут жить в веках подвиги ленинской гвардии, всегда будут дороги советским людям имена тех, кто первым поднялся в атаку на крепость капитализма.

А. ЕЛКИН.

«О разнообразии мира»

В конце XIII века в генуэзской тюрьме сидел в плену венецианец путешественник Марко Поло. С его слов пизанец Рустичано — по всей вероятности автор нескольких рыцарских романов — записал описанное путешествие и назвал книгу «О разнообразии мира».

Книга эта, вероятно по совету Марко Поло, была специально оговорена как правдивая. Рустичано, которого мы бы сейчас назвали соавтором книги, написал в первой главе: «А чтобы книга наша была правдива, истинна, безо всякой лжи, о виденном станет говорить в ней как о виденном, а слышанное расскажет, как слышанное».

В книге отделено то, что видел сам путешественник, от того, что он узнал, расспросив сведущих лиц.

Книга начинается прологом, содержащим девятнадцать глав; в прологе рассказывает историю путешествия, дальше идёт описание стран, которые видал венецианец.

В конце книги — описание битв, напоминающее рыцарские романы. Это самое интересное в книге и, вероятно, это то, что внёс Рустичано.

Книга «О разнообразии мира» замечательна тем, что в ней преодолевается много из того, что тогда считалось истиной. Марко Поло — сам человек не книжный — рассказал правду, потому что ему легче было преодолеть книжные предрассудки: он не был подавлен книжной учёностью.

Видал Марко Поло Крым, русские степи, Среднюю Азию, долго был в Китае, посетил Тибет и потом на китайских кораблях, сопровождая принцесс, посланных в жёны к владыке Персии, объехал в трудном путешествии вокруг южного берега Азии, посетив, вероятно, и восточный берег Африки.

Марко Поло, описывая своё путешествие, определял географическое положение мест по астрономическим данным, что до него в Европе делалось редко. Так, описывая царство Самара, он пишет: «Полярная звезда здесь совсем не видна, да северозападная ни мало, ни много не видна». В другом месте, описывая город Комари, он указывает: «...Полярной звезды тут совсем не видно; начиная от острова Явы и досюда, мы её не видели, а как выйдешь

отсюда в море на тридцать миль, то увидишь её; поднимается она над водою на локоть». И дальше, в описании царства Гозурат, замечает: «Царство это на западе. Полярная звезда здесь видна ещё лучше, является она как бы на высоте шести локтей».

В это время в Китае были астрономические обсерватории, и, вероятно, китайской культуре мы обязаны тем, что Марко Поло сумел так подтвердить реальность своего путешествия.

Венецианец усвоил элементы разных культур, но больше всего он сделал для приближения Европы к великой и древней культуре Китая.

Китай в это время был покорён монголами. Монголы основали новую династию, которую назвали Юань, что значит «начало», но слово это было по бессознательной иронии взято из книги китайской летописи, а летопись эта называлась И-Цзин — «Книга перемен».

На русском языке давно существует превосходный перевод книги Марко Поло, сделанный со старофранцузского подлинника И. П. Минаевым и в своё время проредактированный замечательным русским востоковедом В. В. Бартольдом.

Первое советское издание Марко Поло было осуществлено молодым специалистом по Востоку К. И. Куниным. Книга вышла в 1940 году. Сейчас перевод И. П. Минаева выходит под редакцией И. П. Магидовича.

И. П. Магидович взял кунинские примечания к книге и прибавил свыше ста пятидесяти своих примечаний, по большей части представляющих собой пересказ примечаний Г. Юла, которому принадлежит классическое издание Марко Поло, но иногда и вносящих новые сведения.

Однако при оценке текста Марко Поло в книге Юла И. П. Магидович, ссылаясь на В. В. Ханькова, называет текст Юла эклектическим. Действительно, Генри Юл дал в своём издании сводный текст.

К сожалению, по пути Юла пошёл и И. П. Магидович, взяв из издания К. И. Кунина заключительную главу, которой не переводил И. П. Минаев, и тем самым нарушив принцип своего издания.

Нужно сказать прямо, что работа И. П. Магидовича не носит признаков ни самостоятельности, ни отчётливости установок.

Книга Марко Поло. Перевод старофранцузского текста И. П. Минаева. Редакция и вступительная статья И. П. Магидовича. 376 стр. Географгиз. М. 1955.

Материал К. И. Кунина использован очень широко и неотчётливо. Например, на странице 37 комментатор пишет: «Достоинством позднейшего издания 1940 года являются некоторые дополнения, сделанные К. И. Куниным».

На следующей странице идёт оговорка: «Не все, однако, разночтения, приведённые К. И. Куниным, воспроизведены в настоящем издании».

Так неотчётливо говорить о чужой, частично использованной работе нельзя.

Константин Кунин во время Великой Отечественной войны ушёл в армию и был убит в разведке, Жена его тоже убита на фронте. Редактор нового издания обязан был упомянуть о том, что Кунин убит на фронте. В таких случаях фамилию человека помещают в чёрной рамке и говорят о нём хотя бы несколько слов. Не знать о смерти Кунина издательство не могло, потому что имя Константина Кунина находится на мемориальной доске Союза советских писателей.

Труд Кунина, воспроизведённый менее анонимно, помог бы избавиться от слепого следования Юлу, который умел видеть факты, но не видел Марко Поло как человека.

Следование Юлу в новом издании часто носит характер не критический. Например, на странице 44 в качестве материала для изображения Марко Поло в генуэзской тюрьме взят недокументированный рисунок из издания Г. Юла. То же мы видим на страницах 175, 237 и других.

Совершенно точно следует Юлу Магидович в изображении маршрутов Поло.

Карта дана с оговоркой: «Вероятные маршруты Поло», но карты, помещённые в книге, вообще мало удовлетворительны: прежде всего малы и бедны, особенно для издания Географгиза. В этих картах маршрутами утверждается, что Марко Поло не был на берегу Южной Африки.

Между тем весь тон рассказа Марко Поло — тон очевидца. Приведу цитаты, оговорив, что Марко Поло называет берег островом:

«Овцы и бараны тут все одинаковые и одной масти, все белые, а голова чёрная, и на всём острове нет иных баранов и овец. Водится тут много жирафов; красивы они с виду, вот какие: тело, знаете, коротенькое и сзади приземистое, потому что задние

ноги коротенькие, а передние и шея длинные; а голова от земли высоко, шага на три; голова маленькая; вреда никому не делают; масть рыжая с белыми полосками. С виду очень красивы».

Это описание явно дано человеком, который видал жирафов. Что же касается масти овец, то на восточном берегу Африки, как говорил мне Кунин, и сейчас овцы по масти белые с чёрными головами.

Фраза И. Магидовича: «Марко Поло рассказывает также об африканских странах, прилегающих к Индийскому океану, которых он, по всей видимости, не посещал», слишком категорична.

В книге «Марко Поло» я делал предположения, что к африканскому берегу корабли Марко Поло могли быть унесены экваториальным течением.

Марко Поло пишет: «По правде сказать, когда они сели на суда, не считая судовщиков, было их шестьсот человек: перемёрло много; всего только восемнадцать человек осталось в живых».

Значит, из состава посольства в живых осталась одна тридцатая. Вероятно, команда тоже пострадала и с кораблями справиться было трудно.

Надо определять маршрут, основанный на анализе текста, а не только на книге Юла, и не придавая мнениям английского учёного той категоричности, которой сам он часто избегал.

Недостаточно комментировано описание Венеции. Может быть, это объясняется тем, что материал был труден для редактора. Он пишет в примечании на странице 287: «...для объяснения некоторых мест мы вследствие незнания итальянского языка пользовались другими переводами, особенно изданием Юла».

Это указание самокритично, но оно не ходит в некотором противоречии с тем, что на странице 345, так же как и на следующей, есть ссылки на итальянские источники. Книжки эти, к сожалению, очевидно по причинам, указанным самим составителем, не использованы, и это тоже усилило связанность И. Магидовича комментариями Г. Юла.

Тем не менее опрятно изданная книга, воспроизводящая превосходный перевод Мицаева, интересна и полезна, хотя работа комментатора неотчётлива, не доведена до конца и не решена в своём принципе.

Наименее удовлетворяет в книге вступительная статья, которая, как мы уже говорили, страдает объективизмом, носит эклектический характер.

Книга, вероятно, скоро разойдётся; потребуется новое издание. Исходя из работ

И. П. Минаева, В. В. Бартольда, используя работу К. И. Кунина, хорошо было бы предпринять новое научное издание, к комментированию которого были бы привлечены китайские и индийские учёные.

В. ШКЛОВСКИЙ.

★

Первый русский букварь

Книги имеют свою судьбу... Невольно вспоминаешь это старинное изречение, когда знакомишься с удивительной историей первого русского букваря, создателем которого был первопечатник Иван Фёдоров.

Москвич по происхождению (он сам называл себя «москвитинном»), Иван Фёдоров становится известным с 1564 года, когда выпускает первую московскую книгу «с выходом», то есть с обозначением места и времени её печати. «Апостол» — это подлинный шедевр печатного искусства XVI века. Книга поражает чётким шрифтом, красивыми заставками в виде листьев и кедровых шишек, фигурными инициалами, наконец, отсутствием опечаток и других типографских дефектов. В то время Иван Фёдоров носил ещё скромное имя дьякона церкви Николы Гостунского, одного из тогдашних кремлёвских соборов.

Проходит всего несколько лет, и Иван Фёдоров оказывается за пределами России, в Литовском великом княжестве. Его сопровождает Пётр Мстиславец, вместе с которым Фёдоров печатал в Москве «Апостол» и «Часословец».

Тут начинается скитальческая жизнь первопечатников. Вначале они живут в Заблудове, вотчине литовского гетмана

Ivan Fedorov's Primer of 1574. Facsimile edition, with commentary by Roman Jakobson and appendix by William A. Jackson. Published under the auspices of the Harvard College Library and the Department of Slavic Languages and Literatures of Harvard University. Cambridge, Massachusetts. 1955 (Букварь Ивана Фёдорова 1574 года. Факсимиле издания с комментариями Романа Якобсона и приложением, составленным Вильямом А. Джексоном. Опубликовано под наблюдением библиотеки Гарвардского колледжа и отделения славянских языков и литературы Гарвардского университета. Кембридж. Массачусетс. 1955).

Гр. Ходкевича, и занимаются своим любимым делом. Но Пётр Мстиславец вскоре покидает своего товарища и уезжает в Вильну. Да и сам Ходкевич быстро охладевает к печатанию книг. Впрочем, магнат хочет показать себя великодушным и предлагает московскому печатнику земельный участок. Гетман, пишет Иван Фёдоров, «повелед нам прекратить свою работу и художество рук наших ни во что положить, а в деревне проводить жизнь этого мира, занимаясь земледелием». Но не таков был «друкарь, москвитин», не для этого он приехал в Заблудово.

«Неудобно мне было, работая плугом или сеянием семян, сокращать время своей жизни,— пишет Фёдоров,— но имею я, вместо плуга, мастерство и принадлежности для работы. Вместо хлебных семян должен я посеять духовные семена по вселенной, и всем раздавать эту духовную пищу»¹. Такими трогательными словами великий русский гуманист XVI века очертил свои обязанности, свой трудовой подвиг.

Покинув Заблудово, печатник вместе со своим сыном Иваном переселился во Львов. Это происходило во время страшной эпидемии чумы, опустошавшей Белоруссию и Украину. Львов тогда был одним из богатейших и культурнейших городов Речи Посполитой, со значительным и разноплеменным населением, среди которого преобладали украинцы. Здесь в 1574 году Фёдоров напечатал «Апостол», явившийся почти повторением московского издания 1564 года. Этим было положено начало украинскому книгопечатанию.

Львовский «Апостол» считался до сих пор единственной книгой, напечатанной Иваном Фёдоровым во Львове. Правда, в литературе проскальзывали краткие и неясные указания на то, что Иван Фёдоров напечатал во Львове и другую книгу. Но только в настоящее время мы можем

¹ Даём в свободном переводе.

с достаточной полнотой судить об этом типографском произведении московского первопечатника.

Единственный пока известный экземпляр этой книги оказался собственностью Гарвардского университета в США.

Книга «Ivan Fedorov's Primer of 1574» («Букварь Ивана Фёдорова 1574 года») состоит из факсимиле самого издания, комментария, написанного Р. Якобсоном, и приложения, составленного В. А. Джексоном.

Факсимильное воспроизведение букваря впервые вводит в научный оборот памятник, крайне интересный и замечательный. Это большой и ценный вклад в историческую науку, обогащающий наши познания в области истории культуры СССР и мировой истории вообще.

Публикаторам необходимо было ответить на некоторые вопросы в неблагоприятных условиях — в отрыве от тех старопечатных и рукописных богатств, без которых полный комментарий русских изданий XVI—XVII веков сделать весьма трудно.

Дадим теперь представление о самом букваре. Перед нами книга небольшого формата на 80 страницах, в переплёте, обтянутом кожей. Она напечатана шрифтом «Апостола» 1574 года и украшена такими же заставками и концовками. В конце текста (стр. 79) помещены герб города Львова и герб первопечатника Ивана Фёдорова с буквами по бокам «И, О, А, Н», обозначающими «Иоан». Под гербами напечатаны слова: «выдруковано во Львове року 1574», то есть «напечатано во Львове в 1574 году».

Книга начинается славянской азбукой, от буквы «а» до «ижицы», причём в этой азбуке для обозначения букв «з» и «у» имеется по два знака, для буквы «о» — даже четыре, так как одна и та же буква изображалась в тогдашней славянской письменности по-разному. Азбука в книге повторена в обратном порядке — от «ижицы» до «а», и ещё в третий раз от «а» до «ижицы», но в виде восьми вертикальных столбцов. Это сделано для того, чтобы учащийся мог лучше запомнить отдельные буквы. Далее следуют различные сочетания слогов — ба, ва, га и т. д.

Первая часть книги, собственно азбука, заканчивается концовкой, а со страницы 9 под красивой заставкой начинается продолжение под заглавием: «А сия азбука от

книги осмочастныя, сиречь грамматикии». Тут под отдельными буквами напечатаны слова, имеющие значение уже не просто для освоения азбуки, а приспособленные для осмысленного чтения славянских текстов. Это уже не азбука, а своего рода грамматика, дающая понятие о страдательном залоге и повелительном наклонении.

На странице 23 под заставкой дан новый раздел книги: «По орфографии». В нём помещены сокращённые слова, что отмечено особыми значками — «титлами», стоящими над словами (например, писали «нбо» под титлом, следовало читать «небо» и т. д.).

Далее (стр. 45—47) под каждой буквой алфавита мы находим изречения, начинающиеся с этой буквы («аз есмь всему миру свет» и пр.). На странице 49 под новой заставкой помещены молитвы, притчи и выдержки из посланий апостолов.

Как мы видим, львовская книга Ивана Фёдорова имела практические цели: это была первая книга для обучения славянской письменности, включающая азбуку и элементы грамматики, отчасти книга для первоначального чтения. Так её характеризует и сам печатник, обращаясь к «честному христианскому русскому народу греческого закона», то есть к православным русским, белорусам и украинцам. Книга была составлена «ради скорого младенческаго научения».

Иван Фёдоров пишет, что он взял для своей книги кое-что из книг апостолов и учителей церкви, а также из так называемой грамматики Иоанна Дамаскина и «въмале съкратив сложих». Если верить слову «сложих» (сложил), то книга является не только плодом печатного мастерства, но и сложена Иваном Фёдоровым. Его нельзя назвать автором букваря, но с полным правом — составителем.

Великая душа русского первопечатника ярко сказалась в своеобразном разделе, который приложен к грамматике в виде молитв и поучений. Конечно, Иван Фёдоров был сыном своего времени и мыслил воспитателя детей в виде строгого отца, карающего дурные поступки своих чад. Поэтому он вводит в букварь поучения к отцам и учителям в духе Домостроя, с призывами наказывать ребят за проступки «жезлом» — прутом, палкой: «аще ты в юности накажеша его, а он упокоит тебе

на старость твою». Но, в отличие от Домостроя, первопечатник тут же вводит в текст и другое поучение, защищающее детей от родительского произвола. «Отцы, не раздражайте чад своих», — обращается он с призывом к родителям. Отцы обязаны воспитывать своих детей «в милости, в благоразумии, в смиренномудрии, в кротости, в долготерпении, приемлюще друг друга и прощение дарующе»:

Своеобразно подобраны и другие краткие поучения, помещённые в конце книги. Конечно, материалом для этих поучений послужили послания апостолов и различные учительные «слова» в сборниках церковного характера, особенно в так называемых «Златоустах» с их пёстрым содержанием. Но Иван Фёдоров выписывает из них только то, что клонится к защите бедных и обиженных людей. «Не сотвори насилия убогому, понеже убог есть» — вот тот постоянный призыв, который звучит лейтмотивом в поучениях букваря. «Не дотыкайся межей чужих и на поле сироты не вступай», «Утешайте малодушныя, носите немощныя», — настойчиво повторяется в кратких поучениях книги. И хотя все эти смиренные слова овеяны духом обычной церковной риторики XVI века, их целеустремлённость, их настойчивость рисуют возвышенный дух московского печатника.

Иван Фёдоров выступает перед нами провозвестником гуманной педагогики. Это, может быть, позволяет очертить и ту среду, в которой он — некогда дьякон церкви Николы Гостунского — вращался в Москве: среду московских учителей XVI века, пополняемую главным образом церковным причтом — дьяконами, дьячками и пономарями.

Р. Якобсон, комментировавший текст букваря 1574 года, правильно связывает его с недатированными русскими букварями, хранящимися в Кембридже и Оксфорде в Англии. Эти буквари, судя по записям на них, были напечатаны до 1577, а может быть, и до 1568 года. Р. Якобсон предлагает поэтому сделать тщательное сравнение этих недатированных букварей с продукцией московских учеников Ивана Фёдорова — Никифора Тарасьева и Невежи Тимофеева. Такое сравнение позволило бы подтвердить гипотезу, что и львовский букварь и буквари, хранящиеся в Кембридже и Оксфорде, восходят к московской ти-

пографии Ивана Фёдорова, и, следовательно, обе книги, напечатанные им во Львове, появились как результат его московской деятельности (стр. 28—29).

Действительно, московский «Апостол», как уже указывалось, почти полностью воспроизведён в львовском «Апостоле». Возможным прототипом львовского букваря была такая же учебная книга, изданная в Москве первопечатниками до их отъезда в Литовское великое княжество.

Из послесловия львовского «Апостола» можно заключить, при каких обстоятельствах проходила работа над печатанием обеих львовских книг.

Большой и богатый город встретил Ивана Фёдорова неприветливо. Печатник, по собственным его словам, не нашёл поддержки у великих и знатных, «не испросил умиленными глаголы, не умолих многослезным рыданием... и плакася прегоркими слезами». Помощь пришла внезапно, от незнатных людей. Кем были эти люди, мы не знаем, но можно предполагать, что они принадлежали к числу православных украинских ремесленников, может быть составивших одно из братств, хотя первая братская школа возникла во Львове только в 1586 году. Характерно, что в этом же году львовское братство приобрело типографию Фёдорова.

Иное объяснение тому, какие круги помогли Ивану Фёдорову наладить книгопечатание во Львове, дают издатели букваря 1574 года. Р. Якобсон поддерживает версию о принадлежности Ивана Фёдорова к литературному кругу таких людей, как Андрей Курбский (стр. 8), приписывая создание грамматики, как и Острожской библии 1580 года, беглецам из Москвы — таким, как сам Курбский (стр. 38). Нельзя назвать такую гипотезу особенно новой, ещё менее можно сказать об её обоснованности. Правда, известно письмо Курбского к львовскому мещанину Семёну Сидляру, который впоследствии оказался в числе кредиторов Ивана Фёдорова, причём кредиторов отнюдь не добрых¹. Разорение первопечатника и переход его из Львова в Острог на службу к Константину Острожскому были результатом нещадной жадности Сидляра.

¹ Об этом подробнее говорится в книжке И. П. Крипякевича «Зв'язки західної України з Росією до середини XVII ст. Видавництво Академії Наук Української РСР. Київ. 1953», стр. 46—51 и далее.

Некоторым доказательством связи Ивана Фёдорова с Курбским служит как будто то, что Иван Фёдоров в послесловии «Апостола» 1574 года повторяет одну фразу из письма Курбского к Ивану Грозному. Но речь идёт не о непосредственном знакомстве Ивана Фёдорова с письмом Курбского, а о том, что тот и другой пользовались каким-то общим литературным источником. А между тем содержание послесловия к Львовскому «Апостолу», как свидетельство самого Ивана Фёдорова, резко опровергает мнение о его близости к Курбскому. Иван Фёдоров подчёркивает, что гонение в Москве поднято было на него не царём, а другими людьми, прежде всего священноначальниками, то есть иерархами русской церкви.

Ещё меньше основания говорить о связи Курбского с Константином Острожским. Знаменитая Острожская библия называет царя Ивана IV благочестивым и в православии изрядно сиятельным государем, и это в разгар походов Стефана Батория на Псков. Всё это чрезвычайно далеко от взглядов Курбского, принадлежавшего к числу тех людей, которые в своей личной ненависти не могут отделить своих личных врагов от народа. Легенда о Курбском, как одном из покровителей книгопечатания в России, фактически не находит себе подтверждения.

Букварь 1574 года известен пока в единственном, уникальном экземпляре, приобретённом Гарвардским университетом. Да и этот экземпляр, можно сказать, сохранился случайно, попав в библиотеку графа Строганова. Некоторое понятие об истории этого экземпляра дают записи на книге. Они сделаны разными почерками и по разным причинам. Так, тут мы находим прежде всего четыре рукописные азбуки. Первая из них представляет собой рукописное повторение азбуки, напечатанной в этой же книге, вплоть до буквы «х» включительно. Тут же сбоку написано латинским шрифтом: «Grammatica Russa», а ниже — русскими буквами латинский текст из Псалтири.

Тот, кто писал такой текст, учился по книге под руководством знающего человека, так как начертания букв изменены в сторону их большей скорописности, а некоторые буквы в конце слов сделаны вы-

носными, то есть поставлены над строкой, как в русской и украинской скорописи.

Вторая азбука представляет собой латинскую азбуку, ниже которой написано изречение «Omnis homo mendax ergo» (всякий человек лживый, итак). Выше украинской скорописью написано: «Жикгимонт Август божьо милостию король Польский, великий князь Литовский, Руский, Пруский, Жомонтский, Мазовецкий, Ифлянтский и иных».

Эта запись имеет датирующее значение, так как она сделана ещё при жизни Сигизмунда-Августа, то есть до 1632 года. Чёткий и выработанный почерк говорит о том, что запись была сделана человеком, хорошо владевшим украинским письмом. Кажется, этому же писцу принадлежит третья азбука — украинская, под которой написано «Жикгимонт», но очень неуверенно. Под этим словом переписана четвёртая, тоже украинская азбука, тем же почерком, что и третья, но с некоторыми отличиями.

Эти пометы на книге указывают на то, что по найденному экземпляру букваря 1574 года уже в XVI—XVII веках обучалось лицо нерусского происхождения, возможно, итальянец, возможно, итальянский монах. Учителем его был украинец, хорошо владевший русским и украинским письмом. Так, на странице 80 помещена запись украинской скорописью, а ниже её написано по-итальянски. К сожалению, издатели не дали полного текста записей в описании, а факсимиле передают их недостаточно ясно.

Каков бы, однако, ни был путь, проделанный единственным экземпляром букваря 1574 года, следует радоваться тому, что экземпляр этот сохранился. Он говорит нам о трудах великого русского гуманиста XVI века. Иван Фёдоров — это своего рода символ великой дружбы трёх братских народов: русского, украинского и белорусского. Он поистине «друкарь книг пред тым невиданных», как написано было на его надгробном камне.

Памятник первопечатнику стоит пока только в Москве. Не пора ли подумать об увековечении основателя украинского книгопечатания и во Львове, где так долго трудился Иван Фёдоров.

Не пора ли подумать также и о том, что появление книгопечатания на Руси было великим культурным переворотом. Между

тем изучение печатных книг XVI—XVII веков у нас фактически почти прекратилось. Залежи печатных книг лежат в провинциальных музеях и архивах, и никто ими не занимается, никто их даже не разбирает.

А ведь букварь 1574 года наверняка не был издан в единственном экземпляре. Не следует ли его поискать в наших библиотеках?

Академик М. ТИХОМИРОВ.

★

Новая книга о Грановском

Сто с лишним лет назад, в октябре 1855 года, умер Тимофей Николаевич Грановский. Выдающийся историк и просветитель, друг Герцена, Огарёва, Белинского, он принадлежал к той славной плеяде общественных деятелей России середины прошлого столетия, у которых, по выражению Некрасова, «училось всё живое».

Грановский прожил короткую, но яркую жизнь, оставив заметный след в истории русской культуры. Чернышевский видел в нём «не только первого из немногочисленного круга учёных, занимающихся у нас всеобщую историю, но и одного из замечательнейших между современными европейскими учёными по обширности... знания, по широте и верности взгляда и по самообытности воззрения». Герцен считал, что Грановский оказал огромное влияние «на университет и на всё молодое поколение». Ту же мысль проникновенно выразил и Некрасов:

Готовил родине ты честных сыновей,
Провида луч зари за непроглядной далью.
Как ты любил её! Как ты скорбел о ней!
Как рано умер ты, терзаемый печалью!

Убеждённый противник крепостного права и деспотизма (а в те времена, как писал Ленин, «в се общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом...»), Грановский принимал активное участие в борьбе передовых общественных сил против реакции. Правда, ему так и не удалось выйти за рамки мирного просветительства и преодолеть реформистские иллюзии, но всё же в целом деятельность Грановского носила ярко прогрессивный характер.

В этой борьбе Грановский действовал главным образом на том участке, который был ему ближе всего: он, по словам Герцена, «историей.. делал пропаганду». С именем Грановского связан один из са-

мых блестящих периодов русской исторической науки.

Нужно отметить, что дворянские и буржуазные исследователи творческого наследия Грановского (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, П. Н. Милюков и другие) приложили немало усилий для того, чтобы затушить прогрессивные черты мировоззрения Грановского, принизить передовое значение его научной и общественной деятельности. В этой связи изучение творческого наследия Грановского приобретает особое значение. Советские историки довольно успешно решают эту задачу. Об этом, в частности, свидетельствует интересная книга С. А. Асиновской, посвящённая деятельности Грановского-историка.

В книге содержится множество малоизвестных или вовсе не известных фактов из жизни и деятельности Грановского, почерпнутых автором из архивных документов. Основное достоинство работы С. А. Асиновской заключается в том, что автору удалось показать Грановского таким, каким он был, не преуменьшая его заслуг, но и не приукрашивая его достоинств. И хотя в книге нет прямой полемики с буржуазными исследователями творчества Грановского, но вся она полемически заострена против их выводов и построений.

Большое внимание уделено исследованию мировоззрения Грановского. Автор подчёркивает, что Грановский, веривший в возможность преобразований на основе реформ «сверху», без революционных потрясений, вместе с тем горячо ненавидел крепостничество и произвол самодержавия. Страстный патриот, он верил в лучшее будущее своей любимой родины. «Пусть будет проклято настоящее,— писал Грановский,— может, будущее будет светло!»

Очень интересен раздел книги, посвящённый историческим взглядам Грановского, его научно-исследовательской работе. На большом фактическом материале автор показывает плодотворность изысканий Грановского, актуальность его интересов, новаторский характер его творчества.

С. А. Асиновская. Из истории передовых идей в русской медиевистике (Т. Н. Грановский). Ответственный редактор С. Д. Сназкин. 168 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1955.

Грановский был горячим приверженцем идеи о закономерном и прогрессивном развитии общества. Он проявлял постоянный интерес к истории угнетённых масс, подчёркивал необходимость разработки и изучения истории народов. Убедённый противник национализма и расовой исключительности, он резко отрицательно относился ко всякого рода захватническим войнам и одновременно оправдывал освободительную борьбу народов против своих поработителей. В своих лекционных курсах Грановский уделял значительное внимание народным движениям и революциям, признавая их прогрессивный характер. Он гордился героическим прошлым русского народа. Важным вкладом Грановского в развитие русской историографии является также постановка им проблемы об исторической роли славянства.

На протяжении шестнадцати лет Грановский возглавлял кафедру всеобщей истории Московского университета. Он выпустил несколько специальных работ, вёл лекционные курсы, выступал с публичными чтениями. Грановского с полным основанием считают отцом русской медиевистики: он первым из русских историков сделал историю западноевропейского средневековья предметом плодотворного изучения. Он сочетал глубокое понимание проблем западного феодализма со страстной борьбой против существовавших ещё тогда в России крепостнических порядков. С. А. Асиновская совершенно справедливо подчёркивает прогрессивный характер воззрений Грановского-медиевиста.

Грановскому, в частности, принадлежит оригинальная и новая для его времени разработка вопросов о внутреннем кризисе Римской империи, который он связывал с ухудшением положения народных масс и народными восстаниями. Он отстаивал наличие родовых и общинных отношений у древних германцев и других народов. Особое внимание Грановский уделял проблеме феодальной эксплуатации. Ряд передовых идей он высказал и о сущности еретических движений в средние века. Интересна трактовка Грановским вопроса о средневековых городах, в которых он правильно видел средоточие ремесла и торговли.

Автор развенчивает миф о мнимой научной несамостоятельности Грановского, спра-

ведливо отмечая, что лекции Грановского были прежде всего результатом самостоятельной творческой работы над историческими источниками.

В книге подчёркивается тот факт, что передовое направление в русской медиевистике было неразрывно связано с формированием и развитием революционно-демократической мысли в России. Автор обстоятельно рассматривает причины, вызвавшие, со времён Радищева, большой интерес русских мыслителей к истории средневековья, освещает борьбу революционеров-демократов против антинаучной интерпретации истории средневековья реакционными медиевистами в России и Западной Европе, исследует влияние Белинского и Герцена на Грановского.

Читатель найдёт в книге и специальную главу, посвящённую основным проблемам средневековья в освещении В. Г. Белинского и А. И. Герцена.

Монографии С. А. Асиновской свойственны и некоторые недостатки.

Досадно, что автор так скупко рассказывает о работе Грановского над изучением исторических источников, не исследует его влияния на деятельность таких выдающихся представителей буржуазной медиевистики в России второй половины XIX века, как В. Г. Василевский, Ф. И. Успенский, М. М. Ковалевский, П. Г. Виноградов, разрабатывавших проблемы, поставленные в русской медиевистике Грановским (роль славянства в истории Византии, весь комплекс вопросов, связанных с возникновением феодализма).

Автор не всегда достаточно чётко развёртывает аргументацию правильных по существу положений.

В целом же написанная с большим знанием вопроса книга С. А. Асиновской несомненно заслуживает положительной оценки.

В заключение ещё одно соображение: не пора ли теперь, когда найдены новые записи лекций Грановского, опубликовать курс его лекций — важный памятник передовой русской исторической науки?

Кандидаты исторических наук
А. ВАРШАВСКИЙ и А. ДАНИЛОВ.

★

Путешествие по Индонезии

Если вы интересуетесь только «романтикой Востока», если вы мечтаете о «смуглых девушках, пальмах и тропической луне», то мы советовали бы вам обратиться к другим источникам.

Этими словами начинается введение к книге «Современная Индонезия», изданной индонезийским министерством информации и в 1955 году вышедшей в русском переводе. Авторы книги ставили перед собой другую, более важную цель.

«Мы... живём в разных частях мира,— пишет во введении бывший министр информации М. А. Пеллопесси.—...Давайте работать вместе на благо человечества. Одно из условий для плодотворного сотрудничества состоит в том, чтобы мы знали и ценили друг друга». Книга и должна дать читателю «достаточно интересного материала для первоначального знакомства с Индонезией».

Перед читателем в живом и увлекательном изложении предстаёт удивительная страна тысячи островов — самого большого в мире архипелага, раскинувшегося по обе стороны экватора. В Индонезии знают только два времени года: влажное и сухое. Горы и действующие вулканы — неотъемлемая черта её пейзажа, а склоны гор и долины покрыты такой роскошной растительностью, что иностранному путешественнику любой уголок страны кажется ботаническим садом.

Мы находим в книге описание важнейших городов Явы, Суматры, Калимантана (Борнео), Сулавеси (Целебеса) и острова Бали.

Рассказ об Индонезии начинается со столицы страны — Джакарты, оживлённого и делового города, тенистые улицы которого часто пересекаются каналами. Джакарта дорога каждому патриоту прежде всего тем, что именно здесь Индонезия была объявлена независимым суверенным государством.

В памяти народа сохранились многие яркие факты героической борьбы с иноземными захватчиками. Об её отдельных эпизодах авторы книги не забывают напомнить. Описывая город Магеланг, авторы рассказывают о первом мощном восстании на Яве

против колониального господства в 1825—1830 годах. Последние этапы этой борьбы как раз и связаны с Магелангом, куда вождь восставших — Дипо Негоро — был приглашён голландцами для переговоров и где вероломно был взят в плен.

Джокьякарта — небольшой город без крупной промышленности, без пышных пейзажей. Но этот город пользуется особой любовью в стране. Джокьякарта была столицей республики в 1946—1950 годах — в тяжёлые годы войны и блокады. Не хватало пищи, одежды и жилищ, но население неизменно сохраняло стойкость и высокий моральный дух.

В любом справочнике можно прочесть, что город Семаранг известен как главный порт Центральной Явы. Мы узнаём из книги и иное: Семаранг — город, где начались первые бои с англо-голландскими войсками в 1945 году.

Своими научными учреждениями славится город Бандунг. Здесь находится Пастеровский институт, технический факультет Индонезийского университета, неподалёку от города — обсерватория и первая в Индонезии радиостанция.

В Бандунге в 1955 году состоялась историческая конференция двадцати девяти стран Азии и Африки, осудившая колониализм и политику «с позиции силы».

Кое-кто, сказал президент Республики Индонезии Сукарно, выступая в Бандунге, готов выпрашивать независимость. Но есть другие, которые борются за независимость. Мы уверены, что только борьбой мы можем добиться своей цели — полностью освободиться от империализма. Всё новые и новые страны выходят на широкую дорогу национальных революций и преобразований... Вся Азия пришла в движение в борьбе за своё освобождение. И нет силы, которая могла бы её остановить.

Научным центром страны является Богор — город, где дожди идут каждый день. Ботанические сады Богора и его научные учреждения пользуются мировой известностью. В ботанических садах имеется десять тысяч видов тропической растительности, а в гербарии — до полумиллиона видов растений.

Чуть ли не на каждой странице книги мы находим легенды, связанные с тем или иным городом, или описания памятников искусства и истории.

«Современная Индонезия». Перевод с английского. Редакция и вступительная статья А. А. Губера. 159 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1955.

Ещё до того, как перевернёшь последнюю страницу книги, начинаешь ясно осознавать, какие огромные задачи стоят перед молодой Индонезийской республикой, перед её народом, решительно, раз и навсегда порвавшим с колониальным прошлым. Как много ещё в стране неисследованного, неизученного! Внутренние области огромного острова Калимантана ждут подробного исследования и описания. О многих областях только и известно, что они гористы и покрыты тропическим лесом или представляют собой болотистую местность. Даже на Яве — островах, подвергшемся самой жестокой колониальной эксплуатации, — ресурсы полностью не изучены. Авторы пишут, например, что возле Семаранга лишь в самое последнее время обнаружены залежи каменного угля.

Немало трудностей совсем иного порядка придётся преодолеть молодой республике. В январе 1950 года была ликвидирована попытка военного мятежа в Бандунге. Можно думать, что ещё не раз будут поднимать голову реакционные элементы, вдохновляемые реакционерами извне. Велика ещё роль иностранного капитала в экономике страны.

Знакомству читателя с современной Индонезией помогают многочисленные фотографии. Они не только воспроизводят красоту природы, прекрасные архитектурные памятники, в которых запечатлён талант

народа, но и знакомят с трудолюбивым населением Индонезии.

Книга читается с неослабевающим интересом. Закрываешь её с чувством глубокого уважения к талантливому свободолюбивому народу Индонезии, с энтузиазмом строящему своё будущее. Тем более уместен упрек в адрес Издательства иностранной литературы, которое выпустило эту нужную книгу лишь через пять лет после её выхода в Индонезии. Несомненно, за этот большой промежуток времени в жизни индонезийского народа успели произойти значительные перемены.

Русскому изданию книги предпослана содержательная вступительная статья профессора А. А. Губера, дополняющая книгу некоторыми фактами последних лет. В переводе сохранён живой стиль подлинника.

Жаль, что транскрипция некоторых индонезийских слов неверна: «betjak» читается «бечак», а не «бетчак», «balai» — «балэй», а не «балай» и т. д. Для большинства советских читателей совершенно непонятно, что означает титул «сусухунан» и почему он выше титула султана, что такое «Балэй пустака» (это Дом литературы). Издательству следовало позаботиться о приложении, где разъяснялись бы различные термины, понятия и некоторые факты истории и культуры Индонезии.

Кандидат исторических наук
Е. ГНЕВУШЕВА.

★

Вчерашние «дикари»

История этой брошюры такова.

В декабре 1955 года Лекрастрест (Трест по выращиванию и заготовке лекарственно-растительного сырья) Министерства здравоохранения СССР созвал совещание работников совхозов, возделывающих лекарственные культуры.

Работники Гиагинского совхоза лекарственных растений, расположенного в Адыгейской автономной области Краснодарского края, готовясь к совещанию и осмысливая накопленный опыт, решили, что им есть чем поделиться, и для того, чтобы общение о накопленном опыте не осталось только словами, выпустили брошюру, в которой лаконично и деловито рассказали о

том, как они сеют, выращивают и убирают лекарственные растения.

Лекарства из растений изготовлялись ещё в глубокой древности, но лекарственные растения всегда оставались «дикарями», росли где попало и как попало. В течение веков их собирали бабки и знахари, и входили они большей частью лишь в число средств так называемой «народной медицины»; приручение же и воспитание «дикарей» в специализированных государственных хозяйствах началось только в Советском Союзе.

Ещё не так давно какая-нибудь бабушка, увидев растущий по обочине дороги куст белены или белладонны, начинала с ним неистовую войну, круша и уничтожая «вредную траву», потому что изящный пёстрый цветок белены, сделанный как бы из жёлто-серого бархата, или красная,

Н. Бобрышев, С. Малюта. Из опыта механизации возделывания лекарственных культур. Редактор Н. Удоженко. 12 стр. Адыгейское книжное издательство. Майкоп. 1955.

похожая на вишню ягода белладонны легко могли прельстить её внучат и стать причиной их гибели. При неосторожности цветы белены или ягоды белладонны могут стать причиной смерти и сейчас, но изученные и прирученные вчерашние «дикари» выращиваются теперь под наблюдением агрономов, и, проезжая мимо совхозных массивов, где на специальных плантациях разводятся белена и белладонна, то и дело видишь предупредительные объявления: «Осторожно, здесь растут ядовитые растения!»

Гиагинский совхоз Лекрастреста, крупнейшее специализированное хозяйство, один из основных поставщиков сырья для фармацевтической промышленности и аптек, был создан в 1950 году. Несмотря на всё увеличивавшийся размах работы совхоза, в течение пяти лет это было убыточное хозяйство. Только социалистическое государство, высшая цель которого — благо народа, могло позволить себе содержать в течение нескольких лет убыточное предприятие, в продукции которого нуждалось население. Государство не хотело повышать цены на лекарства, и они продавались ниже себестоимости.

Совхоз имел, конечно, свои специфические трудности. Некоторые «дикари» с большим трудом приспосабливались к культурной жизни. Например, дикорастущая белладонна, являющаяся в условиях Краснодарского края многолетним растением, на полях совхоза превратилась вдруг в растение однолетнее. Своеобразное поведение вчерашних «дикарей» нередко приводило к неудачам, приходилось тратить много времени и труда для того, чтобы разгадать особенности этого поведения.

Но главным образом убытки совхоза происходили от того, что «лекарственное растениеводство ещё остаётся такой отраслью сельского хозяйства, которая поглощает большое количество ручного труда».

В то время как на обработку и уборку одного гектара, занятого зерновыми культурами, затрачивается три—пять человеко-дней, для обработки и уборки одного гектара, занятого лекарственными культурами, приходилось затрачивать от 250 до 500 человеко-дней; поэтому рентабельность лекарственного растениеводства в первую очередь зависит от степени механизации сева, прополки и уборки лекарственных культур.

Однако в 1955 году Гиагинский совхоз свёл уже концы с концами, а к 1956 году сделался рентабельным предприятием. В значительной степени это произошло именно вследствие механизации возделывания лекарственных культур, о чём и рассказывается в изданной совхозом брошюре.

Совхоз возделывает десятки лекарственных растений, из которых готовится множество медикаментов. Многие вчерашние «дикари», пройдя сложные испытания в лабораториях и клиниках, зачислены в арсенал проверенных средств, охраняющих народное здоровье.

Могущество этих трав поистине волшебное. Достаточно распылить в большом помещении горсть пиретрума, изготовляемого из далматской ромашки, и через несколько минут мухи начинают сыпаться на пол. Хеноподиевое масло, которое ещё недавно ввозили из-за границы, рассылается совхозом в аптеки всего Советского Союза и несёт гибель глистам — тем самым аскаридам, которые отравляют жизнь многим детям. Простые оранжевые цветы — ноготки — обладают способностью, как это недавно выяснилось, сдерживать развитие злокачественных новообразований...

Опыт, сконцентрированный в брошюре, есть результат работы всех агрономов совхоза, коллектива молодых специалистов, среди которых нет людей старше тридцати лет; лишь руководитель этого коллектива — директор совхоза Н. Бобрышев, агроном высокой квалификации — принадлежит к старшему поколению.

Говоря о применении различных технических усовершенствований, авторы брошюры Н. Бобрышев и С. Малюта показывают, например, как совхоз благодаря механизации трудоёмких процессов сумел затратить на уборку сорока гектаров шалфея двести человеко-дней вместо пяти тысяч, которые надо было бы затратить при ручной уборке, и сэкономил семьдесят тысяч рублей, хотя рабочие зарабатывали на механизированной уборке до пятидесяти рублей в день.

Рецензируемую брошюру выгодно отличает от многих брошюр, издаваемых Сельхозгизом и различными местными издательствами, её деловитость; в ней совершенно отсутствуют общие фразы, авторы нигде «не танцуют от печки» общих рассуждений.

Глава об уборке дурмана состоит всего из тринадцати строк и по существу сводится к сообщению о том, что при работе комбайнов «вентиляторы выключались, а окна закрывались» и «срез производился на половину хедера при медленном движении комбайнов». Это практическое новшество высоко оценили специалисты-лекарственники, съехавшиеся на совещание в Москву.

Прочитав сжатый рассказ об опыте механизации возделывания лекарственных культур в совхозе, можно не сомневаться, что заявка работников совхозов на дальнейшую механизацию трудовых процессов и

повышение рентабельности хозяйства будет осуществлена. Но будет ли осуществлена их заявка на создание книги об опыте промышленного возделывания лекарственных растений в условиях крупного специализированного хозяйства (а такой заявкой и является настоящая брошюра) — сказать трудно..:

Обладай работники Сельхозгиза подлинной оперативностью и умением замечать всё новое в сельском хозяйстве, они давно бы уже связались с авторами брошюры с целью широкой популяризации ценного опыта совхоза.

Л. ОВАЛОВ.



ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина долгое время не было ни одного экземпляра «Жития Ушакова».

Самой редкой книгой Радищева является небольшая брошюра «Пись-

РЕДЧАЙШАЯ ИЗ КНИГ РАДИЩЕВА

Есть четыре главные причины, почему некоторые книги становятся исключительно

редкими: когда они напечатаны в очень небольшом количестве (например, «История заговора, который 11 марта 1801 года лишил императора Павла престола и жизни», сочинение А. Коцебу, перевод Лобанова-Ростовского; книга была издана в конце семидесятых годов XIX века в пяти экземплярах); когда книга уничтожалась самим автором (например, «Мечты и звуки» — первый сборник стихов Некрасова 1840 года); когда книги, уже напечатанные, не разрешались цензурой или уничтожались по требованию правительства; и, наконец, книги, которые мало интересовали библиофилов, но очень нужны были широкому читателю; их зачитывали, как говорится, «до дыр», не заботясь о сохранности. Такова, например, судьба многих песенников. Когда в 1912 году Российская Академия наук захотела переиздать четвертую часть песенника Чулкова (1774), ни одного экземпляра она найти не смогла.

А. Н. Радищев анонимно издал три книги: знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» 1790 года и до этого ещё две книги, также запрещённые. За «Путешествие» автора присудили к смертной казни, которая была заменена ссылкой в Сибирь. Все экземпляры этой книги, кроме уже проданных или розданных самим автором, были уничтожены. До нас дошло около двадцати экземпляров «Путешествия». Самым ценным является экземпляр, который был прочитан Екатериной II и в дальнейшем попал в библиотеку А. С. Пушкина. Сейчас он находится в Институте литературы Академии наук СССР в Ленинграде (Пушкинский дом).

Немногие знают, что другие две книги Радищева — «Житие Фёдора Васильевича Ушакова» и «Письмо к другу, жителю в Тобольске» — ещё более редки, чем даже «Путешествие». Например, в

Тобольске». Радищев описывает в ней как очевидец торжества открытия памятника Петру I работы Фальконе на Сенатской площади в Петербурге. Памятник этот считается самой совершенной работой знаменитого французского скульптора (в нынешнем году исполняется 240 лет со дня его рождения). В брошюре есть данные о месте и времени её написания: «Санктпетербург 8 августа 1782-го года», то есть на другой день после открытия памятника. Напечатана была брошюра в качестве первого опыта в небольшом количестве экземпляров. В начале 1790 года в типографии, которую Радищев организовал у себя на дому. Сейчас же по выходе в свет этой брошюры Радищев приступил к набору и печатанию «Путешествия».

Брошюра «Письмо к другу», вышедшая в свет спустя восемь лет после открытия памятника Петру I, не могла привлечь внимания современников, так как устарела уже при выходе. К тому же брошюры обычно берегутся меньше, чем книги, и меньше сохраняются. То, что она была запрещена и принадлежала Радищеву, могло быть известно очень немногим, так как вышла она анонимно. Нам известны только два экземпляра этой книги. Один сохранился в архиве в деле Радищева в Ленинграде; другой — из библиотеки Щапова — находится в Государственной публичной исторической библиотеке в Москве.

В экземпляре Исторической библиотеки 14 страниц текста и 100 чистых страниц. Очевидно, они были вплетены для того, чтобы увеличить толщину корешка, на котором не уместилась фамилия автора целиком, а только пять первых букв: РАДИЩ. На обратной стороне заглавного листа имеется надпись: «Из библиотеки Сулакадзева № 473». Сулакадзев — современник Радищева — был известным знатоком древних рукописей и библиофилом. На полях этого экземпляра он отчёркивал карандашом места, которые показались ему особенно интересными (например, указание, что из тысячи людей, которые присутствовали при открытии памятника,

лишь трое видели Петра и знали его лично). Отчёркнуты были также те страницы, где Радищев даёт описание памятника и поясняет замысел Фальконе: «Крутизна горы суть препятствия кои Петр имел производя в действо свои намерения; змея в пути лежащая, коварство и злоба искавшие кончины его за введение новых нравов; древняя одежда, звериная кожа и весь простой убор коня и всадника — суть простые и грубые нравы и непросвещение, кои Петр нащел в народе которой он преобразовать вознамерился...» и т. д.

Совсем иной характер имеют пометки на экземпляре, находящемся в Ленинграде. Они сделаны на полях красным карандашом рукой Екатерины. Первая пометка на странице 7, где Радищев говорит, что при жизни Пётр был окружён толпой, где «половина была ласкателей, кои во внутренности своей» его ненавидели, «другие объемлемые ужасом беспредельно самодержавных власти, раболепно пред блестящим его славы «опускали зеницы своих очей». Только после смерти, когда он ни

казнить, ни миловать не может, хвалы ему стали искренни. Далее идут строки, отчёркнутые Екатериной и, очевидно, её возмущившие: «Но сколько крат более признание наше было живее и тебя достойнее, когда бы оно не следовало примеру твоея преемницы, достойному хотя примеру, но примеру того кто смерть и жизнь миллионов себе подобных в руке своей имеет. Признание наше было бы свободнее».

Очевидно, Екатерина увидела здесь выпад против самодержавия, как и в некоторых других местах брошюры. Особо опасным нашла она у Радищева упоминание о французской революции и одобрение Людовика за то, что он отрёкся от престола.

Свободолюбие А. Н. Радищева, ненависть к тирании и самовластию, проявившиеся уже в «Письме к другу, жителюствующему в Тобольске» и в других его ранних произведениях, получили полное завершение в «Путешествии из Петербурга в Москву».

Ив. РОЗАНОВ.



РЕПЛИКИ

НЕНАПИСАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Мало найдётся советских людей, которые не видели фильма-трилогии о Максиме, в частности фильма «Выборгская сторона». Но многие ли знают, какие действительные события легли в основу этого фильма, кто, например, был на самом деле первым советским комиссаром Государственного банка, многие ли знают живую историю того периода, когда рабочие-большевики, взяв власть, овладевали искусством управления государством, ломая саботаж буржуазной интеллигенции?

А между тем живы люди, которые сами участвовали в этом, которые могут рассказать молодёжи о великой эпохе не общими, стандартными фразами, а со множеством деталей, известных только участникам исторической борьбы. Живы те, кто штурмовал Зимний, живы комиссары, устанавливавшие Советскую власть в отдалённых уездах. Их воспоминания драгоценны для истории нашей партии, нашей страны.

В 1957 году страна будет отмечать 40-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. К сожалению, мы до сих пор не имеем ни подлинно научной, ни популярной истории Октябрьской революции. А ведь одним из важнейших источников для написания такой истории должны

явиться воспоминания её участников.

Ещё в 1920 году декретом СНК была создана комиссия для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории партии. В своё время Истпарт издал ряд воспоминаний участников революционных событий. Однако вот уже много лет как никто или почти никто не собирает (а если собирает, то не публикует) воспоминаний участников Октябрьской революции. Немногие воспоминания, опубликованные в двадцатых — тридцатых годах, стали библиографической редкостью и не переиздаются.

В своё время на X съезде партии товарищ Ольминский говорил о необходимости воскресить обстановку тогдашней жизни и борьбы и указывал, что, составляя историю партии и Октябрьской революции, нельзя ограничиваться документами, резолюциями, газетными материалами.

«...Нам нужно,— говорил он,— молодых коммунистов и вообще членов нашей партии сроднить со своей партией в прошлом, понять душу этой партии, душу старых работников, которые в течение 40 лет и более подготавливали ту диктатуру пролетариата, счастливыми свидетелями и деятелями которой мы являемся». Старые члены партии, говорил он дальше, «должны рассказать: как ты стал и когда революционером, к какой партии примкнул, кто у тебя были знакомые, кто на тебя оказал воздействие, в какую организацию ты во-

шёл.. что произвело на тебя особенно сильное впечатление и т. п. Вот когда у нас соберётся очень много таких сообщений, только тогда можно будет начать писать историю партии со всей полнотой» (Протоколы X съезда РКП(б). М. 1933).

Недавно страна отмечала пятидесятилетний юбилей первой русской революции 1905 года. В связи с этим во многих газетах и журналах печатался ряд воспоминаний, среди них немало интересных. Но с огорчением приходится отметить случайность, недостаточную организованность этой работы. Отрывочные воспоминания, иногда повторяющиеся друг друга, печатались в разных центральных и местных изданиях без всякого плана. Имена и адреса всех живых участников этих событий не были известны тем, кто организовывал сбор воспоминаний.

Надо, чтобы эти ошибки не были повторены. С помощью партийных организаций надо взять на учёт и привлечь к созданию научной и популярной истории Октябрьской революции всех её участников. В этом деле могут и должны объединить и распределить свои усилия Центральный музей революции и областные музеи, Центральный архив Октябрьской революции и местные архивы, центральная и местная печать, литературная и журналистская общественность, студенты-историки и журналисты.

Писатели и журналисты, надо думать, окажут помощь участникам Октябрьской революции в записи и обработке их воспоминаний. Необходимо только помнить, что обработку следует про-

изводить очень бережно, чтобы не исказить фактов. Пусть самые квалифицированные литераторы возьмут на себя этот почётный долг. Мы думаем, что от этого выиграет не только история, но и литература. Союзу советских писателей следовало бы проявить инициативу в этом вопросе.

**ЕЛЕНА СТАСОВА,
Г. КРЖИЖАНОВСКИЙ,
Г. ПЕТРОВСКИЙ,
М. МУРАНОВ,
Ф. ПЕТРОВ.**

★

О ДОКТОРАНТУРЕ

В Академии наук СССР и в Министерстве высшего образования существует так называемая докторантура: кандидаты наук, готовые стать докторами, освобождаются от учебной или научной нагрузки и в течение двух лет работают над диссертацией. Кандидатуры докторантов представляются учёными советами институтов, а затем утверждаются президиумом Академии наук или министерством.

Мне кажется, такая система подготовки докторов наук порочна в своей основе. Доктор — высокая научная степень. Право на неё даёт большой опыт в науке, обширность накопленных материалов.

Но так ли обстоит дело в действительности?

Институты и университеты, зачисляя в докторантуру научных работников и преподавателей высшей школы, принимают тем самым обязательство подгото-

вить доктора во что бы то ни стало и берут на себя вытекающую из этого ответственность. Докторант превращается в учащегося, так сказать, в аспиранта на более высоком уровне. К нему прикрепляется консультант — академик, профессор, доктор. За прохождением докторантуры следят директор, деканы, ректоры, заведующие научными отделами, отделы аспирантуры или отделы подготовки кадров. Выпуск докторанта — и притом в срок, предусмотренный планом, — становится делом чести и заботы многочисленных начальников и руководителей. Докторант может быть спокоен, даже если его диссертация, как говорят, «не тянет» до уровня докторской работы.

Стоит отметить, что, как правило, весьма энергично добиваются докторантуры те кандидаты наук, у которых очень мало печатных трудов, да и то часто лишь в виде не имеющих самостоятельного значения статей, рецензий, научно-популярных брошюр. Отклонить заявление претендента на докторантуру очень не просто. Часто оно подкреплено ходатайствами различных учреждений, руководители которых не всегда объективно оценивают научный багаж кандидата, а нередко исходя из неприципиальных соображений личного или ведомственного характера. У нас не определены пока те объективные данные, исходя из которых кандидат может стать докторантом или должен быть забаллотирован.

И любопытно, что многие маститые кандидаты наук, действительно стоящие на пороге докторской степени, нередко отказываются от докторантуры. Это и понятно: процедура сложная, обилие отчётности и жёсткие сроки часто ухудшают качество работы, а на это честный учёный пойти не может...

На мой взгляд, институт докторантуры не оправдал себя и должен быть упразднён.

Как же помочь серьёзному учёному в его работе над докторской диссертацией? Единственным подтверждением справедливости притязаний на докторскую степень могут служить самостоятельные исследования того или иного кандидата наук и качество его выступлений в печати. Если учёный приступает к работе над докторской диссертацией и доводит её до того этапа, на котором научная ценность её не вызывает сомнений, тем самым он и доказывает, что ему нужно помочь довести докторский труд до защиты. И помощью для завершения (а не для создания) такого труда должен явиться творческий отпуск сроком до одного года, с освобождением учёного от прочих работ, от учебных нагрузок, заседаний, совещаний и иных многочисленных обязанностей, какими столь обильна жизнь вузов и научно-исследовательских институтов и которые могут отвлечь от целеустремлённой научной работы.

Доктор географических наук
Э. МУРЗАЕВ.



МЕЖДУ ПРОЧИМ...

СКВЕРНЫЙ СКВАИР

Сквайр Исаак Бикерстафф не раз дурачил своих современников. Португальские инквизиторы отправили его сочинения на костёр, признав их колдовскими.

Свою колдовскую силу, несмотря на очистительный огонь аутодафе, эти сочинения смогли сохранить на протяжении двухсот пятидесяти лет. Благодаря этому мистер Бикерстафф слегка подшутил недавно и над читателями книги «Памфлеты» Джонатана Свифта, выпущенной в 1955 году Гослитиздатом под редакцией М. Трескунова.

В примечаниях к этому изданию, составленных Ю. Левиным и М. Шерешевской, на странице 299 сообщается, что в книгу включены три памфлета Свифта из серии «Бумаги Бикерстаффа»: «Предсказания на 1708 год», «Исполнение первого предсказания Бикерстаффа» и «Оправдание Исаака Бикерстаффа, эсквайра», а также контрпамфлет «Сквайр Бикерстафф изобличён». Обратившись к содержанию самой книги, мы обнаружили, что бумаги почтенного сквайра опубликованы под другими названиями, а именно: «Предсказания на 1708 год», «Исполнение первого из пророчеств мистера Бикерстаффа», «Опровержение Исаака Бикерстаффа, эсквайра» и «Мистер Бикерстафф разоблачён».

Полагаем, что сквайр, эсквайр или мистер Исаак Бикерстафф, как лицо вымышленное и являвшееся одной

из «масок» Свифта-памфлетиста, не обидится на эту путаницу в обращении к его персоне. Равно и различие в словах «разоблачение» и «изобличение» сможет дать ему разве лишь повод посетовать на отсутствие должной издательской культуры, позволяющее авторам примечаний не сверяться с названиями тех вещей, кои они своими примечаниями снабжают. Но вот «Опровержение» и «Оправдание» — не совсем одно и то же. Такие вольные «варианты» заглавий одного и того же произведения в одной и той же книге можно объяснить только воздействием «колдовской силы», всё ещё присутствующей творениям неугомного шутника-сквайра.

А. Н.

★

СУДЕБНАЯ ОШИБКА

Лучше поздно, чем никогда... Прочтя с опозданием на год книгу М. Гушина «Творчество А. П. Чехова», мы узнали, что автор её со значительным бо́льшим опозданием взялся исправить судебную ошибку, допущенную ещё три четверти века тому назад.

До сих пор считалось общепризнанным, что в 1878 году в петербургского градоначальника Трепова стреляла Вера Засулич. Это факт, отмеченный не только в решении Санкт-Петербургского окружного суда, но и в обширной литературе. Однако М. Гушин в своей упомянутой книге смело перечеркнул старую версию.

Характеризуя эпоху семидесятых—восьмидесятых годов минувшего века, он особо выделяет на странице 29 такое памятное событие, как «покушение Веры Фигнер на петербургского

градоначальника Трепова...»

Следует лишь выразить сожаление по поводу того, что М. Гушин не захотел поделиться с читателями ссылкой на обнаруженные им и доселе неизвестные источники, позволившие предложить новую версию взамен прежней, которой придерживалась в своих «Воспоминаниях» даже и сама Вера Фигнер...

С. В.

★

НОВОЕ В ЛИТЕРАТУРО- ВЕДЕНИИ

Книга А. Дубинской «Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества» выпущена Издательством Академии наук СССР. В этой книге мы находим следующее сопоставление (стр. 22):

«...В то время, когда Фет, Майков или Полонский в своих стихах воспевали ветреную младость, сладкое безделье и т. п.:

Ах, младость не приходит
вновь!
Зови же сладкое безделье,
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похмелье...

(Я. Полонский)

Некрасов от имени миллионов тружеников, от имени разночинцев, демократов 50—60-х годов, основываясь также и на фактах личной биографии, говорил:

Под гнётом роковым

провёл я детство

И молодость
в мучительной борьбе».

Увлечённая поисками подоплёки некрасовского двустишия, А. Дубинская даже не заметила сделанного ею похода ценного открытия: процитированные строки Полонского до сих пор не были известны почитателям поэта. Зато мы легко обнаружим их, открыв первый том выпущенного тем же из-

дательством академического собрания сочинений А. С. Пушкина. Каждый имеющий среднее образование гражданин смог бы напомнить литературоведу А. Дубинской юношеские стансы, посвящённые Пушкиным Я. Н. Толстому, в которых и содержится приведённая строфа, приписанная А. Дубинской Я. Полонскому, дабы доказать его легкомыслие... цитатой из Пушкина.

Н. И.

★

БЕЗ ПОМОЩИ ТЕЛЕСКОПА

В сентябре нынешнего года произойдёт «великое противостояние»: Земля и Марс, совершая свой путь в Галактике, предельно сблизятся между собой. И пока астрономы при помощи своих телескопов готовятся раскрыть в эти дни новые тайны далёкой планеты, читателю уже предлагаются некоторые из «тайн», добытые при помощи куда менее сложных инструментов — ножниц и клея.

Поразительно знакомым казался нам рассказ о Марсе в книге М. Васильева «Путешествия в Космос», в 1955 году изданной Госкультпросветиздатом. И в самом деле: когда рядом с ней мы положили книгу Б. Ляпунова «Открытие мира», вышедшую годом раньше в «Молодой гвардии», то вот что мы прочитали:

Б. Ляпунов:

«Иногда спрашивают: почему же марсиане, если они существуют, не прилетали на Землю?.. Ну, а каналы? Даже если они и были бы созданы искусственно, что отрицает современная астрономия, то и это не доказа-

тельство. Вспомним оросительные системы древних или римские акведуки. В древнем Китае или Хорезме были каналы, но не было межпланетных кораблей!» (стр. 128).

М. Васильев:

«...почему марсиане, сумевшие построить столь изумительную ирригационную систему, не прилетают к нам на Землю?.. А вспомним грандиознейшие и совершеннейшие оросительные системы, создававшиеся древними народами тысячи лет назад, — в Египте, Ассирии, Китае, Хорезме. Ведь эти оросительные системы создавались ещё тогда, когда люди и не мечтали о межпланетных перелётах» (стр. 157—158).

Означенное позволяет умозаключить, что книгу, посвящённую космонавтике, можно написать и «не хватая звёзд с неба».

А. И.

★

ОТКРЫТ ПАНОПТИКУМ ПЕЧАЛЬНЫЙ

В страшный мир патолого-анатомических переживаний вводит читателей А. Розен — автор повести «Поездка на родину», опубликованной в 10-й книге «Ленинградского альманаха». Он сообщает: «...И каждый раз, когда вагон вздрагивал на стыках, Владимиру Павловичу казалось, что у него во рту вздрагивает протез, и было такое чувство, словно у него не одна, а две челюсти».

По искреннему представлению А. Розена, нормальный человек наделён одной лишь челюстью (верхней или нижней — это в повести не уточнено). И только в часы

глубоких душевных потрясений и психологического самокопания ему может вдруг померещиться, будто во рту у него начинает формироваться ещё и вторая челюсть, и тогда он чувствует себя крайне неудобно.

Будущие исследователи, несомненно, сумеют установить связь между творчеством А. Розена и пресловутыми стихами поэта-декадента, спародированными в своё время А. Измайловым в книге «Кривое зеркало»:

Сплю или проснулся?
Ночи час, утра ли?
На плечах одна ли, две
ли головы?
Будто как одна... Ужьель
одну украли?

В той же книге «Ленинградского альманаха» помещён рассказ Фёдора Гордеева «В степи». Этот рассказ вновь подтверждает, что глаз художника поистине способен видеть то, чего не замечаем мы, простые смертные. Сколько бы, например, мужчин ни повстречали мы на жизненном пути, нам всегда казалось, что у всех у них усы либо пробивались, либо росли, либо сбрасывались только над верхней губой. Если же волосной покров появлялся и под нижней губой, мы его по невежеству принимали за бороду. А вот Фёдор Гордеев сумел показать нам одного из своих героев — молодого парнишку Петю — во всей юной прелести обеих его «безусых губ» (стр. 163). И словно для того, чтобы усилить впечатление, он представил нам другого своего героя — пожилого Гаранжу — как обладателя... «усатого рта».

Как же теперь быть с поговоркой: «По усам текло, а в рот не попало»?!

Б. Р.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

В. В. ВОРОВСКИЙ. Литературно-критические статьи. Составление и вступительная статья И. Черноуцана. Подготовка текста и примечания И. Черноуцана и О. Семеновского. Гослитиздат. М. 1956. 480 стр. Цена 11 р. 75 к.

От истории ранней большевистской печати неотделимо имя В. В. Воровского. Он был страстным партийным литератором, и перо его высоко ценил В. И. Ленин. Воровскому принадлежат работы по истории марксизма, исследования по вопросам экономики, различные статьи и памфлеты. Значительную часть всего наследия Воровского составляют литературно-критические статьи. Эти удивительно актуально звучащие сейчас статьи — одна из самых замечательных страниц в истории марксистской критики. В них последовательно выражена точка зрения Воровского: «критика не может ограничиться одними субъективными впечатлениями: её задача произвести объективную оценку данного художественного произведения, отнести его к накопленным сокровищам человеческого творчества и указать место среди них».

СТИХИ 1954 ГОДА. Составили К. М. Симонов, Н. С. Тихонов, С. П. Щипачёв. Гослитиздат. М. 1955. 272 стр. Цена 7 р.

Настоящий сборник ставит своей задачей ознакомить широкого читателя с некоторыми итогами творческой работы русских советских поэтов за 1954 год.

Стихи и поэмы, составившие сборник, были опубликованы в отдельных книгах, журналах и газетах. Учитывая многообразие тем и мотивов, поэтических стилей, характерных для советской поэзии, составители сборника стремились отобрать такие произведения, в которых наиболее ярко проявилось творческое своеобразие их авторов.

Круг поэтов, представленных в сборнике, довольно широк. Здесь и выдающиеся мастера советской поэзии, и поэты среднего поколения, и молодые авторы, дебютирующие в центральной печати. Так, например, впервые в 1954 году стали известны широкому читателю стихи Тамары Ян, Фёдора Сухова, Михаила Курганцева и других молодых авторов.

Следует одобрить инициативу Гослитиздата, выпустившего настоящий сборник, и его намерение продолжить это начинание в последующие годы.

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Сборник статей. Пособие для учителей. Учпедгиз. М. 1955. 471 стр. Цена 9 р. 90 к.

«Величие Льва Николаевича Толстого, этого мастера мастеров, этого бессмертного старца, оставшегося навеки юным, я полностью осознал только в бурской тюрьме. Там я перевёл половину романа «Война и мир». Моя камера переполнилась жизнью и надеждой, пали стены тюрьмы, я ещё больше поверил в созидательную мощь великого русского народа и ещё больше его полюбил». Так говорит Назым Хикмет, чьё высказывание среди многих других публикуется в разделе «Иностранцы писатели о Толстом». В двух других разделах приведены отзывы о Л. Н. Толстом классиков русской литературы и критики, а также советских писателей.

Основное место в сборнике принадлежит статьям о крупнейших произведениях писателя и работам, посвящённым важнейшим проблемам его творчества; авторами их выступают Д. Д. Благой, Н. К. Гудзий, Е. Н. Купреянова и другие.

ДИМИТР ДИМОВ. Табак. Роман. Перевод с болгарского. Издательство иностранной литературы. М. 1956. 736 стр. Цена 27 р. 75 к.

Этот объёмистый роман был встречен в Болгарии с большим интересом и вызвал оживлённый обмен мнений. Автор его не только писатель, но и учёный — профессор анатомии домашних животных в Высшем сельскохозяйственном институте. «Табак» — не первая книга Димова, но именно она принесла ему широкую писательскую известность.

Роман воссоздаёт широкую панораму общественной жизни предвоенной Болгарии. Перед читателем раскрывается отвратительный мир продажной и алчной правящей клики, её жалких прислужников и прихлебателей.

Со страниц книги встают мужественные образы борцов за освобождение страны — рабочих, коммунистов, проходят волнующие картины борьбы за создание новой, социалистической Болгарии.

Писатель собрал огромный жизненный материал и создал произведение большой впечатляющей силы.

Е. В. ДРУЖИНИНА-ГЕОРГИЕВСКАЯ, Я. А. КОРНФЕЛЬД, Зодчий А. В. Шусев. Издательство Академии наук СССР. М. 1955. 200 стр. Цена 5 р. 70 к.

С именем Шусева связаны многие достижения советской архитектуры. Плодовитый и талантливый зодчий, он создал произведения почти во всех её областях. Широко известны лучшие его творения: Мавзолей Ленина, Институт Маркса—Энгельса—Ленина в Тбилиси, подземный зал станции метро «Комсомольская-кольцевая» и другие.

В монографии рассмотрен творческий путь Шусева, проанализирована его творческая и научная деятельность.

Интересны многочисленные иллюстрации, среди которых репродукции рисунков самого Шусева.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ. Ювелиры. Пошехонская новь. Очерки. Ярославское книжное издательство. 1956. 254 стр. Цена 5 р.

Ярославский журналист Александр Кузнецов был автором рассказов, очерков, стихотворений, фельетонов. В 1938 году вышла его повесть «Ювелиры», посвящённая красносельским кустарям. Через два года он выпустил книгу очерков «Пошехонская новь» — о новых людях нового Пошехонья.

Эти произведения выдержали испытание временем. А. Кузнецов погиб на боевом посту в 1944 году, а книги его живут, восставшая в памяти не только события двадцатилетней давности, но и образ талантливого писателя-коммуниста.

ИВАН СЕРГЕЕВ. Крылов. Государственное издательство детской литературы. М. 1955. 320 стр. Цена 8 р. 90 к.

В повести о жизни и деятельности великого баснописца автор наряду с общезвестными фактами биографии И. А. Крылова использует разысканные им среди малоизвестных архивных и позабытых литературных источников новые материалы. Художественный вымысел в книге, как правило, опирается на подлинные события и жизненные факты.

Автор уделил много внимания развенчанию существовавшей на протяжении многих десятилетий легенды о «загадочности» и «непонятности» личности Крылова. Внешняя неподвижность и флегматичность баснописца не должны, по мнению автора, вводить в заблуждение читателей. На самом деле в груди его билось чуткое и отзывчивое сердце великого человека, обладавшего ярчайшим творческим умом, чудесным сатирическим дарованием. Обстоятельно освещено в книге значение творчества Крылова в истории нашей классической литературы.

МИХАИ ВЕРЁШМАРТИ. Избранное. Перевод с венгерского. Государственное издательство художественной литературы. М. 1956. 462 стр. Цена 15 р. 35 к.

Народ воспрянет, будет прок,
Когда не станет лежебок.

Эти строки из стихотворения «Пророчество» точнее всего передают умонастроение

великого венгерского поэта, патриота и борца, участника революции 1848 года.

«Избранное» даёт возможность советскому читателю познакомиться с лучшими образцами творчества Михая Вёрёшмарти.

ВАСИЛЕ АЛЕКСАНДРИ. Избранное. Перевод с молдавского. Государственное издательство Молдавии. Кишинёв. 1956. 314 стр. Цена 6 р. 20 к.

Василе Александри (1818—1890) — классик румынской и молдавской литературы, неутомимый собиратель народного творчества. Его полувековая литературная деятельность оставила глубокий след в развитии и молдавской и румынской литературы. У него учились Эминеску, Крянгэ, Караджале.

В сборнике представлены лучшие произведения писателя. В разделе прозы — «История одного золотого», «Василе Порожан», «Прогулка в горах» и другие. Некоторые из этих произведений носят сатирический характер, но все они пронизаны любовью к родному народу.

Драматургия Александри — а он много сделал для создания национального театра — представлена в сборнике четырьмя пьесами. Среди них — национальная феерия «Синзяна и Пепеля». Это яркий политический памфлет, беспощадно бичующий правящие классы румынского общества. В благородных образах Пепели и Синзяны писатель откровенно выразил свои горячие симпатии к народу.

ВО ИМЯ КОММУНИЗМА. Госполитиздат. М. 1955. 296 стр. Цена 5 р.

В книге этой помещены очерки, рассказывающие о творческом труде работников тяжёлой промышленности. Сборник получился очень ёмким и по «географии» индустрии и по разнообразию проблем, затрагиваемых авторами.

Читатель побывает у металлургов Магнитогорска и Днепродзержинска. Авторы знакомят нас с теми, кто всячески помогает движению новаторов, и с теми, кто мешает техническому прогрессу; гостеприимно приглашают читателя на Рязанский станкостроительный завод, потом на Минский тракторный, на Ленинградский металлургический завод; взволнованно рассказывают о том, что заботит сегодня шахтёров Донбасса и нефтяников Каспия, как трудятся гидростроители в Жигулях и т. д.

О разных людях говорится в этих публицистических очерках. Но мысли у героев общие, цели одинаковые. Они работают на коммунизм.

И. ДУДИНСКИЙ. Социалистическая индустриализация европейских стран народной демократии. Госполитиздат. М. 1956. 116 стр. Цена 1 р. 35 к.

В книге И. Дудинского рассказывается о том, как трудящиеся, возглавляемые коммунистическими и рабочими партиями, создают отечественную тяжёлую индустрию.

Ведущей отраслью чехословацкой экономики стало машиностроение. Вот один из многочисленных интересных примеров, приводимых И. Дудинским. Машиностроители завода имени В. И. Ленина в Пльзене вы-

пустили новый тип пассажирского паровоза, развивающего скорость до 120 километров в час и потребляющего меньше топлива, чем прежние типы паровозов.

Один из разделов книги посвящён особенностям социалистической индустриализации в европейских странах народной демократии, получающих повседневную дружескую помощь от Советского Союза.

М. МОНИН. Польша на пути к социализму. Госполитиздат. М. 1955. 96 стр. Цена 1 р. 20 к.

По объёму промышленного производства Польская Народная Республика вышла на пятое место в Европе, обогнав такую страну, как Италия. В 1938 году на каждого поляка приходилось почти в пять раз меньше промышленной продукции, чем на каждого француза; теперь по производству промышленной продукции на душу населения Польша догнала Францию.

В книге много интересных сопоставлений, данных, фактов, свидетельствующих о крупных экономических победах демократической Польши. Читатель найдёт обстоятельную характеристику общественного и государственного устройства Польской Республики, а также краткую географическую характеристику страны. Жаль, что в книге отсутствует карта Польши. Кстати заметим, что этот недостаток присущ и другим аналогичным изданиям Госполитиздата.

С. ЗАВОЛЖСКИЙ. Венгрия на пути к социализму. Госполитиздат. М. 1955. 72 стр. Цена 90 к.

В книге читатель найдёт немало фактов, рассказывающих о творческой силе и замечательных деяниях свободного венгерского народа. Это относится и к его экономическим успехам и к победам в области просвещения, искусства, здравоохранения. В Будапеште сейчас больше диспансеров, чем было во всей старой Венгрии. Вместо 47 клубов, преимущественно аристократических, сейчас в стране насчитывается 2300 народных клубов и домов культуры.

Работа С. Заволжского, содержащая разнообразный и интересный материал, значительно выиграла бы, если бы она была написана более живым и ясным языком.

А. Ф. ИОФФЕ. Полупроводники и их применение. Издательство Академии наук СССР. М. 1956. 72 стр. Цена 1 р.

Учение о полупроводниках — одна из самых молодых областей науки. По темпам развития и значению её можно поставить непосредственно вслед за ядерной физикой.

Ещё тридцать лет назад полупроводники не применялись ни в промышленности, ни в радиотехнике. В настоящее время полупроводники находят всё более широкое применение. На их основе строятся современ-

ная автоматика, сигнализация, телеуправление. Ещё заманчивее перспективы. С помощью полупроводников должен быть решён целый ряд фундаментальных задач, таких, как прямое превращение тепловой и солнечной энергии в электрическую, а также электрической энергии в механическую и обратно — без помощи машин, ночное освещение запасённым дневным светом и т. д. Самые совершенные радиоприёмники будут иметь ничтожные габариты и стоить во много раз дешевле, чем существующие теперь.

В книжке показано большое значение полупроводников в народном хозяйстве и подробно рассказывается о вкладе в эту молодую науку, который вносят советские учёные.

А. К. БУРОВ, Г. Д. АНДРЕЕВСКАЯ. Стекловолоконные анизотропные материалы и их техническое применение. Издательство Академии наук СССР. М. 1956. 72 стр. Цена 1 р.

В Директивах XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану предусматриваются ускоренные темпы развития производства химических продуктов, необходимых для обеспечения технического прогресса в различных отраслях народного хозяйства.

Весьма перспективным является новый вид синтетических материалов, обладающих основными преимуществами дерева и стали, но в то же время не имеющих таких недостатков, как подверженность загниванию и коррозии. В книге А. Бурова и Г. Андреевской рассказывается об успешной разработке метода получения таких новых, высокоэффективных материалов, которые найдут разностороннее применение в различных отраслях промышленности, в том числе и в производстве предметов широкого потребления.

П. Я. ПОЛУБАРИНОВА-КОЧИНА. Софья Васильевна Ковалевская. Её жизнь и деятельность. Гостехиздат. М. 1955. 100 стр. Цена 1 р. 50 к.

«Принцессой науки» называли Софью Ковалевскую её современники. «В истории науки и общественных движений России Софья Васильевна Ковалевская всегда будет пользоваться заслуженной славой и оставаться гордостью нашей Родины», — этими словами заканчивает книгу о нашей знаменитой соотечественнице видный советский математик П. Я. Полубаринова-Кочина. Выдающийся математик и талантливая писательница, человек передовых взглядов, чья жизнь переплеталась с судьбами героев Парижской Коммуны и русских учёных-новаторов, — такой предстаёт С. В. Ковалевская в новой монографии.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Резолюции XX съезда Коммунистической партии Советского Союза. 112 стр. Цена 1 р. 30 к.

Резолюция XX съезда Коммунистической партии Советского Союза по отчётному докладу Центрального Комитета КПСС. 32 стр. Цена 30 к.

Директивы XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956—1960 годы. 80 стр. Цена 1 р.

Устав Коммунистической партии Советского Союза. 32 стр. Цена 30 к.

Справочный том к 4-му изданию сочинений В. И. Ленина. Часть 2. 352 стр. Цена 6 р. 50 к.

М. Ветошкин. Большевики Дальнего Востока в первой русской революции. 280 стр. Цена 7 р.

П. В. Галенко. Строительство социалистической экономики в Польской Народной Республике. 248 стр. Цена 6 р.

К. Клопов. Очерки народного хозяйства Демократической Республики Вьетнам. 104 стр. Цена 1 р. 40 к.

Э. Кольман. Великий русский мыслитель Н. И. Лобачевский (1856—1956). 104 стр. Цена 1 р. 80 к.

Г. Г. Котов. Аграрные отношения и земельная реформа в Германии. 468 стр. Цена 11 р. 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Воронин. Ненужная слава. Рассказы. 164 стр. Цена 3 р. 50 к.

Я. Ильичёв. Крымские встречи. Очерки. 216 стр. Цена 4 р. 10 к.

В. Кочетов. Молодость с нами. Роман. 516 стр. Цена 9 р. 40 к.

В. Кулемин. От сердца к сердцу. Стихотворения. 96 стр. Цена 1 р. 20 к.

М. Лужанин. Приглашение на озеро Нарочь. Стихотворение. 92 стр. Цена 1 р. 50 к.

М. Максимов. Десять лет спустя. Стихотворения. 172 стр. Цена 3 р. 5 к.

К. Осипов. Последний поход. Рассказы. 264 стр. Цена 4 р. 65 к.

П. Сычёв. У Тихого океана. Повесть. 332 стр. Цена 5 р. 60 к.

В. Тевекелян. Когда разливаются реки. Роман. 400 стр. Цена 7 р. 50 к.

Г. Троепольский. У Крутого Яра. Рассказы. 200 стр. Цена 2 р. 75 к.

А. Шаров. Сверстники. Повесть и рассказы. 260 стр. Цена 5 р. 15 к.

И. Эренбург. Совесть народов. Сборник статей и выступлений. 280 стр. Цена 4 р. 70 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Константинэ Гамсахурдиа. Десница великого мастера. Роман. Перевод с грузинского. 296 стр. Цена 6 р. 35 к.

Мариано Хосе де Ларра. Сатирические очерки. Перевод с испанского. 436 стр. Цена 8 р. 55 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Аджубей. Серебряная кошка, или путешествие по Америке. 128 стр. Цена 2 р. 20 к.

П. Гаврутто. На берегу Днепра. Повесть. 176 стр. Цена 2 р. 60 к.

Константин Локотков. Содружество. Роман. 352 стр. Цена 6 р. 80 к.

В. Кораблинов. Жизнь Кольцова. Роман. 312 стр. Цена 10 р. 15 к.

Шарль де Костер. Легенда об Уленшпигеле. 448 стр. Цена 10 р.

В. Ревунов. Меж крутых берегов. Повесть. 248 стр. Цена 5 р. 20 к.

В. Сафонов. Путешествия в неведомое. 240 стр. Цена 5 р.

Б. Сметанин. Юный радиоинженер. 288 стр. Цена 7 р. 25 к.

Н. Хохлов. Корея наших дней. Очерки и путевые заметки советского журналиста. 224 стр. Цена 2 р. 55 к.

М. Чачко. На блуждающем острове. Рассказы. 144 стр. Цена 2 р.

ДЕТГИЗ

А. Алексин, Т. Дубинская. У нас во дворе. Повесть. 176 стр. Цена 3 р. 25 к.

В. Ананиян. Пленники Барсова ущелья. Приключенческая повесть. 488 стр. Цена 10 р.

В. Баныкин. Четыре дня на «Соколе». Повесть. 168 стр. Цена 3 р. 30 к.

А. Вересов. Рассказы о старых мастерах. 156 стр. Цена 3 р. 5 к.

Н. Гамолка. Лето в Калиновке. Повесть. Перевод с белорусского. 120 стр. Цена 3 р.

М. Криничный. Красный тюльпан. Очерки и рассказы. 176 стр. Цена 3 р. 75 к.

Ю. Никулин. Рассказы старшины флота. 108 стр. Цена 2 р. 60 к.

А. Пунченко. Пассажир дальнего плавания. Повесть. 176 стр. Цена 3 р. 75 к.

М. Слуцкис. Добрый дом. Авторизованный перевод с литовского. 352 стр. Цена 6 р. 75 к.

В. Собко. Скала Дельфин. Повесть. Авторизованный перевод с украинского. 112 стр. Цена 2 р. 50 к.

Я. Тайц. Рассказы и повести. 576 стр. Цена 10 р. 35 к.

Р. Хигерович. Путь писателя. 322 стр. Цена 8 р. 55 к.

Э. Хемингуэй. Старик и море. Повесть. Перевод с английского. 96 стр. Цена 3 р. 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

С. П. Костычев. Избранные труды по физиологии и биохимии микроорганизмов. Т. I. 354 стр. Цена 21 р. 45 к.

Э. Мурзаев. В далёкой Азии. 222 стр. Цена 3 р. 95 к.

В. А. Обручев. Основы геологии. Популярное изложение. 358 стр. Цена 8 р. 15 к.

Ю. Н. Розалиев. Очерки положения промышленного пролетариата Турции после второй мировой войны. 207 стр. Цена 7 р. 60 к.

Э. Л. Шифрин. Сельское хозяйство США после второй мировой войны. 430 стр. Цена 15 р.

ГЕОГРАФИЗ

Ю. Давыдов. В морях и странствиях. 208 стр. Цена 3 р. 35 к.

А. Конан-Дойль. Затерянный мир. 246 стр. Цена 3 р. 85 к.

А. Л. Курсанов. По Франции и Западной Африке. 272 стр. Цена 5 р. 55 к.

Давид Ливингстон, Чарльз Ливингстон. Путешествие по Замбези с 1858 по 1864 г. 382 стр. Цена 8 р. 65 к.

Н. Н. Миклухо-Маклай. Путешествия на берег Маклая. 416 стр. Цена 9 р. 45 к.

В. М. Слобников. По тайге и тундре. 231 стр. Цена 3 р. 65 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Роже Вайян. Пьеретта Амабль. Перевод с французского. 350 стр. Цена 11 р.

Чэнь Дэнь-кэ. Дети реки Хуайхэ. Повесть. Перевод с китайского. 298 стр. Цена 9 р. 70 к.

«ИСКУССТВО»

Ленин о культуре и искусстве. 562 стр. Цена 8 р. 75 к.

Вопросы киноискусства. Сборник. 438 стр. Цена 20 р. 25 к.

Н. Горчаков. Работа режиссёра над спектаклем. 462 стр. Цена 18 р.

Р. Шеридан. Драматические произведения. 482 стр. Цена 16 р.

АЛТАЙСКОЕ

КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. И. Глотов. В родном краю. Стихи. 112 стр. Цена 2 р. 25 к.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ

КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Илья Бражнин. Моё поколение. Роман. 328 стр. Цена 6 р. 15 к.

КУЙБЫШЕВСКОЕ

КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. И. Попов. Волгари. Повесть. 180 стр. Цена 3 р. 70 к.

Н. И. Страхов. По Китаю (путевые заметки). 120 стр. Цена 1 р. 40 к.



Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв,**
М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 23/III-56 г. Подписано к печати 25/IV-56 г.
А 04284. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 704.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.